LIFE FOR GOD

Непроизнесённые проповеди

Джордж Макдональд

СБОРНИКИ ПРОПОВЕДЕЙ

Полный русский перевод

1867 · 1885 · 1889



2026

LIFE FOR GOD

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книги на русском и английском, аудиозаписи, духовные беседы и мастерская проповедника.

Веб-сайт

lifeforgod.church

Нажмите на адрес или отсканируйте QR-код камерой телефона.

Читать эту книгу онлайн

Об издании

Все три серии (1867, 1885, 1889): 36 проповедей, посвящения и эпиграфы. Полный английский текст и новый русский перевод.

Русский перевод подготовлен священником Сергеем Кауди для Life for God.

Основа издания — английский текст Unspoken Sermons, Series I, II, III в электронной транскрипции Project Gutenberg, № 9057. Исправлены явные опечатки электронной транскрипции; спорные места сопоставлены с изданием Standard Ebooks. Перевод сохраняет состав, последовательность и богословские суждения автора.

Исторический английский текст находится в общественном достоянии в США. Новый русский перевод и подготовка данного издания — Life for God, 2026. Современные сторонние русские переводы не использованы.

Богословские суждения и исторические примеры принадлежат автору. Редакционные примечания обозначены отдельно. Номера абзацев введены для ссылок и сопоставления языков.

Читать на сайте Life for God →

Источники

George MacDonald · Unspoken Sermons, Series I, II, III · electronic transcription no. 9057

George MacDonald · Unspoken Sermons · Standard Ebooks

Содержание

Об издании 2
Источники 2
Содержание 3
На титульном листе 5
Серия 1 · Посвящение 6
Ребёнок посреди них 7
Огонь поядающий 23
Высшая вера 37
Не простится ему 47
Новое имя 68
Сердце там, где сокровище 79
Искушение в пустыне 84
Элои 107
Руки Отца 118
Возлюби ближнего твоего 124
Возлюби врага твоего 142
Бог живых 151
Серия 2 · Посвящение 160
Путь 161
Трудность пути 179
Причина духовного неразумия 194
Слово Иисуса о молитве 209
Трудность человека в вопросе молитвы 225
Последний кодрант 243
Авва, Отче! 258

Жизнь 278
Страх Божий 295
Голос Иова 308
Самоотречение 340
Истина в Иисусе 360
Серия 3 · Посвящение 387
Творение во Христе 388
Познание Сына 405
Зеркала Господа 418
Истина 428
Свобода 448
Царственность 459
Справедливость 467
Свет 507
Недовольство Иисуса 521
Праведность 540
Окончательное снятие масок 555
Наследие 568
Примечания 580

На титульном листе

[1] *Epea Aptera*

[2] Утешайте, утешайте народ Мой

Серия 1 · Посвящение

[1] *Эти колосья, собранные и растёртые в моих ладонях в нарушенные субботы, я приношу прежде всего моей жене, а затем — другим моим друзьям.*

Ребёнок посреди них

[1] *И пришёл Он в Капернаум; и, находясь в доме, спросил их: о чём вы спорили между собой по дороге? Но они молчали, потому что по дороге спорили между собой, кто будет больше. И, сев, Он призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, пусть будет последним из всех и слугой всем. И взял ребёнка, и поставил его посреди них; и, обняв его, сказал им: кто примет одного из таких детей во имя Моё, принимает Меня; а кто примет Меня, принимает не Меня, но Пославшего Меня.* — Мк. 9:33–37.

[2] Этот эпизод из жизни нашего Господа полнее изложен у святого Марка. Но рассказ можно обогатить и ещё яснее выявить его урок, обратившись к повествованию святого Матфея.

[3] «Истинно говорю вам: если не обратитесь и не станете как маленькие дети, не войдёте в Царство Небесное. Кто смирит себя, как этот маленький ребёнок, тот больше всех в Царстве Небесном. И кто примет одного такого ребёнка во имя Моё, принимает Меня. А кто соблазнит одного из этих малых, верующих в Меня, тому лучше было бы, чтобы ему повесили на шею мельничный жернов и утопили его в глубине моря».

[4] В этих отрывках записан урок, который наш Господь преподал ученикам против честолюбия, против соперничества. Я пишу об этих словах Господа не ради изложения этого урока, а ради истины, откровения о Боге, в котором Его великий довод достигает вершины.

[5] Он взял маленького ребёнка — возможно, ребёнка Петра, ведь святой Марк говорит, что это произошло в

Капернауме и «в доме», — ребёнка, стало быть, с какими-то чертами Петра, чьи недостатки сами были недостатками ребяческого характера. Можно было бы ожидать, что у ребёнка такого отца будут по-детски простые лицо и повадки, необходимые для передачи урока, который я теперь хочу показать в этом отрывке.

6 Ведь надо признать, что бывают дети, лишённые детской простоты. Одно из самых печальных и отнюдь не редких зрелищ в мире — лицо ребёнка, чей ум так переполнен житейской мудростью, что с него исчезло и человеческое ребячество, и божественная детскость. Ибо *детское* есть божественное, и само это слово «указует мне путь, которым я и шёл». Но я должен отложить восхождение к последнему доводу, чтобы устранить возможное затруднение: обращая нас к одной из величайших истин, оно отвлекает от той истины, которую Господь имел здесь в виду.

7 Затруднение вот в чём: свойственно ли *Сыну Человеческому* выбрать красивого ребёнка, оставив обыкновенного без внимания? Какая Ему за то благодарность? Разве и мытари не делают того же? И разве наши сердца не восстают против самой этой мысли? Неужели сердце матери сильнее льнёт к увечному из её малышей, а «Христос, в Которого мы веруем» будет выбирать по внешности? Разве Он отвернулся бы от ребёнка, рождённого во грехе и обученного беззаконию, на чьём истощённом лице голод, отвага и любовь к похвале совместно запечатлели хитрость алчной старости, — и взял бы на руки дитя честных родителей, таких как Пётр и его жена, которое не могло не выглядеть добрее другого? Это был бы не Тот, Кто пришёл взыскать и спасти погибшее. Пусть человек, любящий брата,

скажет, которого из них в высочайшие минуты любви к Богу, когда он ближе всего к той идеальной человечности, благодаря которой *человек* становится укрытием от ветра, он прижал бы к своей груди, дающей прибежище. Не ребёнка ли с дурным лицом, потому что тому это нужнее всего? Да, во имя Бога, да. Ибо разве не таков божественный путь? Кто, читавший о потерянной овце или найденном блудном сыне, даже не имея духа, свидетельствующего вместе с его духом, осмелится сказать, что это не божественный путь? Нередко, несомненно, будет *казаться* иначе: ребёнка, сохранившего детскую простоту, легче спасти, чем другого, и он может *прийти* первым. Но на небе больше всего радуются овце, которая забрела дальше всех, — возможно, родилась на диком склоне горы, а вовсе не в загоне. О таком блудном сыне старший брат на небе молится так: «Господи, думай о моём бедном брате больше, чем обо мне, ибо я знаю Тебя и покоюсь в Тебе. Я всегда с Тобой».

[8] Почему же я считаю нужным сказать, что этот ребёнок, вероятно, был ребёнком Петра и, несомненно, выглядел по-детски потому, что обладал детской простотой? Никакое количество зла не может *быть* самим ребёнком. Никакое количество зла — не то что на лице, но в привычках или даже в сердце ребёнка — не может лишить его детства, уничтожить божественную идею детства, которая жила в сердце Бога, когда Он создавал это дитя по Своему образу. Бог говорит о существенном, судит по действительному, Он — Бог неумирающего.

[9] Я всем сердцем это признаю. И если бы целью Господа, взявшего ребёнка на руки, было научить любви к ближнему, любви к человечеству, то самый некрасивый

ребёнок, какого Он мог найти, пожалуй, лучше всего послужил бы Его цели. Человек, принимающий любого ребёнка, — и ещё очевиднее тот, кто принимает отталкивающего ребёнка, — потому что тот рождён от Бога, потому что тот родной его брат, принимая так ребёнка, непременно принимает Отца. Всякий, кто даёт малому чашу холодной воды, освежает сердце Отца. Делать, как делает Бог, — значит принимать Бога; послужить одному из Его детей — значит принять Отца. Поэтому любой человек, особенно несчастный, скорбящий и отверженный, подошёл бы не хуже ребёнка для изображения этой любви Бога к человеческому существу. Значит, здесь, вероятно, подразумевается нечто большее. Урок окажется заключён не в *человеческой природе* ребёнка, а в его *детстве*.

[10] Опять-таки, если бы ученики сумели увидеть, что имеется в виду сущностное детство, а не размытое и наполовину стёртое, самый себялюбивый ребёнок подошёл бы столь же хорошо, но не лучше того, которого мы предположили и в котором истинное детство заметнее. Но когда ребёнок был взят как проявление, выражение и знак истины, заключённой в его детстве, чтобы и глаза, и уши стали путями к сердцу, существенно было не то, чтобы ребёнок был красив, а то, чтобы он обладал детской простотой; чтобы те качества, которые с первого взгляда пробуждают в наших сердцах особую любовь к детству, — а она и есть, собственно, восприятие детства, — хотя бы мерцали на лице *избранного образца*. Подошёл ли бы для цели Господа такой лишённый детской простоты ребёнок, каких мы иногда видим то в богатом доме, одетыми в пурпур и кружева, то в убогом переулке, одетыми в грязь и лохмотья, когда Господу предстояло сказать слушателям, что они должны стать

как этот ребёнок? Когда урок, который Ему предстояло преподать, касался божественной природы ребёнка, детской простоты? Не возникло бы между ребёнком и словами Господа противоречия, смешного, если бы оно не было ужасным, тем более что Он подчёркивал именно этого ребёнка, говоря «этот маленький ребёнок», «один из таких детей» и «эти малые, верующие в Меня»? Даже жалость и любовь, которые возникли бы в добром сердце при дальнейшем созерцании такого ребёнка, совершенно отвлекли бы его от урока, который Господь намеревался дать.

11 Теперь я полнее покажу, что этот урок действительно заключался не в человеческой природе ребёнка, а в его детстве. Ученики спорили, кто будет больше всех, и Господь хотел показать им, что такой спор не имеет совершенно никакого отношения к порядку вещей в Его Царстве. Поэтому в качестве образца Своих подданных Он взял ребёнка и поставил перед ними. Не благодаря человеческой природе — это было бы невозможно, — а благодаря детству ребёнок был представлен как образ подданного Царства. Это должно было показать не пределы Царства, а его природу. Он сказал им, что они не могут войти в Царство иначе, чем став маленькими детьми, — смирив себя. Ведь мысль о господстве исключалась там, где единственным существенным качеством была детская простота. Теперь речь должна была идти не о том, кто будет править, а о том, кто будет служить; не о том, кто будет смотреть на ближних свысока, с завоёванных высот власти — даже священной власти, — а о том, кто будет смотреть вверх, почитая человечество и служа ему, чтобы само человечество наконец уверилось в собственном достоинстве как храма живого Бога. Он показал им ребёнка, чтобы запечатлеть в

них этот урок. Поэтому, повторяю, урок заключался в *детстве* ребёнка.

12 Но теперь я подхожу к своей особой цели: этот урок привёл к провозглашению ещё более высокой истины, на которой был основан и из которой, собственно, вырос. От человека не требуется ничего, чего прежде нет в Боге. От нас требуется совершенство потому, что Бог совершенен. И именно для откровения Бога всем человеческим душам, чтобы они спаслись, познав Его и тем став подобными Ему, этот ребёнок избран и поставлен перед ними в Евангелии. Кто, подавая чашу воды или заключая в объятия, соприкасается с сущностным детством ребёнка — то есть обнимает его *детскую* человечность (а не тот, кто обнимает его из любви к человечеству или даже из любви к Богу как его Отцу), — тот причастен смыслу, то есть благословению, этого отрывка. Именно признание детства божественным покажет ученику, как тщетна борьба за сравнительное положение или почёт в великом Царстве.

13 Ведь сказано: *во имя Моё*. Это значит: *как представляющего Меня*; следовательно, *как подобного Мне*. Господь не мог поручить принимать во имя Его того, кто не мог бы в большей или меньшей мере представлять Его: это было бы неправдой и бессмыслицей. Более того, Он только что говорил ученикам, что они должны стать подобны этому ребёнку; и теперь, говоря им принимать *такого* ребёнка во имя Его, Он, несомненно, подразумевает нечто общее всем им — нечто, в чём ребёнок и Иисус сходятся, нечто, в чём ребёнок и ученики сходятся. Что ещё это может быть, кроме духовного детства? *Во имя Моё* не означает *потому что Я так хочу*. На произвольное изъявление воли Господа

нашлось бы, несомненно, десять тысяч готовых послушаться, даже до страдания, на одного способного принять такую живую истину о Его природе, какая заключена в этих словах; однако Господь требует не одного послушания, а послушания *истине*, то есть Свету мира, истине увиденной и познанной. *Во имя Моё*, если взять всё, что можно найти в этих словах, весь смысл, который один только приводит отрывок к согласию и делает его целым, подразумевает откровение через сходство, через способность представлять и тем открывать. Итак, принимающий ребёнка во имя Иисуса делает это, видя, в чём Иисус и ребёнок едины, что у них общего. Он должен не только видеть в принимаемом ребёнке *идеального* ребёнка — ту действительную прелесть, которая составляет истинное детство, — но и понимать, что ребёнок подобен Иисусу, или, вернее, что Господь подобен ребёнку и может быть обнят — да, бывает обнят — всяким сердцем, достаточно детским, чтобы обнять ребёнка ради его детскости. Я не утверждаю поэтому, будто благословению причастны лишь те, кто сознаёт это в своём поступке. Но особое чувство, высокое знание блаженства принадлежит поступку того, кто обнимает ребёнка как зримое подобие Самого Господа. Ибо блаженство есть восприятие истины, а благословение — сама истина, истина, ведомая Богу: у Господа сердце ребёнка. Человек, который это видит, знает в себе, что он блажен — блажен потому, что это правда.

[14] Но рассуждение о смысле слов Господа *во имя Моё* неполно, пока мы не последуем за Его высказыванием на вторую, более высокую ступень: «Кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня». Можно согласиться, что связь между первым и вторым звеном цепи, вероятно,

такая же, как связь между вторым и третьим. Я не говорю, что это обязательно так, ибо не стремлюсь к логической достоверности. Через последовательность своих мыслей я стремлюсь скорее показать читателю идею, к которой приближаюсь, чем доказать её. Ведь если, увидев её, он не сможет принять её, если она сама не явится ему истинной, то убеждать его логикой было бы не только малополезно: я допускаю, что он легко предложит иные возможные связи в цепи, хотя, утверждаю, ни одна не будет столь соразмерной. Какова же связь между вторым и третьим звеном? Почему принимающий Сына принимает Отца? Потому что Сын таков, как Отец; и тот, чьё сердце способно воспринять существенное во Христе, обладает сущностью Отца — то есть видит её и держится её благодаря этому узнаванию и един с ней через узнавание и поклонение. Какова тогда связь между первым и вторым? Думаю, та же. «Кто видит существенное в этом ребёнке, чистое детство, видит то, что составляет Мою сущность»: благодать и истину — одним словом, детскую простоту. Из этого не следует, что первое столь же совершенно, как второе; но оно той же природы и потому, являясь в ребёнке, открывает то, что есть в Иисусе.

15 Итак, принять ребёнка во имя Иисуса — значит принять Иисуса; принять Иисуса — значит принять Бога; следовательно, принять ребёнка — значит принять Самого Бога.

16 Что таково чувство, заключённое в этих словах, и что таково было чувство в сердце Господа, когда Он их произносил, я могу показать по другой золотой нити, которую можно проследить в сияющей ткани Его золотых слов.

17 Что есть Царство Христа? Правление любви, истины — правление служения. Царь в нём — главный слуга. «Цари земли господствуют: между вами да не будет так». «Сын Человеческий пришёл служить». «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Великий Труженик — великий Царь, трудящийся для Своих. Поэтому тот, кто хотел бы быть больше всех среди них и ближе всех к Самому Царю, должен быть слугой всем. В Царстве Небесном *каков царь, таков и подданный*. Там нет правления силой, будто одного рода существ над другим. Это правление *родства*, *природы*, глубочайшей природы — *Бога*. Если же для входа в это Царство мы должны стать детьми, то детский дух должен пронизывать его всё — от смиренного подданного до смиреннейшего Царя. Урок, который святой Лука добавляет к появлению ребёнка, таков: «Кто меньше всех между вами, тот будет велик». А святой Матфей говорит: «Кто смирит себя, как этот маленький ребёнок, тот больше всех в Царстве Небесном». Отсюда знак, которым обмениваются царь и подданный. Перед царями земли подданный преклоняет колени в почтении; Небесный Царь берёт подданного на руки. Вот знак Царства между ними. Вот отношение, пронизывающее всё Царство.

18 Итак, бросим один взгляд назад.

19 Принимать ребёнка потому, что Бог принимает его, или ради его человеческой природы — одно; принимать его потому, что он подобен Богу, или ради его детства — другое. Первое мало поможет уничтожить честолюбие. Само по себе оно могло бы лишь расширить его поприще, поскольку допускает всех людей на арену борьбы. Но второе поражает самый корень соперничества. Едва даже служение совершается ради почёта, а не ради самого

служения, совершающий его в ту же минуту оказывается вне Царства. Но когда мы принимаем ребёнка во имя Христа, само детство, которое мы заключаем в объятия, есть человечность. Мы любим его человечность в его детстве, потому что детство — глубочайшее сердце человечества, его божественное сердце; и так во имя ребёнка принимаем всё человечество. Поэтому, хотя урок касается не человечества, а детства, он вновь обращается ко всему нашему роду, и мы принимаем свой род более широкими объятиями и более глубоким сердцем. Итак, принимая этот урок, мы не теряем никакого другого; настаивая, что ребёнок был милым, по-детски простым ребёнком, мы не проявляем бессердечия.

[20] Если на небе есть картина этого чудесного наставления, несомненно, мы увидим на ней смутное детство, сияющее на лицах всей группы учеников, в центре которой — Сын Божий с ребёнком на руках. Детство, смутное в лицах мужчин, должно сиять доверчивой ясностью в лице ребёнка. Но в лице Самого Господа детство будет торжествовать: вся Его мудрость, вся Его истина будут поддерживать эту сияющую безмятежность веры в Отца. Воистину, Господи, это детство есть жизнь. Воистину, Господи, когда Твоя нежность сделает мир великим, тогда все люди, дети, подобные Тебе, улыбнутся в лицо великому Богу.

[21] Но перейдём теперь к высшей точке этого наставления Господа: «Кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня». Принять ребёнка во имя Бога — значит принять Самого Бога. Как принять Его? Единственным способом, каким Он может быть принят: познав Его таким, каков Он есть. Познать Его — значит иметь Его в нас. И чтобы познать Его, примем теперь это откровение о Нём в

словах Самого Господа. Вот довод высочайшего значения, основанный на наставлении нашего Учителя в рассматриваемом изречении.

22 Бог представлен в Иисусе, потому что Бог подобен Иисусу; Иисус представлен в ребёнке, потому что Иисус подобен ребёнку. Следовательно, Бог представлен в ребёнке, потому что Он подобен ребёнку. Богу присуща детская простота. В истинном видении этого факта и заключается принятие Бога в ребёнке.

23 Достигнув этой точки, я более не имею дела с доводами; ибо если Господь имел в виду это — то есть если это истина, — способный принять её примет её; имеющий уши слышать услышит её. Ведь доводы Господа служат явлению истины, а истина несёт собственную убедительность тому, кто способен принять её.

24 Но слово того, кто увидел эту истину, может помочь зародиться подобному восприятию у тех, чьи лица обращены к востоку и его заре: ведь люди могут иметь глаза и, видя смутно, желать видеть больше. Поэтому немного поразмыслим над самой идеей и посмотрим, не выступит ли она так, чтобы обрести признание того духа, который, будучи един с человеческим духом, где обитает, исследует глубины Божии. Ведь хотя верное сердце поначалу может быть потрясено истиной, как Пётр был потрясён, говоря: «Да не будет этого с Тобой, Господи», — спустя время оно примет её и возрадуется ей.

25 Позвольте же спросить: верите ли вы в Воплощение? И если да, спрошу ещё: был ли Иисус когда-нибудь менее божествен, чем Бог? Отвечу за вас: никогда. Он был ниже, но никогда не менее божествен. Разве тогда Он не был ребёнком? Вы отвечаете: «Да, но не таким, как другие

дети». Я спрашиваю: «Разве Он не выглядел как другие дети?» Если Он выглядел как они, но не был таким, как они, всё было обманом, в лучшем случае маскарадом. Я говорю, что Он был ребёнком, чем бы ещё Он ни был. Бог есть человек и бесконечно больше. Господь стал плотью, но не *стал* человеком. Он принял человеческий образ: человеком Он был уже. И Он был, есть и всегда будет божественно прост, как ребёнок. Он никогда не мог бы быть ребёнком, если бы когда-нибудь перестал им быть, ибо преходящее не находило в Нём ничего своего. Детство принадлежит божественной природе. Следовательно, Послушание столь же божественно, как Воля, Служение столь же божественно, как Правление. Как? Потому что по природе они едины; и то и другое — исполнение истины. Любовь в них одна. Отцовство и Сыновство едины, только Отцовство с любовью смотрит вниз, а Сыновство с любовью смотрит вверх. Любовь есть всё. И Бог — всё во всём. Он всегда стремится сойти к нам, быть для нас божественным человеком. А мы всё говорим: «Да не будет этого с Тобой, Господи!» В своём неверии мы заботливо охраняем божественное достоинство, о котором Он слишком велик, чтобы думать. Едва ли нужна большая смелость, чтобы сказать: Богу приятнее дерзновение Иова, который врывается к Нему и распахивает дверь Его покоя до самой стены, словно встревоженный, возможно сердитый, но всё же верный ребёнок, и громко взывает к Тому, Чьё совершенное Отцовство ему ещё предстоит узнать: «Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу?»

[26] Осмелимся же взойти на ту высоту божественной истины, куда ведёт нас это изречение Господа.

[27] Разве оно не приводит нас сюда: к тому, что преданность Бога Своим созданиям совершенна? Что Он думает не о Себе, а о них? Что Он ничего не желает для Себя, но находит Своё блаженство в излиянии блаженства?

> [28] Ах, это страшная слава — неужели она будет одинокой? Мы приблизимся
> с нашим человеческим ответом, с отречением от себя в вере
> Иисуса. Он отдаёт Себя нам — разве мы не отдадим себя Ему?
> Разве не отдадим себя друг другу, тем, кого Он любит?

[29] Ибо когда ребёнок бывает идеальным ребёнком для наших глаз и наших сердец? Не тогда ли, когда нежной рукой берёт отца за бороду и поворачивает его лицо к братьям и сёстрам для поцелуя? Когда исчезло даже прелестное себялюбие, ищущее любви, и сердце целиком поглощено любовью?

[30] Итак, вот в чём Бог подобен ребёнку: Он просто и всецело наш друг, наш отец — больше, чем друг, отец и мать, — наш бесконечный Бог, совершенный в любви. Величием и силой превосходя всё, что человеческое воображение способно представить в поэтической мысли и царственном действии, Он нежностью превосходит всё, что человеческая нежность способна представить в муже или жене, близостью и домашней простотой — всё, что человеческое сердце способно представить в отце или матери. У Него нет двух разных мыслей о нас. В Нём всё — простота намерения, смысла, усилия и цели: чтобы мы были такими, как Он, думали те же мысли, имели те же намерения, обладали тем же блаженством. Это так ясно,

что любой может увидеть, каждый должен увидеть, каждый увидит. Иначе быть не может. Он всецело верен и благ к нам, и ничто не устоит против Его воли.

31 Как же ужасно богословы исказили Бога, меряя Его низкими и показными, а не возвышенными и простыми человеческими мерками! Почти все изображают Его великим Царём на великолепном престоле, размышляющим, как Он велик, поставившим делом Своего бытия и целью Своей вселенной поддержание собственной славы, мечущим, как Юпитер, молнии в тех, кто произносит Его имя всуе. Они бы с этим не согласились, но проследите их слова до конца — и получится почти это. Братья, нашли ли вы нашего Царя? Вот Он целует маленьких детей и говорит, что они подобны Богу. Вот Он за столом, голова рыбака покоится на Его груди, а на сердце у Него немного тяжело оттого, что даже этот, любимый ученик, ещё не может как следует Его понять. Самый простой крестьянин, любящий детей и овец, был бы — нет, не более истинным, ибо тот образ ложен, а просто истинным образом нашего Бога рядом с этим чудовищным монархом.

32 Бог, Который всегда выражает Себя в изменчивом изобилии природы; Который тратит миллионы лет на создание души, способной понять Его и быть блаженной; Которому никогда не нужно спешить и Который никогда не спешит; Который приветствует простейшую мысль об истине или красоте как урожай от семени, посеянного Им на древних залежах вечности, радуется отклику нерешительного мгновения на вековечный клич Его мудрости на улицах; Бог музыки, живописи, зодчества, Господь Сил, Бог гор и океанов, Чьи законы исходят из одной невидимой точки мудрости и туда возвращаются

без малейшей утраты; Бог истории, трудящийся во времени к осуществлению христианства, — этот Бог есть Бог маленьких детей, и только Он может быть совершенно, самозабвенно прост и предан. Глубочайшая, чистейшая любовь женщины имеет в Нём свой источник. Наши томящиеся желания так же неспособны исчерпать полноту сокровищ Божества, как наше воображение — измерить их. От Него не может скрыться ни мысль, ни радость, ни надежда одного из Его созданий; и пока хоть одна из них остаётся неудовлетворённой, Он не Господь над всем.

33 Поэтому с ангелами и архангелами, с духами праведников, достигших совершенства, с малыми детьми Царства, да, с Самим Господом и за всех, кто Его не знает, мы хвалим, величаем и славословим само Его имя, говоря: *Отче наш*. Мы не отступаем оттого, что недостойны, ни даже оттого, что жестокосердны и не заботимся о добре. Ведь именно Его детская простота делает Его нашим Богом и Отцом. Совершенство Его отношения к нам поглощает все наши несовершенства, все изъяны, всё зло; ибо наше детство рождено Его отцовством. Совершенен в вере тот человек, который может прийти к Богу в полном оскудении чувств и желаний, без тепла и без стремления, под тяжестью низких мыслей, неудач, небрежения и рассеянной забывчивости и сказать Ему: «Ты — моё прибежище, потому что Ты — мой дом».

34 Такая вера не приведёт к самонадеянности. Человек, способный так молиться, лучше другого будет знать, что Бог поругаем не бывает; что Он не человек, чтобы раскаиваться; что слёзы и мольбы не склонят Его к нарушению хоть одного из Его законов; что, если бы Бог дал человеку лишь потому, что тот попросил, нечто

несогласное с Его законами истины и правды, это значило бы обречь его на погибель — бросить во тьму внешнюю. И этот человек знает, что из той темницы Бог, простой как ребёнок и невозмутимый, никого не выпустит, пока тот не заплатит последней монеты.

35 А если человек это забудет, Бог, Которому он принадлежит, этого не забывает, не забывает его самого. Жизнь — не ряд случайностей с редкими вкраплениями промысла для поддержания веры, которая по праву слабеет, а единый Промысл Бога; и не пройдёт много времени, как сама жизнь напомнит человеку, возможно в душевной муке, о забытом. Когда он молится об утешении, ответ может прийти смятением, ужасом и отвратившимся лицом Отца; ведь сама любовь ради любви отвернёт лицо от непрекрасного; и ему придётся прочесть написанные на тёмной стене его заточённой совести слова, страшные и славные: *Бог наш есть огонь поядающий*.

Огонь поядающий

[1] *Бог наш есть огонь поядающий*. — Евр. 12:29.

[2] Ничто не бывает неумолимым, кроме любви. Любовь, которая уступит мольбе, несовершенна и бедна. Да и тогда уступает не любовь, а примесь в ней. Ведь если при звуке мольбы любовь побеждает неудовольствие, это любовь утверждает себя, а не отказывается от своих требований. Не любовь неохотно дарует благо; тем более не любовь отвечает на молитву во зло и во вред молящемуся. Любовь едина, и любовь неизменна.

[3] Ибо любовь любит до чистоты. Любовь всегда имеет в виду абсолютную прелесть того, на что взирает. Где прелесть неполна и любовь не может любить во всю свою полноту, она тратит себя, чтобы сделать любимое прекраснее и тем самым любить больше; она стремится к совершенству, даже ради собственного совершенства — не в себе самой, а в своём предмете. Как именно любовь первоначально создала человечество, так даже человеческая любовь, по мере своей божественности, будет и дальше создавать прекрасное, чтобы изливаться в него. Нет ничего вечного, кроме того, что любит и может быть любимо; и любовь всегда восходит к тому завершению, когда такой станет вселенная — нетленная, божественная.

[4] Поэтому всё непрекрасное в любимом, всё, что встаёт между ним и любовью и ей не сродни, должно быть уничтожено.

[5] И Бог наш есть огонь поядающий.

6 Если это трудно понять, то так, как трудно понять простую, безусловную истину. Могут пройти века веков, прежде чем человек увидит истину, — века борьбы, усилий, стремления. Но едва он её увидит, она окажется настолько ясной, что он удивится, как мог жить, не видя её. Он не понял её раньше просто и только потому, что не видел её. Увидеть истину, узнать, что она такое, понять её и полюбить — всё это одно. Много движений к ней, много страдания от её отсутствия, много воплей совести против пренебрежения ею, много смутной тоски по ней как по неведомой потребности предшествует тому, как наконец проснутся глаза и мрак полной снов ночи уступит свету солнца истины. Но, однажды увиденная, она остаётся навсегда. Увидеть один божественный факт — значит встать лицом к лицу с вечной жизнью в её существе.

7 Ради этого видения истины Бог трудился века веков. Ради этого простого состояния, этой вершины жизни, на которой человек, словно ребёнок, удивляется, что не может заставить других видеть так, как видит он, весь труд Божьей науки, истории, поэзии — со времени, когда земля собралась в одинокую огненную каплю на раскалённом ободе несущегося солнечного колеса, до времени, когда Александр Джон Скотт поклонялся Ему с её поверхности, — развёртывал истину за истиной в прекрасном видении, в мучительном законе, никогда не лгая, никогда не раскаиваясь. И ради этого терпение Бога будет трудиться, пока остаётся хоть одна человеческая душа, чьи глаза не открылись, в которой ещё не родилось детское сердце. Ради этого единственного состояния человечества, этого простого созерцания, всё творчество Божьей мысли изливалось в бесчисленные, меняющиеся формы от основания мира; ради этого совершалось и божественное разрушение — чтобы Его жизнь стала

нашей жизнью, чтобы и в нас пребывал тот же поядающий огонь, который есть любовь в своей сущности.

[8] Взглянем на изречение апостола, увенчанное этим прекрасным ужасом: «Бог наш есть огонь поядающий».

[9] «Итак, принимая царство непоколебимое, будем иметь благодать, которой станем служить Богу угодным Ему образом, с благоговением и благочестивым страхом, ибо Бог наш есть огонь поядающий». — Мы приняли царство, которое нельзя поколебать, чья природа непоколебима: будем же иметь благодать служить Поядающему Огню, нашему Богу, с божественным страхом; не со страхом, который пресмыкается и выпрашивает, а склоняя все мысли, все наслаждения, всякую любовь перед Тем, Кто есть жизнь их всех и хочет, чтобы все они были чисты. Царство, которое Он дал нам, нельзя поколебать, потому что в нём нет ничего слабого: оно принадлежит вечному миру, миру бытия и истины. Поэтому мы должны поклоняться Ему со страхом столь же чистым, сколь непоколебимо Царство. Он потрясёт небо и землю, чтобы осталось одно непоколебимое (*стих* 27); Он — огонь поядающий, чтобы лишь несгораемое явилось вечным. Сама природа Бога, столь страшно чистая, что она, подобно огню, уничтожает всё нечистое, требует такой же чистоты в нашем поклонении. Он требует чистоты. Дело не в том, что огонь будет жечь нас, если мы не станем так поклоняться; дело в том, что огонь будет жечь нас, пока мы не станем так поклоняться; да, он будет продолжать гореть внутри нас и после того, как всё чуждое ему поддастся его силе, — уже не болью и истреблением, а высочайшим сознанием жизни, присутствием Бога. Когда зло, которое одно только и может быть истреблено, уйдёт в Его огне из обитателей

непоколебимого Царства, человеческая природа взглянет в лицо природе Бога и страх человека тогда будет чист; ибо вечный, то есть святой, страх должен возникать из знания природы, а не из ощущения силы. Но то, что не может быть истреблено, должно быть едино в себе, быть простым существованием; поэтому в такой душе страх перед Богом сольётся с самой домашней, близкой любовью. Да, страх Божий побудит человека бежать не от Него, а от самого себя; не от Него, а к Нему, Отцу его самого, в ужасе перед тем, чтобы поступить несправедливо с Ним или со своим ближним. И первые слова, которыми далее раскрывается благодать, позволяющая нам служить Богу угодным Ему образом, таковы: «Братолюбие да пребывает». Любить брата — значит поклоняться Поядающему Огню.

[10] По-видимому, символ *поядающего огня* был подсказан писателю огнём, горевшим на горе древнего закона. Этот огонь был частью откровения Бога, данного там израильтянам. И это был не первый случай подобного откровения. Знаком Божьего присутствия, перед которым Моисей должен был снять обувь и к которому ему небезопасно было приближаться, был огонь, который *не пожирал куста, где горел*. Оба откровения были откровениями ужаса. Но тот же символ в устах писателя Нового Завета должен означать больше — не больше, чем он означал прежде, а больше, чем прежде был призван выражать; ведь его нельзя было употребить для выражения того, чего они не могли воспринять. Что, кроме ужаса, мог народ рабов, в самые души которого въелась ржавчина цепей, в чьей памяти ещё стоял дым египетских котлов с мясом, народ, который предпочёл бы вернуться в дом рабства, лишь бы не отказаться от любимой пищи, — что, кроме ужаса и гибели, мог такой

народ увидеть в этом огне? Как могли они подумать об очищении огнём? В них ещё не было такого душевного состояния, которое могло бы породить эту мысль. А если бы мысль и возникла, представление о связанных с этим страданиях вскоре подавило бы представление об очищении. И такой народ не стал бы слушать учения, не подкреплённого ужасом. Страх — вот к чему они были готовы. Они не поклонялись никакому существу, которого не должны были бояться.

11 Так неужели зрелище на горе Синай было уловкой для побуждения к послушанию, какими дурные няньки пользуются с детьми? Намёком на смутный и ложный ужас? Разве оно не было истинным откровением Бога?

12 Если это не было истинным откровением, то не было откровением вовсе, и либо рассказ ложен, либо всё зрелище было политической хитростью Моисея. Те, кто умеет читать в душе Моисея, нелегко поверят последнему; а те, кто понимает замысел предполагаемого откровения, не увидят основания допускать первое. То, что было бы политически хитроумным, будь оно обманом, ещё не исключает возможности иного источника. Некоторые так мало верят в космос, то есть в упорядоченный мир, что сам довод о целесообразности становится для них причиной неверия.

13 Во всяком случае, если Бог показал им это, Бог показал им истину. Это было откровением Его Самого. Он не надевает маски. Он облекается лицом. Он не станет говорить из пылающего огня, если этот пылающий огонь Ему чужд, если в Нём нет ничего, что такой огонь мог бы открыть. Как бы ни были невежественны и грубы Его дети, Он не станет устрашать их ложью.

[14] Это было откровение, но частичное; истинный символ, но не окончательное видение.

[15] Никакое откровение не может быть иным, чем частичным. Если для истинного откровения человеку необходимо сообщить всю истину, тогда прощай, откровение; да, прощай и сыновство. Ведь какое откровение бесконечного Бога, кроме частичного, может принять даже высочайшее духовное состояние? Но оно не становится ложным оттого, что частично. Для воспринимающего на более низкой ступени более частичное откровение могло бы оказаться истиннее того, что являлось бы более полным откровением для стоящего выше: первое могло бы многое ему открыть, а последнее — ничего. Только если природа откровения, что бы оно ни открывало, исключала бы развитие и рост, приковывая человека к его неполноте, оно было бы всего лишь ложным откровением, воюющим против всех божественных законов человеческого бытия. Истинное откровение самой правдивостью своей неполноты пробуждает желание узнать больше.

[16] Вот народ на самой низкой ступени: мог ли он принять что-либо, кроме частичного откровения, откровения страха? Как могли евреи, существа, считавшие благом почитать золотого тельца, не ужаснуться тому, что противостояло всему известному им о себе? Такими, какими они были, им было хорошо бояться. Признавая хотя бы ужас *над* собой, пламеневший на неведомой горной вершине, они находились в лучшем состоянии, чем склоняясь перед идолом, стоявшим ниже их. Страх благороднее чувственности. Страх лучше, чем отсутствие Бога, лучше бога, сделанного руками. В этом страхе глубоко таилось чувство бесконечного. Поклонение из

страха истинно, хотя и стоит очень низко; и хотя само по себе оно не угодно Богу, ибо Ему угодно лишь поклонение в духе и истине, всё же даже в Его глазах оно драгоценно. Ведь Он смотрит на людей не только такими, какие они есть, но и такими, какими они будут; не только такими, какими будут, но и такими, как они сейчас растут или способны расти к тому образу, по которому Он создал их, чтобы они до него выросли. Поэтому тысяча ступеней, каждая из которых сама по себе почти ничего не стоит, имеют неизмеримую ценность как необходимые, связанные между собой степени бесконечного восхождения. Состояние, которое при падении указывало бы на дьявола, при росте может указывать на святого. Итак, в этой мере откровение, не будучи ни окончательным, ни полным, вызывая в них лучшее, на что они тогда были способны, и тем делая возможным будущее, более высокое откровение, могло быть истинным.

[17] Но мы увидим, что это самое откровение огня само по себе истинно — в более высоком смысле — для радующегося святого, как и для трепещущего грешника. Ведь первый дальше проникает в смысл огня и лучше знает, что тот с ним сделает. Этот символ не нуждался в замене — лишь в раскрытии. Пока люди стоят *на стороне* своих грехов, пока чувствуют, будто, отделившись от грехов, перестанут быть самими собой, как могут они понять, что слово-молния есть Спаситель, — то слово, которое проникает до разделения человека и зла, которое умертвит грех и оживит грешника? Может ли утешить их известие, что Бог так любит их, что огнём выжжет из них нечистоту? Может ли очищение огнём казаться им чем-либо большим, чем тем, чем оно всегда в той или иной мере должно быть, — процессом мучения? Они не

хотят быть чистыми и не могут вынести мучений. Так могут ли они поступать иначе — или можем ли мы желать от них иного, — чем бояться Бога, пусть даже страхом нечестивых, пока не научатся любить Его любовью святых? Для них гора Синай увенчана знаками мести. И разве Бог не готов сделать с ними именно то, чего они боятся, хотя и с иным чувством и ради иной цели, чем они способны предположить? Он против греха: насколько и пока они с грехом едины, Он против них — против их желаний, целей, страхов и надежд; и тем самым Он всецело и всегда *за них*. Те гром, молния и буря, тот мрак, раздираемый трубным звуком, тот зримый ужас, вздымавшийся волнами от голоса слов, были лишь слабым чувственным образом для рабов того, что Бог мыслит и чувствует против мерзости и себялюбия, той неутихающей, неутолимой неприязни, с которой Он взирает на такие состояния. Это было дано, чтобы тупой народ, хоть немного боясь поступать по своей воле, оставил в себе немного места для роста той благодати, которая наконец позволила бы ему увидеть: страшен грех, а не огонь; да, преобразила бы людей так, что они радостно бросились бы вверх, в трубный глас Синая, спасаясь от флейт вокруг золотого тельца. Сумей они понять это, гора Синай была бы им не нужна. Это было истинное и по необходимости частичное откровение — частичное, чтобы быть истинным.

[18] Даже Моисей, человек Божий, не был готов принять уготованное откровение; не был готов, хотя из любви к своему народу молил Бога даже изгладить его из Своей книги жизни. Если это означает, что он предлагал принести себя в жертву *вместо* них, тут было бы достаточно оснований, почему он не мог быть прославлен видением Искупителя. Ведь тогда он рассчитывал

умилостивить Бога, не видя, что Бог столь же нежен, как он сам, не видя, что Бог — Примиритель, Искупитель, не видя, что жертва сердца есть то примирение, о котором только Он и заботится. Моисей хотел бы быть изглажен, чтобы их имена сохранились. Несомненно, когда Бог сказал ему, что согрешивший должен за это пострадать, Моисей не мог увидеть, что это самое доброе, что мог сделать Бог. Но я сомневаюсь, что Моисей имел в виду именно это. Скорее, это похоже на слова божественного отчаяния: он не хотел пережить сынов своего народа. Ему была не нужна любовь, которая спасла бы его одного, а тысячи братьев и сестёр, поклонявшихся тельцу, отправила бы в прах. Но в любом случае, много ли понял бы Моисей, если бы увидел лицо, а не спину того Образа, который прошёл мимо расселины скалы среди громовых испарений Синая? Если бы тот Образ обернулся и то лицо взглянуло на него — лицо Того, Кто был более человеком, чем любой человек; лицо, через которое божественное чувство в грядущие века должно было открыться человеческим глазам, возможно склонённое в тот миг в предвидении венца, которым потомки народа, за который Моисей просил ценою жизни, однажды Его увенчают; лицо Того, Кто нёс и ещё должен был понести их немощи и скорби, Кто теперь несёт наши немощи и скорби; лицо Сына Божия, Который, вместо того чтобы принять жертву одного из Своих созданий ради удовлетворения Своей справедливости или поддержания Своего достоинства, всецело отдал Себя им и тем самым Отцу, исполняя Его прекрасную волю; Который страдал до смерти не для того, чтобы люди не страдали, а чтобы их страдания стали подобны Его страданиям и возвели их к Его совершенству; если бы это лицо, говорю я, обратилось к Моисею и взглянуло на него, остался бы Моисей жив?

Разве не умер бы он — не от сияния, не от горя (ужаса там не было), а от самого зрелища непостижимого? Если бы бесконечная тайна не убила его, разве он не ходил бы ошеломлённый, ничего не делая, уже не имея в мире никакого дела, какое мог бы исполнить, поскольку Бог был бы ему совершенно неизвестен? Ведь так полное откровение не только не стало бы откровением, но уничтожило бы всякое откровение.

19 «Не может ли тогда повредить утверждение, что Бог есть Любовь — вся любовь и ничто, кроме любви? Недостаточно ответить, что это истина, даже если признать, что так оно и есть. По вашему же объяснению, избыток откровения может повредить, ослепляя и лишая зрения».

20 Есть большая разница между тайной Бога, которой не понимает никто, и тайной Бога, постигнутой хотя бы одним-единственным человеком. Последняя уже стала откровением; и, пройдя через ум этого человека, она будет представлена так — возможно, настолько *слабо*, — что не повредит его ближним. Пусть Бог скрывает как пожелает (хотя я верю, что Он всегда уничтожает сокрытость, всегда даёт всё, что может, всё, что люди способны принять из Его рук, что Он хочет не скрывать что-либо, а открывать всё); свет, полученный каким-нибудь человеком, не следует ставить под сосуд: он дан ему и его ближним. Сея семя, он не удержит руки из-за того, что есть терние, каменистые места и обочины. Он подумает, что иной раз даже птица небесная может перенести посеянное; что доброе семя может оказаться сильнее терния; что увядающее на каменистом месте всё же может, разложившись, оставить там более глубокий слой почвы для укоренения следующего семени. Кроме

того, принять учение могут только имеющие уши, чтобы слышать. Если бы себялюбивый человек мог в него поверить, он истолковал бы его превратно; но поверить он не может. Это для него невозможно. Зато любящая душа, угнетённая ложным учением или частичной истиной, выдающей себя за целое, услышит, поймёт, возрадуется.

21 Ибо, говоря, что Бог есть Любовь, учим ли мы людей, что их страх перед Ним безоснователен? Нет. Всё, чего они боятся, постигнет их, возможно — гораздо больше. Но за их страхом есть нечто ещё: божественная участь, которой они не могут противостоять, потому что она действует заодно с человеческой индивидуальностью, которую божественная Индивидуальность сотворила в них. Гнев пожрёт то, что они *называют* собой, чтобы явились те личности, которые создал Бог, выходя с десятикратно усиленным сознанием бытия и неся с собой всё, что составляло блаженство жизни, которую эти люди пытались вести без Бога. Они узнают, что лишь теперь впервые стали вполне самими собой. Скупой, усталый, себялюбивый, подозрительный старик уйдёт. Останется молодое, вечно молодое «я». То, чем они себя *считали*, исчезнет; то, чем они себя ч*увствовали*, хотя неверно судили о собственных чувствах, останется — останется прославленным в покаянной надежде. Ибо останется то, что нельзя поколебать. Бессмертное в Боге останется в человеке. Смерть, которая в них, будет истреблена.

22 Закон Природы, то есть закон Бога, состоит в том, что всё разрушимое будет разрушено. Когда бессмертное погребает себя в разрушимом, когда получает все вести извне через окружающую область распада и никаких изнутри, от вечных врат, — оно, оставаясь бессмертным, не может знать своего бессмертия. Разрушимое должно

быть выжжено из него — или должно начаться его выжигание, — прежде чем оно сможет *приобщиться* вечной жизни. Когда всё это сгорит и исчезнет, тогда оно имеет вечную жизнь. Вернее, когда огонь вечной жизни овладевает человеком, разрушимое исчезает совершенно и человек чист. Дело многих людей должно сгореть, чтобы самим этим горением они спаслись — «как бы через огонь». В дым уходят властительства, мирские звания равви, и человек, принимающий это сожжение, спасается огнём; ведь огонь уничтожил разрушимое — оплот смертоносного, которое погубило бы и тело, и душу в геенне. Если же человек всё ещё цепляется за то, что может гореть, огонь проникает всё глубже и глубже в его грудь, пока не достигнет корней поработившей его лжи — быть может, поработившей тем, что походила на истину.

23 Человек, любящий Бога и ещё не чистый, ищет Божьего огня. И он не всегда мучителен. Иногда огонь проявляется лишь как свет — и всё же остаётся огнём очищения. Поядающий огонь и есть первоначальная, деятельная форма Чистоты — то, что делает чистым, что воистину есть Любовь, творческая сила Бога. Без чистоты невозможны ни творение, ни продолжение бытия. Нечистое тленно, а тление не может наследовать нетление.

24 Человек, чьи дела злы, боится огня. Но огонь придёт не в меньшей мере оттого, что он боится его или отрицает. Убежать невозможно. Ибо Любовь неумолима. Бог наш есть огонь поядающий. Он не выйдет, пока не уплатит последней монеты.

25 Если человек сопротивляется Божьему горению, поядающему огню Любви, его ждёт страшная участь, и её день придёт. Кто ненавидит Божий огонь, будет брошен во

тьму внешнюю. Какой болезненный ужас овладеет им тогда! Ведь как бы мало человек ни думал о Боге и ни заботился о Нём, от этого он не существует без Бога. Бог здесь, с ним: поддерживает, согревает, радует, учит его, делает жизнь для него благом. Бог даёт ему его самого, хотя человек этого не знает. Но когда Бог отходит от человека настолько, насколько это возможно без прекращения его бытия; когда человек чувствует себя брошенным, повисшим в непрестанном головокружении существования на краю пропасти собственного бытия, без опоры, без прибежища, без цели, без конца — ибо у души нет оружия, чтобы уничтожить себя, — без вдыхаемой радости, без всего, что делает жизнь благой, — тогда он в муке станет вслушиваться, не донесётся ли из-за закрытой двери слабейший звук жизни; тогда, если стон страдающего человечества когда-нибудь достигнет слуха этого изгнанника тьмы, он будет готов броситься в самое сердце Поядающего Огня, чтобы ещё раз узнать жизнь, променять этот ужас болезненного отсутствия, невыразимой смерти на ту область мучительной надежды. Воображение не способно завести нас слишком далеко в ужасе перед бытием без Бога — той единственной живой смертью. Разве это не значит

[26] Быть хуже самых худших из тех, чьи вопли
Рисует нам разнузданная, смутная мысль?

[27] Но с этой божественной разницей: тьма внешняя — лишь самая страшная форма поядающего огня, огонь без света, зримая тьма, чёрное пламя. Бог удалился, но не выпустил человека из рук. Его лицо отвёрнуто, но рука по-прежнему лежит на человеке. Его сердце перестало биться в сердце человека, но Своим огнём Он поддерживает в нём жизнь. И этот огонь будет

продолжать искать и жечь в нём, как и в высочайшем святом, ещё не чистом так, как чист Он.

28 Но в конце концов, о Боже, не бросишь ли Ты Смерть и Ад в озеро Огня — в Самого Себя, поядающего? Тогда Смерть умрёт навеки,

> 29 И сам Ад пройдёт,
> Оставив скорбные чертоги заглянувшему в них дню.

30 Тогда Ты воистину будешь всё во всём. Ибо тогда наши бедные братья и сёстры, все до одного, — о Боже, мы веруем в Тебя, Поядающий Огонь, — будут очищены огнём и приведены домой. Ведь если их стоны, доносящиеся из-за мириад веков, обратили бы для нас небо в ад — неужели человек милосерднее Бога? Неужели из всех Его славных свойств одно лишь милосердие не бесконечно? Неужели брат любит брата больше, чем Отец любит сына? Больше, чем Брат Христос любит Своего брата? Разве Он не умер бы ещё раз, чтобы спасти ещё одного брата?

31 Что до нас, мы теперь придём к Тебе, нашему Поядающему Огню. И Ты не будешь жечь нас больше, чем мы способны вынести. Но Ты будешь жечь нас. И хотя покажется, что Ты убиваешь нас, всё же мы будем доверять Тебе даже в том, чего Ты не говорил, — чтобы хоть каким-нибудь путём наконец достигнуть блаженства тех, *кто не видел и всё же уверовал*.

Высшая вера

[1] *Иисус говорит ему: Фома, ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и всё же уверовавшие*. — Ин. 20:29.

[2] Стремящегося ввысь ребёнка нередко останавливает туповатый ученик, так плохо усвоивший уроки, что он никогда не вышел за пределы учебников. Наполненный обрывочными правилами, он не постиг основания ни одного из них. Ребёнок подходит к нему с каким-нибудь порывом необычного чувства, с искрой живой надежды, с широким полётом воображения, который вовлекает в круг религиозных представлений мир природы и ещё более широкий мир человечества, — ведь для ребёнка дела Отца наполняют все пространства; он ещё не научился отделять Бога от природы, Промысл от благодати, любовь от благоволения. Ребёнок, говорю я, приходит с переполненным сердцем, а в ответ слышит от туповатого ученика: «Бог ничего не сказал об этом в Своём слове, поэтому мы не вправе во что-либо такое верить. Лучше не рассуждать о подобных вещах. Какими бы желанными они нам ни казались, нам до них нет дела. Это не открыто». Такой человек неспособен даже заподозрить, что сокрытое от него могло быть открыто младенцу. Поэтому с авторитетом лет и невежества он запрещает ребёнку: ведь он не признаёт никакого откровения, кроме Библии, и верит лишь её слову. Для него всякое откровение прекратилось с Библией и погребено в ней; его предстоит с трудом откопать, а затем, долго допрашивая истлевшие останки, снова соединить их в жёсткий скелет метафизического и юридического сооружения, позволяющего любви Бога действовать беспрепятственно,

не встречая помех со стороны прочих совершенств Его существа.

[3] Но у человека, который хочет жить всем божественным строем своего существа, не ограничиваясь одним разрушенным уголком своего царства и не отдавая остальное бесам, населяющим подобные пустыни, возникнут тысячи вопросов, на которые Библия даже не намекает. Неужели ему действительно нет до них дела? Неужели они лежат за пределами его ответственности? «Оставь их», — говорит туповатый ученик. «Не могу, — отвечает человек. — От ответа на эти вопросы зависит не только та мера душевного покоя, без которой невозможно действовать: мои поступки сами должны соответствовать этим ответам». — «Оставь их хотя бы до тех пор, пока Бог не соблаговолит всё объяснить, если вообще соблаговолит». — «Нет. Вопросы предполагают ответы. Он вложил вопросы в моё сердце; ответы Он хранит в Своём. Я буду искать их у Него. Я буду ждать, но прежде постучусь. Я буду терпелив, но прежде спрошу. Я буду искать, пока не найду. У Него есть что-то для меня. Да взойдёт моя молитва к Богу моей жизни».

[4] Поистине печально было бы всё это, если бы Библия сообщила нам *всё*, во что Бог хочет, чтобы мы верили. Но здесь тяжело оскорбляют саму Библию. Она нигде не притязает на то, чтобы её считали *самим* Словом, *самим* Путём, *самой* Истиной. Библия ведёт нас к Иисусу — неисчерпаемому, вечно раскрывающемуся Откровению Бога. Именно Христос — Тот, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и знания»; не Библия, разве лишь постольку, поскольку она ведёт к Нему. И почему нам сказано, что эти сокровища *сокрыты* в Том, Кто есть *Откровение* Бога? Неужели для того, чтобы мы отчаялись

их найти и перестали искать? Разве не для того они сокрыты в Нём, чтобы в должное время быть открытыми нам — то есть когда они нам понадобятся? Разве их сокрытость в Нём не есть посредствующая ступень к их раскрытию в нас? Разве Он не Истина — Истина для людей? Разве Он не Первосвященник Своих братьев, отвечающий на все тревожные вопросы, возникающие в сумерках их человеческой природы? Ибо именно Его сердце

[5] Хранит добра, мудрости, справедливости совершенный образ.

[6] Дидим отвечает: «Несомненно, то, чего мы не знаем теперь, мы узнаем впоследствии». Конечно, могут существовать вещи, которые осветит один лишь переход на другую ступень бытия; однако вопросы, возникающие здесь, надлежит исследовать здесь, а если здесь ответа не будет, то и там — пока они не получат ответа. Во Христе сокрыто больше, чем мы когда-либо узнаем, здесь или там; но те, кто первыми начнут вопрошать, раньше возрадуются откровению; и именно ими Он будет больше всего доволен, ибо медлительность учеников огорчала Его и прежде. Говорить, что нужно ждать иного мира, чтобы познать мысль Того, Кто пришёл в этот мир отдать нам Себя, представляется мне безумием мирского и ленивого духа. Сын Божий *есть* Учитель людей, дающий им от Своего Духа — того Духа, Который открывает глубины Божии, становясь для человека умом Христовым. Великая ересь современной Церкви — неверие в этого Духа. Большинство в Церкви не верит, что у Духа есть откровение для каждого человека в отдельности — откровение, настолько отличное от откровения Библии, насколько пища в тот миг, когда она превращается в

живые ткани мозга и нервов, отличается от хлеба и мяса. Если бы мы однажды исполнились умом Христовым, то узнали бы, что Библия совершила своё дело, исполнилась и для нас миновала, дабы благодаря этому Слово Бога нашего пребывало вовек. Единственное назначение Библии — обращать наш взор к Иисусу, чтобы через Него мы познали Его Отца и нашего Отца, Его Бога и нашего Бога. Пока мы не познаем Его так, будем дорожить Библией как луной нашей тьмы, при которой мы идём на восток; но не как солнцем, откуда исходит её свет и к которому мы спешим, чтобы, ходя в свете самого солнца, больше не нуждаться в зеркале, отражавшем его отсутствующее сияние.

7 Но учение о Духе сейчас не моя цель, хотя, не будь оно истинным, вся наша религия была бы тщетной — и религия святого Павла, и религия Сократа. Я хочу сказать и, если сумею, показать, что человек больше угодит Богу, веря в нечто ему не сказанное, чем ограничивая свою веру тем, что высказано прямо — высказано, чтобы пробудить в нас способность видеть истину, духовное желание, молитву о благах, которые Бог даст просящим Его.

8 «Но разве это не опасное учение? Не научится ли так человек верить в то, что ему больше всего нравится, и даже молиться о том, что ему больше всего нравится? И не станет ли он надменным в своей уверенности?»

9 Если верно, что Дух ведёт борьбу вместе с нашим духом, если верно, что Бог учит людей, мы можем без опасения предоставить Ему заботу об этих страшных последствиях. Если человек принадлежит к спутникам Господа, с Ним он в большей безопасности, чем среди тех, кто старается обезопасить себя, держась поодаль и ни на что не

отваживаясь. Если в своих надеждах он не научен Богом, Бог даст ему это узнать. Он получит не то, о чём молится. Если он способен молить Бога о чём-то недобром, ответ придёт в пламени того поядающего огня. Оно быстро приведёт его в чувство хотя бы отчасти — в духовном смысле. Но ему будет гораздо лучше пройти такую суровую школу, чем ползти улиткой по дороге духовной жизни. А что касается надменности, я не видел ничего, что порождало бы её быстрее или в более отвратительном виде, чем поклонение букве.

[10] И от кого человеку, созданному благословенным Богом, ждать того, что ему больше всего нравится, как не от этого благословенного Бога? Если нам действительно дано увидеть, что Бог — наш Отец, как учил нас Господь, пойдём от этой истины дальше, к пониманию, что Он гораздо больше, чем отец; что Его близость к нам превосходит воплощение самого высокого представления об отце; что отцовство Бога для способных это принять — лишь ступень к Его Божеству. То, что человеку больше всего нравится, *может* быть волей Божией, может быть голосом Духа, борющегося *вместе с* его духом, а не против него; если же, как я сказал, это не так, если просимое не согласно Его воле, — существует тот поядающий огонь. Опасность в том, чтобы не просить Бога и не призывать Его в советники, а не в том, чтобы просить у Него недоброго или даже надеяться получить это от Него. И то, что мы не смеем спросить Его волю, не избавит нас от необходимости действовать в каком-нибудь деле, которое мы называем неоткрытым; где же тогда мы окажемся? И опять-таки, при подобном расположении духа едва ли и сама книга будет содержать для нас много откровения.

11 Всё это можно без опасения предоставить Богу.

12 Но я сомневаюсь, *может* ли человек просить у Бога чего-нибудь дурного. Верно, тот, кто уже начал Ему молиться, достаточно подобен ребёнку, чтобы отличить дурное от хорошего, когда оно подошло так близко, и не смеет молиться о *таком*. Если вы укажете мне на Давида, обращавшего к Богу столь страшные молитвы против своих врагов, я отвечу: их нужно читать в свете того, что вы знаете о самом человеке и его истории. Помните, что это тот самый человек, который, обладая пылким сердцем жителя Востока, всё же, когда величайший враг был отдан ему в руки, вместо восточной мести удовольствовался тем, что отрезал край его одежды. В душе он жаждал справедливости и правды, хотя молитвы его облекались в неистовые слова. Бог услышал его и дал ему то, что удовлетворило его сердце. По крайней мере в добром человеке «месть есть», по слову лорда Бэкона, «своего рода необузданная справедливость», и её легко удовлетворить. Сердечное желание такого человека относительно врагов лучше всего удовлетворено и исполнено, когда ненависть превращается в любовь и сострадание.

13 Но я хочу писать скорее о надеждах, чем о молитвах.

14 Что подумал бы я о своём ребёнке, обнаружив, что он ограничивает веру в меня и надежду на меня немногими обещаниями, которые слышал от меня! Вера, ограничивающая себя обещаниями Бога, кажется мне такой же мелкой, как подобная вера моего ребёнка, — вполне годной для язычника, но для христианина жалкой и убогой. Те, кто довольствуется такой верой, чувствовали бы себя ещё спокойнее, имей они вместо Божьего слова Его долговое обязательство: слово они воспринимают не

как выражение Его природы, а как залог Его чести. Они стараются верить в истинность Его слова, но истины Его Существа не понимают. Они убеждают себя, что полагаются на Его клятву; в *Него Самого* они не верят, ибо не знают Его. Потому неудивительно, что они не доверяют тем сердечным приливам, которыми Он влечёт человека к Себе, как солнце и луна поднимают к небу океанскую громаду. Брат, сестра, если такова ваша вера, вы не останетесь, вы не должны останавливаться здесь. Вы должны выйти из рабства закону, которому даёте имя благодати, ибо мало в нём благодатного. Вы ещё познаете достоинство своего высокого призвания и любовь Божию, превосходящую познание. Он не боится, что вы приблизитесь к Нему слишком дерзновенно. Это вы боитесь подойти к Нему. Он не охраняет Своего достоинства. Это вы боитесь, что вас прогонят, как ученики хотели прогнать маленьких детей. Это вы столько думаете о своих душах и так боитесь потерять свою жизнь, что не смеете приблизиться к Жизни жизни, как бы Она вас не поглотила.

15 Боже наш, мы будем доверять Тебе. Разве Ты окажешься меньше нашей веры? Однажды мы сами посмеёмся над собой с презрением за то, что столь малого ждали от Тебя; ибо Твоё дарование не будет ограничено нашими надеждами.

16 О маловерный! «Во всём» — я цитирую твою собственную Библию; более того, я цитирую божественную душу, знавшую своего Учителя Христа и Его силой в лицо противостоявшую апостолам, не говоря уже о христианах, потому что они могли лишь немного верить в Бога; могли верить только за себя, а не за ближних; могли верить за немногих из избранного

народа, о которых имели древнее *слово* Божие, но не могли верить за множество народов, за миллионы сердец, созданных Богом, чтобы искать и найти Его. «Во всём, — говорит святой Павел, — во всём молитвой и прошением с благодарением открывайте ваши просьбы Богу». Для этого *«всего»* ничто не слишком мало. Достаточно того, что оно нас тревожит. В нём заключено какое-то начало, достойное внимания даже Самого Бога: ведь не Он ли создал нас такими, что эта вещь нас тревожит? И, конечно, для этого *«всего»* ничто не может быть слишком велико. Когда Сын Человеческий придёт и найдёт на земле слишком много веры — да убьёт нас Бог в Своём милосердии. А пока мы будем надеяться и доверять.

17 Считаете ли вы великой верой верить в то, что Бог сказал? Повторяю: мне это кажется малой верой и, если она одна, достойной упрёка. Верить в то, чего Он не сказал, — вот подлинная, блаженная вера. Ибо она происходит от веры в НЕГО. Разве вы не можете верить в Самого Бога? Или признайтесь: вам так трудно верить в то, что Он сказал, что даже это почти превосходит ваши силы? Если я спрошу почему, разве верным ответом не будет: «Потому что мы не вполне уверены, что Он это говорил»? Если бы вы верили в Бога, вам было бы легко верить Его слову. Вам даже не понадобилось бы выяснять, *сказал* ли Он это: вы знали бы, что таково Его намерение.

18 Осмелимся же на что-нибудь. Не будем вечно неверующими детьми. Будем помнить: Господь, не запрещая тем, кто настаивает сначала увидеть и лишь потом поверить, благословляет не видевших и всё же уверовавших — тех, кто доверяет Ему больше этого, кто верит, не увидев глазами и не услышав ушами. Блаженны те, для кого чудо — не выдумка, тайна — не насмешка,

слава — не призрак; те, кому достаточно спросить: «Похоже ли это на Него?» Только народ с тупым сердцем, лишённый детской простоты, будет вечно напоминать Богу о Его обещаниях. Эти обещания хороши тем, что открывают, каков Бог; если люди считают их хорошими тем, что они связывают Бога, пусть будет им так по жестокосердию их. Они предпочитают Слово Духу: пусть оно будет их.

19 Даже такие люди — некоторые, если не все, — предоставят нас «милостям Божиим, не оговорённым заветом». Мы желаем не меньшего; мы не надеемся на лучшее. Это милости, превосходящие нашу высоту, нашу глубину, нашу досягаемость. Мы знаем, в Кого уверовали, и ждём того, чего и не приходило человеку на сердце. Неужели мысли человека превзойдут мысли Бога? Человеческое прошение — Божье дарование? Человеческое воображение — Божье творение? Нет. Поднимемся на высоту наших альпийских желаний; оставим их позади и взойдём на копьеобразные Гималаи наших стремлений: всё равно над нами окажется сапфировая глубина Бога; всё равно небеса будут выше земли, а Его мысли и Его пути — выше наших мыслей и наших путей.

20 О Господи! Будь во всём нашем существе; как не в одни лишь воскресенья нашего времени, так и не в одних лишь покоях нашего сердца. Мы не смеем думать, будто Ты не можешь, будто Тебе нет дела; будто на что-то Тебе не следует взирать, о чём-то нельзя Тебя спрашивать. Разве мы не всецело Твои — совершенно Твои? То, чего человек не говорит ближнему, мы говорим Тебе. Даже свои страсти мы поднимаем перед Тобой и говорим: «Воззри, Господи! Подумай о нас, ибо такими Ты нас создал». Мы

не хотим избавляться от собственной истории, убегая в пустыню, пряча головы в песок забвения, или раскаяния, порождённого болью, или безнадёжного оцепенения. Мы берём её, словно саму нашу жизнь, в руки и бежим с ней к Тебе. Победоносен ответ, который Ты хранишь на всякое сомнение. Быть может, мы ещё не поняли бы его, даже если бы Ты произнёс его «чудеснейшим голосом». Но хотя бы веру Ты найдёшь на земле, о Господи, если придёшь искать её теперь, — веру неведающих, но надеющихся детей, которые знают, что не знают, и верят, что знаешь Ты.

21 А наши братья и сёстры, цепляющиеся за то, что они называют Твоим словом, и думающие этим угодить Тебе, пребывают в Твоих святых, надёжных руках, — в руках Того, Кто научил нас, что *всякому, кто скажет слово против Сына Человеческого, простится*; тому же, кто хулит Духа Святого, не простится.

Не простится ему

1 И всякому, кто скажет слово против Сына Человеческого, простится; но тому, кто хулит Духа Святого, не простится. — Лк. 11:18. [1]

2 Всё, что принадлежит области мысли и чувства и выражается словами, неизбежно выражается несовершенно. Ибо мысль и чувство бесконечны, а человеческая речь, при всей широте охвата и удивительной тонкости, в конце концов может воплотить их лишь приблизительно и намёком. Дух и Истина подобны госпоже Уне и Рыцарю Красного Креста; Речь — карлику, который плетётся позади с госпожиным «мешком потребного».

3 У Господа не было намерения строить систему истины в рассудочных формах. Он говорил истину данного мгновения в её отношении к Нему, Истине. Он говорил из области действительностей, которые, как Он знал, в формах рассудка и речи можно лишь подсказать, но нельзя изобразить. Яркими вспышками жизни и истины Его слова вторгаются в нашу тьму, острыми уколами света побуждая нас захотеть пробудиться, восстать из мёртвых и воззвать о свете, который Он может дать не только молнией слов, но и обитающим в нас присутствием и силой.

4 Как же придётся истине среди тех, кто, не обладая ни внутренним теплом, ни прозрением, станет строить рассудочные системы на словах Господа или Его учеников? Маленький ребёнок лучше понял бы Платона, чем они — святого Павла. Смысл, живущий в тех великих сердцах, которые знали Господа, слишком велик, чтобы

войти в их сердца. Смысл, который они находят в словах, должен быть достаточно мал, чтобы пройти в их узкие двери. И если голые слова, без истолковывающего сочувствия, могут означать, как они и могут, почти всё, что слушатель пожелает или сумеет им приписать, то как человек, в лучшем случае занятый спасением собственной души, поймёт, например, смысл слов того апостола, который был готов даже к изгнанию из присутствия Христа, лишь бы туда вошли любимые братья его народа? Для непростых людей простые слова — самые необъяснимые загадки.

5 Если мы обязаны искать, что имеет в виду Господь, — а Он говорит, чтобы мы поняли, — то по крайней мере в равной мере обязаны отвергать всякое толкование, которое кажется нам на Него не похожим, Его недостойным. Он Сам говорит: «Почему вы и сами по себе не судите, что правильно?» Отвергая так, мы, возможно, по неведению или непониманию отвергнем словесную форму истинного толкования; но дух и истину его мы таким образом отвергнуть не можем, ибо не могли бы увидеть их, не находясь в состоянии узнать в них мысль Христа. Какое-нибудь недоразумение, говорю я, какая-нибудь кривизна взгляда или рабская привязанность к старым предубеждениям могут заставить нас отвергнуть истинное толкование, но мы всё равно обязаны отвергнуть его и ждать большего света. Принять за волю Господа то, что для нас несовместимо с уже познанным и почитаемым в Нём, — значит внести разлад в гармонию, цель которой — соединить наши сердца и сделать их цельными.

6 «Нам ли, — говорит возражающий, который какой-то уловкой воли верит в слово отдельно от обозначаемого им

смысла, — судить о характере нашего Господа?» Я отвечаю: «Именно этого Он от нас требует». Он требует, чтобы мы не поступали с Ним несправедливо. Он пришёл бы и поселился с нами, если бы мы только открыли свои покои, чтобы принять Его. Как же мы примем Его, если, уклоняясь от суждения, считаем ту или иную мазню авторитета или предания, висящую на наших стенах, подлинным изображением Господа? Разве не возможно хотя бы то, что, судя неправедным судом по такому изображению и льстя себе, будто отказываемся судить, мы закроем двери перед Самим Учителем как перед самозванцем, не найдя в Нём сходства с картиной, висящей в нашей молельне? И если мы не будем судить — смиренно и с любовью, — кто будет судить за нас? Лучше на время отвергнуть даже истину, чем, принимая в своё рассудочное вероучение то, чего сердце не может принять, не видя его настоящего облика, внести колебание в молитвы, разлад в хвалу и несчастье в любовь. Если это истина, однажды мы увидим её иной, чем она кажется теперь, и полюбим, потому что увидим её прекрасной; ибо всякая истина прекрасна. «Не для невозрождённого ума». Но по крайней мере, отвечаю я, для ума, способного любить того Человека, Христа Иисуса; и последуем той части нас самих, которая любит Его, доверимся её суждениям, более всего надеясь на её рост и просвещение от Господа, Который есть Дух. Повторяю: лучше отвергнуть верную *форму*, чем, принимая её с неверным пониманием её сущности, отвергнуть дух, истину, которая в ней обитает. Что из этого, спрашиваю, больше похоже на грех против Духа Святого? Ошибка в понимании Сына Человеческого вполне может исполнить человека печалью. Но настолько мало о Нём заботиться, чтобы принять за Его слово то,

что благороднейшая часть нашей природы отвергает как низкое и бедное, себялюбивое и неправое, — это, несомненно, больше похоже на грех против Духа Святого, который никогда не может быть прощён; ибо это грех против самой истины, а не против её воплощения в Нём.

[7] Полнота смысла слов зависит от их источника, от личности говорящего. Высказывание может даже показаться банальным, пока вам не скажут, что так говорил человек, который, как вы знаете, всегда мыслит, всегда чувствует, всегда действует. Узнав ум, из которого исходят слова, вы узнаёте меру, по которой их следует понимать. Поэтому слова Бога не могут означать в точности то же, что слова человека. «Разве же мы не можем их понять?» Можем, мы можем их понять — можем понять в них *больше*, чем в человеческих словах. Что бы ни означало доброе слово в устах доброго человека, в устах Бога оно означает бесконечно больше. А чувство или мысль, выраженные этим словом, принимают в нас всё более высокие формы по мере того, как мы становимся способны понимать Его, — то есть становимся подобны Ему.

[8] Меня гораздо меньше заботит объяснение того, что значит грех против Духа Святого, чем объяснение того, что значит непрощение; хотя, думаю, мы можем прийти к некоторому пониманию обоих. Я ни на миг не могу допустить, что в Библии есть что-то слишком таинственное для исследования: ведь Библия — *откровение*, снятие покрова. Правда, во многое сказанное там я могу заглянуть лишь на небольшую глубину. Но и этот небольшой путь — путь жизни, ибо глубина их тайны есть Бог. И даже оставив в стороне долг и ища оправдания, словно долг сомнителен, достаточно

оснований исследовать такие отрывки, как лежащий передо мной, уже в том, что они часто мучают человеческие умы — главным образом благочестивых женщин и детей. Я знал девочку, которая верила, что совершила грех против Духа Святого, потому что, одеваясь, непозволительным образом воспользовалась булавкой. Не смейте упрекать меня за то, что я привожу болезненную фантазию ребёнка в серьёзном богословском вопросе. «Не презирайте ни одного из малых сих». Если бы богословы были в таких вопросах столь же близки к истине, как дети! *Болезненная фантазия!* Ребёнок знал *и сознавал, что знает*, что поступает дурно, потому что это было запрещено. *У её страха было разумное основание*. Как принял бы Иисус признание этой дорогой девочки? *Он* не сказал бы ей, что она глупенькая и что «не стоит обращать внимания». Хотя она была ребёнком, разве Он не мог бы сказать ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и больше не греши»?

[9] Чтобы достичь первой позиции, необходимой для конечного достижения нашей цели, я исследую, что значит божественное прощение. А чтобы прийти к этому естественным путём, начну с вопроса, что значит человеческое прощение; ведь если в Воплощении есть какой-либо смысл, то к Божественному мы должны восходить через Человеческое.

[10] Не знаю, много ли пользы возвращаться к греческому или английскому слову в поисках первоначальной идеи этого действия: одно означает *отослать прочь*, другое — *отдать прочь*. Достаточно будет взглянуть на чувства, связанные с осуществлением того, что называют *прощением*.

11 Человек скажет: «*Я* прощаю, но забыть не могу. Пусть этот малый никогда больше мне на глаза не попадается». До чего достигает такое прощение? До отмены, или удаления, наказаний, которых пострадавший, по его мнению, вправе требовать от обидчика.

12 *Но само зло, вставшее между ними, никуда не отослано*.

13 Другой скажет: «Он поступил очень подло, но хуже всего ему самому, раз он способен на такое. Я слишком его презираю, чтобы желать мести. Я не обращу на это внимания. Я его прощаю. Мне всё равно».

14 Здесь опять-таки зло не удалено из того, что стоит между ними; нет *отпущения* греха.

15 Третий скажет: «Полагаю, я должен его простить: ведь если я его не прощу, Бог не простит меня».

16 Этот человек *немного* ближе к истине, поскольку признаёт между обидчиком и собой основание для сочувствия, пусть лишь основание общей греховности.

17 Ещё один скажет: «Он жестоко со мной поступил. То, что он это сделал, ужасно для меня и ещё ужаснее для него. Он ранил меня, но себя почти убил. Я не допущу, чтобы он понёс от этого ещё больший вред, от которого я могу его уберечь. Пока я не могу чувствовать к нему прежнего; но постараюсь побудить его признать нанесённую мне обиду и тем от неё избавиться. Тогда, может быть, я смогу относиться к нему так, как прежде. Ради этого я проявлю к нему всю доброту, какую сумею, не навязывая её, но пользуясь каждым подходящим случаем; надеюсь, не из желания возвеличить себя щедростью к нему, а потому, что люблю его так сильно, что хочу любить ещё больше, примирив его с его

истинным „я“. Я хотел бы уничтожить это злое дело, вставшее между нами. Я отсылаю его прочь. И я хотел бы, чтобы и он уничтожил его между нами, совершенно от него отрёкшись».

18 Какой из этих случаев ближе к божественной идее прощения? Ближе, хотя и отделён пропастью, какой небеса выше земли?

19 Ибо Божественное создаёт Человеческое и обладает творческой силой сверх человеческой. Именно божественное прощение, само будучи источником, создаёт наше прощение и потому может несравненно больше. Оно может взять все наши беззакония, малые и великие, с их справедливой свитой горестей и скорбей, и унести их прочь из того, что стоит между нашим Богом и нами.

20 Христос есть Божье Прощение.

21 Прежде чем подойти немного ближе к этому великому зрелищу, рассмотрим человеческое прощение в более определённом воплощении — между отцом и сыном. Ведь хотя Бог для нас несравненно больше и приходит к нам гораздо ближе, чем отец может быть или прийти, всё же отцовство — последняя высота человеческой лестницы, с которой наш разум способен увидеть Его вдали и где наши сердца впервые могут узнать, что Он близок, даже пребывает в них.

22 Есть разные виды и степени проступков, которым нужны разные виды и степени прощения. Например, вспышка гнева у ребёнка едва ли требует прощения. Зла в ней может быть так мало, что родителю достаточно лишь побудить ребёнка к самообладанию и пробудить волю против дурного. Отец не почувствует, что такая

провинность воздвигла стену между ним и ребёнком. Но предположим, он обнаружил в нём привычку тайком мучить младших братьев или домашних животных: как иначе он почувствует! Может ли его прощение быть тем же, что в первом случае? Разве иное зло не потребует иной *формы* прощения? Я имею в виду: разве прощение не должно будет принять форму того наказания, которое лучше всего подходит для сдерживания зла в надежде в конце концов искоренить его? Может ли быть истинная любовь в каком-либо ином прощении? Оставление проступка без внимания могло бы исходить из бедной человеческой доброты, но никогда — из божественной любви. Это не было бы *отпущением*. Прощение никогда не может быть безразличием. Прощение есть любовь к непрекрасному.

[23] Взглянем немного ближе на то, что мог бы чувствовать отец и как выразить свои чувства. Одного ребёнка в самую минуту проступка отец прижал бы к груди, зная, что сама любовь в своём естественном проявлении уничтожит в нём проступок и что в следующую минуту ребёнок заплачет. Отцовская ненависть ко греху прорвалась бы сострадательной нежностью к ребёнку, столь несчастному, что он совершил грех, и так уничтожила бы его. Провинность такого ребёнка не прервала бы обмена нежными чувствами. Ребёнок сразу прощён. Но обращение с другим на том же основании было бы совершенно иным. Если он виновен в низости, подлости, себялюбии, лжи, самодовольстве из-за зла, причинённого другим, отец мог бы *сказать* себе: «Я не могу его простить. Это выше прощения». Он мог бы так *говорить* и продолжать говорить, всё время стараясь дать прощению найти путь, чтобы оно подняло сына из пропасти, в которую тот упал. Его любовь могла бы стать

ещё сильнее из-за заблуждения и потерянности сына. Ибо любовь божественна и наиболее божественна тогда, когда любит сообразно *нуждам*, а не *заслугам*. Но прощение было бы ещё, так сказать, в процессе становления или приближения к грешнику. Лишь когда открывшееся сердце примет божественный поток любви, уничтожающей зло, и собственная любовь сына хлынет ему навстречу и смоет зло, можно будет сказать, что прощение совершилось, что оно достигло цели, что сын *прощён*.

[24] Бог прощает нас каждый день — удаляет из того, что стоит между Ним и нами, наши грехи, их туманы и мрак. О том, что Он любит не любящих Его, свидетельствуют сияние Его солнца и падение Его дождя, наполнение их сердец пищей и радостью. Когда какой-нибудь совершённый нами грех затянул облаками весь наш небосклон и скрыл Его от наших глаз, Он, прощая нас прежде, чем мы прощены, и для того, чтобы мы были прощены, расчищает путь, по которому это Его прощение достигнет наших сердец, чтобы, вызвав покаяние, оно уничтожило зло и сделало нас способными даже простить самих себя. Ведь некоторые слишком горды, чтобы себя простить, пока прощение Бога не совершит в них своего дела, не утопит их гордыню в слезах покаяния и не сделает их сердце вновь подобным сердцу маленького ребёнка.

[25] Но если смотреть на прощение как на завершение постоянно совершающейся работы, как на соприкосновение Божьего сердца с нашим вопреки разделяющему злу и в уничтожении его, можно сказать, что Божья любовь всегда идёт впереди Его прощения. Божья любовь — первоначальная движущая сила, всегда

стремящаяся довести до совершенства Его прощение, которому для завершения необходимо соответствующее состояние человека. Любовь совершенна и осуществляет прощение. Бог любит там, где ещё не может простить, — где прощение в полном смысле пока просто невозможно, потому что невозможно соприкосновение сердец, потому что разделяющее их ещё даже не начало поддаваться метле Его святого уничтожения.

[26] Итак, к некоторым вещам между Отцом и Его детьми, как между отцом и ребёнком, можно относиться сравнительно и в определённом смысле снисходительно — я не говорю, что ими можно пренебречь самими по себе: они должны уйти, — поскольку, хотя они зло или грех, всё же оставляют место для пребывания Божьего Духа в сердце, прощающего и очищающего от зла. Когда зло так угасает в человеке и он становится всё лучше, это прощение всё глубже входит в него. Совершенное в Божьей воле, оно совершает своё совершенное дело в уме человека. Когда человек всей своей природой отбросил грех, для прощения больше нет места, ибо Бог пребывает в нём, а он — в Боге. Голосом Нафана: «Ты — тот человек», прощение Бога овладело Давидом, и сердце царя было смирено до праха; а пробудившись так от охватившей его нравственной спячки, он обнаружил, что всё ещё с Богом. «Когда пробуждаюсь, — сказал он, — я всё ещё с Тобой».

[27] Но есть два греха, состоящие не в отдельном поступке, а в духовном состоянии, которые *не могут быть прощены*; то есть, как мне представляется, не могут быть извинены, оставлены без внимания, сочтены незначительными даже Божьей нежностью, поскольку не дают никакому прощению войти в душу, не позволяют

никакому доброму влиянию продолжать действовать рядом с ними: они совершенно исключают Бога. Поэтому виновный в них человек никогда не может принять в себя святые, обновляющие, спасительные воздействия Божьего прощения. Бог вне его во всех смыслах, кроме того, который вытекает из Его отношения к нему как к созданию, — отношения, благодаря которому, благодарение Богу, Он всё же держит человека, хотя и против воли того, кто не хочет быть прощён. Один из этих грехов направлен против человека, другой — против Бога.

[28] Первый — непрощение ближнего, исключение его из нашего милосердия, из нашей любви, а значит, из вселенной, насколько мы составляем её часть, — следовательно, убийство ближнего. Убить человека может быть бесконечно меньшим злом, чем отказать ему в прощении. Первое может быть делом мгновенной страсти; второе — выбор сердца. Ненавидеть, лелеять исключающее чувство, которое в нашем малом мире убивает образ, саму идею ненавистного, — это *духовное* убийство, худшее из убийств. Мы слушаем голос собственной уязвлённой гордости или оскорблённой любви (лишь последняя, без внушения первой, не мыслит зла) во вред обидчику. Насколько можем, мы гасим живые связи между нами; перекрываем пути возможного возвращения. Это значит исключать Бога, Жизнь, Единого. Ибо как мы примем прощающее присутствие, если исключаем брата из своей доли всеобщего прощения, окончательного восстановления, тем отказывая Богу быть Всем во всём? Если бы Бог явился нам, как мог бы Он сказать: «Я прощаю вас», пока мы не прощаем ближнего? Допустим, Он мог бы так сказать: Его прощение не принесло бы нам пользы, пока мы не исцелены от своего непрощения. Оно не коснулось бы

нас. Оно не приблизилось бы к нам. Более того, оно повредило бы нам, ибо мы считали бы себя в безопасности и здравии, пока ужасная болезнь выедала бы наше сердце. Вдесятеро больше прощения заключено в словах: «Если вы не прощаете людям их согрешений, то и Отец ваш Небесный не простит ваших согрешений». Эти слова — подлинная доброта. Бог держит непрощающего человека рукой, но отворачивает от него лицо. Если, желая увидеть лицо Отца, человек обратит своё лицо к брату, тогда лицо Бога поворачивается и ищет его лица: ведь тогда человек может взглянуть на Бога и не умереть. Вместе с нашим прощением ближнего в нас вливается сознание Божьего прощения; даже уже с усилием простить мы становимся способны поверить, что Бог может простить нас. Ни один человек, не желающий простить ближнего, не может поверить, что Бог готов, даже жаждет простить его; не может поверить, что голубь Божьего мира парит над хаосом сердца, желая опуститься, но не находя покоя для своей ноги. Сказать такому человеку: «Я не могу простить тебя», — для Бога и любовь, и необходимость. Если бы Бог сказал человеку, ненавидящему брата: «Я прощаю тебя», и если бы, что невозможно, этот голос прощения достиг человека, что он означал бы для него? Как человек истолковал бы его? Разве не так: «Можешь и дальше ненавидеть. Я не возражаю. Тебя тяжело оскорбили, и твоя ненависть оправданна»? Несомненно, Бог учитывает и совершённое зло, и нанесённое оскорбление; но чем сильнее оскорбление, чем больше оправданий можно привести ненависти, тем больше оснований, если это возможно, избавить ненавидящего от ада его ненависти, сделать Божье дитя тем любящим ребёнком, каким Он его задумал. Человек подумал бы не то, что Бог любит

грешника, а то, что Он прощает грех, чего Бог никогда не делает. Каждый грех встречает заслуженную участь: неумолимое изгнание из рая Божьей Человечности. Он так любит грешника, что не может простить его никаким иным способом, кроме изгнания из его груди овладевшего им демона, кроме подъёма его из этой трясины его беззакония.

[29] Однако никто ни на миг не предполагает, что человек, однажды отказавшийся простить брата, будет за это осуждён навеки оставаться непрощённым и непрощающим. Смысл в том, что, пока человек пребывает в таком расположении духа, Бог не может быть с ним как его друг; не в том, что Он не хочет быть его другом, а в том, что дружба, оставаясь всецело односторонней — со стороны Бога, — должна принимать формы, в которых человек не сумеет узнать дружбу. Прощение, как я говорил, — не просто любовь, а любовь, *переданная как любовь* заблудшему, тем устанавливающая мир с Богом и прощение ближнего.

[30] Вернёмся же к нашему непосредственному тексту: является ли содержащийся в нём отказ в прощении приговором к неисцелимой нераскаянности? Странной праведностью был бы указ, что, поскольку человек поступил дурно — скажем, поступал дурно так часто и так много, что сам *стал* дурным, — он навеки должен остаться дурным! Не говорите мне, что осуждение лишь отрицательно: человека предоставляют последствиям его собственной воли или, самое большее, отнимают у него Духа, которым он пренебрёг. Бог не станет прятаться за таким жонглированием логикой или метафизикой. Он не схоласт и не богослов, а наш Небесный Отец. Он знает, что в Нём это было бы тем же непрощением, за которое

Он отказывает в прощении человеку. Единственное состоятельное основание поддерживать такое учение — то, что Бог *не может* сделать большего; что сатана победил и что Иисус среди Своих собственных братьев и сестёр, созданных по образу Бога, оказался слабее противника, губителя. Что же тогда сказать о таком бесовском учении, будто, даже если человек покается, Бог не захочет или не сможет его простить?

31 Посмотрим на *тот самый* «непростительный грех», как обычно называют эту тайну, и увидим, что можем в нём понять.

32 Всякий грех непростителен. Никакой сделки с ним быть не может. Мы не выйдем, пока не станем чисты, пока не заплатим последней монеты. Но особая непростительность тех грехов — того, о котором я говорил, и того, который мы теперь рассматриваем, — состоит в том, что они закрывают Богу доступ к человеку для Его *животворных*, особенно духовных воздействий. Возможно, применительно к первому греху я выразился слишком сильно; возможно, любовь Божья имеет некоторую долю даже в человеке, который не хочет прощать брата, хотя, если он будет упорствовать в непрощении, эта доля должна уменьшаться и угасать; возможно, обида на брата ещё некоторое время оставляла бы рядом с собой место для некоторых божественных воздействий, хотя одно или другое вскоре должно уступить. Но человек, отрицающий истину, сознательно сопротивляющийся долгу, говорящий, что истины нет или что видимая им истина не истинна; называющий доброе сатанинским или дурное Божьим, — при условии, что он знает, что оно доброе или дурное, — отрицает Духа, закрывает Духу доступ и потому не может быть прощён.

Ибо без Духа никакое прощение не может войти в человека, чтобы изгнать сатану. Без Духа, свидетельствующего вместе с его духом, ни один человек не мог бы узнать себя прощённым, даже если бы Бог явился ему и сказал об этом. Полное прощение, как я говорил, наступает, когда человек чувствует, что Бог прощает его; а этого не может быть, пока он противопоставляет себя самой сущности Божьей воли.

[33] Насколько мы можем судить, люди, о которых это было сказано, сопротивлялись истине, в какой-то мере понимая, что это истина; люди, не увлечённые страстью и не совсем ослеплённые своими обильными предубеждениями; люди, которых побуждала осуждать одну форму истины не любовь к другой её форме; но люди, которые из себялюбия и любви к влиянию были столь настроены против Того, в Ком видели доброго человека, что отрицали доброту того, что знали добрым, лишь бы низвергнуть человека, которого знали добрым, потому что Он говорил против них и разрушал их влияние и авторитет в народе, объявляя их не лучше того, какими они сами себя знали. Разве это не значит быть сатаной? Быть в аду? Быть тлением? Быть тем, что осуждено? Разве не было непростительным это их *состояние*? Как сквозь всю эту массу лжи Божье прощение могло достигнуть сущностной человечности внутри неё? Хотя она взывала о Божьем прощении, эти люди почти отделили свою человечность от самих себя и приняли сторону сил тьмы. Прощение, пока они оставались такими, было невозможностью. Нет. Из этого они должны были выйти, иначе для них не было слова Божьего. Но само слово, сообщавшее им об их непростительном состоянии, было как раз единственной формой, какую мог принять голос милости, призывая их к покаянию. Они должны были

услышать и устрашиться. Я не смею, не могу думать, будто они отвергали истину, зная всё, что она есть; но думаю, они отвергали истину, зная, что она истинна, — увлечённые, как я сказал, не необузданной страстью, а холодным себялюбием, завистью, алчностью и честолюбием; не просто сознательно делая зло, а сознательно направляя всю свою природу против света. Именно такой природы, несомненно, должен быть грех против Духа Святого. «В том и состоит осуждение» — не в совершённых людьми грехах, а в душевном состоянии, в котором они выбирают оставаться, — «что свет пришёл в мир, но люди возлюбили тьму больше света, потому что дела их были злы». В этом грехе против Духа Святого я вижу не отдельный поступок, хотя он неизбежно выражается во многих поступках, а намеренное состояние ума,

> [34] От Бога и небесного сиянья удалённое,
> Как троекратный путь от средоточья к крайнему пределу.

[35] Для него нельзя было привести даже такого оправдания, что рядом с ним мог бы действовать хоть слабый свет: ибо там свету не было ни входа, ни места; именно против света такой ум и был настроен — почти потому, что свет был тем, чем был. Состояние было всецело дурным.

[36] Но может ли человек действительно впасть в такое состояние духовной испорченности?

[37] Это главное моё затруднение. Но думаю, что может. И люди мудрее меня так думали. Мне трудно в это поверить, повторяю; и всё же я думаю, что это должно быть возможно. Но я не верю, что это неизменное,

окончательное состояние. Я не вижу, почему оно должно быть таким в большей мере, чем состояние человека, не прощающего ближнего. Если вы скажете, что это худший проступок, я спрошу: неужели он слишком тяжёл для Божьего прощения?

[38] Но способен ли Бог сделать с этим человеком ещё что-нибудь? И как человек когда-нибудь выйдет из этого состояния? Если Божьему Духу закрыт доступ в его сердце, как он станет лучше?

[39] Дух Божий — Дух, чьё влияние узнаётся по свидетельству вместе с нашим духом. Но разве не могут у Духа быть иные силы и средства, подготавливающие это Его высочайшее служение человеку? Создавший нас Бог никогда не может быть далёк от человека, дышащего дыханием жизни, — более того, должен быть в нём; не обязательно в его сердце, как мы говорим, но всё же в нём. Разве не может тогда однажды какой-нибудь ужасный толчок из центра его бытия, страшное землетрясение из скрытых бездн его природы потрясти такого человека, чтобы сквозь всю глухоту его смерти стал едва слышен голос Духа, тот тихий малый голос, который приходит после бури и землетрясения? Разве не может существовать огонь, который почувствует даже такой человек? Кто положит пределы поядающей силе огня нашего Бога и пребывающему в нём очищению?

[40] Единственный довод против этого заключения, какой я могу представить и который имел бы для меня вес, таков: переворот чувств в человеке, столь согрешившем против истины, когда он наконец будет приведён к признанию греха, окажется настолько ужасен, что жизнь уже никогда не станет выносимой, и самым добрым, что мог бы сделать Бог, было бы прекратить существование

такого человека, ибо лучше было бы ему вовсе не родиться. Но Тот, Кто мог бы привести такого человека к покаянию, мог бы сделать его столь скорбящим и смиренным, столь радостным оттого, что он покаялся, что он пожелал бы жить вечно, чтобы вечно каяться и вечно поклоняться славе, которую теперь увидел. Когда человек отказывается от себя, прошлые грехи больше не будут его угнетать. Для блага жизни достаточно того, что Бог живёт, что Всесовершенный существует и что мы можем Его созерцать.

41 «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают», — сказал Божественный, находя оправдание Своим убийцам не после того, как всё кончилось, а в самый миг, когда умирал от их рук. Значит, Иисус уже простил их. Отец должен был услышать Его молитву, ибо Он и Сын — одно. Когда Отцу удалось ответить на Его молитву, Его прощение в сердцах убийц прорвалось скорбью, покаянием и верой. Вот, несомненно, достаточно страшный грех — но Господу было легко его простить. Столько оправдания для введённой в заблуждение толпы! Благодарение Тебе за это, Господи Христе! Это было похоже на Тебя! Но должны ли мы верить, что Иуда, раскаявшийся до муки, раскаявшийся так, что высоко ценимые им жизнь, собственное «я», душа стали ничтожны в его глазах и не встретили милости от его собственной руки, — должны ли мы верить, что он не мог найти милости у такого Бога? Я думаю, когда Иуда бежал из своего повешенного и павшего тела, он бежал к нежной помощи Иисуса и нашёл её — я не говорю как. Теперь его состояние было более обнадёживающим, чем в любой миг прошлой жизни, ибо прежде он никогда не каялся. Но я верю, что Иисус любил Иуду даже тогда, когда тот целовал Его предательским поцелуем; и верю,

что Он всё ещё был его Спасителем. И если кто-нибудь напомнит мне Его слова: «Лучше было бы тому человеку не родиться», — я их не забыл, хотя знаю, что теперь предлагаю лишь предположительное объяснение, говоря: Иуда не получил ничего из блага мира, в котором родился. Он не унаследовал землю. Он прожил злую жизнь, вне согласия с миром и его Богом. Любовь мира пропала для него даром. Его привели к Самому Сыну Божию, и он жил с Ним как близкий друг; но любил Его не больше, а меньше, чем себя. Поэтому всё оказалось бесполезным. «Лучше было бы тому человеку не родиться», ибо всё предстояло пробовать заново, иным путём — возможно, худшим, — в каком-то другом мире, в более низкой школе. Его надлежало отправить вниз по лестнице творения, вечно восходящего к своему Создателю. Но я не стану, не могу верить, о мой Господи, что Ты не простил бы врага, даже когда он покаялся и признал Твою правоту. Не поверю и в то, что Твоя святая смерть была бессильна спасти Твоего врага, что она не могла достигнуть Иуды. Разве мы не слышали о Твоих людях, наученных Тобой, которые легко прощали предателей во имя Твоё? И если Ты прощаешь, разве Твоё прощение не найдёт наконец пути в искуплении и очищении?

[42] Взгляните на миг на слова, предшествующие моему тексту: «Кто отречётся от Меня перед людьми, от того отрекутся перед ангелами Божиими». Что это значит? Значит ли это: «Ах, ты Мой, но не Моего рода. Ты отрёкся от Меня. Ступай во тьму внешнюю»? Нет. «Простится тому, кто говорит против Сына Человеческого», ибо Он может быть лишь истиной, открытой *вне* человека. Только человеку придётся испытать стыд перед вселенной

любящего Бога, и ему, возможно, понадобится огонь, который горит и не истребляет.

43 Но тот, кто говорит против Духа Истины, против Сына Божия, открытого *внутри* него, теперь находится за пределами наставления этого Духа. Ибо как ему быть прощённым? Прощение коснулось бы его не больше, чем каменной стены. Пусть узнает, что значит быть без Бога, Которого он отверг. Прочь его, во Тьму Внешнюю! Быть может, *это* заставит его покаяться.

44 Друзья мои, я предлагаю это лишь как вклад в понимание слов Господа. Но если мы попросим Его, Он приведёт нас ко всей истине. И не будем бояться думать: Он не рассердится за это.

45 Но сказанное мною должно быть по крайней мере частью истины.

46 Никакое множество открытий в Его словах не может сообщить нам больше того, что *мы сами* открыли, больше того, что увидели и познали истинным. Ведь вся помощь, какую могут дать нам лучшие из Его учеников, состоит лишь в том, чтобы помочь открыть, увидеть самим. А за всеми нашими открытиями в Его словах и бытии лежат глубины за глубинами истины, которой мы не можем понять и всё же будем вечно продолжать понимать. Да, даже теперь нам иногда словно бы даются смутные проблески областей, из которых мы не получаем ни слова, чтобы унести с собой.

47 То, что некоторые вещи стали для нас гораздо проще, чем были, и что великие истины вышли из того, что когда-то казалось обыкновенным, — достаточное основание надеяться, что таков будет наш опыт и в грядущие века. Наше продвижение от прежнего

невежества может измерить лишь малую часть расстояния, которое лежит и всегда должно лежать между нашим ребячеством и Его зрелостью, между нашей любовью и Его любовью, между нашим сумраком и Его могучим видением. Да придём мы все вскоре к Нему — все дети, всё ещё дети, больше дети, чем когда-либо, — чтобы принять из Его руки *белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме получающего*.

Новое имя

[1] *Побеждающему дам белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме получающего. — Откр. 2:17.*

[2] Написана ли книга Откровения тем же человеком, который написал Евангелие от Иоанна, или нет, но по крайней мере одна общая черта у этих двух книг есть — мистицизм.

[3] Я употребляю слово *мистицизм* для обозначения определённого способа воплощения истины, в разной степени свойственного почти всем, если не всем, писателям Нового Завета. Попытка исчерпывающе его определить потребовала бы отдельного сочинения. Я рискну предложить лишь одно соображение на этот счёт: мистический ум, осознав, что высочайшее выражение, доступное истине, заключено в символике природы и человеческих обычаев, вырастающих из человеческих потребностей, продолжает размышлять о так воплощённой истине, обращаясь с самими символами по законам логики. Это высший способ передачи глубочайшей истины; и Сам Господь нередко им пользовался — например, во всём том отрывке, который завершается словами: «Итак, если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма!»

[4] Мистицизм Евангелия от Иоанна отличается простейшей, а потому благороднейшей природой. Никто из обитателей этой планеты не может вообразить способ воплощения истины более чистый, возвышенный и верный воплощаемой истине. Возможно, в других мирах существуют более высокие способы, а возможно, и нет —

я не знаю; но среди всех наших способов эти формы лучше всего являют высочайшее. По-видимому, мистический склад самого Иоанна позволил ему с достаточной точностью запомнить и передать слова нашего Господа, которые, как мне кажется, всегда заметно отличаются по своему характеру от слов любого из писателей Нового Завета — прежде всего, быть может, простотой своего поэтического мистицизма.

5 Но мистицизм книги Откровения сложнее, пышнее, менее поэтичен и порой, думаю, возможно, произволен или близок к произвольному; словом, он *напоминает* мистицизм Сведенборга. Оставляя в стороне и историческую, и литературную критику, — ни в той, ни в другой я не вправе иметь даже мнение относительно авторства этих книг, — осмелюсь предположить, что их различие по тону, возможно, именно таково, какого и следовало ожидать, когда историк мистического учителя, записавший его мистические изречения, переходит к воплощению собственных мыслей, чувств и вдохновений; то есть когда откровение льётся уже не из уст Учителя, а через сердце, душу и разум самого ученика. Ведь, конечно, даже самые склонные к идолопоклонству из наших братьев и сестёр, поклоняющихся Библии, не осмелятся утверждать, будто Дух Божий мог столь же свободно говорить устами Петра, подобного колеблемому ветром тростнику и заслуживавшего упрёков, или Фомы, который мог поверить собственным глазам, но не слову братьев и не природе своего Учителя, как устами Того, Кто был слеп и глух ко всему, кроме воли Пославшего Его.

6 Истина остаётся истиной, исходит ли она из уст Иисуса или Валаама. Но в глубочайшем смысле *истина* — это состояние сердца, души, ума и силы по отношению к Богу

и к ближнему, а не высказывание, не даже *правильное* словесное выражение; поэтому такая истина, явленная в словах, в некотором смысле есть сам говорящий. И многие изречения истины в Откровении, обычно называемом Откровением Иоанна, не только возвышенны по форме, но и несут с собой убеждение, что писавший был не просто «трубой пророчества», а говорил то, что знал, и свидетельствовал о том, что видел.

[7] В этом отрывке о даровании белого камня, думаю, мы находим самую сущность религии.

[8] Как именно представлял себе белый камень автор, на мой взгляд, имеет сравнительно мало значения. Я полагаю, что этот камень относится скорее к произвольным и прихотливым образам фантазии, чем к подлинно мистической образности, хотя в раскрытии заключённой в нём мистической мысли ему принадлежит высокое и почётное место. Ведь и фантазия послужит истинному воображению мистика и тем прославится. Сомневаюсь, что сам автор связывал с ним какое-либо существенное значение. Уж конечно, я не допущу, будто он вложил в этот образ такую бедную мысль, как камешек для голосования: белый потому, что получающий его человек принят или избран. Это слово употребляется также для драгоценного камня, вставленного в украшение. А писатель мыслил его мистически, и такой способ мысли гораздо скорее подразумевает обращение к природе, чем к политическому обычаю. В чём состоял его мистический смысл, разные умы неизбежно поймут по-разному. *Я* думаю, что в его белизне он видит чистоту, а в его веществе — неразрушимость. Но прежде всего мне важно рассматривать камень как носителя имени — как форму, в которой имя изображается переходящим от Бога

к человеку; и я хочу показать, что заключено в этом сообщении. Если читатель не признает в моём объяснении замысел Иоанна, я всё же надеюсь изложить его так, чтобы он увидел его собственную истинность, и тогда охотно оставлю толкование его судьбе.

9 Коротко говоря, я утверждаю: дарование белого камня с новым именем есть сообщение человеку того, что Бог думает о нём. Это божественный суд, торжественный святой приговор праведному человеку, сказанное лично ему: «Приди, благословенный».

10 Чтобы это увидеть, нужно прежде понять идею имени, то есть совершенное понятие об имени. Ибо, видя, что мистическая сила святого ума говорит здесь о Боге, дающем нечто, мы должны понимать: имеется в виду самое существенное, а не какие-либо его случайные свойства или подражания ему.

11 *В обычном имени этого мира нет ничего* существенного. Это лишь ярлык, по которому можно отличить одного человека и обрывок его внешней истории от другого человека и обрывка его истории. Значение имеют лишь те имена, которые народный суд, предубеждение или юмор дают немногим из множества — в насмешку или в честь. Каждое из них основано на какой-нибудь внешней особенности человека, на преобладающей черте нрава, на достоинстве или недостатке характера либо на том, что он делает или сделал достаточно хорошо, плохо или хотя бы необычно, чтобы в глазах людей заслужить такое отличие от остальных. В своих пределах это настоящие имена: ведь хоть в скудной мере они выражают индивидуальность.

[12] Истинное имя выражает характер, природу, существо, *смысл* того, кто его носит. Это собственный символ человека — словом, образ его души, — знак, принадлежащий ему и никому другому. Кто может дать человеку это его собственное имя? Только Бог. Ведь никто, кроме Бога, не видит, что есть человек; и даже увидев, что он есть, не мог бы выразить в одном слове-имени полноту и гармонию увиденного. Кому даётся это имя? Побеждающему. Когда оно даётся? Когда он победил. Разве Бог не знает, каким станет человек? Знает столь же несомненно, как видит дуб, который Он вложил в сердце жёлудя. Почему же Он ждёт, пока человек станет собой через победу, прежде чем решить, как его назвать? Он не ждёт: Он с самого начала знает его имя. Но как покаяние приходит потому, что Бог прощает, а человек узнаёт о прощении лишь в покаянии, так и камень с именем Бог даёт человеку лишь тогда, когда человек стал своим именем: только тогда он впервые способен понять, что его имя означает. Имя определяется цветением, совершенством, завершённостью; и Бог предвидит их с самого начала, потому что Он так создал. Но дерево души, пока не пришла пора его цветения, не может понять, какие цветы ему предстоит принести, и не могло бы знать смысла слова, которое, представляя ещё не достигнутую им полноту, называет его самого. Такое имя не может быть дано, пока человек *не есть* это имя.

[13] Итак, Божье имя для человека должно быть выражением в мистическом слове — слове того языка, который понимают все победившие, — Его собственной мысли о человеке, о том существе, которое было в Его мысли, когда Он начинал создавать ребёнка, и которое Он хранил в мысли на протяжении всего долгого процесса творения, осуществлявшего этот замысел. Назвать имя —

значит засвидетельствовать свершение, сказать: «И в тебе Моё благоволение».

[14] Но мы всё ещё в области символа. Ведь даже если предположить, что между Богом и побеждающим действительно совершался бы такой обряд, он всё равно оставался бы символом — только воплощённым в действии. Поэтому полноту его смысла нам следует искать ещё глубже. До сих пор сказано немного такого, что оправдало бы наше ожидание открытия в этом тексте. Заглянем же, говорю я, глубже. Нам недолго придётся искать, чтобы обнаружить: смысловой центр этого мистического символа — факт личного, индивидуального отношения каждого человека к своему Богу. То, что у каждого человека есть дела с Богом, и именно важнейшие его дела, очевидно разуму всякого, кто связывает какой-либо смысл или чувство со словами «Творец», «Отец», «Бог». Будь мы лишь детьми одного дня, сознающими, что кто-то дал нам этот единственный праздник, уже само это знание требовало бы о чём-то подумать, что-то почувствовать, что-то сделать. Тогда наша природа соответствовала бы нашей судьбе, и мы могли бы поклониться и умереть. Но это была бы лишь хвала мёртвых, а не хвала живых, ибо смерть была бы самым глубоким, пребывающим, побеждающим. Мы вышли бы из небытия, а не из Бога. Он мог бы быть лишь нашим Создателем, но не нашим Отцом, нашим Началом. Теперь же мы знаем, что Бог не может быть Богом мёртвых — должен быть Богом живых; ведь знание, что мы умираем, заморозило бы сердце поклонения, и мы не могли бы сказать «Бог наш» или почувствовать Его достойным той чести, какую способны воздать. Тому, кто приносит этому Богу живых в жертву самого себя, побеждающему, возвратившему свою личную жизнь к её

истоку, знающему, что он — *один* из Божьих детей, именно *этот*, сотворённый Отцом, — Он даёт белый камень. Тому, кто по лестнице всех своих рождённых от Бога усилий и дарованных Богом побед восходит к высоте своего бытия — к тому, чтобы лицом к лицу увидеть своё идеальное «я» в лоне Отца, Божьего *его*, осуществлённого в нём любовью Отца через самоотверженность Старшего Брата, — тому Бог даёт написанное новое имя.

15 Но я оставлю это, потому что последующее вмещает и усиливает эту индивидуальность отношений, развёртывая истину полнее. Ведь это имя, «которого никто не знает, кроме получающего». Итак, у каждого человека не только есть индивидуальное отношение к Богу: у каждого есть особое отношение к Нему. Для Бога он — особое существо, созданное по собственному образцу, а не по чьему-либо ещё; ибо, достигнув совершенства, он получит новое имя, которого никто другой не сможет понять. Поэтому он может поклоняться Богу так, как никто другой Ему поклоняться не может, — понимать Бога так, как никто другой понимать Его не может. Тот или иной человек, возможно, понимает в Боге больше, понимает Бога лучше него, но ни один другой человек не может понимать Бога так, как понимает он. Да даст мне Бог благодать быть смиренным перед тобой, брат мой, чтобы я не тащил перед судилище неправедного судьи выдуманное мною твоё подобие, а с почтением обращался к тебе самому за тем откровением Бога, которое можешь дать ты и никто другой. Как ель тянется ввысь с потребностью совсем иной, нежели потребность пальмы, так каждый человек стоит перед Богом и поднимает к общему Отцу особую человечность. И каждому Бог отвечает по-разному. С каждым человеком у Него есть тайна — тайна нового имени. В каждом человеке есть

уединение, внутренняя обитель особой жизни, куда может войти один Бог. Я не говорю, что это *самая сокровенная обитель*, — но это обитель, куда не может войти ни брат, ни даже сестра.

16 Отсюда следует, что и в Самом Боге есть обитель — о Боже, смири и прими мои слова! — обитель, в которую никто не может войти, кроме этого единственного, отдельного, особенного человека; и из неё этому человеку надлежит принести братьям откровение и силу. Для этого он и создан — открывать сокровенное Отца.

17 Итак, самим своим сотворением каждый человек поставлен наедине с Богом; каждый в силу особенности своего устройства может сказать: «*мой* Бог»; каждый может прийти к Нему один и говорить с Ним лицом к лицу, как человек говорит с другом. Для Бога нет *слияния людей в массу*. Когда Он говорит о собранных людях, Он говорит о духовном *теле*, а не о *массе*. Ведь в теле каждая мельчайшая часть индивидуальна и потому способна быть частью тела.

18 Посмотрите теперь, какое значение приобретает символика нашего текста. Каждый из нас — особый цветок или дерево в духовном саду Бога, каждый дорог сам по себе в глазах Того, Кто и теперь нас создаёт; каждого из нас поливают, освещают и наполняют жизнью ради его цветка, его завершённого существа, которое наконец распустится из него во славу и на радость великому Садовнику. Ведь каждый носит в себе тайну Божества; каждый растёт к открытию этой тайны самому себе, а значит — к полному, по своей мере, принятию божественного. Всякий миг, когда он верен своему подлинному «я», новый отблеск белого камня озаряет его внутренний взор, новый путь открывается ввысь для

грядущей славы цветка — сознательного приношения всего своего существа в красоте Создателю. Итак, в глазах Бога каждый человек имеет ценность. Жизнь и действие, мысль и намерение священны. И какая цель лежит перед нами! Чтобы осознание нашего собственного идеального существа вспыхнуло в нас из мысли Бога! Конечно, перед этим вполне могут отступить все наши мелочные заботы о себе, всё наше самолюбование и самопоклонение! Конечно, знание того, что Он о нас думает, заставит поблекнуть в наших душах все собственные мысли о себе! И мы вполне можем уже теперь держаться за них некрепко и быть готовыми их отпустить. К этому святой Павел уже приблизился, когда он, начавший бег с горького вопля об избавлении от тела своей смерти, смог сказать, что больше и сам себя не судит.

[19] «Но не заключена ли в таком учении худшая из всех опасностей — опасность духовной гордыни?» Если да, неужели мы должны отказаться от духа из страха перед гордыней? Или существует иное избавление от гордыни, кроме духа? Гордыня рождается из мнимого успеха в достижении высокой цели; вместе с самим достижением приходит смирение. Но здесь нет места честолюбию. Честолюбие — желание быть выше ближнего; здесь же невозможно сравнение с ближним: никто не знает, что содержит белый камень, кроме получающего его. Здесь есть место бесконечному стремлению к невидимому идеалу; честолюбию — никакого. Честолюбие хочет лишь быть выше других; устремлённость хочет быть высокой. Относительное достоинство не просто неизвестно — детям Царства оно непознаваемо. Каждый почитает другого выше себя. Как станет роза, пламенное сердце летнего зноя, торжествовать над подснежником,

поднявшим поникшую головку из белой груди снега? Оба — мысли Бога; оба дороги Ему; оба нужны для полноты Его земли и откровения Его Самого. «Бог позаботился создать меня для Себя, — говорит победитель с белым камнем, — и назвал меня тем, что мне дороже всего; ведь моё собственное имя должно быть именно таким, какого я хотел бы, поскольку оно и есть я сам. Что за дело, буду ли я назван полевой травой или орлом в небе? Камнем для строительства Его храма или Воанергесом, чтобы владеть Его громом? Я — Его; Его замысел, Его творение; совершенный в своём роде, да, совершенный в Его глазах; наполненный Им, являющий Его, один с Ним. Пусть Он назовёт меня как пожелает. Имя будет дорого, как моя жизнь. Я не ищу большего».

[20] Тогда исчезнет всякая тревога о том, что может подумать о нём ближний. Достаточно того, что о нём думает Бог. Быть чем-то для Бога — разве это не достаточная хвала? Быть тем, о ком Бог заботится и кого хочет завершить для Себя, потому что он достоин заботы, — разве это не достаточная жизнь?

[21] И это не отделит его от ближних. Ведь то, что мы говорим об одном, мы говорим обо всех. Именно как *отдельный человек* он вправе чего-то ждать от своих собратьев. Каждый будет чувствовать святость и трепет скрытого, безмолвного разговора ближнего со своим Богом. Каждый будет видеть в другом пророка и обращаться к нему за тем, что сказал Господь. Каждый, как первосвященник, возвращающийся из своего Святого святых, принесёт из своего общения какую-нибудь радостную весть, какое-нибудь благовестие истины, которое, будучи высказано, будет принято и понято ближними. Каждый увидит в другом чудо откровения,

живого сына или дочь Всевышнего, вышедших от Него, чтобы вновь явить Его. В Боге каждый приблизится к каждому.

22 Да, опасность будет — опасность, как повсюду; но Он даёт большую благодать. И если человек, взобравшийся с трудом на высоты, всё же падёт с них в глубины, разве нет того Божьего огня, поядающего огня, который горит и не уничтожает?

23 Никому, кто ещё не беседовал с Богом или хотя бы не чувствовал какого-нибудь устремления к источнику своего бытия, всё это не может показаться ничем, кроме безумия. Пусть будет так.

24 Но Ты, Господи, помоги им и нам и взращивай наше существо в Твоё подобие. Пусть даже через века борьбы и века роста — но дай нам наконец увидеть Твоё лицо и принять белый камень из Твоей руки. Чтобы мы так возрастали, день за днём давай нам хлеб наш насущный. Наполняй нас словами, исходящими из Твоих уст. Помоги нам собирать *сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не разрушают*.

Сердце там, где сокровище

[1] *Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина разрушают и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не разрушают и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце*. — Мф. 6:19–21.

[2] Понимать слова нашего Господа — дело всей жизни. Ведь это главная дорога к пониманию Самого Слова. А принять Его — значит принять Отца и тем самым иметь Жизнь в самих себе. И Жизнь — высшая, глубочайшая, простейшая, первоначальная — и есть дело жизни.

[3] Слово — это Тот, Кем мы живём, то есть Сам Иисус; а Его слова отчасти, в тени, в намёке являют Его Самого. Всякое высказывание, достойное называться *истиной*, есть пища для человека; тем более — *Слово*, являющее нам не отвлечённые законы нашего бытия, а живую связь души и тела, сердца и воли, силы и радости, красоты и света с Тем, Кто первым дал всему этому рождение! Сын вышел от Отца, чтобы перед нашими глазами и в наших сердцах *быть* тем, для чего Он нас создал: чтобы мы увидели в Нём *истину* и воззвали к живому Богу, Который в высочайшем смысле есть Истина — не как постигаемая, но как постигающая, живущая и сущая, творящая и созидающая истину. «Я есмь истина», — сказал наш Господь; и понять Слово могут те, кто хоть в какой-то мере подобен Ему в этом бытии истиной. Попытаемся же понять Его.

[4] Несомненно, Спаситель порой избрал бы иной *образ* речи, если бы пришёл к англичанам, а не к иудеям. Но

уроки Его остались бы теми же; ведь даже когда Его спрашивали о чём-либо ради его преходящего значения, в ответе Он излагал заключённое в этом великое человеческое начало, а *оно* неизменно во всех переменах изменчивых обстоятельств. Нам, при свете накопленного за века христианского опыта, должно быть легче понимать Его слова, чем тем, кто Его слышал.

5 Итак, я спрашиваю: в чём здесь сила Его слова *«ибо»: «Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце»*? Смысл приведённого таким образом довода не лежит на поверхности. Его приходится искать — одновременно из-за его глубины и его простоты. Но он так полон, так всеобъемлющ в своей образности, так непосредственно действует на совесть своей поэтической выразительностью, что, когда он понят, сказать больше нечего, зато всё предстоит исполнить.

6 «Почему же нам не собирать себе сокровищ на земле?»

7 «Потому что туда приходят моль, ржавчина и вор».

8 «И значит, мы потеряем эти сокровища!»

9 «Да; из-за моли, ржавчины и вора».

10 «Так неужели Господь говорит, что *причина*, по которой не следует собирать такие сокровища, — их преходящая и тленная природа?»

11 «Нет. Он добавляет *„ибо“*: „Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце“».

12 «Разумеется, сердце будет там, где сокровище; но какое это имеет отношение к доводу?»

13 Вот какое: то, что находится вместе с сокровищем, разделит его участь; сердце, постоянно пребывающее в

сокровищнице, где разрушают моль и ржавчина, подвергнется тому же разорению, что и сокровище, — само заржавеет и будет изъедено молью.

14 Многие мужчины, многие женщины, прекрасные и цветущие с виду, ходят по свету, нося в своём сильном или красивом теле ржавое, изъеденное молью сердце.

15 «Но ведь это лишь образ».

16 Верно. Но действительность, на которую он указывает, меньше этого образа или больше? Разве *ржавчина и моль* не означают нечто большее, чем болезнь? И разве *сердце* не означает нечто большее, чем сердце? Разве не означает оно более глубокое сердце — сердце вашей личности, а не вашего тела? Сердце того *„я“*, которое страдает не от боли, а от несчастья? Того „я“, чья цель — не покой и не удовольствие, но блаженство, даже восторг? Сердце, которое есть самая сокровенная обитель, где бьёт божественный родник вашего бытия? Сердце, на которое взирает Бог, хотя вы, быть может, никогда не знали о его существовании — даже тогда, когда его корчи под зубами моли и на медленном огне ржавчины передавали тупую боль тому внешнему сердцу, которое посылает кровь по назначенному ей пути через ваше тело? Если Бог видит это сердце разъеденным ржавчиной забот, источенным до пустот и тонких плёнок червями честолюбия и алчности, значит, ваше сердце таково, каким его видит Бог, ибо Бог видит вещи такими, какие они есть. И однажды вы будете вынуждены увидеть — нет, *почувствовать* — своё сердце таким, каким видит его Бог; и узнать, что это разъеденное нечто внутри вас, добыча самых мерзких болезней, и вправду есть средоточие вашего существа, само ваше сердце.

[17] И урок этот относится не только к тем, кто поклоняется маммоне, отдаёт жизнь и лучшие силы накоплению богатства: он в равной мере относится к тем, кто каким бы то ни было образом поклоняется преходящему; кто ищет похвалы людей больше, чем похвалы Бога; кто хотел бы блистать в мире богатством, вкусом, умом, властью, искусством, дарованием любого рода и так собирать драгоценные отзывы, чтобы беречь их в земном хранилище.

[18] Но не только им: несомненно, и тем, чьи удовольствия ещё очевиднее преходящи, — например, всевозможные чувственные удовольствия, дозволенные или недозволенные, если в них сосредоточена радость бытия, — эти слова несут страшное предостережение. Ведь вред не в том, что эти удовольствия ложны, как обман волшебства: они не таковы, они действительно удовольствия; и не в том, что они проходят, оставляя за собой жестокое разочарование: это лишь к лучшему. Вред вот в чём: бессмертное, бесконечное, сотворённое по образу вечного Бога поселяется с увядающим и разлагающимся и держится за них как за своё благо — держится, пока не заразится и не пропитается их собственными болезнями, которые принимают в нём тем более страшный вид, чем выше его природа: то, что в одном лишь гниение, в другом становится нравственной мерзостью; то, что одно делает годным для навозной кучи, другое низвергает во тьму внешнюю. Чтобы разделить их участь, оно заползает в земляную нору, где его едва проросшие крылья вянут, отсыревают и отпадают от плеч, вместо того чтобы жить на открытых равнинах и высоких плоскогорьях, расправлять молодые крылья навстречу солнцу и воздуху и укреплять их всё более далёкими полётами, пока наконец они не наберутся сил

донести рождённое от Бога к его Отцу Небесному. Вот в чём вред.

19 Тот, чьё сердце здорово, потому что пребывает в небесной сокровищнице, может быть *искушаем дьяволом*, но прежде будет *возведён Духом в пустыню*.

Искушение в пустыне

[1] *Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, вели этим камням сделаться хлебами. Он же сказал в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Тогда дьявол берёт Его в святой город и ставит на крыле храма и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, чтобы никогда не преткнулся Ты ногою Твоею о камень. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берёт Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если падёшь и поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда дьявол оставляет Его; и вот, ангелы приступили и служили Ему.* — Мф. 4:1–11.

[2] У этого рассказа должно быть одно из двух происхождений. Либо это вымысел, подобный многим историям о нашем Господе, которые рассказывали в ранние времена христианства, либо он исходит от Самого Господа, ибо, согласно рассказу, кроме диких зверей, никого из земных существ при Его Искушении не было.

[3] Что касается первого из двух происхождений: рассказ не несёт на себе никаких следов человеческого вымысла. Человек, способный увидеть то, что здесь воплощено, не осмелился бы выдумать для этого такое воплощение.

Тому, кто сомневается, думаю, поможет сравнение этого рассказа с лучшим из тех, единственным источником которых служит то или иное апокрифическое евангелие, — скажем, с величественным повествованием о Сошествии во ад в Евангелии от Никодима.

> [4] Если он происходит не оттуда, остаётся лишь другой возможный источник —
> Сам наш Господь. К этому я вскоре вернусь.

[5] А теперь подойдём к предмету с другой стороны.

[6] С этой целью я прошу вас подумать, как много должен знать Бог из того, о чём мы ничего не знаем. Подумайте, какой бездной истины был наш Господь, из Чьей божественной тьмы через этот открывающий лик, этот возвышающий голос, эти руки, чья нежность сделала нас великими, прорывались все святые лучи человеческого смысла. Подумайте о Его разуме, воображении, сердце, в которых лежали сокровища мудрости и знания. Разве Он не должен был знать, чувствовать, воображать, с радостью переживать то, чего нельзя было высказать человеческими словами, чего не могли понять человеческие сердца? Разве Он не выносил непрестанно нечто из неприступного света? Разве сам Его человеческий облик не был покровом, повешенным перед ликом истины, чтобы, отчасти даже приглушая сияние славы, открыть её? То, что могло быть передано, должно было передаваться так; за этим оставалось бесконечно Большее. И даже о том, что можно было отчасти открыть людям, мог ли Он говорить со Своим Отцом и со Своими учениками совершенно в одних формах, совершенно в одних словах? Разве среди того, что Он говорил Богу на горных вершинах, в тусклых сумерках или на сером рассвете, не было ничего такого, что ученики смогли бы

понять не больше, чем народ, когда голос Бога заговорил с Ним с неба, мог отличить этот голос от нечленораздельных громов стихии?

7 Нам даже не пытаются передать сущность битвы этих сорока дней. Такая борьба духа, которая на сорок дней поглотила все человеческие потребности *Человека* заботами Божества, не могла быть выражена в доступных нам формах; точнее, она сама по себе не могла быть нам понятна и потому не могла принять никакой формы, за которую мы способны ухватиться. Лишь к концу этих сорока дней божественное событие начинает брезжить из священных глубин вечной мысли, становится достаточно человеческим, чтобы явиться, допускает выражение, становится способным быть рассказанным в человеческих формах человеческому слуху, хотя пока лишь в тёмном речении, которое имеющий уши слышать да услышит, а имеющий сердце понимать да поймёт. Ибо тайна не осталась позади, и речь ещё не может быть ясна людям.

8 В ту самую минуту, когда приближающееся событие входит в пределы человеческого понимания и разум, поддерживаемый Богом, может издали смутно различить его, та же человечность охватывает Учителя, и Он испытывает голод. Первый знак, что Он вернулся к нам, что борьба приближается к человеческому итогу, — Его голод. На каком море бесконечной жизни мы плывём, держатся наши бедные потребности — и ни самая бедная из них не отделена от божественного! Выходя из бурь океана божественной мысли и чувства в более мелкие воды, омывающие человеческий берег, неся с Собой сокровища, добытые в борьбе, Господь тотчас испытывает голод; и с этой минуты искушение становится человеческим и может быть в какой-то мере нами понято.

9 Но и тогда могло ли оно быть передано человеческому уму в чисто рассудочных формах? Или, допустив, что могло, можно ли было так передать его тем, у кого лишь начинали складываться самые смутные, смешанные с заблуждениями и спутанные понятия о нашем Господе и о том, что Он пришёл совершить? Нет. Внутренние переживания Господа, поскольку их вообще можно было передать им, могли быть переданы лишь в притче. И для вещей гораздо более ясных Господь избирал эту форму. Форма притчи — первая, в которой истина допускает воплощение. И не только это: она также самая полная; и к притче учитель истины будет возвращаться всегда. Готов ли тот, кто утверждает, что этот отрывок содержит простой рассказ о действительных событиях, поверить — как несомненно заставляет нас понять такое прочтение, — что к Господу явился видимый демон и, сам будучи князем мирской мудрости, надеялся, цитируя Писание на манер священников, убедить доброго человека искушать Бога; надеялся обещанием власти склонить Его отказаться от всех Своих прав на человеческий род, пав и поклонившись тому, кого Он знал как врага Истины, Человечества, Бога? Как мог сатана быть столь глуп? Или, если сатана мог быть столь глуп, чем могло так представленное искушение искушать Господа? И в чём победа над ним стала бы победой для человеческого рода?

10 Рассказанная как притча, эта история столь же полна смысла, сколь была бы пуста, принятая как повествование о событиях.

11 Итак, Господь поведал им эту притчу и тем передал больше истины о Своём искушении в пустыне, чем мог бы передать в любой другой форме, способной воплотить ту

истину, которую Он хотел им дать. И всё же, думаю, отсюда не следует, что мы располагаем ею в точности так, как Он рассказал её ученикам. Человек слышит лишь то, что может услышать, видит лишь то, что может увидеть, и, пересказывая историю, способен передать только то, что схватил, что, как ему казалось, понял. Его усилие воспроизвести впечатление, возникшее в его уме, как и само впечатление, подвержено бесчисленным влияниям, изменяющим, видоизменяющим и даже до некоторой степени расстраивающим его. Но отсюда ещё не следует, что воспроизведение ложно. Могучие сонмы миров, несущих жизнь, которым для свободы движения и славы перемен нужны столь страшные бездны пространства, в человеческом глазу уменьшаются до светящихся семян, рассеянных по голубой равнине. Как слаб в человеческих ушах голос их рождённого сферами грома поклонения! И всё же они поистине прекрасны, изрекая речь и возвещая знание. Так и этот рассказ может быть не совсем таким, каким его рассказал Господь, и всё же содержать в своём зеркале столько истины, сколько мы способны принять и сколько даст достаточно простора для открытий на целую жизнь. Изменяющие влияния человеческих проводников, быть может, необходимы Божиему способу откровения. Лишь сначала видя их издали, мы изучаем законы небес.

[12] И теперь возникает вопрос, от верного ответа на который зависит всё истолкование рассказа: *как мог Сын Божий быть искушаем*?

[13] Если кто-нибудь скажет, что эти искушения Его не затронули, тому следует сказать: значит, они вовсе не были для Него искушениями и Он не был искушаем; и Его победа значила не больше, чем победа человека, который, будучи искушаем лжесвидетельствовать против

ближнего, воздерживается от похищения его имущества. Для человеческой нужды, борьбы и надежды это не несёт никакого смысла; и мы должны отвергнуть всё как фантастическую нелепость грубого вымысла, как простое театральное представление, ложь ради жалкой мнимой истины, совершение зла, чтобы вышло добро; и сколько бы осколков истины ни заключалось в этой грязи, принимать её как божественное послание никак нельзя.

14 Но, утверждая, что это были настоящие искушения, если вообще принимать рассказ, не вовлекаю ли я себя в ещё большую трудность? Ибо как мог Сын Божий искушаться злом — тем, что должно было представать Ему в своих истинных красках разлада, в своих истинных очертаниях уродства? Или как тогда мог Он быть Сыном Своего Отца, Который не искушается злом?

15 В ответе на это — средоточие, существенное зерно всего толкования: Его искушали не Злом, а Добром; то есть низшими формами добра, теснившими Его, тогда как высшие формы добра держались в стороне, ожидая своего времени, то есть Божиего времени. Я не верю, что Сын Божий мог искушаться злом, но верю, что Он мог искушаться добром — уступить такому искушению для Него было бы злом, гибелью для вселенной. Но разве не всякое зло происходит из добра?

16 Да; но оно *ушло от* добра. Оно уже не добро. Испорченное добро перестало быть добром. Такое не могло искушать Господа. Месть может возникнуть из чувства справедливости, но это месть, а не справедливость; зло, ибо она была бы ужасно несправедливой. Зло есть зло, из чего бы оно ни произошло. Господь не мог чувствовать искушения мстить врагам, но мог чувствовать искушение истребить

нечестивых с лица земли — истребить с лица земли, говорю я, а не уничтожить навеки. К последнему, думаю, Он не мог чувствовать искушения.

17 Но достаточно пояснений моей мысли мы найдём в самом предмете. Посмотрим на отдельные искушения, представленные в притче.

18 Основная мысль, определившая расположение событий у святого Матфея, кажется мне выше той, которая обнаруживается у святого Луки. В этих двух рассказах завершения, каждое из которых глубоко знаменательно, замечательно различаются.

19 Теперь последуем повествованию святого Матфея.

20 И увидим, как дьявол искушал Его *ко злу*, но не *злом*.

21 Прежде всего, Он был голоден, и дьявол сказал: *сделай из этого камня хлеб*.

22 Господь постился сорок дней — пост, невозможный без глубочайшей поглощённости ума. Пусть никто не думает возвеличить этот пост, называя его чудом. Известны удивительные посты святых людей; и в той мере, в какой Господь был более человеком, чем Его братья, Он мог глубже уйти в Свою духовную человечность от внешней области Своей телесной природы. Соответственно медленнее шли бы процессы этой природы, и пост в Его случае мог бы так продлиться за крайние пределы подобных постов у других. Это, я верю, было всё — и это всё бесконечно в своих связях. Таков самый величественный, простой и значительный, а потому самый божественный взгляд на Его пост. Поэтому к концу сорока дней не один голод делал пищу соблазнительной для Него, но и истощение всего организма, который растрачивал себя всё время, пока был забыт; воздействуя

обратно на ум, уже изнурённый собственным напряжением, оно должно было так притупить его, что — говоря по опыту Его братьев, который один может объяснить Его опыт, — он на время не мог ни видеть, ни чувствовать ничего духовного и мог лишь *верить в* неощущаемое, невидимое. Какое же это было искушение! Нет греха в желании есть; нет греха в честном добывании пищи, чтобы поесть. Но это становится даже страшным долгом, когда человек знает, что пища вернёт утраченное видение вечного; что, воздействуя на мозг, а через него на ум, она сделает человека способным не только верить, но и надеяться, не только доверять, но и радоваться, не только терпеть, но и славить. Почему же Ему не поесть? Почему не пустить в ход силу, которая была в Нём, чтобы поесть? Потому что эта сила принадлежала Ему не для заботы о Себе, а для совершения дела Пославшего Его. Эта сила дана Ему даже не для прославления Отца иначе, чем Отец избрал быть прославленным, — а Он гораздо более прославляется обыкновенным путём повседневных чудес, чем чрезвычайным путём чудотворения. Потому что заботиться о Нём было делом Бога, а Его дело — исполнять то, что велел Отец. Сделать тот камень хлебом значило бы отнять заботу из рук Отца и превратить самое божественное во вселенной в самую обыденную заботу о самосохранении.

[23] И ни в чём Он не должен был превосходить братьев, кроме веры. Ни для Него, ни для них не было иного убежища, кроме любви и заботы Отца. Иное убежище — будь то чудотворная сила или что угодно — стало бы для Него лишь адом. Бог — убежище. Бог — жизнь. «Разве Он не должен был есть, когда пища встречалась на пути? И разве хлеб не встретился Ему на пути, когда Его сила встретила то, что можно было превратить в хлеб?»

[24] Вглядитесь в слово *«превратить»*. В нём всё дело. Превратить из чего? Из того, чем это сделал Бог. Превратить во что? В то, чем Он этого не сделал. Зачем превратить? Потому что Сын голоден, а Отец не желает накормить Его подобающей Ему пищей! Отец не дал Ему камня, когда Он просил хлеба. Это сатана принёс камень и велел Ему обеспечить Себя Самому. Отец сказал: это камень. Сын не сказал бы: это хлеб. Ни одно творческое *«да будет»* не противоречит другому. У Отца и Сына одна мысль. Господь мог голодать, мог умереть от голода, но не стал бы превращать в другое то, что Отец сделал одним. [Примечание: Такого превращения не было при насыщении множества людей. Рыба и хлеб и прежде были рыбой и хлебом. Думаю, это существенно для истинной природы чуда и его отношения к обычным путям Бога. В этих чудесах, и, думаю, во всех, было лишь ускорение явлений: совершение за день того, что обычно может занять тысячу лет, ибо для Бога время не то, что для нас. Он создаёт его. А ускорение процесса ничуть не нарушает причин и следствий в нём и ни на йоту не делает его более чудесным. В самом деле, чудо растущего хлеба для меня больше чуда насыщения тысяч. Легче понять творческую силу, действующую разом, непосредственно, чем через бесчисленные, прекрасные, словно оставленные без присмотра чудеса хлебного поля. Для человека только науки всё это чистая бессмыслица или в лучшем случае относится к области фантазии. Думаю, настанет время, когда он увидит здесь большее, а именно — высший разум, более высокую науку, как бы неточно она здесь ни была обозначена.]

[25] Если мы рассмотрим ответ, данный Им дьяволу, то сразу увидим корень дела: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Да, даже тем словом, которое сделало этот камень этим камнем. Всё правильно. Поистине жизнь для Него — оставить камнем то, что Отец сделал камнем. Изменить хоть одно слово, произнесённое Им, было бы для Него смертью.

[26] «Не хлебом одним будет жить человек». Есть иные пути жизни, кроме той, что приходит от хлеба. Человек будет жить словом Бога — тем, что Бог говорит ему, тем, что Бог разумеет между Собой и им, истинами бытия, которые только Отец может открыть Своему дитяти, общением любви между ними. Без хлеба он умрёт, как говорят люди; но сам он не обнаружит, что умирает. Он лишь обнаружит, что шатёр, скрывавший от него звёзды, исчез и он может видеть небеса; вернее, земной дом растает вокруг него, и он обнаружит, что окружён дворцом-домом, что иное, более высокое слово Бога облекает его. Так человек живёт словом Бога, даже отказываясь от хлеба, которого Бог ему не даёт: вместо того чтобы умереть, поскольку не ест, он восходит к более высокой жизни даже того же рода.

[27] Ибо я говорил о сознании существования, а не о той высшей духовной жизни, от которой зависит всякая другая жизнь. Та, конечно, ни единого мгновения не может существовать иначе, чем из сердца Бога. Когда человек пытается жить хлебом, а не словом, исходящим из этого Божиего сердца, он может думать, что живёт, но начинает умирать или уже мёртв. Господь говорит: «Я могу обойтись без жизни, идущей от хлеба; без жизни, идущей от слова Моего Отца, Я поистине умираю». Потому Он не раздумывает дважды. Чтобы совершилась Божия воля — вот вся Его забота. Когда она совершится, всё будет правильно и всё будет правильно с Ним, думает

Он о Себе или нет. Ибо Отец не забывает ребёнка, столь занятого доверием к Нему, что тот не заботится даже о молитве за себя.

[28] В более высоком аспекте этого первого искушения, возникающем из того, что человек не может чувствовать то, во что верит, иначе как при некоторых условиях телесного благополучия, зависящих от пищи, ответ тот же: человек живёт чувствами не больше, чем хлебом, но Истиной, то есть Словом, Волей, изречённым Бытием Бога.

[29] Мне даже стыдно уступать здесь необходимости писать то, что подобно лишь молоку для младенцев, когда я охотно, если бы мог, говорил бы только то, что стало бы хлебом для мужчин и женщин. Сказать же я должен вот что: под *Словом Божиим* я не разумею *Библию*. Библия — *одно из* слов Бога, главное из Его написанных слов, потому что повествует о Слове, о Христе; но всё, что Бог сделал и дал человеку узнать, есть слово Его, воля Его; и поскольку это Его воля, оно необходимо человеку, без него тот не может жить: принятие его и есть человеческая жизнь. Ибо, поскольку Божии речения составляют целое, каждое, самое малое, существенно: Он не говорит глупостей, у Него нет пустых повторений. Но под *словом* Бога, Который не только Создатель и Который есть Бог именно потому, что *говорит* людям, я должен разуметь в глубочайшем смысле всякое откровение Его Самого в сердце и сознании человека, так что человек знает: Бог там — нет, вернее, Бог здесь. Даже Сам Христос не есть Слово Божие в глубочайшем смысле *для человека*, пока Он не станет этим Откровением Бога человеку, пока к нему не придёт Дух, составляющий смысл Слова, пока речь не станет не звуком грома, а

голосом слов; ибо слово больше, чем произнесение: это звук, предназначенный быть понятым. Ни одно слово, говорю я, не есть вполне Слово *от* Бога, пока не станет Словом *к* человеку, пока человек не узнает в нём Бога. Ради этого слово и произносится. Божии слова — как песчинки и звёзды: им нет числа; но цель всех и каждого — открыть Бога. И более того, человек не может знать, что хоть одно из них — слово Божие, если оно не приходит к нему так, если не есть откровение Бога в нём. Оно обращено *к* нему, чтобы быть *в* нём; но, пока оно не будет *в* нём, он не сможет *знать*, что оно было обращено *к* нему. Бог должен быть Богом *в* человеке прежде, чем человек сможет узнать, что Он — Бог, или что он правильно принял хоть одно из Его слов и ради того, ради чего оно было сказано. [Примечание: Несомненно, смиренный дух примет свидетельство каждого, кого чтит, и посмотрит в указанную сторону в ожидании слова от Отца; но пока не примет его так в своё сердце, он не сможет знать, что представляет собой слово, о котором ему говорили.]

[30] Если мы живём какой-либо волей Бога, то есть какой-либо истиной в Нём, мы живём ею десятикратно, когда эта воля становится словом для нас. Принимая её, мы делаем Его волю своей волей и так живём Богом. Но, однажды поняв слово Бога, человек должен жить верой в то, что есть Бог, а не собственными чувствами даже в отношении Бога. Человек живёт самой Истиной — тем, что есть Бог, познаваемым через исходящее из Его уст. И когда он уже не может ч*увствовать* истину, от этого он не умрёт. Он живёт, потому что Бог истинен; и способен знать, что живёт, потому что, однажды поняв слово, знает: Бог есть истина. Он верит в Бога прежнего видения

и потому живёт тем словом, когда всё темно и видения нет.

31 Теперь мы подходим ко второй попытке Врага. «Тогда, если Богу можно так доверять, испытай Его. Мне очень хотелось бы увидеть результат. Покажи, что Ты Его любимец. Вот и само слово об этом: ангелам Своим заповедает о Тебе; ни один камень не повредит Тебе. Доверься Его слову. Бросься вниз и заставь меня убедиться, что Ты Сын Божий. Ведь Ты знаешь, что не похож на Того, Кем Себя называешь».

32 И снова Господь отвечает ему написанным словом. Он приводит Писание не ради логического доказательства, не для умственного опровержения сатаны, а чтобы даже сатане объяснить основание Своего поведения. Сатана цитирует Писание как словесный авторитет; Господь отвечает ему Писанием, истиной которого руководит Своими поступками.

33 Если мы исследуем этот ответ, то обнаружим в нём тот же принцип, что и в первом: для Сына Божия воля Божия есть Жизнь. Это было искушение показать силам мира, что Он — Сын Божий, что стихии Ему подвластны, что Он выше законов Природы, ибо Он — Вечный Сын, и тем прекратить ярость язычников и тщетные помыслы народов. Это значило бы лишь показать им истину. Но Он был *Сыном* Бога: какова же была воля Его *Отца*? Не таков был божественный путь обличения мира о грехе, о праведности и о суде. Если бы Отец велел Ему броситься вниз, в то же мгновение вершина храма, опустев, указала бы в небо. Если бы дьявол сбросил Его, пусть Бог пошлёт ангелов или, если так лучше, допустит, чтобы Он разбился на дне долины. Но Он никогда не станет предварять божественную волю. Отец определит, что

будет дальше. Сын послушается. На пути Своего дела Он не свернёт ни перед каким камнем. Там пусть ангелы несут Его на руках, если нужно. Но Он не изберёт путь потому, что на нём лежит камень. Он вообще не станет выбирать. Он пойдёт туда, куда ведёт Его Дух.

34 Думаю, это прольёт некоторый свет на слова Господа: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, и если скажете горе сей: поднимись и ввергнись в море, — будет». Добрые люди, среди них Джон Беньян, подвергались искушению искушать Господа Бога своего на основании этих слов, подобно тому как сатана пытался искушать нашего Господа на основании приведённого им места из Псалмов. К счастью для таких людей, уверенность, которой они дали бы имя веры, обычно вовремя их оставляет. Вера — то, что, зная волю Господа, идёт и исполняет её; или, не зная, стоит и ждёт, довольствуясь незнанием, как и знанием, потому что такова Божия воля; она не врывается в сокрытое будущее и не пренебрегает знанием, открывающим путь к действию. Благороднейшее её проявление — действовать при неопределённости результата, когда сам долг определён, или даже когда какой-либо путь с большой вероятностью представляется долгом. [Примечание: В последнем случае человек может ошибиться, и дело его сгорит, но именно этим огнём он будет спасён. Ничто так не спасает человека, как сожжение его дела, кроме совершения дела, способного выдержать огонь.] Но спрашивать Бога иначе, чем словами: «Что повелишь мне делать?» — значит пытаться принудить Бога явить Себя или ускорить Его дело. Вероятно, таков был грех Иуды. Это самонадеянность, сродни превращению камня в хлеб. Это как бы либо принуждение Бога действовать там, где Он не создал нужды в действии, либо создание положения, при

котором, если Он не подействует, будет казаться, что Он нарушил слово. Человек тем самым настолько отделяет себя от Бога, что вместо действия по божественной воле изнутри действует как бы перед лицом Бога, чтобы посмотреть, что Тот сделает. Первый вопрос человека: «Что Бог хочет, чтобы я сделал?» — а не: «Что сделает Бог, если я поступлю так-то?» Так испытывать родителя по плоти было бы дерзостью; так испытывать Бога — тот же порок в высшей форме, естественный результат состояния ума, худшего всех так называемых главных грехов, а именно духовной гордыни, приписывающей нежность и любовь Бога не человеческому бытию и нужде, а какому-то отличительному превосходству самого человека, из-за которого Отец любит его больше собратьев и потому с улыбкой проходит мимо его проступков. Не так Сын Божий смотрел на Своё отношение к Отцу. Вера, которая сдвигает горы, — то доверие Богу, которое приходит от искания одной лишь Его воли. Человек, столь верный, скорее умер бы с голоду, чем сказал камню: *«Будь хлебом»*; скорее встретил бы насмешки неверующих без ответа и с видимостью поражения, чем сказал горе: *«Ввергнись в море»*, даже зная, что по этому слову она будет вырвана из оснований, — если прежде не знал бы, что этого хочет Бог.

35 Так я естественно прихожу к более полному рассмотрению того, как это могло быть настоящим искушением для Сына Человеческого. Хорошо было бы посрамить противников; заставить их убедиться, что Он действительно посланник, поддерживаемый Богом, каким Себя объявляет. Зачем Ему хоть миг дольше иметь Противников, мешающих между Ним и готовыми сердцами, которые поверили бы, если бы могли? Ответ на всё это был ясен Господу и ясен теперь нам: это не было

путём воли Отца. Это не согласовалось бы с тем постепенным развитием жизни и истории, через которое действует Отец и которое должно быть путём взращивания свободных, любящих Бога воль. Это было бы насильственно, театрально, а потому бедно по природе и результату, ничем не подобно Богу. Всё в Божием деянии приходит в согласии со всем остальным и из всего остального. Сын Человеческий — Его история будет историей человека, будет историей Человека. Неужели ей начинаться с исключения? И всё же это вполне могло быть искушением для Того, Кто жаждал сделать для людей всё возможное. Он был Сыном Божиим: почему бы сынам Божиим не узнать этого?

[36] Но поскольку это искушение в пустыне было кратким сводом и прообразом будущих искушений, против которых Он сорок дней укреплял Себя, обдумывая недоступную нам истину, в свете которой всякий самый обыденный долг был страшен и божествен, — видение, способное едва ли не подавить Бога в Его уничижении, — мы лучше поймём целое, если рассмотрим Его жизнь в отношении к нему. Как Он отказался сделать камни хлебом, так всю эту жизнь ни разу не сотворил чуда, чтобы помочь Себе; как отказался броситься с храма, чтобы убедить сатану или видимо прославиться в Своём Сыновстве, так неизменно отказывался дать знамение, которого требовали человеческие сатаны, несмотря на готовность уверовать, которой они обещали подкупить Его и добиться исполнения. Как легко, кажется, было бы посрамить их и укрепить последователей! Но такая убеждённость стала бы на пути лучшей убеждённости учеников и принесла бы противникам лишь вред. Ибо ни те ни другие не могли бы в каком-либо истинном смысле убедиться таким зрелищем: оно могло доказать только Его силу. До

некоторой степени оно могло бы доказать присутствие некоего Бога; но доказало бы оно именно этого Бога? Приблизило бы Его к тем, кто не мог увидеть Его в лице Его Сына? Какой толк говорить: *«Ты — Бог»*, не зная, что значит это *«Ты»*? Бог — всего лишь имя, если мы не знаем *Бога*. Господь не дорожил таким признанием. [2]

37 По тому же принципу даже чудес, которые своим характером отчасти открывали Его характер тем, кто уже верил в Него, Он не совершал там, где преобладало неверие. Он часто избегал городов и толп и отказывался от великих дел из-за неверия. Если бы не любящая помощь страждущим, открывавшая Его их сердцам как Избавителя от зла, я сомневаюсь, что Он совершил бы хоть одно чудо. Не думаю, что Он особенно дорожил ими. Во всяком случае, от этих великих деяний Он не ждал многого в отношении зрителей. Простое чудо на деле скоро забывается, а задолго до того, как его забудут, многие умы уже начинают сомневаться в чувствах, даже собственных, которые о нём сообщили. Только внутреннее зрение может убедить в истине; знамения и чудеса — никогда. Никакое число знамений не может дать больше, чем вероятность того, что показывающий их знает, о чём говорит. Они не могут передать истину. Но видение самой истины в знании её самой — нечто совершенно за пределами знамений и чудес — есть сила Бога, есть спасение. Это видение было в лице и облике Господа для чистых сердцем, способных видеть Бога, но не в Его знамениях и чудесах для искавших таковых. И всё же легко понять, как это искушение могло на миг подействовать на ум, жаждавший приступить к своим трудам с удостоверением собственной истины. Как истинное сердце жаждет быть принятым братьями, быть узнанным в своей истине! Но нет. Истина должна явиться

в Божие время, в труде и через труд. Царство должно прийти святым человеческим путём Бога. Не одним взмахом величия, а годами любви, да, веками кажущихся поражений, эонами труда должен Он врастать в сердца сыновей и дочерей Своего Небесного Отца. Сам Господь *хочет* быть связан неизменными законами, составляющими гармонию бытия и изречения Отца. Он будет *быть*, а не казаться. Он будет — и тем самым, а не ради этого, явится. И всё же, повторю, даже для Него мысль утвердить истину той святой силой, которую Он мог бы проявить, должна была взойти величественно. Мысль была добра: уступить ей значило бы потерять мир; нет, гораздо хуже — зло, непостижимое человеческому уму: Бог послушания пал бы со Своего престола, и — всё погружается во мрак.

[38] Но не забудем, что всё это — слабая притча, слабая, я имею в виду, в сравнении с величием действительности, как перстень и обувь — бедные образы (но как дороги!) абсолютной любви Отца к Своим блудным детям.

[39] Теперь рассмотрим третье искушение. Первое — помочь Себе в нужде; второе, возможно, — утвердить Отца; третье — избавить братьев.

[40] Избавить их, то есть по человеческому способу, — всё ещё извне. В самом деле, всё Искушение можно рассматривать как борьбу видимого и невидимого, внешнего и внутреннего, вероятного и истинного, видимости и действительности. И, как в других, зло этого последнего заключалось в том, что оно искушало Его спасать братьев вместо исполнения Воли Отца.

[41] Могла ли не стать искушением мысль, что Он, если пожелает, вправе праведной рукой взять бразды

правления, вскочить на колесницу власти и выехать, побеждая и чтобы победить? Радостные видения вставали перед Ним: узник, ликуя, вырывается из темницы несправедливости; вдова поднимает склонённую голову перед пожирающим её фарисеем; плачущие дети разражаются криками радости при звуке колёс колесницы, перед которой гнёт и неправда съёживаются и вянут, позади которой вместо терновника вырастает кипарис, вместо колючего кустарника — мирт. Какие пламенные видения святого возмездия, какие розовые сны человеческого блаженства — и всё из Его руки — теснились бы в таком уме, как Его! Не как воздушные замки честолюбивого юноши, ибо тот строит наугад, зная, что осуществить их не может, но столь же последовательные и стройные, сколь величественные, потому что Он знал: они Ему доступны. Разве не мог Он вылепить народ по Своей воле? Разве не мог, преобразившись в снежно-белых одеждах, громко возгласить на улицах Иерусалима: «Се, Царь ваш!»? И свирепые воины Его народа вскочили бы на этот звук; плуг перековали бы в меч, садовый нож — в копьё; и народ, устремившись на Его зов, действительно снова научился бы войне — великой, святой войне, крестовому походу, — нет, *этого* слова у нас не было бы, — но войне против тиранов человеческого рода, «лучших», как они себя называли, попиравших братьев и не позволявших им даже взглянуть на небеса. Ах, но когда Его одежды стали белыми как снег? Когда сквозь них, прославляя их на пути, струился свет Его прославленного тела? Не когда Он взирал на такую победу, а когда на подобной горе «говорил об исходе, который Ему предстояло *совершить* в Иерусалиме»! Почему это должно было стать «печальным концом войны»? «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему

одному служи». Даже Твои собственные видения любви и истины, о Спаситель мира, не будут вести Тебя к цели, но воля Отца Твоего Небесного.

42 Но как, побеждая таким образом, Он стал бы слугой сатаны? В чём состояло бы падение ниц и поклонение тому — то есть признание достоинства того, — кто был владыкой беззакония и приносимой им боли?

43 Я не стану исследовать, можно ли осуществить такое предприятие без поклонения сатане, можно ли управлять людьми ради такой цели без большей или меньшей доли уловок, к которым прибегает каждый честолюбивый вождь, каждый своекорыстный завоеватель, — без двуличия, расчётливой ловкости, лести, хитрости. Не стану исследовать это, потому что даже при самом отдалённом предположении о Господе как предводителе войск Своей страны подобные вещи исчезают из виду как невозможные. Если бы они были необходимы, такой путь для Него невозможно было бы вообразить ни на мгновение. Но я спрошу: знать лучшее и делать менее хорошее — не значит ли служить сатане? Вести людей именем Бога словно к лучшему, когда цель не лучшая, — не значит ли служить сатане? Льстить их гордыне, делая их победителями врагов своего народа вместо собственных пороков, — не значит ли служить сатане? Одним словом, оставить поручение Бога, Который знал, что так людей не освободить, и послал Его быть среди них человеком, истинным человеком, единственным человеком, чтобы Его жизнь стала их жизнью и так они могли быть столь же свободными в тюрьме или на кресте, как на склоне холма или на престоле; оставить так истину и предать людей лжи, будто поклонение Отцу — что-то иное, чем дух и истина, исполнение закона — что-то иное,

чем любовь, служение Богу — что-то иное, чем приношение лучшего в себе, свобода — что-то иное, чем послушное согласие с изначальной любовью, истиной и законом, — не значило ли бы так оставить Бога и так предать людей — пасть и поклониться дьяволу? Даже всё Божие верховное владычество, как называют его богословы, переданное Сыну и осуществляемое мудростью Духа, данного Ему без меры, не могло бы устроить Царство Небесное ни в одном уголке нашей земли. Ничто, кроме послушания Сына, послушания до смерти, безусловного *исполнения* воли Бога потому, что она истина, не могло искупить узника, вдову, сироту. Но оно искупило бы их, искупив также одержимого завоеваниями завоевателя, наносящего побои тюремщика, неправедного судью, самого пожирающего других фарисея с его ненасытным, изъеденным молью сердцем. Земля должна была стать свободной, потому что Любовь сильнее Смерти. Потому ярость, неправда, лицемерие и служение Богу должны были доиграть свою утомительную пьесу. Он не стал бы обрывать раскинувшиеся ветви дерева: Он приложил бы секиру к его корню. Понадобилось бы время, но наконец дерево умерло бы — умерло и было брошено в озеро огненное. Понадобилось бы время, но у Его Отца времени было с избытком. Понадобились бы мужество, сила, самоотречение и стойкость, но Отец мог дать Ему всё. Это стоило бы телесной и душевной боли, да, агонии и пытки, но Он был готов принять их на Себя. Это стоило бы Ему созерцания многих печальных и для всех, кроме Него, безнадёжных картин: Ему пришлось бы видеть слёзы, не утирая их, слышать вздохи, не обращая их в смех, видеть лежащих мёртвых и оставлять их лежать, видеть Рахиль, плачущую о детях и не желающую утешиться; пришлось

бы смотреть, как братья и сёстры плачут, словно дети над сломанными игрушками, и не чинить их; пришлось бы идти к могиле, а они не знали бы, что этим Он всё для них исправляет. Его дело должно было стать единым с Божиим Творением и Божией Историей и завершить их. Разочарование, печаль и страх Он мог и хотел понести. Воля Бога должна была исполниться. Человек должен был стать свободным — не просто человек, каким он мыслит себя, но человек, каким мыслит его Бог. Божественный замысел освободится в божественном лоне; человек на земле увидит своего ангела лицом к лицу. Он вырастет в подобие божественной мысли, свободный не в собственной фантазии, а в абсолютной божественной действительности бытия, как в Божием замысле. Великая, прекрасная и совершенная воля Бога *должна* исполниться.

44 «Отойди от Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

45 Именно когда Пётр хотел воспротивиться Ему, твёрдо обратившему лицо навстречу этой смерти в Иерусалиме, Он дал ему ответ того же рода, что теперь дал сатане, и также назвал его сатаной.

46 «Тогда дьявол оставляет Его; и вот, ангелы приступили и служили Ему».

47 Так говорит святой Матфей. Они принесли Ему пищу, которой Он ждал, идя в силе слова. Если бы она не пришла теперь, Он умер бы.

48 «И, окончив всё искушение, дьявол отошёл от Него до времени».

49 Так говорит святой Лука.

50 Значит, сатана дерзнул ещё раз. Когда?

51 Не тогда ли, когда в последнее мгновение, в муке последнего изнеможения Господь воскликнул: «Для чего Ты Меня оставил?» Когда, совершив великое дело и отложив его чистым и незапятнанным, как полотно, уже готовое обвить Его, Он ощутил, что иное облако, чем на горе, осенило Его душу и из него пришло безгласное убеждение: после всего совершённого Богу нет дела ни до Его труда, ни до Него Самого?

52 Даже в этих словах противник был побеждён — и навеки. Ибо, когда Он казался оставленным, крик Его всё ещё был: «*Боже Мой! Боже Мой!*»

Элои

[1] *«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»* — Мф. 27:46.

[2] Не знаю, осмелился ли бы я приблизиться к этому из всех речений, какие когда-либо принимало человеческое дыхание, самому страшному по своему смыслу, если бы не чувствовал, что, заключая в себе и семя, и цвет последней преданности, оно тем самым содержит глубочайший жизненный урок, который должно усвоить человеческое сердце. Господь, Открывающий сокрытое, не скрывает ничего, что может быть открыто, и не отвратит стопу, ступающую в обнажённом смирении даже на почву той страшной борьбы между Ним и Злом, когда дым битвы, которая велась не только среди окровавленных одежд, но и среди пламени и горючего огня, поднялся между Ним и Его Отцом и на одно ужасное мгновение, прежде чем Он разорвал узы жизни и, усталый и торжествующий, вошёл в Его объятия, скрыл Бога от глаз Его Сына. Он позволит нам размышлять даже о той единственной мысли, которая наконец убила Его, когда Он уже не мог больше терпеть и бежал к Отцу, чтобы узнать, что Тот любит Его и благоволит к Нему. Ибо сатана наконец пришёл снова, чтобы теснить Его последним искушением: сказать Ему, что, хотя Он исполнил Свою часть, Бог забыл о Своей; что, хотя Он жил словом Его уст, этим устам больше нечего сказать Ему; что, хотя Он отказался искушать Его, Бог оставил Его искушениям сверх Его сил; что, хотя Он не поклонялся никому иному, Богу нет дела до этого поклонения. Господь не скрывает Своих священных страданий, ибо истина — свет и хочет стать светом в умах людей. Святому Дитяти, Сыну Отца, нечего скрывать, но

предстоит открыть всё Божество. Снимем же обувь, приблизимся, склоним голову и поцелуем те стопы, которые вечно носят рубцы нашей победы. В этих стопах мы обнимаем залог безопасности нашего страдающего, грешащего братства.

[3] Со святым трепетом должны мы подходить к страшной действительности страданий нашего Господа. Пусть никто не думает, что они были меньше оттого, что Он был больше. Чем тоньше природа, чем живее она чувствует всё прекрасное и истинное, законное и правое, тем острее ощущает враждебность боли, вторжение смерти в жизнь; тем ужаснее разрыв гармонии вещей, звучащий пыткой. Он чувствовал больше, чем мог чувствовать человек, потому что способность чувствовать была у Него шире. Именно поэтому Он изнемог раньше, чем изнемог бы другой человек. Поистине страшными стали эти страдания, когда начали вторгаться в область, окружающую волю; когда борьба за сознательное доверие Богу начала погружаться во тьму; когда Воля Человека совершила последнее решительное усилие в этом крике вслед исчезающему видению Отца: *«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»* Никогда прежде с Ним такого не было. Никогда прежде Он не был неспособен видеть рядом с Собой Бога. И всё же никогда Бог не был к Нему ближе, чем теперь. Ибо никогда Иисус не был более божествен. Он не мог видеть Его, не мог чувствовать Его близости — и всё же взывает: «*Мой* Бог».

[4] Так Воля Иисуса именно в ту минуту, когда Его вера, кажется, вот-вот уступит, одерживает окончательную победу. Теперь её не поддерживает никакое *чувство*, не поглощает никакое блаженное видение. Она стоит в Его душе обнажённой и истерзанной, как Он Сам стоял

обнажённый и бичуемый перед Пилатом. Чистая, простая, окружённая огнём, она объявляет себя за Бога. Жертва возносится в крике: *«Боже Мой»*. Этот крик рождается не из счастья, не из мира, не из надежды. Даже не из страдания рождается этот крик. Он прозвучал *в* оставленности, но вышел из Веры. Это последний голос Истины, говорящей, когда она уже способна лишь кричать. Божественный ужас того мгновения непостижим человеческой душе. То был мрак тьмы. И всё же Он хотел верить. И всё же хотел держаться. Бог всё ещё был Его Богом. *«Боже Мой»* — и в этом крике явилась Победа, и вскоре всё было кончено. Лишь Он Сам может когда-либо знать широту, долготу, глубину и высоту мира, последовавшего за этим криком, — мира совершенной души, необъятной, как вселенная, чистой, как свет, пламенной, как жизнь, победившей ради Бога и Своих братьев.

[5] Без этого последнего из всех испытаний искушения нашего Учителя не наполнили бы человеческую чашу доверху; осталась бы одна область, через которую нам пришлось бы пройти, где мы могли бы громко звать нашего Брата и Вождя, а голоса и слуха не было бы: Он обошёл роковое место! Искушения пустыни пришли к молодому, сильному человеку, впереди у которого лежала дорога, а вокруг было присутствие Его Бога; более того, самую силу они черпали из избытка Его сознательной веры. «Дерзай и действуй, ибо Бог с Тобою», — говорил дьявол. «Я знаю это и потому буду ждать», — отвечал Царь Своих братьев. И вот теперь, после трёх лет божественных деяний, когда Его путь пройден, когда наступила старость завершённого труда, когда всё тело истерзано так, что царящий над ним мозг кружась падает в голубую бездну обморока и испускание духа близко,

когда друзья оставили Его и бежали, голос врага снова звучит у Его уха: «Отчайся и умри, ибо Бога нет с Тобою. Всё напрасно. Смерть, не Жизнь — Твоё убежище. Спеши в преисподнюю, там Твоя мука кончится. Ты обманул Себя. Его никогда не было с Тобой. Он был Богом Авраама. Авраам умер. Кем Ты Себя делаешь?» «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» — восклицает Учитель. Ибо Бог оставался Его Богом, хотя и оставил Его — оставил *Его взор*, чтобы Его вера воссияла победно; оставил *Его Самого*? Нет: подошёл к Нему ближе, чем когда-либо; приблизился так же, хотя и с ещё более глубоким, более страшным богатством смысла, как Сам Господь удалился от телесных глаз друзей, чтобы обитать в глубочайшей их сущности.

[6] Я не думаю, что глубочайшим испытанием Господа было то, когда в саду Он молился, чтобы чаша миновала Его, и вновь молился, чтобы совершилась воля Отца. Ибо тогда эта воля пребывала с Ним. Он жил и действовал в этой воле. Но теперь предвиденный ужас наступил. Он пьёт страшную чашу, а Воля исчезла из Его глаз. Будь эта Воля видна в Его страдании, Его воля могла бы со слезами радости склониться под сенью её величия. Но теперь Его воля оставлена одна пить в муке чашу Воли. В немощи этой агонии Воля Иисуса наконец восстаёт совершенной и сама, теперь уже ничем не поддерживаемая, — обнажённое сознание страдания, подвешенное в пустынной тьме вселенной, — объявляет себя за Бога вопреки боли, смерти, бесчувствию, собственному „я“, отрицанию, мраку внутри и вокруг неё; громко взывает к исчезнувшему Богу.

[7] Такова Вера Сына Божия. Бог как бы удалился, чтобы совершенная Воля Сына могла подняться и отправиться искать Волю Отца.

[8] Возможно ли, что и тогда Он думал о заблудших овцах, неспособных поверить, что Бог — их Отец; и за них тоже, во всей их потерянности, слепоте и нелюбви, воскликнул, произнося слово, которое могли бы произнести они, зная за них, что *Бог* означает *Отец*, и больше, и зная теперь, как никогда до этого мгновения, как страшно быть без Бога и без надежды? Я не смею ответить на поставленный мною вопрос.

[9] Но какое отношение эта альпийская вершина веры может иметь к существам, называющим себя христианами и ползающим по долинам, едва подозревающим о горах над ними, разве что негодуя и спотыкаясь о камешки, намытые на их тропу ледниковыми ручьями? Я скажу вам. Мы остаёмся такими ползающими христианами потому, что смотрим на себя, а не на Христа; потому, что разглядываем следы собственных грязных ног и волочащиеся полы собственных запятнанных одежд вместо того, чтобы поднять глаза к снегам чистоты, куда взошла душа Христа. Каждый, поставив ногу в след Учителя и тем самым исказив его, оборачивается посмотреть, насколько след ближнего соответствует тому, что он всё ещё называет следом Учителя, хотя это лишь его собственный след. Или, совершив мелкий проступок — я имею в виду проступок, на который способно лишь мелкое существо, — мы скорбим о нанесённом нам самим пятне и о стыде перед друзьями, детьми или слугами, вместо того чтобы поспешить должным образом признаться перед ближним и загладить вину, а затем, забыв своё ничтожное „я“ с его вполне заслуженным

позором, поднять глаза к славе, которая одна оживит в нас истинного человека и умертвит то мелочное существо, которое мы столь неправильно называем *собой*. Истинное „я“ — то, которое может взглянуть Иисусу в лицо и сказать: *«Господь мой»*.

[10] Когда светит внутреннее солнце и ветер мысли, веющий где хочет среди цветов и листьев фантазии и воображения, пробуждает радостные образы и чувства, легко поднять глаза и сказать: *«Боже мой»*. Легко, когда морозы внешних неудач закалили душевные нервы для здорового терпения и новых усилий после труда, — тогда легко обратиться к Богу и довериться Ему: всякое честное усилие даёт нам и способность, и право доверять Ему. В боли, пока она не перейдёт некие неуловимые пределы, легко надеяться на Божие избавление или молиться о силе терпеть. Но что делать, когда всякое чувство исчезло? Когда человек не знает, верит он или нет, любит или нет? Когда искусство, поэзия, религия для него — ничто, настолько поглотили его боль, уныние, разочарование, искушение или что-то, чего он и сам не знает? Тогда ему кажется, что Богу нет до него дела, и уж несомненно ему самому нет дела до Бога. Если он ещё смиренен, он думает, что так дурен, что Бог не может о нём заботиться. И тогда на время он верит, будто Бог любит нас лишь потому, что мы любим Его, лишь когда мы любим Его и пока любим; вместо того чтобы верить, что Бог любит нас всегда, потому что Он наш Бог, и что мы живём только Его любовью. Или он вовсе не верит в Бога, что лучше.

[11] Пока нам нечего сказать Богу и мы не имеем с Ним дела, кроме как при солнечной погоде в душе, когда ощущаем Его близость, мы жалкие создания, на которых

действует чужая воля, а не волящие сами; тростинки, быть может цветущие и приятные на вид, но всего лишь тростинки, колеблемые ветром; не злые, но жалкие создания.

12 И как мы обычно поступаем в таком состоянии? Разве не сидим, оплакивая утрату чувств? Или, хуже, делаем отчаянные усилия, чтобы их пробудить? Или, в десять раз хуже, впадаем в состояние временного безбожия и уступаем теснившему нас искушению? Или, лишившись сердечного тепла, соглашаемся оставаться беспечными, сознавая в себе лишь дурные мысли и низкие чувства, но слишком ленивые, слишком довольные, чтобы восстать против них? Мы знаем, что когда-нибудь должны от них избавиться, но пока — ничего; мы не *чувствуем*, что они дурны, и не чувствуем, что что-либо иное хорошо; мы спим и знаем это, и нам неохота утруждать себя пробуждением. Никакой порыв не приходит нас поднять, и мы остаёмся как есть.

13 Бог не делает так, чтобы мгновенный дар Его Духа заставлял нас всегда чувствовать правильно, желать добра, любить чистоту, стремиться к Нему и Его воле. Следовательно, Он либо не хочет, либо не может. Если не хочет, значит, делать это было бы нехорошо. Если не может, то и не захотел бы, будь это в Его силах; иначе Божий ум способен помыслить состояние лучше Божиего — такое, в котором Он мог бы спасать созданные Им существа лучше, чем может их спасать. Истина такова: Он хочет сделать нас по Своему образу, *избирающими добро*, *отвергающими* зло. Как бы Он достиг этого, если бы *всегда* двигал нас изнутри — как делает в божественные промежутки — к красоте святости? Бог оставляет нам место *быть*; не подавляет нас Своей волей;

«отступает от нас», чтобы мы действовали из самих себя, чтобы упражняли чистую волю к добру. Поэтому не думайте, будто я хочу сказать, что мы способны что-либо делать сами по себе, без Бога. Если в конце концов мы избираем правое, всё это — Божие дело, и тем более Его, что оно наше: оно Его несравненно более дивным образом, чем если бы Он непрестанно наполнял нас всеми святыми побуждениями, исключающими необходимость выбора. Ибо именно к этому мгновению, именно ради него Он воспитывал нас, вёл, подталкивал, гнал, привлекал, чтобы мы избрали Его и Его волю и тем стали в десять раз полнее Его детьми, лучшим Его собственным творением, в свободе воли, которую впервые обретаем своей именно в любящей жертве Ему и ради которой Он в величии Своего отцовства так трудится от основания земли, — полнее, чем мы могли бы стать в самом исступлённом поклонении, проистекающем из самого божественного порыва, без этой *добровольной* жертвы. Ибо Бог создал нашу индивидуальность наряду с нашей зависимостью, причём как большее чудо; создал нашу *отдельность* от Него, чтобы свобода связала нас с Ним божественно более дорогой связью, новым и неисповедимым чудом любви; ибо Божество по-прежнему лежит у корня, остаётся творящим корнем нашей индивидуальности, и чем свободнее человек, тем крепче узы, связывающие его с Тем, Кто создал его свободу. Он сотворил наши воли и трудится над тем, чтобы сделать их свободными; ибо лишь в совершенстве нашей индивидуальности и свободе нашей воли можем мы всецело быть Его детьми. Здесь много тайны, но разве не можем мы увидеть в ней достаточно, чтобы глубоко радоваться и обрести великий покой?

[14] Ни в каком ином действии, кроме того, которое вопреки порыву или слабости объявляет себя за Истину, за Бога, воля не прорывается в абсолютную свободу, в истинную жизнь.

[15] Посмотрите же, что доступно нам всякий раз, когда мы так окутаны складками ночи. Высшее состояние человеческой воли видно, достижимо. Я не говорю — высшее состояние Человеческого Существа: оно, несомненно, заключается в Блаженном Видении, в созерцании Бога. Но высшее состояние Человеческой Воли, отличной от Бога, хотя и не отделённой от Него, наступает тогда, когда она, не видя Бога и, как ей кажется, вовсе не удерживая Его, всё же крепко держится за Него. Она не может оставаться в этом состоянии, ибо, не находя, не видя Бога, человек умер бы; но когда воля так утверждает себя, человек перешёл от смерти в жизнь и видение уже близко. Лишь тогда, так освободившись, так утверждая свою свободу, отдельная воля становится единой с Волей Бога; ребёнок окончательно возвращён отцу; детство и отцовство встречаются в единстве; братство человеческого рода восстаёт из праха; и молитва Господа получает ответ: «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершенны воедино». Будем же подниматься в рождённой Богом силе всякий раз, когда чувствуем, что тьма смыкается, или сознаём, что она уже сомкнулась вокруг нас, и говорить: «Я принадлежу Свету, а не Тьме».

[16] Тревожная душа, ты не обязана чувствовать, но ты обязана подняться. Бог любит тебя, чувствуешь ты или нет. Ты не можешь любить, когда захочешь, но обязана до конца бороться с ненавистью в себе. Не пытайся чувствовать себя доброй, когда ты не добра, но взывай к

Тому, Кто добр. Он не меняется оттого, что меняешься ты. Более того, Он любит тебя с особой нежностью именно потому, что ты во тьме и у тебя нет света, и сердце Его радуется, когда ты встаёшь и говоришь: «Пойду к Отцу моему». Ибо Он видит тебя сквозь весь мрак, сквозь который ты не можешь видеть Его. Пожелай Его воли. Скажи Ему: «Боже мой, я очень туп, подавлен и чёрств; но Ты мудр, высок и нежен, и Ты — мой Бог. Я Твоё дитя. Не оставь меня». Затем сложи руки веры и тихо жди, пока во тьме твоей не взойдёт свет. Сложи руки Веры, говорю я, но не Дела: вспомни что-нибудь, что тебе надлежит сделать, и пойди сделай, пусть это будет лишь подмести комнату, приготовить еду или навестить друга. Не обращай внимания на чувства: делай своё дело.

17 Как Бог живёт собственной волей, а мы живём в Нём, так Он дал и нам силу волить в самих себе. Насколько лучше было бы нам, если бы, обнаружив, что мы стоим, склонив головы в сторону от добра, что у нас нет даже слабого желания искать источник нашей жизни, мы всё-таки направляли бы *волю* ввысь, к Богу, пробуждая в себе ту сущность жизни, которую Он дал нам из собственного сердца, чтобы вновь воззвать к Тому, Кто есть наша Жизнь, Кто может наполнить самое пустое сердце, разбудить самую мёртвую совесть, оживить самое тупое чувство и укрепить самую слабую волю!

18 Тогда, если когда-нибудь наступит время, как, возможно, оно должно наступить для каждого из нас, когда исчезнет всякое сознание благополучия, когда земля станет лишь бесплодным мысом, а небеса — унылым и чумным скоплением испарений, когда ни мужчина, ни женщина больше не будут радовать нас, когда даже Сам Бог станет лишь именем, а Иисус —

старой историей, тогда, даже тогда, когда Смерть, куда худшая, чем «тот призрак страшных костей», сожмёт наши сердца и, убив любовь, надежду, веру, навяжет нам существование лишь в муке, — тогда, даже тогда, мы сможем воскликнуть вместе с Господом: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» И, думаю, мы не умрём, не получив возможности произнести и Его последние слова: «*Отче! В руки Твои предаю дух мой*».

Руки Отца

[1] «*Отче! В руку Твою предаю дух Мой*». — Лк. 23:46.

[2] Ни святой Матфей, ни святой Марк не сообщают ни о каких словах, произнесённых нашим Господом после *«Элои»*. Оба они, как и святой Лука, рассказывают о громком возгласе и об испускании духа; между этим возгласом и испусканием духа святой Лука помещает слова: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Святой Лука ничего не говорит о молитве оставленности — «Элои». Святой Иоанн не приводит ни *«Элои»*, ни *«Отче! В руки Твои»*, ни громкого возгласа. Он сообщает лишь, что, приняв уксус, Иисус сказал: «*Совершилось*», — и, преклонив главу, испустил дух.

[3] Скажет ли нам когда-нибудь Господь, отчего Он так возопил? Был ли это крик облегчения при прикосновении смерти? Крик победы? Крик радости оттого, что Он выдержал до конца? Или Отец взглянул на Него в ответ на Его *«Боже Мой»*, и блаженство этого взгляда заставило Его громко вскрикнуть, потому что улыбнуться Он не мог? Таково ли было теперь Его состояние, что величайшая радость во вселенной могла выразиться лишь громким криком? Или это была лишь последняя судорога боли перед наступлением окончательного покоя? Возможно, всё это соединилось воедино. Но, верно, во всех книгах, во всех словах мыслящих людей никогда не будет выражено столько, сколько без слов заключалось в том крике Сына Божия. Теперь Он сделал Отца Своего Господом уже не одной лишь силой творения и любви, но и по праву преданности, по праву совершённого дела любви. Теперь в сердцах людей должны были родиться внутреннее сыновство и дух радостной жертвы, ибо божественное

послушание достигло совершенства через страдание. Среди Своих братьев Он был тем, чем хотел видеть Своих братьев. Он сделал для них то, что хотел, чтобы они делали для Бога и друг для друга. Отныне Бог был внутри них и под ними, как и вокруг них и над ними, страдая вместе с ними и за них, отдавая им всё, что имел: само Своё живое бытие, самую сущность Своего существования, самое дорогое, что любил, лучшее, чем был. Он был среди них — их Бог и Брат. И эта великая история завершается криком.

4 Значит, этот крик говорил: *«Совершилось»*; этот крик говорил: *«Отче! В руки Твои предаю дух Мой»*. Всякий высший человеческий поступок — лишь возвращение Богу того, что Он прежде дал нам. «Ты, Боже, дал мне: вот Твой дар вновь. Я посылаю мой дух домой». Всякое поклонение — вознесение пред Богом того, чем Бог нас создал. «Вот, Господи, взгляни, что у меня есть; раздели со мною чувство того, чем Ты меня создал, чувство этого дара Твоей щедрости — моего бытия. Я Твоё дитя и не знаю, как благодарить Тебя, кроме как вознося в приношение переливающуюся через край Твою жизнь и громко взывая: „Это Твоё; это моё. Я Твой, а потому я и свой“». Необъятные свершения духовного мира, как и мира телесного, — всего лишь возвращение к источнику.

5 Последний поступок нашего Господа, предавшего Свой дух Отцу при завершении жизни, был лишь итогом того, что Он делал всю жизнь. Все эти годы Он приносил эту жертву — жертву Самого Себя — и, так жертвуя, жил божественной жизнью. Каждое утро, когда Он выходил ещё до рассвета, каждый вечер, когда задерживался на объятой ночью горе, после того как друзья уходили, Он отдавал Себя Отцу в общении исполненных любви слов,

высоких мыслей, безмолвных чувств; а в промежутках обращался к тому же самому в действии — в любящем слове, в помогающей мысли, в исцеляющем деянии ради Своих ближних; ибо, пока длится день, поклоняться Богу надлежит трудом; служение Богу, единственное «богослужение», — помощь нашим ближним.

6 Я не хочу представлять это предание нашего духа Отцу как долг: это значило бы превратить высшее из данных нам благ в тяжёлое, невыносимое бремя. Но я хочу показать, что это самое простое и самое блаженное во всём человеческом мире.

7 Ибо человек может сказать себе так: «Я иду спать — потерять сознание, на время стать беспомощным, лишиться мыслей, умереть? Или — мысль ещё страшнее — в сновидениях, которые могут прийти, не окажусь ли я слабым волей и бедным совестью? Отче, в руки Твои предаю дух мой. Я отдаю себя обратно Тебе. Возьми меня, успокой, освежи, „сотвори меня заново“. Я выхожу навстречу делам и суете дня, где столько соблазнов поступить менее честно, менее верно, менее добро, менее усердно, чем велел бы мне Совершенный Человек? Отче, в руки Твои. Я собираюсь сделать доброе дело? Тогда — более, чем когда-либо, — Отче, в руки Твои, чтобы враг не завладел мною именно теперь. Мне предстоит исполнить тяжкий долг, от которого я охотно уклонился бы: отказать другу в просьбе, воззвать к совести ближнего? Отче, в руки Твои предаю дух мой. Мне больно? Надвигается болезнь, чтобы закрыть светлые образы здорового ума и принести мне тревожные и ложные? Прими мой дух, Господи, и, как всегда, позаботься, чтобы на его долю пришлось не больше, чем он способен вынести. Я умираю? Ты знаешь, хотя бы по крику Твоего Сына, как

это страшно; и если смерть приходит ко мне не в столь страшном обличье, в каком пришла к Нему, вспомни, как мало во мне сил терпеть в сравнении с Ним. Я не знаю, что значит эта борьба: из тысяч проходящих через неё каждый день ни один не просвещает ближнего, остающегося позади; но разве не буду я мучительно жаждать одного глотка Твоего воздуха и не получать его? Разве умирание не станет разрывать меня на части? Больше не стану спрашивать: Отче, в руки Твои предаю дух мой. Ибо это Твоё дело, не моё. Ты будешь знать каждый оттенок моего страдания; Ты позаботишься обо мне в совершенстве Твоего отцовства, ибо именно оно творит моё сыновство, объемлет его и заключает в себе. В детстве я мог выносить сильную боль, когда мой отец склонялся надо мною или обнимал меня: насколько же ближе к моей душе могут подступить Твои руки! Да, с таким утешением, Отец мой, какого я ещё никогда даже не воображал: как моему воображению поспеть за Твоим стремительным сердцем? Боль мне нипочём, лишь бы дух мой был крепок, — и в руки Твои я предаю этот дух. Если примет его Твоя любовь, которая лучше жизни, тогда, несомненно, Твоя нежность сделает его великим».

[8] Так человек может сказать себе.

[9] Подумайте, братья, подумайте, сёстры: мы ходим в воздухе вечного отцовства. Всякое движение сердца ввысь — взгляд, поднятый к Отцу. Благодать и истина — вокруг нас, над нами, под нами, да, и *в* нас. Когда мы менее всего достойны, когда сильнее всего искушаемы, когда мы наиболее чёрствы и недобры, — и тогда будем предавать дух наш в Его руки. Куда ещё осмелимся мы его послать? Как полюбил бы земной отец ребёнка, который прокрался бы в его комнату с сердитым, тревожным лицом, сел у его

ног и на вопрос, чего он хочет, ответил бы: «Папа, я чувствую себя таким дурным и хочу стать хорошим!» Разве сказал бы он ребёнку: «Как ты смеешь! Уходи, стань хорошим, а потом приходи ко мне»? И осмелимся ли мы думать, что Бог прогнал бы нас, приди мы к Нему так, и не порадовался бы нашему приходу, даже если бы мы были сердиты, как Иона? Разве не излили бы мы на такого ребёнка всю нежность нашей природы? И осмелимся ли мы думать, что, если мы, будучи злы, умеем давать добрые дары нашим детям, Бог не даст нам собственного Духа, когда мы придём просить Его? Разве не опустится прохладой небесная роса на жаркий гнев, животворящая дождевая капля — на иссохшее себялюбие, проблеск солнца — на облачную безнадёжность? По крайней мере, дан будет хлеб, а не камень; по крайней мере, вода будет верна, а не уксус, смешанный с желчью.

[10] И нет ничего, чего мы могли бы просить для себя и не могли бы просить для другого. Любого брата, любую сестру можем мы вверить общему Отцу. И будут мгновения, когда, исполненные Духа, Который есть Господь, мы не найдём облегчения сердцу от переполняющей его любви, пока не вверим всех людей, всех братьев наших, всех сестёр наших единому Отцу. И никогда не узнаем мы того покоя в руках Отца, того упокоения Гроба Господня, которое познал Господь, когда мука смерти окончилась, когда буря мира замерла за Его удаляющимся духом и Он вступил в области, где есть лишь жизнь, а потому всё, что не музыка, — тишина (ибо всякий шум рождается из столкновения Жизни и Смерти); никогда, говорю я, не сможем мы упокоиться на груди Отца, пока отцовство не откроется нам во всей полноте в любви братьев. Ибо Он может быть нашим Отцом лишь потому, что Он их Отец; и если мы не видим и

не чувствуем в Нём их Отца, мы не можем знать Его своим. Никогда не узнаем мы Его как должно, пока не возрадуемся и не возликуем за весь наш род, что Он — *Отец*. Кто не любит брата своего, которого видел, как может любить Бога, Которого не видел? Чтобы наконец упокоиться, говорю я, в тех самых руках, в которые Господь предал Свой дух, мы уже должны были научиться любить ближнего своего, как самого себя.

Возлюби ближнего твоего

[1] *Люби ближнего твоего, как самого себя.* — Мф. 22:39.

[2] Первоисточник, который здесь цитирует наш Господь, находится в словах Бога к Моисею (*Левит* 19:18): *«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».* Наш Господь никогда не думал об оригинальности. Чем древнее изречение, тем лучше, если оно выражает истину, которую Он хочет выразить. В Нём оно становится действительностью: *Слово* стало *плотью*. И так, в дивной встрече крайностей, слова, которые Он произносил, были уже не словами, а духом и жизнью.

[3] Те же слова дважды приводит святой Павел и однажды святой Иаков, всегда сходным образом: они представляют любовь как исполнение закона.

[4] Верно ли тогда обратное? Есть ли исполнение закона любовь? Апостол Павел говорит: «Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона». Следует ли отсюда, что *не делать зла* — значит любить? Любовь исполнит закон; исполнит ли закон любовь? Нет, поистине. Если человек соблюдает закон, я знаю, что он любит ближнего. Но он любит не потому, что соблюдает закон: он соблюдает закон потому, что любит. Ни одно сердце не удовлетворится законом взамен любви. Закон не может исполнить любовь.

[5] «Но по крайней мере закон сможет исполнить сам себя, хотя и не достигнет любви».

[6] Я этому не верю. Я уверен, что невозможно соблюдать закон по отношению к ближнему, если не любишь его.

Сам закон бесконечен, он простирается до таких тонкостей поступка, что тот, кто больше всех старается, яснее всех будет сознавать своё поражение. Мы созданы не для закона, а для любви. Любовь есть закон, потому что она бесконечно больше закона. Она принадлежит совсем иной, высшей области, чем закон, — в действительности она творец закона. Если бы не любовь, ни одно из законных *«не делай»* не было бы произнесено. Правда, однажды произнесённые, они предстают в облике справедливости, да и в низших, житейских обличьях благоразумия и самосохранения; но первой произнесла их любовь. Если бы в нас не было любви, откуда взялось бы чувство справедливости? Не был бы каждый полон лишь сознания собственных нужд и не рвал бы вечно всё к себе? Я не говорю, что справедливость порождает *сознательная* любовь, но говорю, что без любви в нашей природе справедливость никогда не родилась бы. Ибо я не называю справедливостью то, что состоит лишь в чувстве *собственных* прав. Правда, есть жалкие, иссохшие формы любви, которые ныне неизмеримо ниже справедливости; но уже теперь их ценность невыразима, ибо они вырастут в то, что превзойдёт необходимость справедливости именно потому, что сделает её неизбежной.

[7] Для чего же тогда закон? Чтобы привести нас ко Христу, Истине; чтобы пробудить в нашем уме сознание того, чего требует от нас наша глубочайшая природа — то есть присутствие Бога *в* нас; чтобы дать нам узнать, отчасти через неудачу, что самое чистое усилие воли, на какое мы способны, не может поднять нас даже до воздержания от зла ближнему. Какой человек, например, не любя ближнего, но желая соблюдать закон, осмелится быть уверенным, что никогда ни словом, ни взглядом, ни тоном, ни жестом, ни молчанием не даст ложного

свидетельства против него? Кто может судить ближнего верно, кроме того, чья любовь заставляет его отказаться от суда? Поэтому нам и сказано любить, а не судить. Это единственная справедливость, на которую мы способны, и, достигнув совершенства, она вместит всякую справедливость. Более того, отказать ближнему в любви — значит причинить ему величайшую несправедливость. Но об этом после. Чтобы исполнить самый обыкновенный закон, повторяю, мы должны подняться в совершенно иную, высшую область, стоящую над законом, ибо она — дух и жизнь и творит закон: чтобы соблюсти закон по отношению к ближнему, мы должны любить ближнего. Мы созданы не для закона, а для благодати — или для веры, если употребить другое слово, которым так много злоупотребляют. Мы созданы в слишком великом масштабе, чтобы иметь какое-либо чистое отношение к одной лишь справедливости, если вообще можно сказать, что такая вещь существует. Это всего лишь отвлечённое понятие, которое в действительности отвлечению не поддаётся. Закон приходит, чтобы заставить нас тосковать по необходимой благодати, то есть по божественному состоянию, в котором любовь есть всё, ибо Бог есть Любовь.

[8] Хотя исполнение закона — та практическая форма, которую примет любовь, а пренебрежение им обличает отсутствие любви; хотя именно так *воля* человека должна немедленно начать становиться любовью к ближнему, — всё же, что под любовью к ближнему Господь разумел не исполнение закона по отношению к нему, а состояние бытия, из которого вытекает исполнение закона и нечто большее, достаточно ясно из Его рассказа о добром самарянине. «Кто мой ближний?» — спросил законник. И Господь научил его, что ближний ему всякий, для кого он

может чем-либо быть или что-либо сделать; следовательно, каждый из человеческого рода, как только его коснётся хоть один усик нашего существа, — наш ближний. Какой из запретов закона поясняет этот рассказ? Ни одного. Любовь, которая больше закона и делает его нарушение невозможным, живёт в этой неисчерпаемой истории, проявляясь в деятельной доброте, то есть в признании родства, единого *рода*, близости, *ближнего*; да, в нежности и любящей доброте: сердце самарянина сродни сердцу иудея, руки самарянина — ближние иудейским ранам.

9 Люби ближнего твоего, как самого себя.

10 Эта притча Господа столь пряма и полна, что становится почти стыдно ещё что-нибудь о ней говорить. Предположим, кто-нибудь из стоявших рядом задал бы Господу тот же вопрос, что рассматриваем мы, и сказал: «Но ведь я могу соблюдать закон и всё же не любить ближнего», — разве Господь не ответил бы: «Соблюдай закон так — не по букве, а по духу, то есть в истине поступка, — и вскоре обнаружишь, о иудей, что любишь своего самарянина»? И всё же, когда в уме нашем возникают мысли и вопросы, Он хочет, чтобы мы следовали за ними. Он не остановит нас презрительно произнесённым словом небесной мудрости. Он знает, что даже Его слова не ответят на каждый вопрос готовой к послушанию души; и мы знаем, что Его дух ответит. Когда мы захотим узнать больше, это большее будет для нас. Не всякому, например, встречается ближний, нуждающийся в помощи, и человек охотно ускорил бы медленные плоды случая верной мыслью. Так приготовились бы мы к дальнейшему учению от Духа, Который есть Господь.

11 «Но как, — говорит человек, готовый признать всеобщее ближнее родство, однако неспособный исполнить даже простой закон по отношению к той женщине, которую любит больше всех, — как же мне подняться в эту высшую область, в этот эмпирей любви?» И, немедленно начав стараться любить ближнего, он обнаруживает, что эмпирей, о котором он говорил, сам по себе достижим не более, чем сам по себе был достижим закон. Как нельзя ему соблюсти закон, прежде не поднявшись до любви к ближнему, так нельзя любить ближнего, прежде не поднявшись ещё выше. Весь строй вселенной действует по этому закону — устремлять всё ввысь, к средоточию. Человек, желающий любить ближнего, не может сделать это каким-либо непосредственно действующим усилием воли. Лишь человек, исполненный Бога, от Которого он произошёл и Которым существует, может любить как себя ближнего, который тоже произошёл от Бога и тоже существует Богом. Тайна индивидуальности и вытекающих из неё отношений глубока, как истоки человечества; возникающие из неё вопросы способен разрешить лишь тот, кто хотя бы на деле разрешил святые необходимости, обусловленные его происхождением. Только в Боге человек может встретиться с человеком. Только в Нём сходящиеся линии существования соприкасаются, не пересекая друг друга. Когда ум Христов, жизнь Главы, протекает через ту частицу медленно оживающего тела, которой является человек, когда и он жив, тогда любовь братьев присутствует как сознательная жизнь. От Христа через ближних приходит жизнь, делающая его частью тела.

12 Любить ближнего, как самого себя, *возможно*. Наш Господь *никогда* не говорил преувеличениями, хотя

именно это предположение многие бессознательно кладут в основу толкования Его слов, чтобы суметь убедить себя, что верят им. Мы можем увидеть эту возможность прежде, чем достигнем её; ибо наше восприятие истины всегда опережает наше состояние. Правда, никто не может увидеть её вполне, пока сам не станет ею; но мы должны видеть её, чтобы ею стать. Человек, знающий, что ещё не любит ближнего как себя, может верить в такое состояние, может даже видеть, что иной цели человеческого совершенства нет, что нет ничего другого, к чему спешит вселенная, движимая волей Отца. Пусть он трудится дальше и не унывает при мысли, что Божий день — тысяча лет: Его тысячелетие тоже один день, да, этот самый день, ибо в нас пребывает Он, Любовь, уже теперь осуществляющая далёкую цель.

13 Но хотя верно, что лишь полюбив Бога всем сердцем человек полюбит ближнего как себя, всё же в достижении этого конечного результата переплетаются разные пути. Попробуем помочь такому действию истины, посмотрев дальше. Предположим, человек, верящий, что Господь и имел в виду то, что сказал, и знал истину дела, начинает стараться исполнить эту заповедь любви к ближнему как к себе. Он принимается думать о своих ближних вообще и пытается почувствовать любовь к ним. Тут же оказывается, что они начинают разделяться на группы. С некоторыми затруднений нет: он уже любит их — не потому, правда, что они *существуют*, а потому, что дружелюбием, уже проявившейся способностью вызывать любовь, то есть собственной любовью, они взволновали его чувства, как ветер волнует воду, без какого-либо самостоятельного действия с его стороны. И он чувствует, что это не слишком относится к делу; хотя, конечно, он был бы дальше от желаемого конца, если бы ему некого

было так любить, и ещё дальше, если бы он никого из таких не любил. Он вспоминает слова Господа: «Если вы любите любящих вас, какая вам награда?» — и его мысль останавливается, допустим, на одном человеке из второй группы, и он пытается полюбить его. Тот не враг — до этой группы ближних мы ещё не дошли, — но он скучен, неинтересен, в отрицательном смысле, как ему кажется, не способен вызывать любовь. Что с ним делать? При всех усилиях цель остаётся столь же далека, как прежде.

14 Естественно, потерпев неудачу, он спрашивает: «Мой ли долг любить того, кого невозможно любить?»

15 Конечно, нет, если его невозможно любить. Но это означает заранее принять за доказанное то, о чём идёт спор.

16 Тогда человек возвращается к первоначальному основанию вещей и спрашивает:

17 «Как же мне любить этого человека? Почему я должен любить ближнего, как себя?»

18 Мы не должны отвечать: «Потому что так говорит Господь». Именно потому, что так говорит Господь, человек и ищет помощи для послушания. Никто не может полюбить ближнего лишь потому, что так говорит Господь. Господь говорит так потому, что это правильно, необходимо и естественно, а человек хочет почувствовать это как правильное, необходимое и естественное. Хотя Господь был бы доволен всяким, кто сделал бы что-либо потому, что Он велел, Он выразил бы Своё довольство тем, что делал бы человека всё более неудовлетворённым, пока тот не узнал бы, почему Господь так сказал. Он дал бы ему увидеть, что нельзя в глубочайшем смысле — так, как любит Господь, — исполнить никакое повеление, пока

не увидишь его разумности. Заметьте: я не говорю, что человек должен откладывать исполнение заповеди, пока не увидит её разумности; это совсем другое и не входит в рамки моего нынешнего предположения. Прекрасно повиноваться правомочному источнику повеления; ещё прекраснее поклоняться сияющему источнику нашего света, и ради послушного видения Господь даёт нам заповеди. Ибо тогда наше сердце встречается с Его сердцем: мы видим Бога.

19 Позвольте мне представить в форме разговора то, что могло бы происходить в уме человека между двумя сторонами этого вопроса. «Почему я должен любить ближнего?»

20 «Он такой же, как я, и потому я должен его любить».

21 «Почему? Я — это я. Он — это он».

22 «У него те же мысли, чувства, надежды, печали, радости, что у меня».

23 «Да; но почему за это я должен его любить? Пусть он заботится о своих, я могу справляться лишь со своими».

24 «У него такое же сознание, как у меня. Какими вещи предстают мне, такими они предстают ему».

25 «Да; но я не могу войти в его сознание, ни он — в моё. Я чувствую себя, а его не чувствую. Моя жизнь течёт в моих жилах, не в его. Мир сияет в моём сознании, и я не сознаю его сознания. Я хотел бы любить его, но не вижу почему. Я — отдельная личность; он — отдельная личность. Моё „я“ должно быть мне ближе, чем способен быть он. Два тела отделяют меня от его „я“. Я один на один с собой».

[26] Вот здесь наконец и обнаруживается ошибка. Пока мыслящий предполагает в себе двойственность, которой нет, он ошибочно считает индивидуальность разделением. Напротив, она — единственная возможность и сама связующая сила любви. *Инаковость* — необходимое основание привязанности. Но в духовных вещах уже само созерцание их человеческим духом предполагает такое единство, что, где не существует чего-то, что должно быть, место, которое оно должно занимать, даже оставаясь пустотой, принимает вид разделяющей пропасти. Отрицательное кажется положительным. Там, где человек не любит, отсутствие любви должно казаться разумным. Ибо никто не любит потому, что видит почему, но потому, что любит. Нельзя привести человеческий довод в пользу высшей необходимости божественно сотворённого существования. Ведь доводы всегда нисходят сверху вниз. Человеку нужно просто почувствовать эту необходимость — и тогда вопросы кончаются. Она оправдывает себя сама. Но тот, кто её не почувствовал, не располагает ею для рассуждений. У него есть лишь её призрак, созданный им самим в тщетной попытке понять, который он и принимает за неё. Нельзя рассуждать о любви в её отсутствие, ибо нет ни отражения, ни символа, достаточно близкого к её действительности, чтобы алгебра разума или воображения могла обращаться с ним справедливо. И впрямь, сами разговоры о ней поднимают туман между умом и её видением. Но пусть человек однажды полюбит, и все трудности, казавшиеся преградами любви, станут таким же множеством доводов в пользу любви.

[27] Пусть человек однажды найдёт другого, попавшего к разбойникам; пусть станет ему ближним, возлив на раны

масло и вино, перевязав их, посадив его на собственного осла и заплатив за него на постоялом дворе; пусть сделает всё это лишь из чувства долга; пусть даже в гордыне своего мнимого и в неведении своего истинного призвания ни на йоту не откажется от своего иудейского превосходства; пусть снисходит к другому до самой низости собственной низшей природы; всё же такова будет сила послушания вечной истине даже в его скудной мере, воплощения на деле того, чего он не увидел даже в теории, делания истины даже без веры в неё, что, хотя бы после поступка истина не дала в человеке ни малейшего проблеска истины, он всё же окажется на века ближе к ней, чем прежде: ибо пойдёт своим путём, любя этого ближнего-самарянина чуть больше, чем позволит оправдать его иудейское достоинство. И разумность этого он не станет подвергать сомнению, хотя, возможно, не захочет тратить логику на её поддержку. Насколько же вернее, если он человек, который любил бы ближнего, будь это в его силах, высшее состояние окажется найденным в действии без поисков! Ибо человек — целое; и как только он *объединяет себя* послушным действием, истина в нём открывается ему, сияя из нового целого. Ведь его действие — ответ замыслу Создателя, его личная доля в сотворении самого себя, его предание себя Всему во всём, приливам Чьей гармоничной, миросозидающей жизни отныне открыто всё его существо для взаимного проникновения и уподобления. Как только воля начинает стремиться ввысь, она скоро обнаружит, что действие должно предшествовать чувству, дабы человек мог узнать самое основание чувства.

[28] Для тех, кто не признаёт никакого авторитета основанием пробного действия, сомнение, догадка об

истине должны быть достаточным основанием, чтобы испытать её.

29 Вся система божественного воспитания в том, что касается отношений между людьми, имеет целью, чтобы человек любил ближнего как самого себя. Это не урок, который можно усвоить сам по себе, и не долг, обязательность которого можно доказать доводами, как невозможно определить различие между добром и злом иначе, чем в их собственных понятиях. «Но это различие, — могут возразить, — само собой открывается всякому уму: оно очевидно; тогда как любовь к ближнему *не* воспринимается как первоначальная истина; до такой степени не воспринимается, что подавляющее большинство тех, кто надеется на вечное блаженство через Того, Кто учил ей, на деле не верят, что она истина; напротив, они верят, что первейшая обязанность — заботиться о себе, сильно рискуя забыть о ближнем».

30 Но человеческий род в целом уже дошёл до распознавания добра и зла; поэтому большинство людей рождаются способными различать их. Человеческий род ещё не прожил достаточно долго, чтобы его новейшие потомки рождались с восприятием истины любви к ближнему. Нынешний отдельный человек способен увидеть её лишь после долгого принятия воспитания жизнью и подчинения ему. А однажды увидев, верит.

31 Всё устройство человеческого общества, говорю я, существует с прямой целью научить двум истинам, которыми живёт человек: Любви к Богу и Любви к Человеку. О тайнах отношений родителей и детей, поскольку они относятся к преподаванию первой истины, я не скажу больше того, что мы именно так приходим в мир, чтобы поднять глаза к любви над нами и увидеть в

ней символ божественной любви — бедный и слабый, но лучший, какой мы можем иметь или принять. [Примечание: Глубже и вернее это можно выразить так: Бог устраивает человеческие дела согласно Своим мыслям, и потому они таковы, что лучше всего учат любви к Нему и к ближнему. Такой взгляд на них неизмеримо благороднее и истиннее, чем взгляд как на схему или план, изобретённый божественным разумом.] И ещё тысячам людей было бы легко любить Бога, если бы они не имели столь жалких Его образов в своекорыстных, ведомых порывами, бесцельных, неверных существах, которые только и даны им вместо отца и матери и которым дети не дороже, чем неразумной самке её приплод. Теперь, в связи со второй великой заповедью, я хочу говорить об отношениях братства и сестринства. Почему мой брат происходит от тех же отца и матери? Почему я вижу беспомощность и доверие его младенчества? Почему младенца кладут ребёнку на колени? Почему мы растём, вскормленные одним? Почему вместе созерцаем чудо заката и тайну растущей луны? Почему делим постель, участвуем в одних играх, пытаемся совершить одни подвиги? Почему ссоримся, клянёмся мстить, молчать и вечно враждовать, а потом, не в силах противиться живущему в нас братству, берёмся под руки и в течение часа всё забываем? Не для того ли, чтобы Любовь стала госпожой всего между ним и мною? Не для того ли, чтобы я чувствовал к нему то, чего не выразить ни словами, ни сочетаниями слов, — любовь, в которой божественное „я“ устремляется наружу, совершенно забывая себя, чтобы жить созерцанием брата, — любовь, которая сильнее смерти, радостная, гордая и удовлетворённая? Но если любовь остановится на этом, каков будет итог? Её собственная гибель; утрата братства.

Кто любит брата не по более глубоким причинам, чем общность родителей, тот совсем перестанет его любить. Любовь, не расширяющая своих границ, не распространяющаяся непрестанно, не объемлющая всё больше и не углубляющаяся, сожмётся, сморщится, истлеет, умрёт. Мне даны сыновья моей матери, чтобы я научился всеобщему братству. Ибо между мной и самым жалким лжецом, когда-либо умершим за убийство, в котором он даже не признался, есть связь бесконечно более тесная, чем та, которая возникает лишь от общих отца и матери. То, что мы сыновья и дочери Бога, родившиеся из Его сердца, вышедшие из Него дети Его любви, — связь теснее всех прочих связей вместе. Никто никогда не любил собственного ребёнка правильно, если не любил его за его человечность, за его божественность, совершенно забывая о его происхождении от себя. Сын моей матери, конечно, брат мне также и по этой большей и более тесной связи; но если я вообще признаю такую связь между ним и собой, я признаю её для всего моего рода. Правда, и слава Богу, большее не исключает меньшего: оно делает все более слабые связи крепче и истиннее и не запрещает, чтобы там, где все братья, некоторые были особенно близки нашему сердцу. И всё же брат по плоти — мой первый ближний, чтобы мы были очень близки друг другу, хотим мы того или нет, пока наши сердца нежны, и так могли научиться *братству*. Ибо наша взаимная любовь — лишь биение сердца великого братства и могла прийти только от вечного Отца, а не от наших родителей. Затем является мой второй ближний — и кто же он? Всякий, с кем я соприкасаюсь. Тот, с кем у меня есть какие-либо дела, какие бы то ни было человеческие отношения. Не только тот, с кем я обедаю; не только друг, с которым делюсь

мыслями; не только тот, кого моё сострадание хотело бы поднять из какой-нибудь трясины; но и тот, кто шьёт мне одежду; тот, кто печатает мою книгу; тот, кто везёт меня в экипаже; тот, кто просит у меня на улице и кому, быть может, ради братства я не должен подавать; да, даже тот, кто обращается со мной снисходительно. С каждым и со всеми есть возможность исполнить дело ближнего, если не иначе, то хотя бы говоря правду, поступая справедливо и думая по-доброму. Даже эти дела помогут прийти к любви, рождающейся из праведности. Всякое истинное действие очищает родники правильного чувства и позволяет их водам подниматься и течь. Человек не должен выбирать ближнего: он должен принять ближнего, которого посылает Бог. В нём, кто бы он ни был, скрыто или явно пребывает прекрасный брат. Ближний — просто тот человек, который сейчас рядом с тобой, с которым тебя свело какое-либо дело.

[32] Так любовь будет расходиться всё шире, всё сильнее пульсировать, пока весь человеческий род не станет для человека священно прекрасным. Униженные пьянством, обезображенные пороком, раздутые гордыней, опухшие богатством, измазанные тщеславием, они всё же будут братьями, всё же сёстрами, всё же рождёнными от Бога ближними. В конце концов любого грубо вытесанного подобия человечности будет достаточно, чтобы подвигнуть человека к благоговению и любви. Некоторым научиться этому труднее, чем другим. Есть люди, чей первый порыв — всегда оттолкнуть, а не принять. Но научиться они могут и должны. Даже они могут так возрасти в этой благодати, что незнакомое лицо пробудит в них тоску любви, доходящую до боли, ибо выразить её невозможно и остаётся лишь отдать человека Богу и умолкнуть.

33 И тогда придут все доводы, из которых прежде человек тщетно пытался построить лестницу к солнечным высотам любви. «Ах, брат! У тебя душа, как моя, — скажет он. — Ты смотришь из своих глаз, и образы, звуки, запахи посещают твою душу, как мою, с чудом и нежным утешением. Ты тоже любишь лица ближних. Твои печали угнетают тебя, твои радости возвышают. Быть может, ты не так хорошо, как я, знаешь, что область радости окружает всё твоё горе, света — всю твою тьму, мира — всю твою смуту. О брат мой! Я буду любить тебя. Я не могу подойти к тебе очень близко: тем сильнее буду любить. Быть может, ты не любишь ближнего; быть может, думаешь лишь о том, как взять у него, как нажиться за его счёт. Как же одинок ты должен быть! Как заперт в своей нищей комнате с голыми стенами себялюбия и жёстким ложем неудовлетворённости! Тем сильнее я буду любить тебя. Ты не останешься один на один с собой. Ты — не я; ты — другая жизнь, второе „я“; поэтому я способен, вправе и намерен любить тебя».

34 Когда человеческое лицо станет для человека божественным человеческим ликом, а рука ближнего — рукою брата, тогда он поймёт, что имел в виду святой Павел, сказав: «Я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих». Но он уже не поймёт тех, кто, вовсе не ощущая любви к ближнему как неотъемлемого свойства своего бытия, рассчитывает в грядущем мире освободиться от её закона. По крайней мере там, во славу Божию, они смогут ограничить её стремление расширяться узким кругом своего рая. С его безопасных стен они будут смотреть на ад издали и говорить друг другу: «Тише! Послушайте их стоны. Но не плачьте: они больше не наши ближние». Святой Павел был бы несчастен перед престолом Божиим, если бы думал, что

хоть один человек находится за пределами Божиего милосердия, — и ради славы Бога не меньше, чем ради самого человека. А что сказать о человеке Христе Иисусе? Кто из любящих брата, поддержанный любовью Христа и смутной надеждой, что в далёком будущем тому, возможно, придёт какая-нибудь помощь, не поднялся бы из сонма блаженных и не спустился в мрачные области отчаяния, чтобы сесть рядом с последним, единственным неискупленным, Иудой своего рода, и самому быть блаженнее в муках ада, чем в славе небес? Кто среди золотых арф и белых крыльев, зная, что один из его рода, один несчастный брат из времён старого мира, когда людей учили любить ближнего как себя, воет без ответа глубоко внизу, в сводчатых подземельях творения, — кто, говорю я, не почувствовал бы, что должен встать, что выбора у него нет, что, как это ни страшно, ему надо препоясаться и сойти в дым, тьму и огонь, пройти утомительный и страшный путь в дальнюю страну, чтобы найти брата? Я говорю о том, в ком был бы ум Христов, в ком была бы любовь Отца.

35 Но это безумный вопрос. Бог есть и будет Всё во всём. Отец наших братьев и сестёр! Ты не будешь менее славен, чем мы, наученные Христом, способны мыслить Тебя. Когда Ты выходишь в пустыню искать, Ты не вернёшься домой, пока не найдёшь. Именно потому, что мы не надеемся за них на Тебя, не зная Тебя, не зная Твоей любви, мы так черствы и бессердечны к братьям и сёстрам, которых Ты дал нам.

36 Ещё одно слово: эта любовь к ближнему — единственная дверь из темницы собственного „я“, где мы хандрим и кривляемся, высекая искры и натирая стены до фосфорического свечения, вдувая собственное дыхание в

собственные ноздри, вместо того чтобы выйти к прекрасному Божиему солнцу, к сладким ветрам вселенной. Человек думает, что его сознание — это он сам; между тем жизнь его состоит в Божием вдохновении и в осознании вселенной истины. Обладать собой, знать себя, наслаждаться собой он называет жизнью; а если бы забыл себя, в десять раз полнее была бы его жизнь в Боге и в ближних. Область человеческой жизни — духовная область. Бог, его друзья, ближние, все его братья — вот широкий мир, в котором одном его дух может найти простор. Он сам — его темница. Если сейчас он не чувствует этого, однажды почувствует: так, как живая душа чувствовала бы заточение в мёртвом теле, обёрнутом семикратным саваном и погребённом в каменном склепе, куда едва достигает последний отзвук пения людей в церкви наверху. Его жизнь — не в знании о том, что он живёт, а в любви ко всем видам жизни. Он создан для Всего, ибо Бог, Который есть Всё, — его жизнь. И сущностная радость его жизни находится вовне, в свободе Всего. Его радости, как радости совершенной Премудрости, — с сынами человеческими. Его здоровье — в теле, глава которого Сын Человеческий. Вся область жизни открыта ему; более того, он должен жить в ней или погибнуть.

37 И так человек не утратит сознания благополучия. Гораздо глубже и полнее Бог и ближний отразят его ему — чистым, как жизнь. Он уже не станет мучительно, «болезненной попыткой», порождать его в свете собственного упадка. Ибо он узнает славу собственного бытия в свете Бога и брата.

38 Но человек, уже начавший любить ближнего в надежде вскоре полюбить его как себя, всё же может испуганно

отпрянуть перед ещё одним словом нашего Господа, которое кажется ещё одним законом, более тяжким, чем первый, хотя на деле это не другой закон: без послушания ему первого невозможно достигнуть. Ещё не научился любить ближнего как себя тот, чьё сердце замирает при словах: *«Я говорю вам: любите врагов ваших»*.

Возлюби врага твоего

[1] *Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, чтобы вам быть детьми Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и мытари? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.* — Мф. 5:43–48.

[2] Не *слишком* ли многого, в конце концов, от нас ожидают? Будет ли человек когда-нибудь любить своих врагов? Он, возможно, научится делать добро ненавидящим его; но когда станет молиться за тех, кто обижает и гонит его? Когда? Когда станет ребёнком Отца своего Небесного. Тогда возлюбит ближнего, как себя самого, даже если этот ближний — враг. В уже упомянутом месте из Левита (19:18), которое цитируют наш Господь и Его апостолы, мы видим, что ближний и враг — одно лицо. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».

[3] Посмотрите, с каким величием Иисус истолковывает Писание, бывшее прежде Него. «*Я Господь*» — «Чтобы вы были совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

4 Разумно ли, стало быть, любить врагов? Бог любит их; следовательно, это должно быть высшей разумностью. Но разумно ли ожидать, что человек станет способен на это? Да, на одном основании: в человеке действует божественная сила, чтобы в конце концов и дела человека стали божественными, какова его природа. Об этом молился наш Господь, говоря: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино». По человеческому суждению ничто не могло бы быть менее вероятным: наш Господь знает, что однажды это наступит.

5 Почему мы должны любить врагов? Глубочайшую причину мы не можем выразить словами, ибо она лежит в абсолютной действительности их бытия, где враги наши одной природы с нами — самой божественной природы. Туда мы можем всматриваться лишь как в тёмную бездну. Но кое-какие очертания этой глубочайшей причины мы можем наметить, если позволим мыслям нашего сердца носиться над поверхностью смутной глубины.

6 «Наши враги — люди, такие же, как мы?» — начну я с вопроса. «Да». «На каком основании? На основании их вражды? На основании зла, которое они нам причиняют?» «Нет». «В силу жестокости, бессердечия, несправедливости, неуважения, клеветнического искажения?» «Конечно, нет. *Humanum est errare* — „человеку свойственно ошибаться“ — избитая истина; но, как большинство избитых истин, она содержит скрытое зерно истины достойной. Само слово *errare* указывает, что есть путь, столь подлинно человеческий, что сойти с него для человека означает *заблудиться*. Если человеку свойственно блуждать, само блуждание всё же не составляет человечности. Самые слова *„человечный“* и

„человечность“ обозначают некую тень той любящей доброты, которая, достигнув божественного совершенства, охватит даже наших врагов. Мы не называем человечностью человеческие жертвоприношения, пытки пленников, людоедство. Не потому они люди, что совершают такие дела. Их человечность должна лежать глубже. В силу присутствующей в них божественной сущности, той чистой, сущностной человечности мы называем наших врагов мужчинами и женщинами. Эту человечность мы и должны любить — нечто, говорю я, лежащее несравненно глубже области ненависти и не зависящее от неё. Именно человечность даёт право быть ближним; близость же лишь определяет случай, когда это право должно осуществиться». «Эта человечность есть в каждом нашем враге?» «Иначе нечего было бы любить». «Она действительно в нём есть? Тогда мы *должны* любить её, что бы ни встало между нами и ею».

7 Но как любить мужчину или женщину, жестоких и несправедливых к нам, — тех, кто презрением опаляет или обидой обрезает каждый усик, который мы протягиваем, чтобы обнять их? Тех, кто низок, непривлекателен, придирчив, непостоянен, самоправеден, своекорыстен и любуется собой? Тех, кто способен даже глумиться — проявлять самый бесчеловечный из человеческих пороков, по существу гораздо худший, чем простое убийство?

8 Любить это невозможно. Лучший человек ненавидит это сильнее всех; худший не может этого любить. Но это ли составляет человека? Разве благодаря этому женщина носит человеческий облик? Не живёт ли внутри мужчины и женщины божественное начало братства, сестринства,

нечто прекрасное и достойное любви, — быть может, медленно угасающее, отмирающее под яростным жаром низких страстей или ещё более страшным холодом могильного себялюбия, — но всё-таки присутствующее? Неужели это божественное нечто, которое, однажды пробудившись в человеке к собственному святому бытию, возненавидит все эти безобразия в десять раз сильнее, чем ненавидим их мы теперь, — неужели это божественное не получит от нас признания? Именно присутствие этой угасающей человечности делает нашу ненависть возможной. Если бы нас обидело лишь животное, а не мужчина или женщина, мы не ненавидели бы — мы просто убили бы. Мы ненавидим человека именно потому, что нам мешают его любить. Мы сталкиваем его за пределы творения — *мы осуждаем его на погибель* — именно потому, что не можем обнять. Ибо обнимать — потребность глубочайшего нашего существа. Когда она не находит выхода, мы ненавидим. Вместо того чтобы напомнить себе: вот наш брат в цепях, вот наша заколдованная, обезображенная, едва узнаваемая сестра, пленница дьявола, и насколько скорее они разорвут свои узы, если мы полюбим их! — мы отступаем в ненависть, которая лишь закрепляет их там; и их истинную сущность, столь достойную нежной любви, приносим в жертву внешнему обману сатанинских заклятий, оставляя их тем самым погибать. Более того, мы убиваем их, чтобы от них избавиться: мы их *ненавидим*. И всё же в самом ненавистном нам скрывается то, что, покажись оно таким, каково есть и каким однажды покажется, неизбежно вызвало бы в наших сердцах преданную любовь. Нам велено любить не недружелюбие, не безобразие, а брата, сестру, которые недобры, которые безобразны. Неужели мы оставим брата его одинокой судьбе? Не лучше ли

сказать: «По крайней мере, моя любовь будет окружать тебя, ибо в тебе нет собственной любви, которая могла бы тебя окутать; любовь подойдёт к тебе так близко, как только сможет; и когда твоя выйдет навстречу моей, мы станем едины в обитающем в нас Боге»?

9 Пусть никто не говорит, будто я говорил лишь образно. Что я говорил образно, я знаю. Но многое, что мы видим с наибольшей ясностью и уверенностью, вернее выражается точным образом, чем попыткой придать ему ясные очертания логического высказывания. Мой образ означает истину.

10 Если кто-нибудь скажет: «Не проводите таких туманных различий. Вот человек. Можете ли вы отрицать, что он отвратителен? Как же вы можете его любить?» — я отвечу: «Этот человек, когда зло будет изгнано из него, станет ещё полнее *личностью*, ибо будет самим собой в истине. То, что теперь заставляет вас испытывать к нему неприязнь, отделимо от него; следовательно, это не он, и оно делает его настолько меньше самим собой, ибо производит в нём смерть. Теперь он рискует вовсе перестать быть личностью. Когда он будет одет и в здравом уме, он действительно станет личностью. Тогда вы *не смогли бы* продолжать ненавидеть его. Начните любить его сейчас и помогите ему войти в принадлежащую ему красоту. Не ненавидьте, хотя можете. Личность, говорю я, хотя бы помрачённая, измазанная, осквернённая злом, лежит глубже зла, и в той мере, в какой зло достигло её, она им повреждена, да, в этой мере, быть может, уничтожена».

11 Но те, кто не признаёт требования любви, возможно, признают требование справедливости. Есть люди, которые с ужасом отшатнулись бы от мысли поступить

несправедливо с теми, от мысли о любви к кому отшатнулись бы с таким же ужасом. Но если, как я верю, без любви невозможно быть справедливым, тем более справедливость не может уживаться с ненавистью. Чистый взгляд, верно видящий права другого, возможен лишь при любящем сердце. Ненавидящий едва ли сможет проявить тонкость в справедливом отношении, скажем, к любви ближнего, к его пристрастиям и особенностям. Достаточно трудно быть справедливыми к друзьям; каково же придётся с нами врагам? Ведь справедливость столь же непременно требует верно думать о ближнем, как не красть его добра и не лжесвидетельствовать против него. Человек создан ради любви своего ближнего, а не ради его справедливости; любовь больше справедливости и, заключая её в себе, превосходит её необходимость. *Одна лишь* справедливость невозможна, это вымысел отвлечённого анализа. Между людьми её не существует, кроме как относительно человеческого *закона*. Чтобы быть справедливостью, справедливость должна быть много больше себя самой. Любовь — закон нашего бытия; без неё мы способны вершить справедливость не более, чем человек способен идти прямо в темноте. Око не чисто, и тело не полно света. Ни один человек, даже просто равнодушный к брату, не может признать права, которые налагает на него человечность брата. Более того, само равнодушие уже несправедливость.

[12] Я принимал как данность, что виноват тот, кого считают врагом, ибо хотел положить основание на первозданной скале. Но каждый должен спросить себя: «Действительно ли мой ближний — мой враг, или я — враг моего ближнего и потому считаю его своим? Страшная мысль! Или, если он мой враг, не являюсь ли и

я его врагом? Не отказываюсь ли я признать дитя Царства в его груди, убивая тем самым дитя Царства в собственной?» Не будем требовать для себя больше снисхождения, чем уделяем ему. Такая честность приведёт к строгости дома и милосердию вовне. Ибо мы отвечаем за зло в себе и должны умертвить его; за добро в ближнем — и должны лелеять его. Лишь он сам, именем и силой Бога, может умертвить зло в себе; мы можем взращивать в нём добро, обращаясь с ним по-доброму сквозь весь злой туман, встающий между нашей любовью и его добром.

13 Не следует забывать и того, что этот туман часто возникает из недоразумения и ошибки, порождающих всевозможные негодования, обиды и сожаления. Едва ли что-нибудь вокруг нас в точности таково, каким кажется, но в самой глубине достаточно истины, чтобы рассеять всякую ложь и явить жизнь невыразимо божественной. О брат, сестра! Сквозь этот утомительный туман, слабо освещённый тусклыми факелами наших поисков истины, я взываю к божественному в тебе, которое принадлежит и мне, — не чтобы укорить тебя, не чтобы пробудить тебя, не чтобы спросить: «Почему ты ненавидишь меня?» — но чтобы сказать: «Я люблю тебя; во имя Божие я люблю тебя». И я буду ждать, пока твоё истинное „я“ не выглянет из твоих глаз и не узнает истинное „я“ во мне.

14 Но в действии Божественной Любви над человеческим родом моему врагу предназначено перестать быть врагом и стать моим другом. Одна вспышка истины, обращённая ко мне, мгновенно уничтожила бы мою вражду; одно сердечное признание вины — и наша вражда проходит; из каждого выходит брат, всё это время скрывавшийся внутри врага. Ради этого трудится Истина. Веря в это,

будем любить врага уже сейчас, как бы принимая Божие дело в счёт будущего; будем верить так, словно видим ещё незримую Его победу, обнимая и крепко удерживая брата вопреки изменчивым уловкам злого колдовства, которое хочет убедить наши глаза и сердца, будто он не брат нам, а нечто ужасное, ненавистное и ненавидящее.

15 Но я снова должен спросить: что, если *мы* неправы, творим зло и ненавидим потому, что сами обидели? Что тогда? Тогда будем вопить к Богу словно из самой пасти ада; бороться, словно под тяжестью духовного кошмара; вопить, сознавая прилипшую к нам гнусную болезнь; вопить, словно одержимые злым духом; вопить, словно заживо погребённые, из гробницы нашего злого сознания, чтобы Он пожалел нас, первых из грешников, самых жалких и низких из людей, и послал помощь, чтобы поднять нас из страшного рва и вязкой тины. Ничто не поможет, кроме Духа, исходящего от Отца и Сына, духа Отца и Брата, изгоняющего и открывающего. Такой бес выйдет с судорогами и пеной, со страшным криком, оставив человека лежать словно мёртвым. Но какое видение тогда возникнет в глубинах очищенной души!

16 «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Любите врагов ваших и будете сынами Всевышнего». Прощать — божественная слава.

17 И всё же наступит время, когда Неизменный перестанет прощать; когда любить Своих врагов уже не будет принадлежать Его совершенству; когда Он будет спокойно смотреть — и велит так же спокойно смотреть Своим детям — на восходящий дым вечных мучений наших сильных братьев, наших прекрасных сестёр! Нет, увы! Братья теперь слабы; сёстры теперь безобразны!

18 О брат, не верь этому. «О Христос! — воскликнули бы искупленные. — Где Ты, наш сильный Иисус? Приди, наш великий Брат. Взгляни на страдающих внизу братьев! Взгляни на мучимых сестёр! Приди, Владыка Жизни! Царь Страдания! Искупи их. Что до нас, мы сойдём в огонь и посмотрим, нельзя ли нам хотя бы пронести сквозь ревущее пламя каплю воды, чтобы прохладить их языки».

19 Не верь этому, брат мой, чтобы это не погасило в тебе прощение, чтобы ты сам не остался непрощённым и не сошёл вместе с теми братьями на мучение; откуда, если бы Бог не был лучше того призрака, которого *ты* называешь Богом, ты *никогда* не вышел бы; но откуда непременно выйдешь, когда отдашь последнюю малую монету; когда научишься у Бога в аду тому, чему отказался научиться у Него на ласково звучащей земле; чему не смогли научить тебя ни солнечный свет и дождь, ни сладкое сокрушение, приносимое временами года, ни величавые приходы утра и вечера, ни божественный человеческий лик, ни слово, бывшее близ тебя — в сердце твоём и в устах твоих: повесть о Том, Кто был силён спасать, ибо был совершенен в любви.

20 О Отец, Ты — Всё во всём, совершеннее самой жажды Твоих детей, и мы все, целиком, принадлежим Тебе. Ты сделаешь нас чистыми, любящими и свободными. Мы будем стоять пред Тобой без страха, ибо будем совершенны в Твоей любви. Тогда дети Твои будут бодры сердцем, беспредельны в любви друг к другу и вечны в Твоей любви. Господи Иисусе, дай нам сердце ребёнка, чтобы мы восстали из могилы наших мёртвых „я“ и больше не умирали, но лицом к лицу увидели *Бога живых*.

Бог живых

[1] *Он не Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы.* — Лк. 20:38.

[2] В учении нашего Господа нас вновь и вновь смущает то, что Он слишком прост для нас: пока мы задаёмся вопросами об узоре Соломоновой серьги на какой-нибудь позолоченной двери храма, Он говорит об основаниях горы Сион, да и самой земли, на которой она стоит. Если читатель Евангелия полагает, будто Господь прибегнул здесь в споре с саддукеями к словесному доказательству: «Я *есмь* Бог Авраама, Исаака и Иакова; следовательно, они *есть*», — он удивится, что не нашлось ни одного саддукея, которому достало бы смелости возразить: «Бог лишь хотел представить Себя Моисею как того же Бога, Который помогал его отцам и хранил их при жизни, говоря: Я Тот, Кто был Богом твоих отцов. Они узнали Мою верность. Посему слушай Меня и ты, и ты тоже узнаешь Мою верность до самой смерти».

[3] Но такой ответ не пришёл в голову даже тогдашним саддукеям, ибо их восточная природа умела видеть доводы за пределами логики. Разве назовёт Бог Себя Богом мёртвых — тех, кто некогда жил, но кого Он либо не мог, либо не пожелал сохранить живыми? Таково ли Божество и Его отношение к поклоняющимся Ему? Неизменный Бог вечно рождающегося и вечно гибнущего потока жизни, где каждая частица с пылающим сердцем восклицает: *«Боже мой!»* — и тотчас уходит в холод, где нет Бога! «Доверьтесь Мне, ибо некогда Я заботился о ваших отцах, хотя теперь их уже нет. Поклоняйтесь Мне и слушайтесь Меня, ибо Я буду добр к вам лет семьдесят, более или менее; а после, когда вас не будет и мир всё так

же пойдёт своим чередом без вас, Я по-прежнему буду называть Себя вашим Богом». Бог не изменяется. Если Он однажды Бог, Он Бог навсегда. Если Он однажды сказал человеку: «Я Бог твой», — а этот человек умер смертью, в которую веруют саддукеи, тогда мы вправе сказать, что Бог — Бог мёртвых.

[4] «Но почему же Ему не быть в таком смысле Богом мёртвых, если во время, отведённое им здесь, Он был верным Богом живых?» Какие отношения, достойные Бога, может иметь вечно живой, животворящий, неизменный Бог с созданиями, не причастными Его жизни, носящими смерть в самой сердцевине своего бытия, не стоящими того, чтобы Создатель сохранял их живыми? Допустить, чтобы Его создания умерли, значило бы измениться, отречься от Своей божественности, перестать быть Тем, Кем Он сделал Себя. Если они не стоят того, чтобы сохранять их живыми, значит, Его творение — дело жалкое, а Сам Он не так велик, не так божествен, каким смогли вообразить Его даже скудные мысли этих Его умирающих созданий. Но Господь наш говорит: «У Него все живы». Для Него смерти нет. Твоя жизнь видит нашу жизнь, Господи. Все, о ком можно сказать *«все»*, присутствуют пред Тобою. Ты думаешь о нас неизмеримо больше, чем мы думаем о Тебе. Малая жизнь, горящая в теле этой смерти, светится неугасимо в Твоих истинно видящих очах. Если бы Ты забыл нас на мгновение, тогда и впрямь настала бы смерть. Но у Тебя мы живы. Любимые исчезают из наших глаз, но не из Твоих. То, что мы зовём смертью, — лишь видимость в человеческих глазах. Она кажется чем-то окончательным, страшным прекращением, полной переменой. Кажется невероятным, что за нею что-то есть. Но если Бог мог видеть нас прежде, чем мы были, и создать по Своему

замыслу, то наше исчезновение из глаз друзей не может служить доводом, что Он больше нас не видит. «У Него все живы». Как бы велика, как бы внушительна ни была перемена, как бы смутно ни представляли мы невидимую жизнь, разуму не противоречит надежда, что Бог мог видеть Авраама после того, как Исаак перестал его видеть; видел Исаака после того, как Иаков перестал его видеть; видел Иакова после того, как некоторые саддукеи начали сомневаться, существовал ли вообще когда-либо Иаков. Он помнит их, то есть носит их в Своей мысли: тот, о ком думает Бог, живёт. Он принимает имя *их Бога*. Живой не может называть Себя по мёртвым, когда самое Божество заключается в даровании жизни. Следовательно, они должны быть живы. Если Он говорит о них, помнит Свои любящие мысли о них, разве не сохранил бы Он их живыми, если бы мог? А если не мог, то как мог их создать? Разве легче призвать к жизни, чем поддерживать жизнь?

5 «Но если они живут для Бога, они сознают Бога. А если они сознают Бога, они сознают и собственное бытие. Зачем же тогда нужно воскресение?»

6 Ради их отношений с другими Божиими детьми во взаимном раскрытии друг другу; и ради нового откровения Бога всем. Но спросим себя, что означает воскресение тела. «В каком теле приходят?»

7 Конечно же, от нас не требуется верить, что вновь воскресает то же самое тело. Это противоречит науке, здравому смыслу, Писанию. Святой Павел представляет дело совсем иначе. Даже стыдно спорить о столь ребяческом вопросе. Кто мог бы желать, чтобы его вещественное тело, которое со дня рождения в действительности умирало снова и снова, ни одного часа

не оставаясь состоящим из того же вещества, чья непрестанная деятельность зависит от непрестанной перемены, — чтобы это тело было закреплено за ним как неизменная собственность в том состоянии, в каком оно окажется в миг смерти, и оставалось при нём в своём никчёмном тождестве на грядущие века? В сознании человека при смерти его вещественное тело будет значить не больше старой одежды, которую он сбрасывает на ночь, намереваясь утром надеть новую и лучшую. Желание сохранить старое тело, как мне кажется, свидетельствует о такой степени чувственного материализма, которая простительна лишь тем язычникам, что в своих Елисейских полях могли надеяться только на существование столь призрачное, мимолётное, сонное и всецело погребальное, что им и вправду пристало тосковать по более плотному, более ощутимому телесному бытию, в котором они вкусили удовольствия бурной жизни в верхнем мире. С тем же успехом христианин мог бы желать, чтобы все волосы, состриженные с него за прошлую жизнь, вернулись на его воскресшую и прославленную голову.

8 И всё же учение о Воскресении радует нас не меньше, чем звук серебряной трубы в его видениях, и так же необходимо нашим тоскующим душам, как само дыхание жизни. Поймём, что оно означает, — и увидим, что оно столь драгоценно.

9 Сперва спросим, для чего служит наше тело. Оно — средство Откровения нам, *камера*, в которой развёртываются вечные зрелища Бога. Посредством тела мы соприкасаемся с Природой, с другими людьми, со всем, через что они открывают нам Бога. Через тело получаем мы все уроки страсти, страдания, любви,

красоты, науки. Через тело нас и воспитывают, выводя за пределы самих себя, и гонят внутрь, в глубочайшую нашу сущность, чтобы найти Бога. В этой живой текучести, в этом медленном, подобном леднику течении вещества, облекающего и раскрывающего нас, в этой вечно взлетающей радуге осязаемой человечности есть слава и сила. Это не в меньшей мере творение Бога, чем облечённый им дух.

10 Мы ещё не могли выучить всё, чему нам предназначено научиться через тело. Какую долю даже здешних уроков может исчерпать самый усердный и самый одарённый благоприятными условиями человек прежде, чем его призовут уйти из мира! Неужели всему остальному пропасть? Кто, полюбив эту землю, может не верить, что духовное тело, о котором говорит святой Павел, станет ещё более высоким проводником такого откровения? Кроткие, узнавшие, что Господь говорил истину, и в самом деле унаследовавшие землю, увидевшие, что всё вещество лучится духовным смыслом, не вздохнувшие бы об утрате одних лишь животных удовольствий, — именно они, думаю я, менее всего пожелали бы остаться без тела, совлечься, не облекшись вновь. Кто после веков небесной славы не обрадовался бы, вновь увидев склонённую терпеливую головку кроткого подснежника, дитяти зимы и весны? В ком среди золотых хоров видение давнего заката не пробудило бы такую песнь, ради которой древние обитатели земли мягко прижали бы ладонью трепещущие струны арф, чтобы услышать её?

11 Однако всё это откровение требовало бы лишь *некоего* тела, а не именно этого. Если бы речь шла только об этом, полнота слова *Воскресение* оставалась бы едва затронутой. Нам нужно тело не только для того, чтобы

передавать нам откровение, но и для того, чтобы открывать нас другим. Возникающим в нас мыслям, чувствам, образам нужны одежды, раскрывающие их, посредством которых невидимый мир внутри нас становился бы явным окружающим братьям и сёстрам; иначе каждый остаётся в человеческом одиночестве. И если это было одним из назначений, которым моё тело служило прежде на земле, новое тело должно быть подобно старому. Более того, оно должно быть тем же телом, прославленным, как прославлены мы, причём всё, что отличало каждого от других, станет виднее, чем когда-либо. Случайное, несущественное, не раскрывающее нас, неполное исчезнет. То, что делало тело тем, чем оно было в глазах любивших нас, будет присутствовать десятикратно. Разве это не будет воскресением тела — того же тела, хотя и не того же мёртвого вещества? Каждый глаз увидит любимого, каждое сердце воскликнет: «Снова мой! Ещё больше мой, потому что он больше, чем когда-либо на моей памяти, стал самим собой!» Ведь и на земле мы говорим: «Сегодня он сам не свой» или: «Теперь у неё её настоящее лицо»; «Она больше похожа на себя, чем я видел её за долгое время». А не бывает ли это тогда, когда сердце радуется и лицо сияет? Ведь мы носим в сердцах более верный образ друзей, чем тот, какой их лица, за исключением драгоценных мгновений, открывают нам.

[12] Кто осмелится назвать воскресением что-либо меньшее? О, как убивает буква! Есть люди, способные верить, что прах их тел восстанет тем же, каким сошёл в дружелюбную могилу, и всё же сомневающиеся, узнают ли они друзей, воскреснув. И *это* они называют верой в воскресение!

13 Как! Человек должен любить ближнего, как самого себя, и согласиться с тем, что на небе не узнает его? Лучше уж согласиться утратить сознание и больше не знать себя. Как! Бог будет Богом семейств земных, а любовь, которую Он тем самым сотворил к отцу и матери, брату и сестре, жене и ребёнку, будет стенать и тосковать во веки веков — или, хуже, несравненно хуже, угаснет в нашей груди? Неужели Бог останется Богом, а конец будет таков?

14 Ах, друзья мои! Что будут для меня воскресение или жизнь, как смогу я по-прежнему любить Бога, как научился любить Его через вас, если обнаружу, что Он так мало заботится об этом моём человеческом сердце, что отнимает у меня благостное явление ваших лиц и обликов? Правда, я мог бы изредка взглянуть на Иисуса; но Он оказался бы уже не так добр, как я думал. Да и как увидеть мне Его, если я не могу видеть вас? Бог не отнимет, не отнял вас у меня, чтобы погребсти вдали от моих глаз в бездне Своего непостижимого бытия, куда я не смогу последовать и найти вас, сам затерянный в той же страшной пучине. Нет, наш Бог — Бог, снимающий покровы, Бог, открывающий сокрытое. Он воскресит вас из мёртвых, чтобы я мог вас увидеть; чтобы то, что исчезло с земли, вновь предстало, глядя теми же глазами вечной любви и истины, протягивая ту же могучую руку братства, ту же тонкую и нежную, но сильную руку сестринства мне — тому самому мне, который знал и любил вас в минувшие дни. Меня не будет заботить, что вещество обликов, любимых мною тысячу лет назад, вернулось, чтобы смешаться со священными процессами Божией науки на том далёком мире, что несёт сквозь пространство свой питомник возрастающей любви и мудрости; меня не будет заботить, что мышца,

посылающая теперь ихор по вашим жилам, состоит не из тех самых частиц, которые некогда гнали кровь к размышляющему мозгу, сверкающему глазу или жилистой правой руке; не будет заботить, говорю я, пока передо мной — вы сами, возлюбленные, пока сквозь эти облики я знаю, что смотрю на своих, на любящие меня души давних времён, пока дорогие мне духи обрели раскрывающие их одежды, по прежнему их прекрасному образцу, одежды, являющие их мне. Тогда новое будет дорого, как старое, и по той же причине: оно открывает прежнюю любовь. И среди перемен, которые, благодарение Богу, должны произойти, когда смертное облечётся в бессмертие, разве мы не почувствуем, что чем благороднее наши друзья, тем полнее они сами собой; что чем совершеннее воплощается замысел о каждом в полноте красоты, тем более они похожи на то, чем мы считали их в наши высочайшие мгновения, на то, что видели в них в редчайшие минуты глубочайшего общения, на то, что прозревали сквозь покров всех их несовершенств, когда любили их самой истинной любовью?

15 Господи, всегда давай нам это Воскресение, подобное Твоему собственному в теле Твоего Преображения. Дай нам видеть и слышать, знать и быть видимыми, слышимыми и знаемыми, как Ты видишь, слышишь и знаешь. Дай нам прославленные тела, чтобы через них открывать прославленные мысли, которые тогда будут обитать в нас, когда не только Ты будешь открывать Бога, но и каждый из нас будет открывать Тебя.

16 И ради этого, Господи Иисусе, приди Ты, Дитя, послушный Бог, чтобы мы были едины с Тобою и со

всяким мужчиной и всякой женщиной, которых Ты сотворил, в Отце.

17 КОНЕЦ ПЕРВОЙ СЕРИИ

Серия 2 · Посвящение

[1] И ЭТИ, СПУСТЯ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ, — МОЕЙ ЖЕНЕ

[2] «КОРАДЖО», БОРДИГЕРА

[3] *Январь 1885 года*

Путь

[1] «*Если хочешь быть совершенным*». — Мф. 19:21.

[2] По многим глубоким причинам, и среди менее существенных — из-за отрывочности евангельских записей, тот, кто станет читать их без светильника Господня — без света истины в глубине собственного существа, — не только впадёт в тысячу заблуждений, что для такого человека ещё не самое существенное, но совершенно не сумеет увидеть и понять жизнь, которая стремится открыться в них: жизнь Сына Человеческого, мысль, чувство, намерение Самого Господа, то, чем Он жил, что есть Он Сам, что Он излил ради нас. А ведь единственное, с чем читателю и надлежит иметь дело, — это жизнь Иисуса, Его внутренняя природа и бытие, проявленные через Его внешнюю жизнь настолько, насколько способен видеть взирающий на неё духовный глаз.

[3] Размышляя над событием, в котором открывается эта жизнь и истину которого я теперь попытаюсь раскрыть, тем моим читателям, кто не *изучает* греческий Новый Завет, следует пользоваться пересмотренным переводом. Если бы я не знал этого чтения и не радовался ему задолго до появления пересмотренного перевода, я был бы бесконечно благодарен переводчикам хотя бы за одно подлинное чтение рассказа святого Матфея о юноше, пришедшем к нашему Господу. Кто не приветствует этой перемены, тот не видит, как она драгоценна.

[4] Итак, читая пересмотренный перевод, мы находим у святого Матфея начало разговора Иисуса с юношей совсем иным, чем в Евангелиях от Марка и Луки. Но это

ничуть не требует отвергать тот или другой рассказ: они прекрасно соединяются, и для меня несказанная радость — иметь оба. Взятые вместе, они дают разговор во всей полноте. Вот как я его читаю; пусть мои товарищи по изучению Евангелия посмотрят на эти различные, но отнюдь не противоречащие друг другу свидетельства и увидят, как естественно они соединяются.

> [5] «Учитель благой», — произнёс стоящий на коленях юноша, и Учитель
> прервал его:
>
> [6] «Что ты называешь Меня благим? — ответил Он. — Никто не благ, кроме одного —
> Бога».

[7] Не осмеливаясь ничего на это возразить, юноша оставляет эти слова и переходит к тому, ради чего обратился к Господу.

[8] «Что доброго мне сделать, — говорит он, — чтобы иметь жизнь вечную?»

[9] Но Господь снова останавливается на слове *доброе*:

[10] «Что ты спрашиваешь Меня о добром? — отвечает Он. — Есть Один, Кто благ. Но если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди».

[11] «Какие?»

[12] «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого себя».

[13] «Всё это я соблюдал: чего же мне ещё недостаёт?»

14 «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай то, что имеешь, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, следуй за Мной».

15 Всмотримся в этот рассказ.

16 Когда Иисус вышел из дома (см. Мк. 10:10 и 17), юноша подбежал к Нему и, преклонив колени прямо на дороге, обратился к Нему: «Учитель благой».

17 Слова, которыми Господь прерывает его обращение, обнаруживают весь строй Его существа. В то мгновение, в каждое без исключения мгновение, не меньше, чем в Гефсиманском саду или в любой из тех часов, которые люди называют решающими часами жизни, вся Его мысль, вся Его радость были в мысли, в воле, в существе Его Отца. Радостью жизни Господа, тем, что делало её для Него жизнью, был Отец; о Нём Он всегда думал, к Нему всегда обращался. Полагаю, у большинства людей есть какая-нибудь мысль об удовольствии, удовлетворении или силе, к которой они возвращаются, когда деятельность приостанавливается, жизнь на мгновение затихает и колесо словно замирает от быстроты собственного вращения. Но Иисусу, чтобы вернуться домой, не требовалось ни перерыва в деятельности, ни нового прилива сознания: Его мыслью всегда, неизменно был Отец. К своему дому в сердце Отца непрестанно обращалось Его сердце. Там была Его сокровищница, драгоценность Его ума, тайна Его радости, заключавшая в себе все степени и оттенки блаженства — от мира и самого тихого довольства до восторга. Его жизнь была сокрыта в Боге. Никакая суетная видимость не могла проникнуть в Его взор; всякая истина и всякое величие жизни проходили перед Ним такими, каковы они есть; ни честолюбие, ни разочарование не могли исказить их для

Его вечно детского взгляда; Он видел и любил их из лона Отца. Не ради Себя пришёл Он в мир — не для того, чтобы утвердить Свою власть над поступками людей или Своё влияние на их сердца: Он пришёл, чтобы они узнали Отца, Который был Его радостью, Его жизнью. Сыны человеческие были детьми Его Отца, как и Он Сам; чтобы Отец принял их всех в Своё лоно — вот единственная мысль Его сердца; это Он совершит для Отца, чего бы Ему это ни стоило! Он пришёл исполнить Его волю и на земле оставался Тем же, Кем был от начала, вечным Первым. Его занимал не Он Сам, а Его Отец и дети Его Отца. Ему не было нужно слышать, как Его называют благим. Для Него это не имело значения. Он был здесь, чтобы люди увидели благость Отца, Которым Он хвалился. Ради этого Он вошёл в тяжкий сон мира, где слава была так помрачена и затуманена. «Ты называешь благим *Меня*! Если бы ты знал Моего Отца!»

[18] Ибо величие Господа состояло в том, что Его Отец больше Него: Тот, Кто призывает к бытию, больше того, кто призван. Отец всегда был Отцом, Сын всегда был Сыном; и всё же Сын существует не Сам от Себя, но от Отца; Он живёт не собственной силой, как Отец. Если бы не было Отца, не было бы и Сына. Всё, что принадлежит Господу, принадлежит Отцу, а всё, что принадлежит Отцу, Он отдал Сыну. Благость Господа происходит от благости Отца; Сын благ, потому что благ Отец. Когда слово *благой* достигает слуха Сына, Его сердце тотчас возносит его к Отцу, Отцу всех. В Его словах нет отрицания собственной благости: в Своём возвышенном сознании Себя Он не был первоисточником Своей благости, да и не заботился о собственной благости, кроме как о том, чтобы быть благим: для Него это разумелось само собой. Но чтобы открыть благость Отца,

Он готов был отдать жизнь, страдания, труды, смерть! И другие Его дети должны научиться воздавать Ему должное и любить Его, как любит первородный Сын! Для Сына Отец был всем во всём, и Сын думал о собственной благости не больше, чем честный человек — о своей честности. Добрый человек, видя добро, думает о собственном зле; у Иисуса не было зла, о котором можно было бы думать, но и о Своей благости Он не думает: Он радуется благости Отца. «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, кроме одного — Бога».

19 Так остановленный, юноша переходит к вопросу, который жил в его сердце, заставил его прибежать и преклонить колени: что доброго ему сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Нет нужды точно выяснять, что он понимал под *жизнью вечной*. Какой бы образ она для него ни принимала, он выражал нечто ему необходимое, чего у него ещё не было, нечто, обрести которое, как он ясно понимал, можно лишь на каком-то пути добра. Но он думал приобрести нечто поступком, тогда как желанное было *состоянием бытия*: он хотел владеть тем, что должно было овладеть им.

20 Господу не нужны были ни истина, оторванная от жизни, ни дело, лишённое родного корня. Он дорожил истиной в глубине души, добрым сердцем, матерью добрых дел. Он пришёл утверждать добро живое, деятельное, сознающее, дышащее. Нравственные или религиозные умозрения Его не занимали. Он заботился о добрых людях, а не о представлениях о добрых вещах, и даже не о добрых поступках, если только они не были плодом жизни, телами, в которых облекались и выходили наружу первоначальные живые движения любви и воли в душе. Если бы одним словом Он мог разрешить все

вопросы философии о высшем благе и абсолютной истине, я осмелюсь сказать, что Он не произнёс бы этого слова. Но Он готов был умереть, чтобы сделать людей добрыми и истинными. Всё Его сердце отозвалось бы на крик скорбящего мытаря или отчаявшегося фарисея: «Как мне стать добрым?»

[21] Когда Господь говорит: «Что ты спрашиваешь Меня о добром?», мы не должны делать ударение на *Меня*, словно Господь отклоняет вопрос так же, как прежде отклонил обращённое к Нему определение: спрашивать следовало именно Его, но сам вопрос был неверен. Добрая вещь значила мало; благое Существо было всем во всём. [Примечание: В нынешнем виде отрывок трудно прочесть, не сделав ударения на *Меня*, что портит смысл. Я думаю, лучше было бы: «Зачем ты спрашиваешь Меня о…?»] «Зачем спрашивать Меня о доброй вещи? Есть одно живое Благо, в Котором и добрая вещь, и всякое добро живы и непрестанно действуют. Спрашивай Меня не о доброй вещи, а о благой Личности, благом Существе — источнике всякого добра», — Которое, потому что существует, может делать добрым. Он — единственное живое Благо, готовое Своей жизнью сообщать живое добро, силу быть добрым и потому делать добро, ибо Он даёт существование самому добру. Мы имеем дело не с той или иной доброй вещью, а с силой, от которой происходит даже наша способность произнести слово *добро*. Мы имеем дело с Тем, к Кому никто не может обратиться, чтобы в сердце его не пробудилась потребность быть добрым; думать о Нём — значит уже начинать становиться добрым. Сделать доброе дело — значит сделать доброе дело; знать Бога — значит быть добрым. Он заботится не о том, чтобы заставить нас всё делать правильно, но о том, чтобы мы взалкали и возжаждали праведности, обладая которой нам уже

никогда не придётся размышлять, что хорошо, а что дурно: мы будем отвергать зло и выбирать добро движением воли, которое есть одновременно необходимость и выбор. Вы видите: Он опять, как и прежде, тотчас обращает юношу к Своему Отцу.

22 Но мне очень важно, чтобы читатель не понял меня неверно. Заметьте: юноша спрашивает не о том, делать ли ему нечто, о чём он уже знает, что это правильно; если бы дело обстояло так, Господь вообще не допустил бы вопроса. Он настаивает на одном: *делать* то, что, как мы знаем, мы должны делать. Здесь же юноша ищет какого-то неизвестного доброго дела, и Господь возвращает его к исполнению уже известного — и именно так отвечает на вопрос о пути к вечной жизни.

23 В этом деле человек должен что-то делать и вправе спросить об этом любого учителя! Господь ни на мгновение не уклоняется от вопроса, отвергая лишь его форму, чтобы помочь юноше обрести то, в чём он действительно нуждается. По существу, Он уже более чем намекнул, где ответ: в Самом Боге; но юноша пока не способен это принять; с ним нужно начать с более ранней ступени. «Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди». И в самом деле: если заповеди не имеют отношения к вхождению в жизнь, зачем вообще они даны людям? Вот его дело: он должен соблюдать заповеди.

24 Значит, путь к вечной жизни — соблюдение заповедей! Даже если бы Господь этого *не* сказал, какой человек с простым нравственным чувством осмелился бы утверждать иное? Что ещё может быть путём в жизнь, кроме исполнения того, что Владыка жизни велит делать созданным Им существам, которым Он желает вечной жизни? Это начало пути. Если бы человек соблюдал все

эти заповеди, это ещё не означало бы, что в нём есть вечная жизнь; и всё же без соблюдения заповедей в жизнь не войти. Соблюдать их — значит идти к вратам жизни; это ещё не жизнь, но путь, часть пути к ней. Более того, соблюдение заповедей, сознательное или бессознательное, теснейшим и сущностным образом связано с вечной жизнью.

[25] Господь ничего не говорит о первой скрижали закона: почему Он не говорит юноше, как сказал законнику, что любить Бога — это всё?

[26] Он дал ему на мгновение увидеть сущность Своей собственной жизни, указал на сердце всего — чтобы юноша позднее задумался об этом: пока он не был готов. Ему нужна была вечная жизнь; любить Бога всем сердцем, всей душой, всей силой и всем разумом — значит знать Бога, а знать Его *и есть* вечная жизнь. В этом цель всего дела спасения; это не человеческое начало, а великая цель и вечное начало всего; но юноша был на это ещё не способен. Начать с этого было бы столь же разумно, как сказать человеку, спрашивающему, как подняться на гору: «Просто поставь ногу на ту сияющую снежную вершину, высоко там, в синеве, и сразу окажешься там, куда хочешь прийти». «Возлюби Бога всем сердцем — и вечная жизнь твоя» — это было бы насмешкой над ним. Ведь он ещё не мог ни увидеть, ни поверить, что в этом и состоит вечная жизнь! Он ещё не был способен даже издали взглянуть на жизнь! А многие ли *христиане* способны? Многие ли знают, что неспособны? Многих ли тревожит, что неспособны? Господь прямо отвечает на вопрос и говорит, что ему делать — что он может сделать, — чтобы войти в жизнь: соблюдать заповеди! А когда тот спрашивает: «Какие?»,

Он называет лишь заповеди об отношении к ближнему, завершая высшей и самой трудной из них.

27 «Но никто не может в совершенстве исполнить ни одной заповеди второй скрижали, как и первой».

28 Разумеется, не может, — иначе зачем бы их давать? Но разве слова *хранить* или *соблюдать* не имеют смысла без добавления *совершенно*? Неужели всякое соблюдение, кроме совершенного, вовсе не соблюдение?

29 «Богу оно не нужно».

30 Вот здесь, думаю, вы совершенно неправы. Всем сердцем и всей силой я убеждён, что Бога не *удовлетворит* никакое соблюдение, кроме совершенного; но утверждать, будто всякое иное Ему безразлично, — одна из лжей врага. Какой отец не радуется первым неуверенным попыткам своего малыша ходить? И какой отец удовлетворится чем-либо меньшим, чем твёрдый мужской шаг взрослого сына?

31 Когда Господь определённо назвал заповеди, о которых говорил, юноша сразу ответил, что он их *соблюдал* с юности: должны ли мы поверить ему на слово? Во всяком случае, Господь ему поверил: Он взглянул на него и полюбил его. Неужели Господь обманулся в нём? Неужели юноша сказал неправду? Или Учитель счёл, что он соблюдал заповеди совершенно? Должно существовать соблюдение заповедей, которое весьма далеко от совершенства и всё же приемлемо для сердца Того, от Кого ничто не скрыто. Именно так юноша и соблюдал их. Годами он прилагал к этому часть своих жизненных сил. И как бы далеко он ни оставался от совершенства, он всё-таки не упустил цели, ради которой заповеди были даны ему для исполнения. Ибо их ближайшая цель

никогда не состояла в том, чтобы люди преуспели в послушании; она была в том, чтобы, обнаружив, что не могут сделать того, что всё же должно быть сделано, обнаружив, что чем больше они стараются, тем больше от них требуется, они поневоле обратились к источнику жизни и закона — их жизни и Его закона — и стали искать у Него такого прибавления жизни, которое сделало бы исполнение закона столь же возможным, да, столь же естественным, сколь оно необходимо. Это уже произошло с юношей. Его послушание не принесло ему удовлетворения; он не обрёл покоя; он жаждал вечной жизни, о которой в законе не было ни слова: соблюдение закона развило в нём голод, которого не мог насытить ни закон, ни его исполнение. Разве несовершенство его послушания, даже при том низшем понимании заповедей, которого он держался, не помогало ему увидеть, как далеко они превосходят всякую его способность исполнить их, как их скрытые требования восходят к бесконечности Божьего совершенства?

[32] Соблюдая заповеди, юноша стал нуждаться в следующем уроке и был к нему готов; Господь не хотел оставить его там, где он находился: Он пришёл взыскать и спасти. Он видел его острую нужду в совершенстве — в том самом, без чего, по мнению заурядного христианина, легче всего обойтись и по чему избранный томится вечным голодом. Совершенство, совершенство Отца, и есть вечная жизнь. «Если хочешь быть совершенным», — сказал Господь. Какая честь для юноши — что Он предполагает в нём желание совершенства! И какое огромное требование Он предъявляет ему, исходя из этого предположения! Чтобы достигнуть желанного совершенства, недоставало одного: продать всё, что у него есть, раздать бедным и последовать за Господом!

Неужели лишь это отделяло его от вхождения в жизнь? Один Бог знает, что могла бы тотчас совершить в нём победа такого послушания! До достижения совершенства понадобилось бы ещё очень, очень многое, но ближайший шаг — продать и последовать — несомненно был бы шагом в жизнь. Сделай он его, и в самом этом поступке родилось бы в нём нечто, чья сущность и живая сила есть вечная жизнь; затем нужно было бы лишь развитие, чтобы оно раскрылось в славном сознании единства с Самой Жизнью.

33 В законе ничего подобного не было: не слишком ли это тяжело? Тяжело отпустить землю и взять вместо неё небо? Ради вечной жизни выпустить из рук мёртвые вещи? Отвернуться от маммоны и последовать за Иисусом? Потерять богатых друзей и стать домашним Учителя? Пусть назовёт это тяжёлым тот, кто не знает Господа, кто никогда не жаждал праведности, никогда не томился по вечной жизни!

34 Юноша зашёл так далеко, был столь угоден в глазах Учителя, что Тот хотел оказать ему высшую из возможных милостей: взять его к Себе — чтобы он ходил с Ним, отдыхал с Ним и отходил от Него лишь затем, чтобы делать для Него то, что Он делал для Своего Небесного Отца: взывать к людям, быть посредником между Богом и людьми. Он хотел сразу сделать его свободным, чадом Царства, наследником вечной жизни.

35 Не думаю, чтобы юноша принадлежал к тем, кого люди обычно называют сребролюбцами; не думаю, чтобы он был алчен или даже стремился сильно приумножить свои владения. Мне представляется, он был похож на большинство добрых состоятельных людей: дорожил своей собственностью, считал её благом. Подозреваю, что

и в другом человеке он счёл бы богатство почти заслугой, достоинством; выше ценил бы человека со *средствами*, ниже — того, у кого их нет, как и большинство моих читателей. Они и не представляют, насколько радикально им однажды придётся переменить свои суждения об этом — или допустить, чтобы их переменили за них; благо им, если они сделают это сами!

36 От этого ложного образа мыслей и от всей сопутствующей ему глупости и призрачности Господь и хотел избавить юношу. Сейчас тот был рабом: ведь человек порабощён всем, с чем не может расстаться и что ниже его самого. Господь мог бы отнять у него имущество действием Своей воли, но пользы от этого было бы мало; Он желал сделать это действием воли самого юноши: вот это была бы победа для обоих! Так юноша вошёл бы в свободу и жизнь, освобождённый от рабства маммоне прекрасной волей Господа в нём, ставшей единой с его собственной. Действием божественной силы в себе он избежал бы растления, которое царит в мире из-за похоти, то есть желания или наслаждения *обладанием*.

37 Юноша не захотел.

38 Так не преждевременно ли Господь предъявил ему это требование? Не был ли он ещё не готов? Быть может, это было испытание, а не действительное слово освобождения? Не показал ли Он ребёнку следующую ступень лестницы, слишком высокую, чтобы тот мог на неё ступить? Я не верю в это. Он дал ему именно тот следующий урок божественного воспитания, к которому юноша был готов. Тот мог откликнуться, послушанием родить в себе искупленную и искупляющую волю и так обрести свободу. Пришло время предъявить ему это требование. Вы говорите: «Но он не захотел откликнуться,

не захотел послушаться!» Тогда, отвечу я, пришло время ему отказаться, чтобы он узнал, какого он духа, и встретился с душевным смятением, с мучительными испытаниями сердца, которые должны последовать за отказом. Для каждого человека приходит час, когда он должен послушаться или совершить такой отказ — *и осознать его*.

[39] Следует ли понимать меня так, будто отказ юноши непременно был окончательным? Будто потому он погиб? Будто, отказавшись войти в жизнь, он увидел врата жизни навсегда закрытыми для себя? Воистину, я не так познал Христа. И что урок не пропал даром, я вижу уже из того, что он ушёл печальным. Должна ли была такая печаль в душе серьёзного юноши ослабеть или усилиться? Неужели всё, что он прошёл на пути послушания, не принесло бы ему никакой пользы? Неужели природа человека, соблюдавшего заповеди, могла оказаться столь ничтожной, чтобы после поисков Иисуса и беседы с Ним, после общения с Тем, Кто есть Жизнь, вечная жизнь стала занимать его меньше прежнего? Многие, увы, смотрели Ему в лицо, но Его так и не увидели и повернули назад; некоторые годами ходили с Ним и отреклись от Него; но их слабость не мера Божьего терпения или Его возможностей. Возможно, пока Господь был на земле, этот юноша так и не стал одним из Его учеников; но, может быть, увидев, что Сам Учитель ни во что не ставит богатство, которое велел ему отбросить, что вместо восшествия на престол Своих отцов Он позволяет людям сделать с Ним всё, что они захотят, и уходит из мира таким же бедняком, каким жил, через самую низкую его дверь, — может быть, тогда юноша стал одним из тех, кто продал всё и принёс деньги к ногам апостолов. Пока же в его душе было нечто, тяготившее её: тяжестью богатства

мир держал его и не давал подняться. Он принимал свою тяжесть за силу, а она была его слабостью. Без денег, в Божьей высоте, он обрёл бы подлинную силу. Деньги — сила этого мира, сила, ведущая своего обладателя к поражению и неудаче; слабость, которую нужно преодолеть, прежде чем человек станет силён; и всё же многие порядочные люди воображают, будто это сила и грядущего мира! Некоторая сила в них действительно есть — как в пище и питье, как в телесной крепости, как в ветрах и волнах; но для искупления людей они вовсе не великое орудие; более того, для искупления тех, кто ими владеет, это самое прискорбное препятствие. Чтобы сделать юношу способным к вечной жизни, первым делом, очевидно — и тем очевиднее, что он ушёл печальным, — нужно было сделать его бедным! Он, несомненно, охотно посвятил бы своё богатство служению Учителю и даже пошёл бы с Ним *богачом*, чтобы тратить деньги для Него. Но расстаться с ними, чтобы освободиться для служения Ему, — этого он *ещё* не мог!

40 И как же теперь он стал бы соблюдать заповеди? Разве не начал бы яснее видеть собственные упущения и всю широту их требований? Не почувствовал бы, что их соблюдение необходимо больше, чем когда-либо, и всё же невозможно без чего-то, чего у него нет? Заповеди невозможно исполнить, пока их исполнение требует борьбы: человек погребён под тяжестью разбитых им скрижалей. Чтобы руки были чисты, нужно чистое сердце; чтобы соблюдать закон, нужна вся сила живой души — сила жизни, а не борьбы; крепость любви, а не усилие долга.

41 Однажды истина его поступка должна предстать ему совершенно ясно. Горьким будет это открытие. Он

отказался от вечной жизни! Он повернулся спиной к Самой Жизни! В глубочайшем смирении и стыде, но с глубоким утешением раскаяния он вернётся к Учителю и оплачет свою неспособность учиться. Есть люди, которые, подобно святому Павлу, могут сказать: «Я поступал дурно, но делал это по неведению; сердце моё было неправо, и я этого не знал». Их угрызения совести должны весьма отличаться от угрызений человека, который был доведён до способности принять истину, но отвернулся от неё и отказался от освобождения. Для него придёт время — один Бог знает его час, — когда он увидит природу своего поступка, *зная, что смутно видел её такой ещё тогда, когда совершал его*: перед ним был поставлен выбор. А все эти месяцы, дни, часы или мгновения он мог бы следовать за Учителем, слышать Его слова, через окна Его глаз заглядывать в самые глубины Божества!

[42] Всё дело юноши сводится вот к чему. Он рано начал подниматься по вечной лестнице. Он соблюдал заповеди и каждым послушанием поднимался выше. Но поскольку он был *благополучен* — слово невольной иронии, — ему казалось благополучным и его бытие: вполне, если бы только не отсутствие вечной жизни! Имущество давало ему положение в мире — положение значительное, ценное в его глазах. Он знал, что к нему относятся с почтением; ему нравилось, что его почитают; он сам почитал себя за свои *средства*, забывая, что *средства* — всего лишь орудия, да ещё и скверные. Расстаться с богатством означало бы опуститься до уровня стоящих ниже него! Зачем же его не сохранить? Зачем не употребить на служение Учителю? Какая мудрость в том, чтобы отбросить столь великое преимущество? Он мог посвятить его служению, но не мог отбросить от себя! Он

мог посвятить богатство, но не мог посвятить самого себя! Не мог стать нагим, как маленький ребёнок, и дать Отцу принять его! Для него слова «благого Учителя» не были словами мудрости. Как могли драгоценные деньги мешать вхождению в жизнь? Как мог богач поверить, что без денег будет стоить больше? Что, отбросив их, станет одним из Божьих исполинов, сынов Енаковых? Что Божью битву лучше вести без этой обузы? Что Его дело отвергает помощь богатства как помеху? Но Учитель отрёкся от денег, чтобы исполнить волю Своего Отца, и ученик должен быть как учитель. Сделай он, что велел Учитель, он вскоре понял бы. Послушание открывает глаза.

43 Для всякого доброго юноши в соблюдении заповедей есть опасность: он, вероятно, начнёт думать о себе выше, чем следует. Он может достаточно верно судить о фактах, но быть весьма несправедливым в выводах и вытекающей из них самооценке. Он может считать себя замечательным человеком, тогда как он всего лишь обыкновенный разумный юноша, пытающийся сделать самое первое, необходимое, чтобы носить имя и достоинство человека. Несомненно, среди юношей такой юноша редок; однако множество глупцов, ещё не признающих первого условия человеческой зрелости, ничуть не меняет того, что признавший долг и факты собственного бытия — всего лишь ребёнок, делающий неверные шаги по пути жизни. Он уже на пути; он настолько мудр, насколько может быть сейчас; объятия Отца раскрыты ему навстречу; но от этого он ещё не удивительное существо, не образец мудрости, вовсе не то восхитительное создание, каким оставшаяся в нём в большом избытке глупость старается представить его ему самому в худшие минуты — то есть когда он чувствует себя лучше всего. Он просто одно из Божьих бедных

созданий. Нам нет нужды выяснять, какую роль этот обычный грех *доброго юноши* сыграл в печальной неудаче именно этого юноши; однако вполне возможно, он счёл, что Учитель недооценил не только его богатство, но и его труды и обошёлся с ним не совсем справедливо.

44 Вернёмся к тому, что подводит итог всему сказанному.

45 Поднимаясь по лестнице вечной жизни, юноша достиг площадки, с которой не было видно ни одной следующей ступени. Он стоит на окутанной облаками площадке и напрасно ищет продолжение подъёма. Чего, по его собственному разумению, он хотел, я не могу сказать: его представление о вечной жизни мне неизвестно; едва ли это была лишь убогая мысль о бесконечном существовании — всё, что заурядный ум принимает за вечную жизнь, одну только сопровождающую её тень, саму по себе не стоящую раздумий, ни на мгновение не подлежащую сомнению и считавшуюся само собой разумеющейся всеми благочестивыми иудеями. Когда у человека есть вечная жизнь, то есть когда он един с Богом, что ему остаётся, как не жить вечно? Без единства с Богом продолжение существования было бы для меня почти непревзойдённым проклятием; непревзойдённым же было бы существование Бога, иного, нежели Тот Бог, Которого я вижу в Иисусе. Но каково бы ни было представление юноши, оно должно было заключать в себе, пусть лишь в неразвёрнутом виде, все его понятия о Боге, человеке и общей для них праведности. И вот, пока он стоит одинокий и беспомощный, перед ним возникает образ Сына Человеческого! Это Сам Бог вышел навстречу восходящему юноше, чтобы взять его за руку и повести по Своей лестнице — единственной лестнице, по которой можно подняться. Сквозь туман Он показывает ему

первую ступень. Но ноги юноши тяжелы: на них золотая обувь. Чтобы подняться по этой лестнице, он должен сбросить её. В вечную жизнь надо войти босым. И вместо того, чтобы сделать это, вместо того, чтобы свободным шагом взойти по вечной лестнице в лоно Отца, он предпочитает оставить свою драгоценную обувь! Лучше волочить её по земле, чем расстаться с ней ради мира, где от неё нет никакой пользы!

46 Но какими жалкими должны были показаться ему драгоценности, золотые сосуды, расшитые одежды, величественный дом, когда он вернулся к ним от лица Господа! Конечно, вскоре он должен был в стыде и горе отбросить всё от себя, как Иуда отбросил свои тридцать сребреников, в той муке, которую испытывает всякий, очнувшийся от сознания, что предпочёл деньги Учителю! Ибо, хотя человек никогда не может спастись, не освободившись от своей собственности, *богатому войти в Царство Божие* всё же только *трудно*, а не невозможно.

Трудность пути

[1] «*Дети, как трудно*!» — Мк. 10:24.

[2] Подозреваю, едва ли найдётся богатый и вдумчивый юноша, которому обращение нашего Господа с этим молодым человеком не покажется суровым. Он склонен спросить: «Почему богатому должно быть трудно войти в Царство Небесное?» Естественную закономерность он готов принять за произвольное установление, вызванное, скажем так, каким-то предубеждением божественного ума или по крайней мере неприятием радостей благополучия, как их понимают творения. Почему в будущем мире богатым должно быть иначе, чем другим? Они не видят, что закон как раз в том, что им *должно* быть так же, как другим, тогда как сами они хотят, чтобы с ними обходились как с богатыми. Порядок вещей, при котором богатому легко было бы войти в Царство Небесное, для меня немыслим. Нет такого царства этого мира, куда богатый не мог бы войти с лёгкостью, где он, будь лишь достаточно богат, не мог бы стать первым; царство, куда богачу легко войти, не могло бы быть Царством Небесным. Богатый вовсе не обязательно принадлежит царству сатаны, но там ему особенно рады, тогда как в Царстве Небесном ему будут рады ровно так же, как любому другому.

[3] Подозреваю также, что многие богачи отворачиваются от рассказа об этом случае с возмущённым чувством, будто он предъявляет права на всё их достояние; многие же, и далеко не только богатые, не могут поверить, что Господь действительно хотел лишить беднягу его денег. Родившемуся в богатстве оно кажется не просто естественным, но необходимым условием благополучия; а

человек, *нажи́вший* деньги, чувствует, что они принадлежат ему по праву труда души, дневных усилий и ночных забот. Каждый ощущает право владеть своим имуществом и удерживать его; и если ему необходимо войти в Царство Небесное, то как жестоко, что право и необходимость сталкиваются, делая вход почти невозможным! Почему бы ему не «взять лучшее от обоих миров»? Если бы можно было, он пошёл бы на уступки; он немного служил бы маммоне и много — Богу. Но ему не нужно такое «лучшее от обоих миров», которое обретается полным подчинением низшего высшему, отречением от земного сокровища ради небесного. Ему хотелось бы получить от неба как можно меньше, лишь бы хоть что-нибудь, потеряв как можно меньше от мира. То, чего он желает от неба, не лучшее в нём; то, что он не хочет уступить в мире, — самое ничтожное.

[4] Я легко могу представить честного юношу, воспитанного в христианских обычаях, который рассуждает так: «Имеет ли этот рассказ общее значение? Предъявлено ли такое требование мне? Если я решу стать христианином, потребуют ли от меня расстаться со всем, что у меня есть? В те времена, должно быть, было сравнительно легко отказаться от тех вещей, которыми они владели! Будь я на его месте, я, конечно, сделал бы это — если бы Сам Спаситель лично потребовал. Теперь всё совсем иначе! Тогда богатство не предполагало тех же общественных связей, что теперь! Мне пришлось бы отказаться от гораздо большего! К тому же я не люблю деньги так, как рисковал полюбить их он: иудеи во все времена поклонялись маммоне! Я стараюсь делать добро своими деньгами! И разве я уже не христианин? Почему от меня нужно требовать того же, что от молодого иудея? Если бы всякий, кто, как я, совестливо относится к

деньгам и заботится об их добром употреблении, должен был всё отдать, власть сразу попала бы к безбожникам; им некому было бы противостоять, и мир достался бы дьяволу! В Библии часто говорится о богатых, но ни от кого другого не требовали расстаться со всем! Анания был поражён смертью не потому, что не отдал всех денег, а потому, что сделал вид, будто отдал. Святой Пётр прямо говорит: „Пока оно оставалось, не твоим ли было? И после продажи не в твоей ли власти находилось?“ Как был бы погребён Господь, если бы не богатый Иосиф? Кроме того, Господь сказал: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай, что имеешь“. Я не могу быть совершенным; на это нет надежды; Он и не ждёт этого». Честнее было бы сказать: «Я не хочу быть совершенным; мне довольно спастись». Таким людям нет дела до совершенства, подобного совершенству их Небесного Отца; им нужно лишь то, что они называют *спасением*. Они и не думают, что без совершенства нет спасения, что совершенство и есть спасение: это одно. «И ещё, — добавляет он в заключение, торжествуя, — в тексте сказано: „Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие!“ А я на своё богатство не надеюсь. Я знаю, что оно никак не может меня спасти!»

[5] Предположу, что беседую с таким юношей лицом к лицу. Я мало заботился бы об изложении чего-либо, именуемого истиной, если бы оно не служило осадой, цель которой — склонить человека к покорности закону свободы. Если не могу убедить, предпочту молчать. Я не стал бы трудиться и ради наставления самого острого ума; лучше бы учился сам. Только убеждение сердца, воли, действия достойно всей человеческой силы. Его сила прежде всего предназначена для становления человеком его самого, затем — его ближнего. Сначала он

должен вынуть бревно из собственного глаза, потом — соринку из глаза брата, если только эта соринка не отражение его собственного бревна. Сделать человека счастливым, как жаворонок, *может означать* причинить ему тяжкий вред; заставить его проснуться, встать, поднять взор, обратиться — это стоит жизни и смерти Сына Вечного.

6 Итак, я говорю юноше:

7 «Соблюдали ли вы — соблюдаете ли вы заповеди?»

8 «Я не осмелюсь это утверждать, — предположим, отвечает он. — Я должен лучше того юноши знать, как много заключено в соблюдении заповедей!»

9 «Но, — спрашиваю я настойчиво, — означает ли ваш ответ, что, считая Господа суровым господином, вы тем меньше старались поступать по Его воле? Или же, направив все силы к требуемому Им абсолютному совершенству, тем яснее увидели невозможность исполнить закон? Неужели вы не заметили: именно юноше, который годами соблюдал заповеди, даётся следующее, столь поразительное для вас повеление — расстаться со всем имуществом? Конечно, заметили! Так находитесь ли вы в подобном состоянии, чтобы и вам можно было предъявить это требование? Соблюдали ли вы заповеди хоть в каком-то смысле, подобном тому, в каком отвечал юноша? Неудовлетворённый плодами своего послушания и исполненный желания совершенства, приходили ли вы на коленях к Учителю, чтобы больше узнать о пути к вечной жизни? Или вы так довольны собой, что никогда не искали вечной жизни, никогда не алкали и не жаждали Божьей праведности, совершенства собственного бытия? Если вы в этом последнем

состоянии, утешьтесь: Учитель не требует от вас продать имущество и раздать бедным. *Вам* следовать за Ним! *Вам* идти с Ним возвещать благую весть! Вам, не заботящемуся о праведности! Вы не тот, чьё общество желательно Учителю. Утешьтесь, говорю я: вы Ему не нужны; Он не попросит вас открыть для Него кошелёк; можете давать или не давать — для Него это ничего не значит. Что же! Неужели Он должен быть обязан за деньги человеку вне Его Царства — неправдивому, неблагородному? Принесите Ему истинное сердце, послушную руку: ради этого Он пролил Свою кровь; но ваши деньги — Он в них не нуждается и о них не заботится».

10 «Прошу вас, не обращайтесь со мной жестоко. Признаю, я не был тем, кем должен, но хочу раскаяться и желал бы войти в жизнь. Не думайте, что, раз я не готов отбросить всё своё имущество без уверенности, что это от меня требуется, мне безразлично высшее».

11 «Тогда ещё раз: *идите и соблюдайте заповеди*. До ваших денег дело пока не дошло. Вам достаточно заповедей. Вы ещё не дитя Царства. Вас не влекут объятия Отца; вы цените лишь кров Его дома. Что до денег — пусть заповеди научат вас ими пользоваться. Размышлять, не требуется ли вам продать всё, что имеете, — с вашей стороны лишь жалкое самомнение. Когда, соблюдая заповеди, вы обретёте великую награду — любовь к праведности, а затем следующую награду — открытие, что при всех доступных вам усилиях вы лишь раб, ничего не стоящий; когда поймёте, что закон может соблюсти только тот, кому закон уже не нужен; когда почувствуете, что лучше вовсе перестать быть, чем продолжать ту убогую, жалкую, себялюбивую жизнь,

которую единственно можете назвать своей; когда ощутите нечто за пределами всего, что способен помыслить ваш ум, но не за пределами желаний вашего сердца, — нечто вам не принадлежащее, словно бы никогда и не могущее принадлежать вам, но без чего ваша жизнь ничего не стоит; когда потому придёте к Учителю с воплем: „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ — тогда, возможно, Он скажет: „Продай всё, что имеешь, и раздай бедным, и приходи, следуй за Мной“. Если Он скажет это, то, послушавшись, вы станете одним из достойнейших людей, а отказавшись — одним из самых жалких. До тех пор вы не принесёте Ему утешения, а Его друзьям — радости. Если бы тот юноша продал всё и последовал за Ним, это означало бы принять от Бога грамоту на благородство; вам она не предложена. Если бы кто-нибудь из непослушных, надеясь на эту честь, расстался со всем, до последней соломинки, его лишь отослали бы назад соблюдать заповеди в новых, облегчённых условиях бедности.

[12] Утешает ли вас это? Тогда горе вам! Тысячекратное горе! Вас облегчает мысль, что Господь в вас не нуждается, что Он не требует расстаться с деньгами, что не предлагает взамен Самого Себя! Вы, правда, не продаёте Его за тридцать сребреников, но рады, что не нужно покупать Его ценой всего своего достояния! Чем же вы отличаетесь от юноши в рассказе? Тем, что ему предложили сделать больше, сделать всё, стать причастником божественной природы; вам же не было дано даже возможности отказать: вы ещё недостойны приглашения. Такие, как вы, никогда не войдут в Царство. Даже оказавшись на небе, вы не узнали бы, что вы там; вы не увидели бы его вокруг себя, даже сидя у самого подножия престола».

13 «Но я не полагаюсь на своё богатство; я полагаюсь на заслуги моего Господа и Спасителя. Я полагаюсь на совершённое Им дело, на принесённую Им жертву».

14 «Да, да! Вы будете полагаться на что угодно, только не на Самого Человека, Который говорит вам, что спастись трудно! Все заслуги Бога и Его Христа не могут дать вам вечной жизни; это могут сделать лишь Бог и Его Христос; но без соблюдения вами заповедей Они не могут этого сделать, а если бы и могли, не захотели бы. Познание живого Бога *и есть* вечная жизнь. Какое вам дело до Его заслуг? Вам нужно знать Его существо, Его Самого. А что до упования на богатство — кто вообще воображал, что может обрести вечную жизнь деньгами? Ни один человек хотя бы с половиной совести, половиной ума и вовсе без сердца не мог бы предположить, что тот, кто надеется войти туда благодаря своему богатству, может войти в Царство. Это было бы слишком нелепо. Иудей, уверенный в своих деньгах, мог надеяться, что, поскольку богатство — знак Божьего благоволения, это благоволение не оставит его и в конце; или владение им могло так раздувать его самодовольство, что он не допускал мысли о собственной погибели; но *надеяться на богатство* — нет. Последнее убежище любителя и поклонника богатства, человека, которому обладание им необходимо для душевного покоя, — утверждение, что он не надеется с его помощью войти в жизнь. Несомненно, человек, ни о чём не думающий столько, сколько о нём, в самом страшном смысле на него и надеется; однако сотни таких людей всё равно скажут: „Я полагаюсь не на богатство, я полагаюсь на…“ — и добавят ту или иную расхожую формулу».

15 «Вы забываетесь; вы критикуете слова Самого Господа: Он сказал: „Как трудно *надеющимся на богатство* войти в Царство Небесное!“»

16 «Я не забываюсь; к этому я вас и подвожу: я убеждён, что Господь никогда не произносил этих слов. Чтение Синайской и Ватиканской рукописей, двух древнейших, какие у нас есть, — чтение, которому, как я с радостью вижу, отдают предпочтение и Уэсткотт, и Тишендорф, хотя не Трегеллес и не составители пересмотренного перевода, — таково: „Дети, как трудно войти в Царство Божие!“ Именно эти слова я считаю словами Господа. Какой-то переписчик, по крайней мере с душой богача, недовольный отношением Господа к деньгам и, подобно вам, жаждавший компромисса, непременно должен был приписать на полях пояснение: будто вход в Царство затрудняет не владение богатством, а упование на него! *Затрудняет*? Да ведь тому, кто надеется на богатство, во веки невозможно войти в Царство! Трудно это тому, кто богатством обладает. Неужели Господь якобы учит, что надеющемуся на богатство *возможно* войти в Царство? Что, хотя для людей это невозможно, для Бога возможно? Бог примет поклонника маммоны в Свою славу! Нет! Господь никогда такого не говорил. Примечание господина Двулико-смотрящего вкралось в текст и стоит в английском переводе. Господь не имел обыкновения толкованиями смягчать Свои суровые слова. Он оставлял их во всей славе пылающего огня, которым они должны очистить нас. Там, где их простота встречает ответную простоту, они понятны. Раздвоенное сердце неизбежно ошибается. Богатому трудно войти в Царство Небесное именно потому, что он богат».

[17] Некоторые, без сомнения, утешают себя мыслью, что, раз это так трудно, данное обстоятельство будет принято в расчёт; но это лишь иная форма фантазии, будто с богатым должны обращаться иначе, чем с его собратьями: как здесь ему доставались блага, так они должны достаться ему и там. С той же несомненностью, с какой существует жизнь, им будет оказана абсолютная справедливость, то есть беспристрастное отношение; но какой в этом прок, если они не войдут в Царство? Им нужна жизнь; существования без *жизни* не вынести. Они думают, что *могут обойтись без вечной жизни, лишь бы жить вечно*! Те же, кто знает, что такое вечная жизнь, видят единственный ужас в том, чтобы существовать без неё.

[18] Итак, примем слова Господа в таком виде: «Дети, как трудно войти в Царство Божие!» Это вполне отвечает Его манере выражаться. Сначала призвав их задуматься об изначальной трудности для всякого человека войти в Божье Царство, Он ещё сильнее повторяет сказанное о трудности для богатого: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие». Войти в Царство Небесное всегда было и всегда будет трудно. Трудно даже поверить, что нужно родиться свыше, перейти к новому и неизвестному сознанию. Верный закону иудей, приверженный обрядам христианин отступают перед уничтожением собственного «я», перед Жизнью благодати и истины, перед высотой небесного блаженства, перед всеобъемлющей любовью, которая наполняет закон до краёв и отставляет его. Они не могут принять, что определённое состояние бытия само по себе есть вечная жизнь. И в эту жизнь, в это Божье Царство, в эту простоту абсолютного бытия, в которую так трудно поверить, трудно и войти. Насколько

трудно? Настолько, насколько Учитель спасения мог выразить словами: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит… и самой своей жизни, тот не может быть Моим учеником». А богатому труднее, чем другому, возненавидеть собственную жизнь. С нею связано так много того, что раздувает его сознание собственного «я», что отбросить его как всего лишь уродливую тень того «я», которое создал Бог, становится неизмеримо труднее.

[19] Никто не знает, как трудно войти в Царство Небесное, кроме тех, кто пробовал — пробовал изо всех сил и не перестаёт пробовать. Мне неважно, что кто-то уверяет, будто можно сразу обрести всю возможную сладость уверенности; я желаю не уверенности, а самого дела: не уверенности в вечной жизни, а вечной жизни. Мне неважно, что говорят другие проповедники, когда я знаю, что в святом Павле дух и плоть часто вели борьбу. Повторяю: лишь те знают, как трудно войти в жизнь, кто борется каждый день и постепенно — каждый час, более того, начинает видеть, что ни одно мгновение не есть жизнь без присутствия Того, Кто даёт силу. Пусть мне говорят о мире и довольстве, даже о неизреченной радости как немедленном результате нового рождения: я не отвергаю ни такого утверждения, ни такого свидетельства; я хочу сказать лишь одно: если под спасением понимают нечто меньшее, чем абсолютное единство с Богом, я не считаю это спасением и не удовлетворился бы им, даже если бы оно заключало в себе все радости неба, какое они только способны вообразить. Если они не праведны, как праведен Он, они не спасены, каковы бы ни были их радость и довольство; они только на пути к спасению. Если они не любят ближнего — не как самих себя: это выражение трудно понять, и оно не от Христа, — но как любит его Христос, я

не могу считать, что они вошли в жизнь, хотя жизнь, возможно, начала входить в них. Те, чьё представление о жизни всецело принадлежит вечности, лучше всего знают, как трудно в жизнь войти. Господь сказал: «Дети, как трудно войти в Царство!» Ученики ещё мало понимали, что от них требуется!

[20] Христианину непрестанно предъявляются прежде неведомые требования: это всё новые пробуждения и призывы, просьбы и поручения Духа, действующего в детях послушания. Когда человек думает, что уже достиг, он в опасности; когда же на горе, по которой он так долго поднимался, вдруг открывается далёкая вершина, сияющая вечной белизной и почти теряющаяся в небесных высотах, вершина, увенчанная славой, куда, кажется, никогда не ступит человеческая нога, — тогда для него есть надежда. Это доказательство, что он поднимался, ибо он видит ещё не покорённое; он видит то, чего прежде не мог увидеть; если он мало знает, что он такое, он кое-что знает о том, чем ещё не стал. Всё вновь он узнаёт, что не так пребывает в мире, как пребывал в нём Иисус; но самый ветер, вливающий мужество в его восхождение, есть надежда, что однажды он будет подобен Ему, увидев Его таким, каков Он есть.

[21] Имущество — это *вещи*, а *вещи* вообще, кроме тех случаев, когда они служат материалом для победы и средством духовного освоения, легко становятся враждебными высшей жизни. Человек, чьё чувство благополучия зависит от чего-либо, кроме жизни, жизни по существу, — раб; он зависит от того, что ниже его самого. Не совершенен тот, кто, лишившись всех *вещей*, не мог бы спокойно сесть, довольный и сознающий, что его благо ничем не затронуто: ведь он по-прежнему

обладал бы всем, будучи чадом Вечного. *Вещи*, и прежде всего это тело, даны нам, чтобы через них мы учились и независимости от них, и истинному владению ими. Мы должны владеть ими; они не должны владеть нами. Их назначение — посредничество: быть низшими образами и проявлениями невидимого, то есть самого по себе недоступного зрению, того, что принадлежит не миру речи, а миру молчания, не миру видимости, а миру бытия, миру, который нельзя поколебать и который должен остаться. Это невидимое принимает форму в вещах времени и пространства не для того, чтобы существовать, ибо оно существует в вечном Божестве и из Него, а чтобы его бытие стало известно тем, кого готовят к вечности. Этим невидимым должны обладать сыны и дочери Бога. Но вместо того, чтобы тянуться к нему, они хватаются за его формы, видимое принимают за то, чем следует владеть, влюбляются в тела вещей вместо их душ. Есть добрые люди, которым трудно поверить, что, согласись юноша отдать богатство, Господь затем не велел бы ему оставить его себе; они тоже, по-видимому, считают небесное сокровище недостаточной заменой. Они не могут поверить, что без богатства ему стало бы лучше. «Разве богатство не сила?» — спрашивают они. Да, сила; но сила и волк, спрятанный под одеждой. Это сила, подобная грубой машине, рычаги и рукояти, клапаны и регулятор которой хозяин плохо знает. Большинство читающих этот рассказ думают точно так же, как сам юноша в худшую свою минуту, когда он отвернулся и ушёл; но с одним огромным отличием: они не печалятся.

[22] *Вещами* никогда не может по-настоящему обладать человек, не способный без них обойтись, — тот, кто не был бы абсолютно, божественно доволен сознанием, что причина его бытия находится внутри этого бытия и *с ним*.

Не хочу быть понятым неверно: никто не может сознавать присутствие Бога с собой и быть недовольным; я имею в виду, что человек, не имеющий Отца так, чтобы навеки довольствоваться Им одним, не может владеть ни закатом, ни травяным лугом, ни золотой жилой, ни любовью другого создания согласно их природе, так, как Бог желает ему владеть, — вечным способом наследования, обладания и хранения. У кого есть Бог, у того всё есть так, как всё принадлежит Создавшему. Мужчине, женщине и ребёнку я говорю: если вы не довольны, то потому, что Бог не с вами в той мере, в какой Он вам нужен, не с вами так, как хотел бы быть и как вы *должны* иметь Его; ибо Он нужен вам так, как вашему телу никогда не были нужны пища и воздух, как ваша душа никогда не жаждала радости, мира или наслаждения.

[23] Нам необходимо избавиться от тирании *вещей*. Посмотрите, насколько это необходимо: пусть юноша всеми фибрами души цепляется за своё богатство — Бог сделает всё, что может; Его дитя не будет оставлено в аду обладания! Приходит ангел смерти — и где же вещи, которые преследовали бедную душу столькими помехами и препятствиями? Мир и всё, что в нём, падает, выскальзывает из-под ног и из рук, унося с собой тело, глаза, уши человека, всякий кошелёк, всякий ларец, способный обмануть его иллюзией владения.

[24] «Так человек освобождается от власти вещей? Так Смерть служит ему, так выкупает его из рабства? Зачем же тогда торопить этот час? Не лучше ли юноше дождаться удара часов Времени, дождаться Неизбежного, которое уже идёт освободить его?»

25 Нет! Ибо лишь тогда, полагаю, человек вещей впервые осознаёт их тиранию. Только начав воздерживаться, человек узнаёт силу своей страсти; возможно, только когда у него не останется ни одной вещи, он начнёт понимать, какой необходимостью сделал для себя вещи; и если тогда он начнёт бороться с ними, изгонять из души то, что Смерть вырвала из рук, лишь тогда узнает всю страсть обладания, всё рабство человека, дорожащего ничтожной частью драгоценного.

26 «В чём же тогда услуга Смерти? Она вынимает жало, но оставляет яд!»

27 Вот в чём: в душу въедаются не те оковы, что натирают, а те, что убаюкивают. Когда исчезнут золотые цепи, на которые человек с наслаждением смотрел, хотя они приковывали его к стене темницы, погребённого вдали от воздуха и солнца, лишь тогда он почувствует их — в боли от их отсутствия, в усталом равнодушии, с которым смотрит на землю и море, на пространство и звёзды. Когда ему начнёт открываться истина, что эти цепи были ужасом и позором, тогда обнаружится благо спасительной смерти и он начнёт понимать, что обладание никогда не было и не могло быть благополучием; что мы живём не благодаря владению, а владеем благодаря жизни. Так утрата вещей, которыми, как ему казалось, он обладал, становится движением — едва ли ещё *к* избавлению, но уже в его пользу. Человеку это может показаться началом рабства, хотя в действительности это начало свободы. Ни одна душа не была освобождена, не почувствовав своего рабства; ничто, кроме самой души, не может её поработить, и ничто без её собственного участия — освободить.

28 Когда пьяница, освобождённый от тела, но сохранивший желание, которого не может удовлетворить, наконец получает время для мысли, лишившись средства её уничтожать, — тогда уж, наверное, для него впервые занимается страшная надежда! Но он не спасён до тех пор, пока силой Бога и собственным послушным усилием не возвысится до такого состояния, что, каково бы ни было искушение, не поддастся даже ради бессмертия безнаказанного пьянства — со всеми его наслаждениями и без единого наказания.

29 Так смерть может дать новую возможность и некоторую надежду множеству считающих себя христианами, которыми *вещи* владеют, словно легион бесов; тем, кого уважают в их церкви, чья жизнь считается безупречной, кто добр, приветлив, щедро жертвует, верит в искупление Иисуса, рассуждает о мире и церкви, — и кто при этом непрестанно заботится лишь о накоплении, о превращении многого в ещё большее, о прибавлении дома к дому и поля к полю, всё глубже зарывая себя в груде пепла, именуемой *вещами*.

30 Но под властью вещей находится не один лишь богач; рабы и те, кто, не имея денег, несчастен от их отсутствия. Человек, непрестанно роющий себе могилу, немногим лучше того, кто уже лежит в ней и тлеет. Деньги, которые есть у одного и которых хотел бы другой, в обоих становятся причиной вечного неразумия. И к одному, и к другому обращено слово: «*Как же вы не понимаете*?»

Причина духовного неразумия

[1] «*Как же вы не понимаете?*» — Мк. 8:21.

[2] Накормив четыре тысячи человек семью хлебами и несколькими рыбками на восточном берегу Галилейского моря, Иисус переправился через озеро. На другом берегу Его встретили некоторые фарисеи; их отношение к Нему было таково, что Он снова сел в лодку и вернулся через озеро. По дороге ученики вспомнили, что у них в лодке всего один хлеб: вероятно, пока Господь был занят фарисеями, один из них сходил и купил его, не думая, что они так скоро опять отправятся в путь. Иисус, всё ещё размышляя о враждебности вождей народа и желая разрушить их влияние на учеников, начал предостерегать их. При этом Он воспользовался образом, который они уже слышали от Него: образом закваски, означающей скрытую, но могучую и всепроникающую силу. Он говорил им, что Царство Небесное подобно закваске, положенной в муку и постепенно заквашивающей её всю. Теперь Он велит им беречься закваски фарисейской. Ученики, занятые мыслями о нехватке припасов, едва услышав слово «закваска», подумали о хлебе, решили, что Он говорит о ней именно потому, что хлеба нет, и, возможно, вообразили, будто Он предостерегает их от какого-то осквернения фарисейской стряпнёй: «Это потому, что мы не взяли хлеба!» Закваска, подобная фарисейской, уже тогда действовала в их сердцах; ибо знамение, которого фарисеи требовали с насмешливым неверием, они получили всего несколько часов назад и уже забыли всё, что придавало ему ценность.

[3] Слово Учителя раскрывается тому, кто старается жить, кто послушен слову Учителя. Поняв внешнюю сторону

вещей, мы думаем, что овладели ими; Господь же придаёт Своим истинам не вполне определённые, наводящие на мысль формы, которые не дают удовлетворительного смысла одному лишь рассудку, но раскрываются совести и сердцу, самому человеку, в усилии жить. По мере того как в нём совершается новое творение, творение подлинного бытия, он становится способен понимать слова, символы, притчи Господа. Ибо только жизнь, то есть действие, есть то человеческое состояние, в которое может проникнуть свет Живого; одна жизнь может усваивать жизнь, превращать пищу в рост. Посмотрите, как ученики здесь сами себя одурачили!

4 Посмотрите, как Господь приводит их в чувство. Он не объясняет прямо, в чём они ошиблись; вместо этого Он обличает находящуюся в них причину ошибки — а это всегда бесконечно важнее самой ошибки: одно — живая ошибка, неправда в душе, другое — всего лишь рождённый ею мёртвый промах. Поэтому словесной связи между их заблуждением и увещанием нашего Господа не найти; логика Его слов лежит не на поверхности. Часто Он обращается не к словам, а к мысли; здесь же — даже не к мысли, а ко всему образу мышления, к той почве, из которой мысли рождаются, к внутреннему состоянию людей.

5 Он старается пробудить в них сознание недоверия Богу, которое и заставило их неверно понять Его. Он напоминает им о двух чудесах с хлебами и о множестве оставшихся излишков. Одно из этих чудес только что произошло на их глазах, не прошло и дня, а они уже сомневаются! Он заставляет их перебрать подробности чудес — едва ли затем, чтобы освежить память: само диво они помнили достаточно цепко, — но чтобы их сердца

задержались на них; ибо они уже забыли или так и не увидели главного откровения этих чудес: вечной истины Божьей любви, заботы и сострадания. Они знали, сколько каждый раз было людей, сколько хлебов и сколько корзин остатков они собрали; но забыли Любовь, которая так преломила хлеб, что остатки в двадцать раз перевесили первоначальные хлебы.

6 Расспросив их, как детей, и выслушав, как детские ответы, Он обращает свет их мыслей на них самих и доводом, направленным прямо к человеку, минующим все звенья собственной безупречной логики, спрашивает: «Как же вы не понимаете?» Тогда они поняли и узнали, что Он говорил не о хлебной закваске, а об учении фарисеев и саддукеев. Доверяющий способен понять; тот, чей ум обрёл покой, способен увидеть основание.

7 Как ещё, кроме обличения и усмирения тревоги, эти слова могли открыть им то, что они тогда увидели? Какая связь между вопросами «Сколько корзин вы собрали?» и «Как же вы не понимаете?» Как чудеса помогли им понять, что, говоря о закваске, Он не имел в виду хлебную закваску? Если речь шла не о хлебной закваске, почему обращение к чудесам с хлебом помогло им это осознать?

8 Урок, который Он хотел преподать им чудом, естественный урок, единственный, достойный чуда, был в том, что Бог заботится о Своих детях и может, умеет и будет удовлетворять их нужды. Этого урока они не усвоили. Несомненно, сила чуда в какой-то мере свидетельствовала о Его посланничестве, но любовь, заключённая в нём, свидетельствовала лучше, ибо придавала смысл самому свидетельству: это был удар сердца Отца. Причина упрёка Учителя не в том, что ученики не поняли Его, а в том, что не доверяли Богу; что

после всего увиденного всё ещё тревожились о хлебе. Поскольку нам легко вообразить себя в нужде, нам кажется, будто Бог готов нас покинуть. Чудеса Иисуса были обычными делами Его Отца, совершёнными в малом масштабе и быстро, чтобы мы могли их охватить. Их урок: помощь всегда в Божьей власти, когда Его дети в ней нуждаются; их замысел — показать, каков Бог, не то, что Иисус был Богом, но что Его Отец был Богом, то есть был Тем, Кто Он есть, ибо никакой иной Бог не мог бы существовать или быть достойным веры, никакое иное понятие о Боге не стоило бы того, чтобы его иметь. Задача, которую взял на Себя Сын, состояла не в том, чтобы явить Себя обладающим всей властью на небе и на земле, а в том, чтобы открыть Отца, показать Его людям таким, каков Он есть, чтобы они познали Его и, познав, доверились Ему. Мало было бы блага, если бы Бог простил людей, но не дал им Самого Себя. Это значило бы лишь вернуть их самим себе; а ничто меньшее, чем Бог такой, каков Он есть, не утешит человека в коренной скорби его бытия. Только Бог, дарованный человеку, может превратить эту скорбь в коренную радость: Иисус пришёл дать им Бога, Который есть вечная жизнь.

[9] Чудеса насыщения преподавали их глазам, рукам, устам тот же урок, какой Его слова преподавали слуху, когда Он говорил: «Не ищите, что вам есть или что пить, и не тревожьтесь, ибо Отец ваш знает, что вы нуждаетесь в этом»; «Ищите прежде Царства Божия и праведности Его, и всё это приложится вам». Так мало они ещё усвоили, что помнили хлебы, но забыли Отца — как люди в своём богословии забывают само [греч. *Theou logos*, Слово Божие]. Забыв, они тревожились о пропитании на день и при первом упоминании закваски подумали о хлебе. *Что же ещё Он мог иметь в виду? Связь была очевидна*!

Господь напоминает им чудо: если бы они поверили в него согласно его истинной ценности, их мысли не были бы настолько заняты, чтобы упустить Его смысл. Чудо явило им истину Божьего сердца по отношению к ним, открыло любящую заботу, без которой Он не был бы Богом. Усвой они этот урок, напоминание было бы не нужно: их сердца не оказались бы столь переполнены беспокойством, чтобы неверно понять Его слово. Если бы они только сказали себе: «Пусть у нас один хлеб, но с нами Тот, Кто творит все хлебы», — они никогда не совершили бы своего глупого промаха.

10 Итак, ответ на упрёк Господа «Как же вы не понимаете?» очевиден: их умы были так полны заботой о хлебе на день, что они не могли просто думать ни о чём другом; одно упоминание закваски снова бросило их барахтаться в болоте неверия. Когда Господь напомнил им увиденное собственными глазами, а значит, и то, каков Он и каков Бог, и как нелепа их тревога, — в ту самую минуту, когда страх научился поднимать взор, они начали видеть, что должны были означать прежние слова Господа: их умы достаточно прояснились, чтобы в какой-то мере воспринять и отразить Его намерение.

11 Ученики заботились о нынешнем дне, не о завтрашнем; слово *завтра* должно обозначать любую точку будущего. Следующий час, следующая минута столь же недоступны нашей власти и столь же пребывают под Божьей заботой, как час через сто лет. Тревога о ближайшей минуте так же глупа, как тревога о завтрашнем дне или о каком-нибудь дне через тысячу лет: ни там ни здесь мы ничего не можем сделать, и там и здесь всё делает Бог. Из завтрашних требований к сегодняшнему долгу относятся только те, к которым следует приготовиться сегодня;

думать нужно о том мгновении, в которое надлежит сделать дело; следующего нигде нет, пока Бог не сотворит его.

12 Недостаток хлеба, по-видимому, произошёл не от небрежности, а от того, что Господь немедленно вновь сел в лодку; но даже если бы ученикам недостало предусмотрительности, это было не то, что Господь хотел обличать. Он пришёл исправить не ту или иную погрешность, а первичное зло жизни без Бога, корень всех зол — от ненависти до неучтивости. При этом некоторые меньшие добродетели, в том числе предусмотрительность, со временем стали бы почти, если не вовсе, излишними. Если человек что-нибудь забудет, Бог об этом позаботится: человек не господин своей памяти или своего ума. Но он господин своей воли и своих действий; и действительно виноват тогда, когда помнит о долге, но не исполняет его, откладывает и потому забывает. Подозреваю, если человек всецело отдаётся непосредственному долгу настоящего мгновения, удивительно мало предварительных расчётов окажется нужно. Правильна лишь та предусмотрительность, которая определяет долг и переходит в действие. На основание хорошо выполненного вчерашнего труда завтрашний труд непременно ляжет впору. Исполненное дело важнее для будущего, чем предвидение архангела.

13 И ученикам, и богатому юноше понять Господа мешали *вещи*. Из-за своего имущества юноша даже не подозревал о величии призыва, которым Иисус его почтил. Получив предложение небесного благородства, он счёл, что с ним обошлись сурово: ведь он был так богат! *Вещи* наполняли его сердце; вещи загромождали окна; вещи забаррикадировали дверь, так что даже Сам Бог не мог

войти. Его душа не была пуста, выметена и убрана: она была переполнена самыми низкими идолами, среди которых его дух ползал на коленях, расточая на них взоры, принадлежавшие его собратьям и Учителю. Ученики ушли чуть дальше: они оставили всё и последовали за Господом; но и они ещё не избавились от *вещей*. Жалкого одиночества одного хлеба было достаточно, чтобы скрыть от них Господа, лишить их способности Его понимать. Почему, забыв, они не могли довериться? Ведь если бы Он велел им ради Него целый день обходиться без пищи, они, конечно, не возражали бы! Но они потеряли Бога из виду и вели себя так, словно Он либо не видел их, либо о них не заботился.

[14] В первом случае владение богатством, во втором — отсутствие всего, кроме одного хлеба, сделало людей неспособными принять слово Господа; злое начало было совершенно одним и тем же. Если вас убивают *вещи*, какая разница, есть они у вас или нет? Юноша, не доверяя Богу, источнику своего богатства, не может вынести слова Его Сына, предлагающего лучшее богатство, более непосредственно исходящее из сердца Отца. Ученики, забыв, Кто владыка земных урожаев, не могут понять Его слова, потому что полны страха перед одним голодным днём. Он не доверял Богу как уже давшему; они — Богу как готовому дать. Мы подобны им, когда в *какой бы то ни было* беде не доверяем Ему. Богу тяжело, когда Его дети не позволяют Ему давать; когда ведут себя так, что Он должен удерживать руку, чтобы им не повредить. Не заботиться о том, чтобы они признавали источник помощи, значило бы оставить их поклонниками идолов, уповающими на то, чего нет.

[15] Недоверие — безбожие и преграда всякому росту. Господи, мы не понимаем Тебя, потому что не доверяем Твоему Отцу, всем сердцем преданному нам так, как ещё ни одна мать не была предана своему первенцу! Полные забот, словно у Него их нет, мы думаем, что то и другое ускользает от Его внимания, что о том и другом Он не думает! Мы, будучи злы, готовы умереть, чтобы накормить своих детей, и всё же не уверены, что единственный Благой даст нам хоть что-нибудь из желаемого! Вещи Твоего мира так теснят наши сердца, что в них нет места тому, что в Твоём сердце, а оно подняло бы наши сердца над всяким страхом и сделало нас весёлыми детьми в доме Отца! Сколько шёпотов бодрствующего Духа мы, верно, упускаем, размышляя о нужде, которая ещё не пришла! Завтрашний день делает больной всю голову и немощным всё сердце сегодняшнего. Когда нам следовало бы спокойно спать или мечтать, мы тревожимся о часе, до которого солнцу ещё полдня пути! Не так поступаешь Ты, Господи! Ты делаешь дело Своего Отца! Будь Ты таким, как мы, тогда у нас были бы веские причины тревожиться! Но Ты знаешь, как трудно, когда *вещи* давят на каждое чувство, верить, что оживляющая их сила пребывает в невидимом; что оттуда они происходят; что там, где мы не различаем направляющей руки, воля, более близкая, чем всякая рука, движет ими изнутри, заставляя исполнять Его слово! Помоги нам повиноваться, сопротивляться, доверять.

[16] Забота, наполняющая ваш ум в эту минуту или только ждущая, пока вы отложите книгу, чтобы наброситься на вас, — эта нужда, которая вовсе не нужда, — демон, высасывающий источник вашей жизни.

17 «Нет, моя забота разумна, более того — неизбежна!»

18 «Это то, что вам нужно сделать прямо сейчас?»

19 «Нет».

20 «Тогда вы позволяете ей занять место того, что требуется от вас сейчас!»

21 «Сейчас от меня ничего не требуется».

22 «Нет, требуется — самое великое, что может требоваться от человека».

23 «Скажите, что же?»

24 «Доверие живому Богу. Его воля — ваша жизнь».

25 «Он может не хотеть, чтобы у меня было то, что мне нужно!»

26 «Значит, вам только кажется, что оно нужно. Это благо?»

27 «Да, это благо».

28 «Тогда почему вы сомневаетесь, что получите его?»

29 «Потому что Бог может пожелать, чтобы я без него обошёлся».

30 «Зачем Ему этого желать?»

31 «Не могу сказать».

32 «Разве не для того, чтобы дать вам взамен что-то другое?»

33 «Я не хочу ничего взамен».

34 «Я думал, что разговариваю с христианином!»

35 «Никакого другого имени я не соглашусь носить».

36 «Разве вы тогда не знаете: когда Бог отказывает Своему ребёнку в чём-то, что тот ценит, Он делает это, чтобы дать ему нечто, что ценит *Сам*?»

37 «А если я этого не хочу?»

38 «Вы от этого не меньше несчастны именно потому, что у вас этого нет. Вместо большого имущества юноша должен был получить общение с Иисусом и сокровище на небе. Когда Бог отказался избавить одного человека от тяжкого зла, о чём тот трижды просил Его, не привыкший к отказу, Он дал ему взамен Свою благодать, лично утешил его в боли».

39 «Но ведь это был святой Павел!»

40 «Верно; и что же?»

41 «Он был единственный в своём роде!»

42 «Бог обращается со всеми Своими детьми согласно собственной отцовской природе. Никакое Писание не имеет частного истолкования, даже для святого Павла. Оно излагает Божье обращение с человеком. Если ты не желаешь, чтобы Бог поступал с тобой по-Своему, тогда во имя Бога будь несчастен — пока несчастье не погонит тебя в объятия Отца».

43 «В духовных вопросах я Ему доверяю».

44 «Всё касается духа. Если у Бога есть путь, то это единственный путь. Всякая мелочь, в которой вы хотите настоять на своём, призвана служить вашему искуплению; и Он будет обращаться с вами как с непослушным ребёнком, пока вы не примете путь Отца за свой».

[45] Однако между богачом, любящим своё богатство, и бедняком, ненавидящим свою бедность, будет вот какая разница: когда они умрут, сердце одного по-прежнему будет переполнено вещами и наслаждением от них, а сердце другого избавится от их нехватки; один уже получил своё доброе, другой — своё злое. Но богатый, который легко держался своих *вещей* и не давал им гнездиться в сердце, который был протоком, а не резервуаром, который снова и снова отрекался от своих денег, — начнёт путь в новом мире рядом с человеком, который принимал, а не ненавидел свою бедность. Каждый скажет: «Я свободен!»

[46] Ибо единственный воздух души, в котором она может дышать и жить, — присутствующий Бог и духи праведных: вот наше небо, наш дом, место, где всё как должно быть. Очищенные от жадности, зависти, тщеславия, гордыни, страсти обладания, всех тысяч форм злого «я», мы будем Божьими детьми на холмах и полях этого неба; никто не пожелает оказаться впереди другого, как не пожелает изгнать его; ибо тогда станет видно, что честолюбие и ненависть — один и тот же дух. «Что есть у тебя, есть у меня; чего ты желаешь, того хочу и я; отдавая тебе однажды, я десятикратно даю себе. Моя нужда ради твоего достатка была бы богатым обладанием». Но обратимся к жизни: ведь ты готов стать несчастным из-за мелочей и не веришь, что Бог достаточно добр, чтобы заботиться о твоих заботах; я хотел бы рассуждением помочь тебе избавиться от тревог, потому что они скрывают от тебя мысли твоего Бога.

[47] Дела, которые легче всего сделать, те, что лежат не у двери, а прямо на столе человеческого ума, не просто чаще всего остаются без внимания: даже вдумчивый

человек чаще всего оставляет именно их, чаще всего откладывает. Владыка жизни требует от нас высокой добродетели; возможно ли, чтобы Он не заботился о начальных основах справедливости? Может ли человек укрепиться в праведности, не научившись говорить правду ближнему? Разве поднимется на последний пролёт лестницы тот, кто никогда не ступал на нижнюю ступень? Истина едина, и поступающий по истине в малом принадлежит истине; тот же, кто согласен поступить по истине только в великом, кто откладывает близкое малое ради далёкого великого, истине не принадлежит. Предложу несколько возможных параллелей между нами и учениками, толкующими о своём единственном хлебе, когда рядом с ними в лодке — Хлеб Жизни. Мы тоже отупляем разум мелочами, наполняем небесные пространства призраками, расточаем небесное время в спешке. Небесные видения приходят к тем, кто терпением владеет своей душой. Когда я тревожусь из-за пустяка, даже признавая его пустяком, — скажем, потерял небольшую вещь, — подстёгиваю память и обыскиваю дом не потому, что она нужна сейчас, а потому, что не люблю терять; когда у меня взяли книгу и не вернули, а я забыл, кому одолжил, и досадую из-за пропавшего тома, хотя на моих полках тысячи книг, из которых за эти потерянные минуты можно было бы собрать сокровище, не имеющее дела ни с молью, ни со ржавчиной, ни с вором, — разве я не похож на учеников? Разве я не глупец всякий раз, когда потеря огорчает меня больше, чем находка обрадовала бы? Бог хочет, чтобы я был мудр и улыбнулся пустяку. Не пора ли мне потерять несколько вещей, если я так неразумно о них забочусь? Потеря вещей — Божья милость; она учит нас отпускать их. Или я забыл пришедшую мне мысль, показавшуюся истинной,

откровением для сердца? Я хотел сохранить её, обладать ею, позднее воспользоваться, а она исчезла! Я всё пытаюсь вернуть её, чувствую себя бедняком, пока мысль не найдётся, — чтобы, возможно, ещё безвозвратнее затеряться в записной книжке, куда я уже никогда не загляну её искать! Я забываю, что Богу нужны живые вещи, живые истины: не записанные в книге или памяти, не забальзамированные в радости знания, а поднимающие сердце, действующие в деятельной воле. Правда, моя утраченная мысль могла бы так подействовать; но, верь я Богу, Творцу мысли и памяти, я знал бы: если мысль была истиной, а лишь потому чего-то стоила, она должна вернуться; ибо она в Боге, а значит, подобно умершим, не вне моей досягаемости: сохранённая для меня, она снова станет моей.

[48] «Какие глупые примеры — не стоило и писать!»

[49] Если таких вещей не бывает, упоминать их глупо. Если они бывают, то глуп тот, кто обращается с ними так, словно их нет. Я выбираю их именно за малость и особенно взываю ко всем, кто ведёт домашнее хозяйство: как великой должна быть неприятность, чтобы заслонить слово и лицо Бога?

[50] Итак, с каждой неотступной тревогой, большой или малой, потерей тысяч или нехваткой шиллинга, идите к Богу и просите Его, Бога вашей жизни, избавить вас, Его дитя, от того, что на Него не похоже, а потому вам не принадлежит и враждебно вашей природе. Если ваша беда такова, что вы не можете обратиться к Нему, тем нужнее обратиться! Там, где человек не может прийти к Богу, есть что-то особенно неправильное. Если вы позволяете мысли о завтрашнем дне, следующем годе или месяце мучить вас; если даёте раздражать себя болтовне

так называемой публики, подслеповато заглядывающей в святилище побуждений; если ищете людского суда или придаёте ему большой вес, будь судьи способны или неспособны судить, — вы распахиваете окна комарам тревоги, чтобы их жужжание заглушило голос Вечного!

51 Если вы скажете, что без тревоги необходимая работа мира делалась бы плохо, я спрошу: «Какая же работа удаётся жадному или тревожному лучше, чем свободной, бесстрашной душе? Разве тревога лучше вдохновляет на труд, чем Божье поручение? Если работа не Его, тогда тревога, конечно, вполне может ей помочь, потому что успех её — убыток. Но достоин ли имени человека тот, кто из страха голода работает лучше, чем от радости, что его труд не тщетен в Господе? Я не хуже вас знаю, что так вы вряд ли разбогатеете; зато и не загородите себе вход в Царство Небесное.

52 Честолюбие во всех видах связано с *вещами*, с внешними преимуществами, питающими поклонение самому себе; это та форма гордыни, мерзкая тень сатаны, которая присваивает место устремления ввысь. Единственное честолюбие от Бога — желание подняться над собой; всякое другое — от дьявола. И всё же его пестуют и лелеют многие души, считающие себя благочестивыми, и оно наполняет их мелкими заботами и разочарованиями, которые роятся в их воздухе, словно летучие мыши, заслоняя славу Бога. Любовь к людской похвале, жажда славы, гордость, которая обижается, надменность знания — от этих и всех прочих видов изменчивого, как Протей, самопоклонения нам нужно избавиться. Мы должны стать свободны. Тот, кого поработил другой, может быть свободен, как Бог; к тому же, кто раб внутри себя, Бог не войдёт; Он не будет

вечерять с ним, ибо не может быть его другом. Он сядет у самого скромного очага, где готовят ежедневную пищу; Он не станет есть в кладовой хлама, пусть этот хлам — троны и короны. *Не станет*, сказал я? *Не может*, говорю я. Люди, переполненные вещами, ни разу не разделили бы трапезы с Богом, даже если бы Он весь день был рядом с ними.

53 И Бог не взломает никакой двери, чтобы войти. Он может наслать бурю вокруг дома; ветер Его вразумления может сорвать двери и окна, даже потрясти дом до основания; но не тогда и не так Он войдёт. Дверь должна открыться добровольной рукой прежде, чем нога Любви переступит порог. Он ждёт, когда дверь двинется изнутри. Каждая буря — лишь приступ в осаде любви. Ужас Божий — лишь другая сторона Его любви; это любовь снаружи дома, желающая оказаться внутри; любовь, знающая, что дом — ещё не дом, а только место, пока она не войдёт; не жилище, а шатёр, пока там не поселится Вечный. *Вещи* нужно выбросить, чтобы освободить место их душам — вечным истинам, которые в вещах обретают форму и видимость.

54 Но кто способен их выбросить? Если человек наберётся мужества и выступит против войска летучих мышей и демонических змей, заполонивших место Святого, то лишь обнаружит, что задача выше его сил, что Божий храм не очистить ему самому, что даже пыль, которую он поднимает, подметая, полна тлетворных сил. Пусть желающие сделать то, что должны, но не могут, стать тем, чем должны, но не могут, с надеждой и мужеством вспомнят: Тот, Кто знает всё о нашем существе, однажды *сказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать*.

Слово Иисуса о молитве

[1] «*Должно всегда молиться*». — Лк. 18:1.

[2] Невозможность делать желаемое так, как мы хотели бы, заставляет нас искать помощи. И это выводит нас к новой отправной точке. Всякая трудность указывает на нечто большее, чем пока вмещает наше понимание жизни, пресекает какой-нибудь соблазн сойти с узкого пути, оставляя открытым только движение вперёд. Но есть действительность бытия, в которой всё легко и ясно: единство с Владыкой Жизни. Молиться о нём — первое дело; к этой молитве всякая трудность теснит и направляет нас. Однако, пытаясь объяснить кое-что о разумности любой молитвы, я прошу читателя помнить: это ради действия, не ради умозрения. Если молитва вообще что-нибудь значит, то она — дело, которое нужно делать; какая разница, согласны вы со мной или нет, если вы не молитесь? Ради этого я не стал бы трудиться; я хочу помочь молитве, а не объяснить, как человек может молиться и всё же оставаться разумным существом.

[3] Сначала несколько слов о самой притче.

[4] Это один из случаев, и далеко не единственный, когда Господь пользуется рассказом о самом заурядном или дурном человеке, чтобы доводом *от меньшего к большему* убедить нас в образе действий Всеправедного. Заметьте основные черты: «Если неправедный судья, желая избавить себя от докуки, наказал того, на кого сам не сердился, ради женщины, до которой ему не было дела, — разве живая Справедливость не отомстит за Своих молящихся друзей, из-за обид которых Ей приходится долготерпеть их врагов?» Именно так я понимаю

выражение, верно переданное в пересмотренном переводе: «и Он долготерпит в том, что касается их». «Говорю вам: Он вскоре отомстит за них. Однако Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?»

5 Итак, вот слово Господа о молитве: утешительно, что Он признаёт здесь трудность, видит, как нам нужна поддержка, чтобы продолжать молиться, как нам кажется, что нас не слышат, как неудивительно, что мы готовы уныть и прекратить. Он рассказывает притчу, в которой просительница должна снова и снова приходить к человеку, способному ей помочь, и добивается своего лишь после долгого времени. Настоящего промедления со стороны Бога, как мы знаем из дальнейшего, Он не допускает; тем яснее, что Он признаёт, как всё должно выглядеть для тех, кого Он призывает не переставать молиться. Здесь, как и в других местах, Он учит нас руководствоваться не видимостью, а действительностью за нею. Одной истины, одной необходимости собственной, свободно изволенной Божьей природы достаточно, чтобы противопоставить её целому войску видимостей. Кажется, что Он тебя не слышит; не смущайся: слышит; не может не слышать; продолжай, как та женщина; и ты будешь услышан. Её услышали в конце концов и благодаря многократным обращениям; Бог слышит сразу и вскоре отомстит за них. Неправедному судье до женщины не было дела; взывающие же к Богу — Его избранные, что ясно уже из самого их взывания. Он сотворил и предназначил их взывать; они взывают: разве Он не услышит? Они существуют, чтобы молиться; Он избрал их, чтобы они избрали Его; Он позвал их, чтобы они звали Его, чтобы между ними было общение, обмен, отвечающий их существу и существу их Отца. Бедную женщину и неправедного судью разделяла пропасть

безразличия; Бог и ищущие Его помощи ближе друг к другу, чем две крепко сжатые в любви руки: Он вскоре отомстит за них. Смелое утверждение перед лицом кажущегося долгого промедления, признанного самой основой притчи. Почему же, высказав его, Он словно останавливает Себя вздохом и добавляет: «Однако Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» После всего, что Он сказал и ещё скажет, после всего, что сделал и ещё сделает, когда Он вернётся, дав святой закваске время действовать, найдёт ли Он людей, доверяющих Отцу? Освободятся ли они даже тогда от тирании видимости, будут ли верить вопреки ей? Будут ли они настолько детьми перед Богом, чтобы знать: Он слышит их и действует для них, хотя они не слышат Его и не видят Его дела? Поверят ли, что Божьи пути так широки, что даже на ширине Его следа их разуму есть где заблудиться; что видимое ими — такая малая часть Его труда, что почти ничего не говорит о цели; что они не различают движения к цели именно потому, что приготовленная Богом цель так высока и далека? Вздох, восклицание вовсе не означали, что Бог мог бы делать больше, чем делает, но что Отцу предстоит тоскливое ожидание, прежде чем Его дети познают Его, то есть доверятся Ему. Эти слова признают человеческое участие, так медленно уступаемое участие веры, и вину человека, который тревожит Бога недоверием. Если бы люди только поспешили, встряхнулись и ухватились за Бога! Так медлительны были их сердца в вере! Они могли бы исправиться и поступать лучше, но не хотели!

[6] Здесь Он, по-видимому, говорит о Своём втором пришествии: о его времени Он отказался сообщать; о том, как оно совершится, сказал, что оно будет неожиданным; но о долге, связанном с ним, настойчиво говорил: *быть*

готовыми. Мы должны быть верны и заниматься своим делом. Неужели те, кто говорит: вот здесь или вот там признаки Его пришествия, думают перехитрить Его своей зоркостью и высмотреть Его приближение? Когда Он велит бодрствовать, чтобы не застать их пренебрегающими работой, они смотрят туда и сюда и следят, как бы Ему не удалось прийти как вор! И так во всём: если бы вместо умозрений мы отдались послушанию, как скоро переменился бы мир! О, на сколько так называемых религиозных вопросов Господь ответил бы: «Старайтесь войти сквозь тесные врата»! Многие едят, пьют, беседуют и учат в Его присутствии; немногие делают то, что Он говорит! Послушание — единственный ключ жизни.

[7] Я хотел бы встретиться с трудностями, а не отвечать на возражения; убрать камни с пути того, кто хочет молиться; помочь ему молиться. Если, поскольку мы живём не собственной волей, мы живём волей Другого, тогда молитва разумна, и только тогда в ней может быть разумность. Тому, кто отвергает эту другую волю, мне нечего сказать. Может прийти час, когда он пожелает, чтобы было кому молиться; сейчас он не из тех, кому я могу помочь.

[8] Если Бог есть и я Его творение, между Ним и мною может, должно, непременно должно быть открыто какое-то общение. Если кто признаёт Бога, но едва ли достаточно доброго, чтобы заботиться о Своих созданиях, я соглашусь, что такому Богу молиться глупо; однако мысль, будто со всеми нашими добрыми побуждениями мы — потомство бессердечного дьявола, столь чудовищна своей противоречивостью, что я спросил бы этого человека: какое отвратительное и холодное

пренебрежение истиной делает его способным на такое предположение? С таким ещё заговорят Божьи ужасы, а если не ужасы, то Божьи скорби; божественное нечто в нём полюбит, и любовь останется стонать.

9 Если я обнаруживаю себя в положении и сознании человека вдали от дома, более того — в своего рода темнице; если вижу, что не могу управлять ни миром, в котором живу, ни собственными мыслями и желаниями; что не могу утишить страсти, привести в порядок склонности, определить цели, волей обеспечить свой рост, забыть, когда хочу, или вспомнить забытое; что не могу любить там, где хотел бы, или ненавидеть там, где хотел бы; что не царствую над собой; что не могу удовлетворить собственные нужды и даже не всегда знаю, какие из кажущихся нужд следует удовлетворить, а какие отвергнуть как самозванцев; одним словом, если моё собственное существо во всём превышает мои силы, если я не могу ни понять его, ни быть им доволен, ни улучшить его, — разве это не должно заставить меня остановиться, той остановкой, которая завершается молитвой? Когда собственные размеры кажутся мне слишком велики для управления; когда я размышляю, что не могу объяснить своего существования, не принимал в нём ни малейшего участия и, если оно мне не нравится, не могу сделать ничего, чтобы оно прекратилось; когда думаю, что ничем не могу возместить ни любимым, ни ненавидимым причинённого зла и горя; что в худшие минуты не верю лучшим, а в лучшие ненавижу худшие; что во мне нет цельности, нет единства; что жизнь для меня не благо, потому что я презираю себя, — когда я думаю обо всём этом или хоть о чём-нибудь таком, разве странно, если думаю также, что где-то должно быть Существо, способное объяснить меня, объяснить Себя и придать

правоту всему кругу моего существования; Существо, само бытие Которого объясняет моё и необходимо для его объяснения, Чьё присутствие в моём бытии насущно необходимо не просто для его восполнения, но чтобы моё существование стало благом для меня самого? Ибо, если оно не завершено в себе, а зависит от того, чего не знает и знать не может, оно не может быть для себя благом, сознаваемым как благо, чем-то разумным и благополучным: это будет жизнь, тоскующая по *логосу*, который стал бы объясняющей душой её *космоса*, — по *логосу*, которого ей не дано иметь. Знать присутствие Бога, сознавать Его там, где Он есть сущностная жизнь, должно быть абсолютно необходимо для этой жизни! Созданный по образу Бога должен знать Его или быть опустошённым: ребёнку нужен Отец! Свидетель тому — неудовлетворённость, да, опустошённость моей души, несчастной, одинокой, незавершённой без Него! Она не может действовать из самой себя иначе как в Боге; действие из того, что кажется собой вне Бога, — вовсе не действие, а простое подчинение порыву. Внутри всё беспорядок и судорога. Позади меня крик, впереди — голос; инстинкты совершенствования говорят, что я должен подняться выше нынешнего себя, быть может, даже выше всего возможного себя; но я не вижу, как повиноваться, как исполнить их зов! Я замкнут в мире сознания, неизвестное *я* в неизвестном мире; неужели этот мир моего неволимого, неизбранного, принудительного существования может быть закрыт для Него, неизвестен Ему, непроницаем, недоступен, отсутствовать для Того, от Кого я произошёл? Более того, разве не в Его мысли я мыслю? Разве не Его сознанием сознаю? Всё, что происходит во мне, должно быть Ему столь же естественно известно, как мне, и глубже, до

бесконечных степеней. Моя мысль должна лежать перед Ним открытой: если Он даёт мне мыслить, как я могу мыслью ускользнуть от Него? «Если расправлю крылья навстречу заре и поселюсь у последнего края моря, и там рука Твоя поведёт меня, и десница Твоя удержит меня!» Если Он определил бытие, как может быть скрыт от Него какой-либо образ этого бытия? Если я говорю Ему, произношу слова, как бы тихо ни было; если лишь мысленно обращаю к Нему слова; более того, если просто мыслю к Нему, — неужели Он, мой Источник, в Чьей жизни и воле и никак иначе я теперь думаю о Нём, не слышит, не знает, не признаёт? Так не буду ли я мыслить к Нему? Не расскажу ли Ему своих бед: как Он, именно Он, обеспокоил меня, создав? Как мало я пригоден быть тем, кто я есть? Что моё бытие ещё не стало для меня благом? Что мне нужен закон, который объяснил бы его мне в праведности, открыл, как сделать его благом, как самому *быть* благом, а не злом? Не скажу ли я Ему, что нуждаюсь в Нём, чтобы Он утешил меня, чтобы Его дыхание пронеслось над водами сотворённого Им Хаоса? Не воззову ли, чтобы Он стал во мне покоем и силой, утишил это беспокойное движение, называемое жизнью, и дал мне жить по-настоящему, избавил меня от грехов и сделал чистым и радостным? Таков вопль ребёнка к Отцу: если Отец есть, Он, воистину, услышит и даст ребёнку знать, что слышит! Всякая нужда в Боге, поднимающая сердце, есть искание Бога, мольба о Нём Самом, глубочайшая молитва, корень и вдохновение всякой другой молитвы.

[10] Если мне разумно так взывать, если я не могу не взывать, то разумно, чтобы Бог услышал: Он не может не услышать. Существо, которое не могло бы услышать или

не захотело бы ответить на молитву, не могло бы быть Богом.

11 «Но, спрашиваю я, допустив всё это, существует ли как факт то, что вы называете необходимой истиной? Вы говорите: „Так должно быть“; я говорю: „А если Бога нет?“ Убедите меня, что молитва услышана, — и я буду знать. Почему вообще здесь возможно сомнение? Почему об этом нужно рассуждать? Мы знаем, что ветер дует; почему бы нам так же не знать, что Бог отвечает на молитву?»

12 Отвечаю: а если Бог не хочет, чтобы вы знали это с чужих слов? Если от такого знания не было бы пользы? Некоторые свидетельства записаны, и, возможно, их было бы много, если бы ответы на молитвы не касались столь непосредственно личного и, как правило, столь деликатного, что о них естественно редко говорят. Но никакое свидетельство об этом едва ли может стать окончательным: как и рассказанное чудо, его всегда можно как-нибудь отвести; к тому же убеждение, добытое таким способом, малоценно: знать это по самым лучшим доказательствам бесполезно.

13 Что касается самих свидетельств, то в отношении внутреннего опыта приводить доказательства едва ли возможно, а именно к нему принадлежит лучшая часть свидетельств: рассказ может быть правдив, а рассказчик — полностью обманываться! Как мне узнать это так, как он, по его словам, знает? Как судить? Вот царь Давид: поэзия! Древняя поэзия! Да ещё на самом неопределённом языке в мире! Несомненно, тот мало сведущ в речах человеческой души, кто не узнаёт во многих псалмах вопля, столь же подлинного, как всякий вопль из глубины боли или с высоты избавления; но всё

это могло быть лишь то разладом, то ритмическим движением волн психического эфира! Сейчас для своей цели я не опираюсь на свидетельства: я знаю, что можно возразить, и не ценю голого согласия рассудка. Единственная уверенность, достойная человека, даже если бы из тысячи иных источников ему были доступны самые неоспоримые доказательства, — та, что приобретается лишь личным опытом: внутренняя уверенность, которую труднее всего получить от другого и труднее всего превратить в доказательство для другого. Даже свидетельство Иисуса Христа не могло бы её заменить. Истина имеет огромное значение для жизни, то есть для сердца, совести и воли; как простой факт, относящийся к рассудку, она мало значит. Бог может слышать все когда-либо вознесённые Ему молитвы, человек может верить, что Он слышит, — и ничуть не стать от этого лучше, пока Богу нечего услышать от него самого, а ему нечего принять от Бога в ответ. Исследованием здесь ничего не достигнуть. Читатель, если ты в какой-либо беде, попробуй, не поможет ли тебе Бог; если ни в чём не нуждаешься, зачем тебе вопросы о молитве? Правда, мало знает себя тот, кто не знает, что он несчастен, жалок, нищ, слеп и наг; но пока он хотя бы не заподозрит своей нужды, как он может молиться? А для человека, который не хочет молиться, я и соломинку не подниму, чтобы победить в споре, слышит ли Бог молитву: по мне, пусть думает что угодно! Для неба и земли это не имеет значения; имеет ли для ада — не знаю.

[14] Что до так называемого научного вызова доказать действенность молитвы результатом одновременного прошения, мне почти стыдно упоминать его. В самой науке должно хватить света, чтобы увидеть нелепость

предложения. Бог, которого можно было бы так склонять то в одну, то в другую сторону, не достоин веры; Он не мог бы быть Богом, в Которого верил Иисус Христос, а Тот говорил, что знает. Я не могу верить в Бога, Который не услышал бы, не принял бы, не уделил внимания хоть одной молитве, самой слабой или самой дурной; но Бог, исполняющий каждую просьбу каждого человека или каждого собрания людей, был бы злым Богом, то есть не Богом, а демоном. Представлять Бога висящим в атмосфере мыслей, как ветряная мельница, ожидая, пока соберётся достаточно людей и пошлёт молитву такой силы, чтобы повернуть Его распростёртые руки, — слишком нелепо. Бог ждёт, чтобы помиловать, а не чтобы Его испытывали. Человек, способный предложить подобную проверку, не мог иметь в уме сколько-нибудь достойного образа Бога и вполне мог не верить ни в какого: лучше не верить, чем верить в недостойного Бога.

15 «Но я хочу верить в Бога. Я хочу знать, что есть Бог, отвечающий на молитву, чтобы верить в Него. Было время, когда я верил. Я молился Ему в великой и тяжкой беде сердца и ума, а Он не услышал. С тех пор я не молился».

16 Откуда вы знаете, что Он не услышал?

17 «Он не дал мне того, о чём я просил, хотя от этого зависело благо моей души».

18 По вашему суждению. Возможно, Ему было виднее.

19 «От Его отказа мне стало хуже. Если бы Он услышал, я бы верил».

20 До следующего желания, которого Он не исполнил бы; тогда вы отослали бы своего Бога прочь. Хороший бы из вас вышел верующий! Достойный брат Тому, Кто считал,

что Отцу нельзя принести ничего меньшего, чем всё! Вы не приняли бы от Него никакого решения против своего желания! Раз оно не исполнено — Бога нет или Он не добр! Думаю, больше я спорить с вами не буду. Скажу лишь это: Бог должен заботиться о Своих детях не только в минуту их молитвы. Следует ли Ему хотеть дать человеку то, о чём Он знает, что позднее человек пожалеет, что получил? Если человек не способен вынести отказ, не готов к суровости любви, желанное, возможно, будет ему дано, чтобы он пожалел, что оно дано; но просто дать человеку то, чего он хочет, потому что он этого хочет, без дальнейшей цели его блага, значило бы позволить бедному невежественному ребёнку взять судьбу в собственные руки — жестокость дьявола. И всё же всякая молитва услышана; и подлинная душа молитвы может для своего подлинного ответа требовать, чтобы её не исполнили в той форме, в какой она выражена.

21 «Получить что-то в иной форме может оказаться тем же, что вовсе не получить».

22 Если бы вы знали Бога, вы предоставили бы это Ему. Над Ним нельзя посмеяться, и Он не будет насмехаться. Но Он знает вас лучше, чем вы сами, и хотел бы уберечь от самообмана. Он будет обращаться с вами не как с ребёнком одного дня, а как с дитём вечных веков. Вы будете удовлетворены, если только дадите Ему поступать по-Своему с созданным Им существом. Вопрос стоит между вашей волей и волей Бога. Он не из тех, кто охотнее всего даёт наименее ценимое. Ему не нужно давать ничего, кроме Своего лучшего или того, что к нему подготовит. Возможно, пройдёт немного лет, и вы признаете: «Ты — Бог, слышащий молитву и дающий

лучший ответ». Вы можете увидеть, что исполнение глубочайшего желания вашего сердца было бы сорвано, получи вы тогда то, что казалось его воплощением. Мне довольно того, что Бог, как любящий отец, слушает, слышит, обдумывает и поступает с просьбой по совершенной нежности Своего сердца; мало значит, если я останусь без того, о чём молюсь. Если признать, что всякий ответ, не исходящий из любви и не направленный к окончательному удовлетворению молящегося, был бы недостоин Бога; что долг любви и знания — надзирать за своевольным, невежественным ребёнком, — тогда боль от молитв, словно оставшихся без ответа, начинает убывать, и в душе ребёнка её сменяют прекрасная надежда и утешение. Услышать не обязательно значит исполнить — избави Бог! Но услышать необходимо значит принять во внимание, а иногда столь же необходимо — отказать.

23 «Об этом, — говорит святой Павел, — я трижды молил Господа, чтобы оно отступило от меня. И Он сказал мне: довольно для тебя Моей благодати; сила совершается в немощи». У Бога было для Павла нечто лучшее, чем исполнить его молитву и устранить недуг: Он хотел сделать его сильным; сила Христа должна была сойти и пребывать на нём; Он хотел сделать его сильнее страдания, причастником Божьей силы. Воистину, если у нас есть Бог, мы можем обойтись без ответа на любую молитву.

24 «Но если Бог так добр, как вы Его изображаете, и знает всё, что нам нужно, причём намного лучше нас самих, зачем необходимо о чём-нибудь Его просить?»

25 Отвечаю: а если Он знает, что молитва нужна нам прежде и больше всего? Если главная цель молитвы в Божьем замысле — удовлетворение нашей великой,

бесконечной нужды, нужды в Нём Самом? Если благо всех наших меньших и низших нужд в том, что они помогают гнать нас к Богу? Голод может погнать убежавшего ребёнка домой, и его, быть может, покормят сразу, а быть может, нет, но мать нужна ему больше обеда. Общение с Богом — единственная нужда души, превосходящая все прочие; молитва — начало этого общения, а какая-нибудь нужда — побуждение к молитве. Наши потребности существуют ради того, чтобы мы вошли в общение с Богом, нашей вечной необходимостью. Если бы за удовлетворением нужд немедленно следовали благодарность и любовь, если бы Бог, наш Спаситель, был единственной мыслью наших сердец, тогда, возможно, просить необходимого было бы незачем. Но мы принимаем получаемое как должное, словно оно возникает из ничего, или из земли, или из собственных мыслей, а не из любящего сердца и воли, которая одна есть сила. Потому необходимо заставить нас почувствовать хотя бы некоторые нужды, чтобы мы искали Того, Кто один удовлетворяет их все, и находили в каждом Его даре окно в Его истинное сердце. Так начинается общение, беседа с Богом, единение с Ним — единственная цель молитвы, да, самого существования во всех его бесконечных видах. Мы должны просить, чтобы получить; но получение просимого для низших нужд — не та цель, ради которой Бог побуждает нас молиться: Он мог бы дать всё и без этого. Чтобы привести дитя к Своим коленям, Бог удерживает дар, дабы человек попросил.

26 Однако в отношении высших потребностей нашей природы Бог требует, чтобы мы просили, именно затем, чтобы Он мог дать; требует, понуждая нас к этому, не оставляя нам иного выхода, кроме молитвы. Ибо как Он может вложить в человеческую душу то, что ей нужно,

пока она не способна принять? Зрелость для принятия — сама просьба. Чаша цветка души, готовая наполниться небесной росой, — её молитва. Когда душа голодна до света, до истины, когда голод разбудил её высшие силы, вполне пробудил волю и привёл душу в её высшее состояние — действие, единственную готовность принять Божье, — это действие есть молитва. Тогда Бог может дать; тогда Он может быть для человека Тем, Кем желает; ибо Божья слава в том, чтобы отдавать Себя. Благодарим Тебя, Господи Христе, ибо лишь благодаря Твоей боли мы восходим к познанию этой славы Твоего Отца и нашего Отца.

[27] Даже относительно низших вещей: то, что было бы совершенно неуместно сделать для человека, не признающего источника своей жизни, может в высшем смысле стать уместным даром, когда он придёт к этому источнику с просьбой. Даже отдельное желание человека, в целом признающего Отца, бывает полезно исполнить по его просьбе, тогда как без просьбы дар не пошёл бы ему на пользу. Для подлинного блага всякого дара необходимо, во-первых, чтобы в даре присутствовал даритель — как Бог присутствует всегда, ибо Он любовь, — а во-вторых, чтобы получающий узнал и принял в даре дарителя. Всякий Божий дар — лишь предвестник Его величайшего и единственного вполне достаточного дара: Самого Себя. Ни один дар, в котором не признали дара Божьего, не достигает своей высшей ценности; поэтому многое, что Бог охотно дал бы нам, даже нужное нам в силу самого нашего бытия, должно ждать, пока мы попросим, чтобы мы знали, откуда оно приходит. Когда во всех дарах мы найдём Его, тогда в Нём найдём всё.

[28] Иногда к молящемуся приходит скорее чувство, чем вопрос: «Не лучше ли воздержаться? Если это благо, разве Он не даст его мне? Разве Ему не было бы приятнее, если бы я всё оставил на Его волю?» Думаю, это происходит от недостатка веры и детской простоты, принимающего, возможно, форму боязни: как бы молитва о недобром не исполнилась. Такой мысли нет места у святого Павла; он говорит: «Возложите на Него все ваши заботы, ибо Он заботится о вас»; «Во всём открывайте Ему ваши просьбы». Это может происходить даже от честолюбивого стремления к духовному отличию. Каждую просьбу сердце, душа и ум должны тихо сопровождать словами: «Да будет воля Твоя»; но само высказывание всякой просьбы приближает нас к Нему, вводит в общение с нашей Жизнью. Разве оно не помогает также думать о Нём во всех делах и учиться за всё благодарить? Всё, что достаточно велико, чтобы на него пало желание, достаточно велико и для молитвы: мысль о Том, к Кому молитва идёт, очистит и исправит желание. Сказать: «Отец, мне хотелось бы того или этого» — было бы достаточно, чтобы сразу, если желание дурно, узнать это и отвернуться от него. Такая молитва о вещах неизбежно помогает уму войти в истинное и простое отношение с Ним, помнить Его волю даже тогда, когда мы не видим, в чём она. Конечно, лучше и доверчивее рассказывать Ему всё без страха и тревоги. Разве не так обращался Господь к Отцу, сказав: «Если возможно, да минует Меня чаша сия»? Но о чём-то Он заботился больше, чем о собственном страхе: о воле Отца. «Однако не Моя воля, но Твоя да будет». В Нём нет опасения, что Бог может быть недоволен, если Он скажет, чего хотел бы, вместо того чтобы всё предоставить Отцу. Не считал Он и замыслы Отца непременно столь неподвижными, чтобы их нельзя

было изменить по Его молитве. Истинная сыновняя вера приходит с дерзновением, не боясь, что Отец поступит как-либо иначе, чем по-отечески правильно, терпеливо и с полнотой любящей доброты. Нельзя думать, будто мы угодим Ему каким бы то ни было аскетизмом, даже духовным; нужно говорить Ему прямо. Настоящее дитя не будет бояться, но откроет свои желания совершенному Отцу. Отец может пожелать иного, но Его благодати будет достаточно для ребёнка. [3]

29 Без нужды не могло бы быть богатства. Сам Бог обогащается человеческой нуждой. Благодаря ей Он богат, чтобы давать; благодаря ей мы богаты, принимая.

30 Что до мысли, будто мольбой можно одолеть нежелающего Бога, она языческая и принадлежит тем, кто считает Его суровым господином или кем-то вроде неправедного судьи. Что сильнее гасит молитву, чем мысль о нежелании того уха, которое слышит? А когда молитва вяла, что заставит её течь свободнее, чем мысль, что Бог ждёт, чтобы дать, хочет дать нам всё? «Итак, приступим с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для помощи во время нужды». Нам будет отказано в просимом, если так лучше; но доброе наш Отец даст нам с божественной доброй волей. Господь рассказал Свою притчу «о том, что должно всегда молиться *и не унывать*».

Трудность человека в вопросе молитвы

[1] «*…и не унывать*». — Лк. 18:1.

[2] «Как может какой-либо замысел Премудрого измениться в ответ на нашу молитву!» Как нам поверить в такое?

[3] Подумав о том, что Он Премудрый, видящий перед Собой и не заграждающий собственного пути. Подобное возражение возникает из беднейшего представления об отношении Бога к нам. Оно предполагает, что у Него есть заботы, планы и намерения относительно нашей части творения независимо от нас. Но для чего весь строй вещей, если не для нашего воспитания? Неужели Бог больше заботится о солнцах, планетах и спутниках, о божественной математике и стройных гармониях, чем о Своих детях? Осмелюсь сказать, что и о волах Он заботится больше, чем о них. Он не составляет планов безотносительно к Своим детям; и поскольку Его замысел в том, чтобы они стали свободными, деятельными, живыми существами, Он следит, чтобы для них оставалось пространство. Им нужно место, чтобы выбраться из кокона, пережить преображение, которое приходит с пробуждением воли, и вступить в божественные игры и труды детей в доме и владениях Отца. Разве не может Он оставлять Свои замыслы в какой-то мере незакреплёнными, ожидая свободного желания отдельной души? Разве задача первого курса воспитания Его детей не в том, чтобы довести их до молитвы? И неужели устроенная для этого система тогда окажется жёсткой, неподвижной, с намертво

сцепленными зубцами, словно одушевлена не живой душой, творящей бытие, а не сознающей себя силой, — так что Он не сможет ответить на молитву из-за системы, существующей ради молитвы? Правда, во многих случаях Божья цель — сама молитва гораздо больше, чем возможность ответить на неё; но как тогда достигнуть дальнейшей цели молитвы: единства сердца ребёнка с сердцем Отца? Как ребёнок продолжит молиться, если знает, что Отец не может ответить? *Не хочет* может означать любовь, но как быть с добровольно наложенным на Себя *не может*? Как мог бы быть Отцом Тот, Кто, творя, не предусмотрел бы, не оставил места для лепечущих молитв Своих детей? Разве Его совершенство механическое? Неужели у Него Самого нет пространства выбора — и потому Он не может дать его нам? Должна существовать божественная область выбора, как существует человеческая, сколь мало мы ни способны представить её. Славой такой системы было бы то, что сами её солнца колеблются и трепещут в такт новой детской жизни.

[4] Что за совершенство было бы в жилище, если бы мебель и проходы между нею подгонялись, как лотки и ячейки шкафа? Что за глупое совершенство не оставило бы запаса вокруг Божьего дела, места для перемены плана при перемене обстоятельств — даже при такой великой перемене: вот, наконец Его дитя молится! Взгляните на свободу Бога в закатах: ни один не повторяет прежних! В Его лунах и небесах, в непрестанно меняющейся твёрдой земле! Всё движется не мёртвым законом, а в гармонии живого закона свободы, творческого Божьего совершенства; всё устрояется изнутри. Хорошо божественное совершенство, в котором нет свободы, где возможен лишь один способ делать что-либо! Я могу

двигать рукой, как пожелаю: неужели Бог не может так же двигать Своею? Если бы речь шла только о Нём, Бог, пожалуй, мог бы не желать перемен; но Он Бог ради Своих растущих созданий; всё Его творение и действие — для них, а перемена необходима для самого их существования. Им нужен могучий закон свободы, в который не вторгнется ни атом случайности. Если единственная мысль творения — породить в нас свободную, великую, божественную волю, неужели эта воля, молящаяся согласно воле Отца, окажется стеснена, скована, закована прежними законами? Не станет ли она скорее сама новорождённым законом, совершающим новое? Ни один человек не связан божественным законом настолько, чтобы вовсе не иметь возможности изменить своё дело: неужели Бог не может изменить Своего? Закон — лишь способ действия жизни. Неужели совершенство Бога в том, чтобы у Него не было простора и свободы? Разве Он лишь пар, заточённый в машине, толкающий, выходящий, останавливаемый, чей путь определяют клапан и поршень? Или Он пребывающая внутри, волящая, устрояющая сила? Закон — слуга Жизни. Разве человеческая душа, обитающая в теле, не смутно затенённый образ Бога, пребывающего в Своей вселенной и пронизывающего её? Если вы говорите, что Он создал вещи для движения, пустил их в ход и оставил, тогда я скажу: если бы Его машина помешала ответу на молитву хоть одного ребёнка, Он отбросил бы её — не чтобы вернуть хаос, а чтобы дать место ребёнку. Но порядок божествен и не может мешать собственным высшим целям: он должен им служить. Порядок, свободный порядок, — не хаос и не бесхозный, бессмысленный закон — есть дом Мысли. Если вы скажете, что совершенный путь может быть только один, отвечу: однако

совершенный способ довести дело до некоторого рубежа, до решающей перемены, едва ли будет совершенным способом продолжать его после этой перемены; тогда план придётся изменить. А поскольку эта перемена зависит от воли, всё не может быть подготовлено к ней с точностью, хотя может быть подготовлено живым образом. Нужно помнить, что Бог занят не грандиозной игрушкой из миров, солнц и планет, притяжений и отталкиваний, скоплений и кристаллизаций, сил и волн; всё это лишь часть Его мастерских и орудий для рождения праведных мужчин и женщин, которыми Он наполнит Свой дом любви. Разве Он позволил бы Сыну умереть ради того, что мы называем законом природы? Эти законы, несомненно, исходят из волимых законов Его собственного бытия; но вступают в отношения внутри материи лишь ради рождения сынов и дочерей, чтобы те могли ещё раз родиться свыше, в высшую область, откуда всё это происходит. И многие изменения идеала, делающие его менее полным, должны быть даны тем, чья сама судьба — расти или погибнуть — предполагает полную неспособность сразу постичь совершенное. Лучшее *средство* не может быть идеальным Благом. Воплощение возвышающей истины для стоящих низко не может быть тем же, что для стоящих выше, иначе оно потерпит неудачу и для своей цели окажется нехорошим; но по мере восхождения низших будет возрастать и данное им откровение.

[5] Мысль, будто Бог не может вмешаться, чтобы изменить Свои замыслы, вмешаться без перемены хоть одного закона Своего мира, для меня нелепа. Если мы можем менять, Бог тоже может, иначе Он менее свободен, чем мы. Свои замыслы, говорю я, — не начала, не цели: избави Сам Бог! — менять по-божественному, настолько выше

наших способов, насколько небо выше земли. И поскольку во всех чудесах Иисус лишь в малом совершал то, что Его Отец всегда совершает в великом, гораздо шире, сложнее и прекраснее, я приведу из них пример ответа на молитву, в котором есть черта, как мне кажется, чрезвычайно важная для того, что я пытаюсь изложить. Создание вина в земных сосудах из камня было, конечно, бедным по сравнению с созданием его в прекрасном росте лозы, в гроздьях набухающих ягод, когда живые корни собирают из земли воду, которую там пришлось носить кувшинами и вливать в большие сосуды; но оно драгоценно как истолкование того же чуда, уже потому, что родилось из сочувствия Господа обычной человеческой радости. Однако в его происхождении есть нечто, что делает его ещё драгоценнее для меня: внимание нашего Господа к желанию Его матери. Увы, как часто этот рассказ воспринимают иначе, как неверно понимают!

[6] Мать подсказала Ему, что здесь есть возможность явить Собственное величие, властно обеспечив вином пир, которому грозила неудача. Как мы заключаем из Его слов, это не входило в Его намерение: Господь никогда не притворялся ни перед врагом, ни перед матерью; Он — Истинный. Он даёт ей понять, что у Него и у неё разные взгляды, разные представления о Его деле: «Что Мне и тебе, женщина? — сказал Он. — Час Мой ещё не пришёл». Но в Его взгляде и голосе было то, по чему она поняла: её желание, едва наполовину сложившееся в просьбу, исполнено. Какой вывод, достойный Сына Божия и Сына Марии, могу я отсюда сделать, кроме того, что по молитве матери Он отвёл в Своих намерениях место для желанного ею? Тогда Ему не хотелось совершать чудо, но если мать этого желала — Он совершит! Для матери Он сделал то, чего Сам по Себе предпочёл бы не делать. Не

всегда Он поступал, как хотела мать; но в этом случае мог, потому что это никак не мешало воле Его Отца. Неужели совершенный сын, — а если совершенен, то должен быть совершенен во всём, — должен был стать единственным сыном человеческим, которому не нужно ничего делать ради удовольствия матери, ничего, кроме совпадающего с его планом на данный час? Не так мог бы Он быть корнем, живым сердцем великого ответа детей Отцу всех! Не так могла бы идея великой семьи стать действительностью! Горе сыну, который не готов с радостью сделать для матери то, чего само по себе предпочёл бы не делать! Если бы это повредило матери, если бы хоть в чём-то отвратило от воли Небесного Отца, Он бы этого не сделал: это значило бы ответить на её молитву во вред ей. То, что Он уступил, делает рассказ вдвойне драгоценным моему сердцу. Итак, Сын мог изменить намерение, ничего не испортив; так же, говорю я, может и Отец, ибо Сын не делает ничего, кроме того, что видит делающим Отца.

[7] Но если нам удалось понять, что Бог может отвечать на молитвы тех, кто молится о себе, что думать о молитве за других? Можно справедливо сказать: молиться лишь о себе было бы очень себялюбиво! Но вопрос здесь в пользе, не в характере поступка: если от него есть благо, будем молиться за всех, за кого чувствуем способность молиться; однако можем ли мы найти в отношении молитвы за других такое же удовлетворительное объяснение, как для молитвы о себе? Основание меняется, если уместность ответа на молитву заключается в самом молении молящегося: расположение, необходимое для принятия, принадлежит не тому, *за* кого молятся, а тому, *кто* молится. Какой же смысл в молитве за других? Даст ли Бог другому по нашей

просьбе то, чего не дал бы без неё? Если бы это можно было сделать без участия самого человека, разве Он не сделал бы этого и без второго человека? Будь Бог тираном, чьё сердце может смягчиться при виде тревожной любви; или тем, кого можно осведомить, просветить, убедить; или тем, в ком описание характера, нужды или права способно пробудить участие, — тогда в молитве за другого был бы понятный смысл, хотя она, как бы ни была бескорыстна и любяща, унижала бы молящегося, поскольку обращена к недостойному молитвы. Но если мы верим, что Бог — единственное бескорыстное, единственное благое Существо во вселенной и Его единственный замысел о детях — сделать их совершенными, как совершенен Он; если верим, что Он не только однажды пожелал отдать Себя, но всегда отдаёт Себя нам для нашей жизни; если верим — а однажды я слышал, как епископ отказался это признать, — что Бог делает всё наилучшее для *каждого* человека; если верим также, что Он знает нужды всякого и ради любви не пощадит ни одной боли, способной послужить очищению души Его ребёнка; если верим всему этому, как можем думать, что Он хоть как-нибудь изменит обращение с одним потому, что другой за него молится? Молитва не возникла бы ни из чего в самом том, за кого молятся: почему она должна вызвать перемену в Божьем обращении с ним?

[8] Я не знаю, как ответить на этот довод. Могу лишь перед его лицом и чувствуя всю трудность говорить и повторять: «И всё же я верю, что могу молиться за друга, за врага, за кого угодно! Всё же, всё же в молитве одного человека за другого к Создателю обоих есть, должно быть, подлинное, сущностное благо и сила — именно потому, что их Создатель совершенен, не меньше чем истинный Бог». Я

не стану прибегать к авторитету: авторитет в лучшем случае может заставить поверить, что смысл есть, но не может дать его увидеть. Трудность остаётся той же, даже когда мы слышим, как Сам Господь молится Отцу о тех, кого Отец любит, потому что они приняли Его Сына, а значит, любит особой любовью как первых в вере, избранных мира; любит не только потому, что без Его любви они погибли бы, но из глубин божественного одобрения. Верующие в Иисуса перед лицом непостижимого удовлетворятся тем, что в Его действиях непременно есть разумность и правота; но от этого мы ещё не понимаем. И всё же, хотя объяснить я не могу, я могу показать некоторое основание, на котором человек, даже если бы его не учили этому, а оставили наедине с сердцем, думаю, всё-таки мог бы молиться за другого.

[9] Если Бог создал нас любить, как любит Он, и, как Он, жаждать помочь; если есть те, за кого мы, подобно Ему, отдали бы жизнь, чтобы поднять их из злой пропасти безбожия; если любовь в нас ради самого облегчения зажжённой Им любви хотела бы одарить другого, как Он Сам, Который избирает и лелеет даже любовь, причиняющую Ему боль; если посреди мучительной потребности благословить, дать, помочь мы сознаём полное бессилие; если огонь горит и не может вырваться наружу; и если вся наша надежда о самих себе — в Боге, то что нам остаётся, что мы можем придумать, что сделать, кроме как идти к Богу? Что, кроме как прийти к Нему с этой нашей собственной трудностью и нуждой? Где естественное прибежище, там должна быть помощь. Не может быть нужды, на которую у Него нет ответа. Лучший довод, что у Него есть помощь, — то, что у нас есть нужда. Если мне можно помочь через моего друга, я думаю, Бог возьмётся за дело и сделает то, чего не могу я:

поможет другу, чтобы помочь мне; быть может, поможет мне помочь ему. Видите: молясь за другого, мы молимся за себя, об облегчении нужд нашей любви; это не только молитва за другого, и потому она относится к прежнему виду. Разве Бог дал бы нам любовь, корень силы в нас, и оставил бы эту любовь, которой Он Сам творит, совершенно бессильной в нас? Разве не может Он хотя бы ускорить что-либо ради наших молитв? Там, где Он не мог бы изменить, Он, возможно, мог бы ускорить, имея в виду какую-нибудь помощь, которую мы тогда сумели бы оказать. Если Он желает, чтобы мы трудились с Ним, этот труд, конечно, Ему помогает!

[10] Для некоторых вещей сама возможность их предположить уже довод в их пользу; но здесь, думаю, я могу пойти немного дальше и представить хотя бы *где*, если не *как*: божественные условия, в которых рождается помощь другому в ответ на молитву, божественную область, где должна обитать её возможность.

[11] Бог непрестанно стремится возвести нас к участию в Своей божественной природе; Божьи цари, то есть такие люди, которые вместе с Иисусом свидетельствовали об истине, разделяют Его славу даже на престоле Отца. Посмотрите на величие творческой любви Святого! Ей недостаточно ничего меньшего, чем через Его страдания и их собственные допустить детей к престолу Его славы! Если таково совершенство Бесконечного, неужели оно должно связывать Его и затруднять, а не давать ещё большую свободу делать желаемое посреди противодействующих сил? Если Его слава — отдавать Себя и мы должны разделять её, отдавая себя, почему не начать здесь и сейчас? Если Он хочет, чтобы дети были Его соработниками; если Он пожелал и изволил, чтобы не

только с помощью Его вечного Сына, но и с помощью детей, через Него рождённых свыше, всё новые дети приводились к Его коленям, к Его очагу, к изобилию Его дома, — почему бы Ему не оставить некоторого свободного места, где их молитвы могли бы действовать ради тех, кому им следует помогать, кто живёт одной с ними жизнью? Я не могу сказать как, но разве эти молитвы не могут некоторым образом расширять Божью возможность осуществлять Свою лучшую и высшую волю? В обращении с детьми добрые могут прибавлять Ему силы в отношении ещё не добрых, прибавлять средств помощи им. Один способ ясен: молитва подействует на ум молящегося; его свет возрастёт, станет сиять ярче и больше привлекать и просвещать. Но в этом должно быть и нечто большее. Поскольку молитва в совершенном своём замысле — восхождение в волю Вечного, не может ли помощь Отца стать единой с молитвой ребёнка и ради молитвы того, кого Он держит на руках, выйти навстречу тому, кто пока не хочет быть поднятым в Его объятия? Даже Сам Бог не может сразу привести детей к Своей груди и вообще не может сделать этого иначе как через Свои страдания и их страдания. Но разве добрый родитель не найдёт какого-нибудь способа исполнить просьбу ребёнка, который подходит и говорит: «Папа, сегодня день рождения моего брата; у меня нечего ему подарить, а я его так люблю! Не можешь ли ты дать мне что-нибудь для него или подарить ему что-нибудь от меня?»

12 «И всё-таки разве Бог не мог бы дать дар без молитвы? И почему благо одного должно зависеть от молитвы другого?»

[13] Могу ответить только встречным вопросом: «А почему моя любовь должна быть бессильна помочь другому?» Но нельзя связывать Бога нашими мерами времени или думать, что Он забыл даже ту молитву, которая, будто бы оставшись без ответа, забылась нам самим. Смерть — не непроницаемая стена; молитвы проходят сквозь неё и за неё. Возможно, в будущем мире нам будет кому-то дано помочь потому, что мы молились о нём в этом; разве не будет для него благом иметь старого друга, готового служить? Я лишь размышляю и предполагаю. Вот что я вижу и осмеливаюсь сказать: если в Боге мы живём, движемся и существуем; если сама возможность любить заключается в том, что мы существуем в живом воздухе любви и благодаря ему, а именно — Самому Богу, то уже в силу этого мы должны быть ближе друг к другу, чем через всякую телесную близость или обмен помощью. И если молитва подобна пульсу, приводящему эту атмосферу в движение, то молитвой мы должны становиться ближе друг к другу, чем части нашего тела через свою сложную нервную телеграфию. Конечно, в Вечном сердца никогда не разлучены! Конечно, через Вечного сердце, любящее другого и ищущее его блага, должно удерживать его в пределах досягаемости! Конечно, строй вещей был бы неполон в отношении самого лучшего в нём — самой любви, — если бы любовь не находила помощи в молитве. Если я люблю и не могу помочь, разве сердце не побуждает меня просить о помощи Того, Кто любит и может? Того, без Кого жизнь была бы для меня ничем, без Кого я не любил бы и не хотел молиться! Ответит ли Он: «Дитя, не тревожь Меня; Я уже делаю всё, что могу»? Если бы пришёл такой ответ, кто из любящих не согласился бы вовсе не участвовать? Но что, если вечная, безграничная Любовь, неизреченная, забывающая Себя

Божья преданность, требующая всего и отдающая всё, скажет: «Дитя, Я делал всё, что мог; но теперь пришёл ты, и Я смогу сделать больше! Вот тебе уголок, малыш: подтолкни эту вещь, чтобы убрать её с дороги»? Что, если Он ответит: «Молись дальше, Моё дитя; Я слышу тебя; через Меня твоя молитва становится помощью ему. Мы с тобой согласны в этом; Я помогаю, и ты помогаешь. Со временем все вы будете у Меня дома в безопасности! Бояться нечего, только надо работать и не падать духом. Иди, и пусть свет твой так светит перед людьми, чтобы они видели твои добрые дела и прославляли Меня, узнав, что Я свет и нет во Мне тьмы»? Что тогда? О, эта прекрасная картина Микеланджело, где юные и маленькие пришли помогать Богу создавать Адама!

14 Но ответ на молитву может прийти в облике, который покажется отказом. Он может прийти даже в усилении того, от чего мы ищем избавления. Я знаю человека, который молился о том, чтобы любить лучше: между любящими возник тяжкий разлад, из которого наконец поднялась заря нежности.

15 Наше зрение так ограниченно, наши теории так малы — их одежды недостаточно, чтобы завернуться; наша вера так постоянно подгоняет себя под мерку карликового рассудка, что восставать против себя нам можно бесконечно. Нельзя позволять бедному знанию ограничивать не столь бедный ум, уму — ограничивать веру, вере — ограничивать божественную надежду; разум, светильник Господень, должен смиренно надзирать за всем.

16 Некоторые защищают молитву не на основании возможного ожидаемого ответа, а ради блага, приобретаемого духовным расположением ума во время

молитвы. Есть даже люди, которые не верят ни в слышащее ухо, ни в отвечающее сердце, а всё же молятся. Они говорят, что это идёт им на пользу; они молятся вообще никому, но получают духовную пользу.

[17] Я не стану оспаривать их свидетельство. Молитва так необходима душе, что уже одно её расположение может поддерживать доброе настроение. По логике молиться тому, чего нет, — конечно, глупость; и всё же добро, которое, по их словам, отсюда происходит, может обличить ещё худшую глупость их неверия, ибо показывает, что молитва естественна; а как она могла бы быть естественна, если бы противоречила самому способу нашего бытия? Их путь лучше пути тех, кто верит, что Бог есть, но не верит, что Он даст какой-либо ответ на их молитвы, и всё же Ему молится: это глупее и безнравственнее молитвы Не-богу. Каков бы ни был Бог, которому они молятся, их молитва — насмешка над Ним, над собой, над истиной.

[18] С другой стороны, пусть Бог не согласится с отдельной просьбой, пусть она даже касается чего-то совершенно недостойного быть Божьим даром, — молящаяся душа всё же получит благо от молитвы, хотя бы тем, что станет немного ближе к Отцу и подготовит путь к новому приходу. Молитва действительно благотворно действует на молящуюся душу независимо от ответа. Но молиться ради молитвы, не считаясь с тем, что слушать некому, означало бы для меня природу не просто нелогичную, но нравственно ложную, если бы я не подозревал смутного, неосознанного ощущения Нечто, разлитого во Всём бытии, и какого-то самого призрачного общения с ним.

[19] Бывают состояния такого довольства Богом, что человеку кажется: молиться уже не о чем, остаётся лишь

терпеливо ждать того, что совершит Господь; бывают состояния такой голодной жажды, что просьба сжимается в нечленораздельный крик; и есть общение с Богом, которое ни о чём не просит и всё же просит обо всём. Последнее — сама сущность молитвы, хотя и не прошение. Человек может не столько верить в Бога, сколько верить, что Бог есть, и при этом не желать общения с Ним; но тот, кто молится и не унывает, придёт к пониманию, что беседовать с Богом — больше, чем получить исполнение всех молитв; что в этом цель любой молитвы, исполненной или отвергнутой. А ищущий Отца больше всего, что Отец может дать, скорее всего получит просимое, ибо вряд ли попросит дурного.

20 Даже те, кто просит дурного, иногда могут получить ответ. Отец никогда не даст камень ребёнку, просящему хлеба; но я не уверен, что Он никогда не даст камень ребёнку, который просит камень. Если Отец скажет: «Дитя, это камень, не хлеб», а ребёнок ответит: «Я уверен, что это хлеб; я хочу его», — не будет ли хорошо дать ему попробовать свой хлеб?

21 Теперь перейдём к ещё одной черте притчи, где, думаю, я могу помочь: к тому, что Господь словно признаёт промедление с ответом на молитву. Самим построением притчи Он будто принимает промедление как данность и всё же говорит: «Он вскоре отомстит за них!»

22 Примиряющий вывод таков: Бог не теряет времени, хотя ответ может быть не немедленным.

23 Он может медлить, потому что дать нам просимое сразу было бы небезопасно: мы не готовы. Дать прежде, чем мы сможем по-настоящему принять, означало бы разрушить

самое сердце и надежду молитвы, перестать быть нашим Отцом. Само промедление может приблизить нас к помощи, усилить желание, усовершенствовать молитву, сделать нас зрелыми для принятия.

[24] Кроме того, не из-за какой-либо стеснённости в Боге, а из-за нашего состояния и способности или состояния и способности друга, за которого мы молимся, для осуществления ответа может требоваться время. Бога ограничивает забота о нашем высшем благе; это благо предполагает воспитание; в нём мы сами должны играть большую роль; а эта роль, будучи человеческой, требует времени. Возможно, чем лучше дар, о котором мы молимся, тем больше нужно времени для его прихода. Чтобы дать желанный духовный дар, Богу, быть может, приходится начинать в далёких глубинах нашего духа, в неведомых нам областях, и совершать большую работу, которую мы сознаём лишь по результатам: ибо наше сознание относится к полноте нашего бытия, как пламя вулкана — к мировой бездне, из которой вырывается. В бездне неведомого нам бытия Бог действует за пределами сознания. Своим святым влиянием, собственным присутствием, о котором мы взываем усерднее всего, Он, возможно, приближается к сознанию из скрытых глубин, проходит через области нашей тьмы к нашему свету задолго до того, как мы начинаем замечать, что Он отвечает на просьбу, уже ответил и посещает Своё дитя. Отомстить вскоре должно означать не медлить дольше абсолютно необходимого, начать в ту минуту, когда начать возможно. Если Сын Человеческий не являлся тысячи лет после того, как люди начали взывать о Спасителе, неужели мы вообразим, что Он пришёл не в первую минуту, когда Его приход стал благом? Можем ли сомневаться, что прийти хотя бы минутой раньше

означало бы замедлить, а не ускорить Его Царство? Для всего, что требует развития, начать действовать сразу — значит действовать быстро. Бог не откладывает, как неправедный судья; не медлит, пока молитвы нуждающихся не раздосадуют Его; Он услышит, пока они ещё говорят; более того, ответит, прежде чем они воззовут.

25 Господь употребляет слова, не тревожась о том, как ими злоупотребят те, кто не ищет в них Его воли; слово *отомстить* могло просто перейти из притчи без своего особого значения в ней; и всё же оно побуждает к одному-двум замечаниям.

26 Разумеется, никакая молитва о мести, которая удовлетворила бы себялюбие нашей природы — то, что должен выжечь в нас Божий огонь, — не может надеяться быть услышанной. Будьте уверены: когда Господь молил Отца простить распинавших Его, Он одновременно выражал собственное желание и волю Отца. Бог никогда не станет карать согласно отвлечённой мерзости греха, словно люди знали, что делают. «Мне отмщение», — говорит Он; правильно понимая это, мы могли бы так же молиться о Божьем отмщении, как о Его прощении. Отмщение это — уничтожить грех, заставить грешника отречься от него и возненавидеть; и нет удовлетворения в мести, которая ищет или достигает меньшего. Сам человек должен обратиться против себя и тем самым встать за себя. Если ничто иное не поможет — тогда адский огонь; если довольно меньшего, всё, что приводит к покаянию и отречению от себя, и есть Божье воздаяние.

27 Друзья, если против нас возносятся какие-нибудь молитвы; если о Божьем отмщении взывают из-за неправды, совершённой вами или мною, — да пошлёт нам

Бог Своё отмщение! Не будем думать, что нам удастся уйти от ответа!

[28] Но, возможно, Господь здесь думал не о гонениях и не о каком-либо человеческом зле, а о бедах, больше всего мучающих Его истинного ученика; это предположение утешительно для тех, чьи враги внутри них. Ведь если так, Он признаёт пороки нашего «я», с которыми мы боремся, не частями нас самих, а нашими врагами, которым Он отомстит за истинное «я», находящееся с ними в борьбе. И, конечно, никакое зло не принадлежит и никогда не могло принадлежать сущностному бытию и природе существа, созданного Богом! То, что не добро, как бы ни было связано с нашим бытием, противно ему, а не составляет его; это его враг, которому необходимо воздать за причинённое нам. Когда мы боремся, Он отомстит. Пока мы не боремся, зло будет властвовать над нами, и эта власть сделает нас несчастными; никто не может быть иным под игом природы, противной собственной. Поэтому утешься ты, кто находит собственное сердце и душу, вернее, движущееся в них, непосильными для себя: Бог отомстит за Своих избранных. Он не медлит; Он трудится для тебя. Только ты должен молиться и не унывать. Проси, проси — и будет тебе дано. Больше всего ищи лучших даров; просить о лучшем — значит уже иметь его: семя его в тебе, иначе ты не мог бы о нём просить.

[29] Но откуда бы ни приходили наши беды, из внешнего мира или из внутреннего, будем всё же молиться. Своим верным путём, единственным, который мог бы удовлетворить нас, ибо мы Его рода, Бог ответит помощью на наши молитвы. Он отомстит нашим противникам за нас, и вскоре. Только будем смотреть, чтобы самим не быть ничьими противниками, но для всех — источниками

любви и прощающей нежности. И ни от какого противника, идёт ли он с нами по дороге или преследует нас в тайной комнате сердца, не будем надеяться избавиться, пока не *уплатим последнего кодранта*.

Последний кодрант

[1] *«Истинно говорю тебе: ты ни в коем случае не выйдешь оттуда, пока не уплатишь последнего кодранта».* — Мф. 5:26.

[2] В притчах есть нечто дивное и достойное восхищения, что нелегко понять, но на что особо указал Сам Господь: их непонятность для одного лишь рассудка. Они обращены к совести, а не к рассудку, к воле, а не к воображению. Они сильны и прямы, но не определённы. Их цель — не объяснять что-либо, а пробудить в человеке чувство: «Я не тот, кем должен быть; я не делаю того, что должен!» Мудрецы могут давать множество путаных толкований, щедро растрачивая труд впустую, тогда как ребёнок, пользующийся притчами ради необходимого хождения по единственному пути, постоянно будет получать от них свет. Сильнее всего слова Господа, как и всех истинных учителей, затемняют те, кто посвящает себя их истолкованию вместо исполнения. Богословы сделали для сокрытия Евангелия Христова больше, чем все его противники. Христос пришёл не ради нашего рассудка, а ради нашей воли. Кто делает то, что видит, тот поймёт; кто занят пониманием больше, чем делом, будет всё спотыкаться, ошибаться и говорить глупости. В нём нет того, что способно понимать вещи этого рода. Само Евангелие, а в нём притчи Истины, доступны лишь тем, кто идёт по найденному. Именно бегущий прочтёт, и никто иной. Говорящий притчами не желает, чтобы кто-то другой умственно узнал то, что, будучи узнано лишь умом, пошло бы ему во вред: то, что, зная умственно, он вообразил бы постигнутым, а возможно, даже усвоенным. Когда странник истины приходит в своём пути в область

притчи, он находит её истолкование. Это не плод и не драгоценность, которые нужно сохранить, а родник, бьющий у дороги.

3 Попытаемся понять, что Сам Господь сказал о Своих притчах. Лучше взять чтение Мф. 13:14–15, поскольку оно яснее, а цитата из Исаии (6:9–10) дана полностью, по Септуагинте, гораздо понятнее, чем в нашем переводе с еврейского. В её свете следует читать соответствующие места других Евангелий: у святого Марка оно настолько сжато, что может получить совсем иной, ложный смысл; в упоминании святого Иоанна ослепление сердца, по-видимому, прямо приписывается дьяволу. Суть в том, что те, кто неискренностью и ложью закрывает свои глубинные глаза, не смогут пользоваться в этом деле и более поверхностными глазами рассудка. Происходит ли это с психической или метафизической необходимостью или рассматривается как особое наказание — в любом случае это Божья воля, и исходит оно от Того, Кто есть живая Истина. Они не увидят того, что не предназначено для таких, как они. Это наказание истинной Любви, и оно непрестанно обнаруживается и исполняется: если я хоть что-то знаю о Божьей истине, то возражающие против христианства, насколько я с ними знаком, не знают; их доводы, сами по себе не ложные, не относятся к делу. Они видят то, против чего говорят, но не видят того, против чего, как им кажется, говорят.

4 Это поможет снять затруднение: притчи явно служат научению истине, и всё же Господь говорит о них как о средстве её сокрытия. Они доступны лишь деятельному человеку, который делает известное ему, ищет понимания жизнью. Они открываются живой совести; иначе — не открываются даже самому острому уму, хотя в то же

время могут отблесками истины помочь пробудить совесть человека на грани пробуждения. Неведение может быть одновременно наказанием и добротой: всякое наказание есть доброта, причём лучшая, к какой человек в данный момент способен. «Поскольку вы не хотите делать, вы не увидите; но вам было бы хуже, если бы вы видели, не будучи расположены делать». Такие люди наказаны тем, что путь перед ними закрыт; они наказывают себя сами; их поступки приносят им тот результат, которого не могут не принести. Сказать им что-либо так, чтобы они поняли, значило бы лишь ещё сильнее ожесточить их, потому что исполнять они не станут; им должны быть даны лишь притчи — светильники истины, светлые для тех, кто хочет идти в их свете, тёмные для тех, кто не хочет. Первые довольны тем, что свет падает на их путь; вторые хотят, чтобы он светил им в глаза, и не могут этого получить: если бы получили, он лишь ослепил бы их. Большее знание стало бы для них большим осуждением. Они ещё не пригодны знать больше; большего им пока не дадут; наказание их в том, что они во лжи и останутся во лжи, пока не выйдут из неё. «Вы выбираете тьму; останетесь во тьме, пока живущие в ней ужасы не устрашат вас и не заставят воззвать». Бог кладёт печать на человеческую волю; эта печать — либо великое Его наказание, либо могучая милость: «Вы любите тьму — оставайтесь во тьме»; «О женщина, велика вера твоя: да будет тебе по желанию твоему!»

[5] Какой особый смысл следует видеть в разных ролях начальника, судьи и служителя, сверх, быть может, общего указания на предварительное приближение окончательного, я не знаю; но думаю, знаю, что означают «примирись на пути» и «последний кодрант». Притча

взывает к здравому смыслу слушателей во всяком деле праведности. Уладь предъявленное тебе требование: за ним ждёт принуждение. Сделай сразу то, что однажды всё равно придётся сделать. Раз от платы не уйти, избегни хотя бы тюрьмы, которая заставит заплатить. Не вынуждай Справедливость к крайним мерам. Долг обязателен, он должен быть исполнен. Бесполезно думать, будто можно ускользнуть от вечного закона вещей; уступи добровольно и не принуждай Бога принуждать тебя.

[6] Для честного, для желающего быть честным человека эти слова полны милостивого смысла. Для лживого они страшная угроза; для принадлежащего истине — сладки, как самое любящее обещание. Тот, кто мыслит о вещах по-Божьему, радуется слову неизменной Истины; голос Правого наполняет небо и землю и веселит его душу; это его спасение. Если бы Бог не был неумолимо справедлив, душе самого слабого любителя правды не на что было бы опереться: «Ты истинен, Господи; однажды и я стану истинным!» «Ты воздашь должное, чего бы тебе это ни стоило» — страшный звук для тех, чья жизнь ложь; но что иное, кроме последнего кодранта, захотят уплатить те, кто любит праведность больше жизни? Радость, глубокая как мир, — знать, что Бог решился на такую плату, решился сделать Своих детей чистыми, ясными, непорочными, как самый снег; решился не только на то, чтобы с Его помощью они возместили всякое причинённое зло, но чтобы наконец, вечным избранием добра, при любом искушении стали неспособны делать небожественное, то, чего Бог не сделал бы.

[7] Много лелеяли злую фантазию, часто даже не придавая ей отчётливой формы, будто есть способ выйти из области

строгой справедливости, как-то уклониться от исполнения *всего*, что от нас требуется; но такого выхода нет. Путь, позволяющий избежать любого требования праведности, был бы бесконечно хуже дороги в вечный огонь, ибо конец его — вечная смерть. Нет, не уклониться. Нет неба с примесью ада, нет способа сохранить в сердце или в кармане что-нибудь от дьявола. Сатана должен выйти весь, до последнего волоса и пера! Не думай и о том, будто, будучи сделан добрым, избавишься от необходимости *быть* добрым. Полагаю, Бог есть Бог животных гораздо прекраснее, чем многие из нас смеют думать; но Он не станет Богом человека, превратив его в хорошее животное. Ты должен быть добрым; ни смерть, ни допуск в доброе общество не сделают тебя добрым, хотя, несомненно, если ты желаешь и стараешься, тебе будут даны эти и все прочие лучшие средства помощи. Никакой одежды вменённой праведности нет — этой жалчайшей законнической паутины, сотканной духовными пауками. Мне она кажется выдумкой благожелательной тупости для успокоения безумия; впрочем, она действительно оказалась дверью выхода из ещё худших фантазий. По-видимому, это старое «учение»: святой Иоанн, кажется, указывает на него, говоря: «Дети, пусть никто не вводит вас в заблуждение: делающий праведность праведен, как праведен Он». Христос — наша праведность не затем, чтобы мы избежали наказания, и тем менее — чтобы избежали необходимости быть праведными, но как живой, могущественный Творец праведности в нас; чтобы мы, своей волей принимая Его дух, подобно Ему, до крови противостояли греху; чтобы сами знали, как знает Он, как прекрасна праведность и как низка, уродлива, противоестественна неправедность.

Он *есть* наша праведность, и эта праведность — не вымысел, не притворство, не вменение.

8 Людям мешает видеть праведность и неправедность такими, каковы они есть, в частности то, что им называли праведным или неправедным многое, не являющееся ни тем ни другим. Праведность — просто справедливость: от Бога к человеку, от человека к Богу и человеку; это воздаяние каждому должного, великого, могучего должного. Праведен тот, кто так поступает, и никто иной. И всякая система, склоняющая людей поверить, что есть какое-то спасение, кроме становления праведным, как праведен Иисус; что человека можно сделать добрым, как добр хороший пёс, без его собственного волевого участия; что человек спасён, если его грехи скрыты под одеждой вменённой праведности, — такая система, в меру этой склонности, от дьявола, а не от Бога. Благодарение Богу, даже заблуждение не повредит истинным сердцем: оно не есть злодейство. Они растут в истине, и, как любовь изгоняет страх, истина изгоняет ложь.

9 Итак, я читаю в этой притче, что человеку лучше решиться быть праведным, быть справедливым, делать всё возможное для уплаты долга во всех без исключения отношениях жизни — словом, во всяком деле, где один вправе предъявить требование другому или пожаловаться, что с ним обошлись несправедливо. Уладьте дела с теми, кто имеет что-нибудь против вас, пока вы ещё вместе и всё не зашло слишком далеко для улаживания; *вам придётся это сделать*, причём в менее лёгких обстоятельствах, чем теперь. Откладывать бесполезно. Вы должны. Дело должно быть сделано; есть средства вас принудить.

10 «Однако в этом деле прав я».

11 «Если так, очень хорошо — в этом деле. Но у меня есть причина сомневаться, способны ли вы справедливо судить в собственном деле: вы ненавидите этого человека?»

12 «Нет, я его не ненавижу».

13 «Он вам неприятен?»

14 «Не могу сказать, что он мне *нравится*».

15 «Вы любите его, как самого себя?»

16 «Ну что вы! Что вы! Никто так не любит!»

17 «Тогда никому нельзя доверять, когда он думает, как бы твёрдо ни был убеждён, что в любом деле между ним и ближним он совершенно прав, а ближний совершенно неправ».

18 «Но я не говорю, что я во всём прав, а он во всём неправ; и в его пользу можно что-нибудь сказать. Я говорю, что я прав больше, чем он».

19 «По существу, вопрос не в отдельных обстоятельствах, а в состоянии, в духовном отношении к ближнему и действии по отношению к нему. Если бы внутри себя вы были во всём правы перед ним, вы не могли бы причинить ему несправедливость. Как бы ни обстояло дело с отдельным спором, вы должны ему нечто, чего не отдаёте, столь же несомненно, как вам кажется, что он должен вам нечто, чего отдавать не хочет».

20 «Признай я это, он немедленно воспользовался бы мною».

21 «Тем хуже для него. Пока вы не справедливы к нему, для вас не имеет значения, справедлив ли он к вам».

22 «Прошу прощения — именно это и имеет значение! Я хочу только того, что мне принадлежит по праву. Что может быть для меня важнее моих прав?»

23 «Ваши обязанности — ваши долги. Вы совершенно неверно смотрите на дело. Очень мало значит *для вас*, воздаст ли человек вам по праву; но воздадите ли вы по праву ему — для вас вопрос жизни или смерти. Уплатит он то, что вы считаете его долгом, или нет, вас принудят уплатить ему всё, что должны вы. Если вы должны ему фунт, а он вам миллион, вы обязаны отдать фунт независимо от того, отдаст ли он миллион: здесь нет аналогии с торговым расчётом. Если, будучи должен вам любовь, он даёт ненависть, вы, будучи должны ему любовь, всё равно обязаны её отдать. Не отданная вам любовь, не оказанная вам справедливость, удержанная от вас похвала, вынесенный вам без рассуждения приговор не освобождают от долга любви, которой не отдали вы, справедливости, которой не оказали вы, похвалы, которую удержали вы, ложного суждения, которое вынесли вы. Эти последние кодранты, не говоря о долгах, которые и сам мир признаёт тяжкими обидами, вы должны ему уплатить, платит ли он вам или нет. Нам даётся немало времени для платы, но придёт решительный час — всё-таки скоро придёт, всегда раньше, чем ждут неготовые, — час, когда за неисполненным требованием последует темница.

24 То же справедливо для всякого Божьего требования: отказываясь платить, человек создаёт себе противника, который его принудит, и ради него самого. Если вы или ваша жизнь говорите: «Не стану», тогда Он об этом позаботится. Есть темница, и единственное, что мы о ней

знаем: двери её не открываются, пока не будет дано полное удовлетворение, не уплачен последний кодрант.

25 Главные долги, уплаты которых требует Бог, лежат в корне всякой правоты: это то, что мы должны умом, душой и существом. Всё в нас, что может быть противником или создавать противника, всё, что могло бы помешать исполнению Божьей воли или согласию с ближним, — всё должно быть отдано. Каждое наше отношение к Богу и к ближнему должно быть сердечно признано, принято как действительность. Меньшие долги, если какой-либо долг можно назвать малым, следуют сами собой.

26 Если человек признаёт долг и заплатил бы, если бы мог, но не может, вся вселенная будет привлечена к помощи, лишь бы он не оставался бессильным. Если человек принимает Божью волю, он дитя Отца; вся сила и всё богатство Отца за него, и последний кодрант будет легко уплачен. Если человек отрицает долг или признаёт, но ничего не делает для уплаты, тогда — наконец — темница! Во тьме Бог может заставить жаждать света того, кто на свету никогда не искал ничего, кроме тьмы. Камеры темницы могут отличаться степенью темноты, но все одинаковы в одном: ни одна дверь не открывается иначе как за уплату. Нет дня, кроме Божьей воли, и тому, кто принадлежит ночи, нельзя позволить вечно бродить среди дня; свет, не почувствованный, не оценённый, должен быть отнят, чтобы он узнал, что такое тьма. Когда тьма станет полной, когда он совершенно лишится света, который употреблял на уничтожение самого света, — тогда он узнает тьму.

27 Мне кажется, я издали увидел что-то от последней из всех темниц, самой внутренней камеры должника

вселенной; я постараюсь передать, чем, по-моему, она может быть.

[28] Это необъятная внешняя область, жуткая тьма за воротами города, которому свет — Бог, где бродят злые псы, безмолвные, как тьма, ибо там нет ни звука, ни видимого. Время знаков кончилось. У каждого чувства свои знаки, и все они были употреблены во зло; больше нет ни чувств, ни знаков, ничего, посредством чего можно верить. Человек пробуждается после последней смертной борьбы в абсолютном одиночестве — таком, какого не знал даже в самую несчастную минуту покинутого детства. Ни намёка, ни тени чего-либо за пределами его сознания не достигает его. Всё темно, темно и немо; ни движения, ни дуновения ветра! Ни мечты о перемене! Ни запаха с далёкого поля! Ничего, что указывало бы на существо или вещь помимо самого человека; нигде ни знака Бога. Бог настолько удалился от человека, что тот сознаёт лишь то, от чего Он удалился. Среди живого мира он не заботился ни о чём, кроме себя; теперь в мёртвом мире он в Божьей темнице — в собственном отделённом «я». Он не желал верить в Бога, потому что никогда Бога не видел; теперь он сомневается, существует ли вообще такое, как человеческое лицо, сомневается, видел ли он когда-нибудь лицо на самом деле или только грезил о нём: он никогда не подходил к человеческому существу достаточно близко, чтобы знать, что оно в действительности такое, и потому вполне может сомневаться, существовали ли люди вообще и был ли он когда-нибудь одним из них.

[29] За сомнением следует рассуждение о сомнении: «Единственный должен быть Богом! Я не знаю никого, кроме себя: значит, я сам Бог, и больше никто!» Бедный,

беспомощный, немой дьявол — собственный славный господь бог! Да, он вообразит себя той самой неодолимой силой, которая без его воли, без его ведома есть закон, по которому горит солнце и звёзды держатся путей, сила, приводящая в ход все машины мира. Его фантазия породит тысячу фантазий, которые разгуляются, как мыши в только что покинутом доме; он назовёт это творением — *своим*. Не имея действительности, с которой можно было бы их сравнить, ничего, чем их исправить; не имея нигде размеренного порядка, гармонических отношений и милой красоты Божьего мира, — за неимением Божьей мысли человек примет собственные мысли за действительность: какая ещё может у него быть! Вскоре несчастье оплодотворит воображение тысячью образов горя, которыми он не сумеет управлять, направлять их, даже отличать от подлинно присутствующего: целым миром мучительных противоречий и холодных лихорадочных снов.

30 Но даже самое живое человеческое воображение не могло бы дать достойного представления о том, что значит остаться без тени Божьего присутствия. Если бы Бог дал такое представление, человек не смог бы понять: рассудком он не знает ни Бога, ни себя. Ибо даже наименее заботившийся о Боге никогда не был в этом мире оставлен так, как Бог мог бы его оставить. Сомневаюсь, что кто-нибудь мог бы продолжать идти за своим злом, если бы Бог удалился от него.

31 Самая страшная мысль о том, что могло бы постичь человека в его собственном сознании, — необходимость вести существование, к которому Бог не имел бы никакого отношения. Такое невозможно: ведь бытие, имеющее причину, с прекращением причинения

необходимо прекращается. Жить и действовать мы можем всегда в Боге и никогда вне Его. Но я представляю человека, оставленного так, что самому себе он кажется совершенно одиноким, и всё же, увы, с самим собою; невозможны ни малейший обмен мыслью, ни слабейшее соприкосновение существований, ни тусклейшее отражение от другого существа. Верю, в таком бедствии человек обрадовался бы встрече с самым отвратительным ему насекомым: это была бы форма жизни, нечто вне и помимо его собственного огромного, пустого, бесформенного бытия! Что-то подобное я представляю в просьбе бесов позволить им войти в свиней. Своему злейшему врагу, если бы мог только ощутить его присутствие, он готов был бы поклониться. Ибо бедствие состояло бы не просто в отсутствии всякого иного существа, но в страшном, бесконечном, неизбежном присутствии самого себя. Без поправки, отражения, поддержки иных присутствий бытие не просто ненадёжно, оно ужасно — для всякого, кроме Бога, Который Сам есть Своё бытие. Для того, чей замысел принадлежит Богу и кто есть образ Бога, собственное бытие слишком отрывочно и несовершенно, чтобы стать хоть сколько-нибудь хорошим обществом. Прекрасные создания, которыми Бог окружил нас, в них даруя нам Себя, спасают нас, пока мы не познали Его, от безумия одиночества, ибо это одиночество — Я, Я, Я. Тот, кто думает только о себе, в конце концов непременно сошёл бы с ума, если бы Бог не вмешался.

32 Есть ли путь из этого бедствия? Поверит ли в Бога душа, которая не могла поверить, когда весь прекрасный мир свидетельствовал о Нём, теперь, затворённая в темнице своего одинокого, усталого всего-и-ничего? Некоторое время она пыталась бы верить, что в самом

деле ничто: лишь отблеск заходящего солнца на облаке пыли, ничтожный сон, который снится самому себе; тогда — ах, если бы только сон мог увидеть во сне, что его больше нет! — это было бы единственным предметом надежды. Началось бы отвращение к себе, не за грех, не от покаяния, не от видения лучшего; оно росло бы и росло, и ни одна душа не скажет, до чего оно могло бы дойти в коренной, первичной муке, в неумолимом омерзении к себе! Но если существо способно к отвращению к себе, разве нет места для надежды — хотя бы столько, сколько щепоть земли в расщелине скалы оставляет для роста сосны? Да, пока существует бытие, должна быть надежда; ибо там, где есть бытие, должен быть Бог, а Бог вечно благ и не может быть иным. Но, увы, как далеко до света! Такая душа — на самом дальнем краю отрицания жизни! Нет, не на самом дальнем! В глубочайшем аду человек ближе к небу, чем непосредственно перед тем, как начинает пожинать плоды своих дел: ведь теперь он способен принять малейшее проявление сущей жизни как неизреченное благо. Все годы в мире он принимал бесконечные дары солнца и воздуха, земли и моря, божественного человеческого лица как вещи, приходящие потому, что таков их обычай и некому им помешать; теперь самое слабое разрежение тьмы он приветствовал бы, как древние — сияние нисходящего ангела; оно стало бы посланцем Бога. Не то чтобы он подумал о Боге: до мысли о Боге долгий путь; но надежда, ещё не похожая на надежду, начала бы заниматься в груди, а менее густая тьма стала бы словно светлой пещерой, убежищем от ужасного «я», которым он прежде так гордился.

[33] Человеку вполне может казаться невозможным когда-нибудь думать о себе так неприятно! Но стоит ему

пустить всё на самотёк, и он сделает это действительным, верным, естественным взглядом на себя. Правда, всё сказанное мною — воображение; но воображение создано отражать истину; всё, что появляется в нём, более или менее сообразно образцу существующего; я подозреваю, что это область, откуда исходит пророчество; и когда мы истинны, оно отразит лишь истину. Здесь я имею дело с тем же светом и тьмой, с которыми имел дело Господь, с которыми имели дело святые Павел, Иоанн, Пётр и Иуда. Спросите себя, разве самый слабый рассвет даже физического света не был бы желанен такой душе как некоторое прибежище от тьмы справедливо ненавистного «я».

34 И свет рос бы и рос над страшной пропастью между душой и её пристанью — покаянием, ибо покаяние есть первое прикосновение Божьей груди; и в сумерках, борясь и изнемогая, человек ощутил бы, слабо, как сам сумрак, другую мысль рядом со своей, другое мыслящее Нечто близ своего тоскливого «я» — быть может, того, кого он сильнее всего обидел, ненавидел, презирал, — и обрадовался бы, что кто-то, кто угодно, рядом. Человек, которому он причинил наибольшее зло и с которым ему стыднее всего встретиться, стал бы прибежищем от самого себя — о, каким желанным!

35 Так я мог бы вообразить тысячу ступеней вверх из тьмы, каждую немного менее тёмную, немного ближе к свету, — но, ах, как утомителен путь! Он не может выйти, пока не уплатит последнего кодранта! Однако начавшееся покаяние может расти всё быстрее! Если человек хоть раз позволит Богу ухватиться за него, если хотя бы одним пальцем коснётся самого человека, Он выведет его из тьмы в свет со всей возможной быстротой.

Ибо назначение покинутого, самого себя погубившего бедняги — быть чадом Бога, причастником божественной природы, наследником Бога и сонаследником Христу. Из бездны, куда он бросился, отказавшись быть Божьим наследником, он должен подняться и быть поднят. К сердцу Бога, единой и единственной цели человеческого рода, прибежищу и дому всех и каждого, он должен отправиться и идти, иначе последний отблеск человеческого в нём угаснет. Кто хочет жить, должен перестать быть рабом и стать Божьим ребёнком. Нет промежуточного приюта для отдыха, где можно заигрывать с безбожием без окончательной погибели. Мало ли, много ли будет брошено в темницу, какую я попытался представить, — человеческой душе, внутри этой темницы или вне её, нет избавления иначе как через уплату последнего кодранта, через смирение, покаяние, отказ от себя, через принятие сыновства и учение взывать: *Отец*!

Авва, Отче!

[1] «*…Духа усыновления, которым взываем: „Авва, Отче!“*» — Рим. 8:15.

[2] Самое трудное и самое радостное на свете — от всего сердца воскликнуть: *Отец!* Я хотел бы помочь всякому, кому смогу, так воззвать к Отцу.

[3] Во всех видах систематического преподавания христианства есть нечто, сдерживающее этот порыв сердца, — а для некоторых делающее его вовсе невозможным. Чем тоньше чувства, чем труднее их удовлетворить, тем легче они гаснут и робеют, даже вовсе отступают; одного подозрения, что их встретят холодно, довольно, чтобы их парализовать. Такой холодный ветер, дующий у самых врат небесных, — благодарение Богу, *снаружи*! — и есть так называемое учение об *усыновлении*. Когда сердце слышит — и верит или наполовину верит, — что оно не дитя Божие по происхождению, с самого начала своего бытия, но, быть может, будет принято в Его семью, его любовь тотчас цепенеет в холодном обмороке: где же его родной отец и кто этот, желающий его усыновить? Для меня самого, на заре детства, это злое учение было туманом, сквозь который с трудом пробивался свет, облачным призраком с отталкивающим лицом; чтобы его рассеять, понадобились более зрелая мысль и более верное знание. Но чтобы восстать против его безобразия, не нужно ни великих знаний, ни особенной проницательности; нужны лишь любовь, которая не примет отказа, и мужество призвать призрак к ответу.

[4] Благоговейное и честное сомнение, стоящее на стороне Бога и не подавляемое ничем, что зовётся авторитетом, совершенно необходимо тому, кто хочет познать свободу, которою освобождает Христос. К тому, что думает или во что верит любое сообщество добрых людей, следует относиться с уважением; но никакие утверждения и никакие учения, кем бы ни были их защитники и учители, не должны вставать между душой и духом Отца, Который Сам учит Своих детей. Более того, покорность авторитету может означать отказ от той самой истины, которой этот «авторитет» хочет научить: она может остаться совершенно непонятой именно потому, что мы миновали естественный путь сомнения и исследования, который предназначил нам Тот, Кто хочет, чтобы мы понимали.

[5] Как никакое место Писания не допускает частного толкования, так и никакое чувство человеческого сердца не живёт в одном лишь этом сердце: в той или иной форме, в той или иной мере оно есть в каждом; отсюда я заключаю, что многие, подобно мне, стонали под мнимой властью этого учения. Отказ взирать на Бога как на нашего Отца — главное, средоточное зло во всей человеческой жизни; неспособность к этому — её главное, средоточное несчастье. Всё, что помогает устранить хоть какое-нибудь препятствие к признанию Отца, в той или иной мере подрывает основания всех жизненных затруднений.

[6] «Неужели Бог не мой Отец, — взывает сердце ребёнка, — что мне нужно быть Им усыновлённым? Усыновление! Оно никогда меня не удовлетворит. Кто мой отец? Разве я не Его изначально? Разве Бог не мой собственный, родной Отец? Неужели Он мой Отец лишь в некотором смысле, каким-то образом — посредством юридической уловки?

Да, в усыновлении может быть много любви, но, принимая его от кого бы то ни было, я тем самым признаю себя ребёнком другого! Быть усыновлённым Богом было бы воистину блаженством, если бы бытие дал мне кто-то иной! Но если бытие дал мне Он, тогда это означает не принятие, а отречение. — „Отец, разве я не Твоё дитя?“»

7 «Нет; но Он тебя усыновит. Он не признает тебя Своим ребёнком, но назовёт тебя Своим ребёнком и будет тебе отцом».

8 «Увы! — взывает дитя, — если Он не мой отец, то стать моим отцом Он не может. Отец есть отец с самого начала. Изначальное родство нельзя наложить извне. Когда речь об отцовстве земном, последствия могли бы быть невелики; но здесь — самое начало моего бытия: увы, если Он лишь создатель, а не отец! Тогда я всего только машина, а не дитя — не человек! Тогда ложно утверждение, что я создан по Его образу!

9 Бесполезно отвечать, что при грехопадении мы утратили своё право рождения. Я не собираюсь доказывать, будто *я* не пал, когда пал Адам; ведь я падал множество раз, и на моей душе лежит тень, которую я или другой вправе назвать проклятием; я не могу избавиться от чего-то, что всё время становится между моим сердцем и синевой любого неба. Но ни моему сердцу, ни их доводам нисколько не помогает утверждение, что я пал и был изгнан: разве какое бы то ни было отречение, даже Божие, может отменить факты действительного происхождения? И дело не только в том, что Он меня создал: чьей силой я продолжаю жить? Когда Он, как вы говорите, изгнал меня, неужели я стал черпать своё бытие из себя самого — или из дьявола? В ком я живу,

движусь и существую? Не может быть, чтобы я не был Божиим созданием».

10 «Но сотворение — ещё не отцовство».

11 «Сотворение по образу Божию — отцовство. И если я не образ Божий, как может слово Божие что-нибудь для меня значить? „Он назвал богами тех, к которым было слово Божие“, — говорит Сам Учитель. Способность принять Его слово предполагает сродство с Ним. Неважно, насколько искажён во мне Его образ: искажено именно Его изображение, оно и остаётся Его искажённым изображением — всё ещё образом, способным услышать Его слово. Меня делает злым и несчастным то, что повреждённое во мне — образ Совершенного. Ничто не может быть злым иначе как на доброй основе. Нет, нет! Ничто не может сделать так, чтобы я не был дитятей Божиим. Если кто-нибудь скажет: „Посмотри на животных: Бог создал их, но ведь ты не называешь их детьми Божиими!“ — я отвечу: „Но я виновен, а они не виновны! Я крепко держусь за свою вину: это печать моего сыновства“. Животные не дают мне основания для доводов, потому что я их не понимаю. В двух вещах я только уверен: что Бог для них — „верный Создатель“ и что, чем скорее я воспользуюсь своим правом быть дитятей Божиим, тем лучше будет им; ибо они тоже пали, хотя и без вины».

12 «Но ты зол: как можешь ты быть дитятей Благого?»

13 «Так же, как многие злые сыновья — дети добрых родителей».

14 «Но в том, кого ты называешь добрым родителем, всё же таилось зло, и этим объясняется, почему ребёнок зол».

15 «Я не могу этого объяснить. Бог допустил, чтобы я родился через злые посредства. Но каким бы образом я ни стал недостойным ребёнком, от этого я не мог перестать быть дитятей Божиим — Его дитятей в том смысле, в каком ребёнок навсегда остаётся ребёнком того человека, от которого произошёл. Разве не доказательство — эта жалоба моего сердца на слово *усыновление*? Разве не дух ребёнка взывает: „Авва, Отче!“?»

16 «Да; но это дух усыновления: так сказано в тексте».

17 «Прочь ваше усыновление! Меня нельзя было бы даже усыновить, если бы я не обладал природой, до которой оно может простираться, то есть природой Божией. Как бы сильно человек ни любил собаку, разве он может её усыновить? Моя природа должна быть такова, чтобы ко мне могло прийти слово Божие, — стало быть, в этой мере она божественна, она есть образ Божий! Я всем сердцем признаю: если бы меня оставили самому себе, если бы Бог меня бросил и никак со мною не общался, я никогда бы не воззвал так и меня нисколько бы не огорчило известие, что я не дитя Божие. Но Он никогда от меня не отрекался и теперь не желает меня усыновлять. Скажите, почему мне должно быть больно слышать, что я не дитя Божие, если я не дитя Божие? Если вы скажете: потому что ты научился любить Его, — я отвечу: усыновление удовлетворило бы любовь того, кто не был ребёнком, но хотел им стать; я же не могу обойтись без отца, и никакое усыновление не даст мне его».

18 «Но что пользы во всех твоих словах, если ребёнок таков, что отец не может прижать его к сердцу?»

19 «Ах, верно, согласен: никакой! — пока ребёнок не желает быть прижатым к отцовскому сердцу; но едва он этого пожелает, для его сердца становится всем то, что он в самом деле дитя Того, по Ком жаждет его душа. Как бы я ни был плох, я дитя Божие, и в этом моя вина. Ах, я не хотел бы лишиться своей вины! В моей вине — моя надежда. Она залог того, что я есть и чего во мне нет; залог того, чем мне предназначено быть и чем я некогда стану: дитятей Божиим в духе и истине».

20 «Значит, ты осмеливаешься утверждать, что апостол ошибается в том, чему так ясно учит?»

21 «Ни в коем случае; я утверждаю лишь, что наше английское изложение его учения в этом пункте весьма обманчиво. Не мне судить учёных и добрых людей, пересмотревших перевод Нового Завета — к великой пользе всякого, в ком любовь к истине сильнее пристрастной любви к привычной форме; могу лишь сказать, что недоумеваю, какие причины могли побудить их сохранить слово *усыновление*. В Новом Завете его употребляет только апостол Павел. Лидделл и Скотт дают значение „принятие в сыновья“, просто уступая ходячему богословию: они не приводят ни одной ссылки, кроме Нового Завета. Предполагаю, что единственное основание для такого перевода — связь слова [греч.: *υἱοθεσία*] с формой [греч.: *θετός*], означающей „взятый“, или, вернее, „*поставленный* на место собственного ребёнка“; даже обильное и неизменное словоупотребление не могло бы оправдать такой перевод здесь, перед лицом того, как сам Павел в другом месте раскрывает значение этого слова. Греческое слово *могло* иметь разные значения, хотя до Павла я не нахожу ни одного примера его употребления; английское же может означать только одно — и это не то,

что имеет в виду Павел. „Дух усыновления“ Лютер переводит как „дух ребёнка“; *усыновление* он переводит словом *Kindschaft*, то есть *сыновство ребёнка по рождению*».

[22] В двух вещах я уверен: во-первых, под *υἱοθεσία* Павел не разумел *усыновления*; во-вторых, если бы исправители перевода перенесли из-за этого слова то, что перенёс я, если бы почувствовали, как оно встаёт между Богом и их сердцами, как почувствовал я, они не могли бы оставить его в своём переводе.

[23] Ещё раз говорю: слово, употреблённое Павлом, не означает, что Бог усыновляет детей, которые Ему не родные; скорее оно означает, что Он во второй раз становится Отцом Своих собственных детей; что они рождаются во второй раз — на этот раз свыше; что Он хочет стать им Отцом вдесятеро, да, бесконечно более: Он хочет вернуть их в то самое лоно, из которого они вышли, — вышли, чтобы узнать, что жить они не могут нигде более; Он хочет, чтобы они были едины с Ним. Ради этого Он в Своём Сыне умер за них.

[24] Посмотрим на отрывок, где он раскрывает своё употребление этого слова. Он находится в другом его послании — к Галатам, 4:1–7.

[25] «Но говорю: пока наследник — ребёнок, он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего; он находится под опекунами и управителями до срока, назначенного отцом. Так и мы, когда были детьми, находились в рабстве у начатков мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, рождённого от женщины, рождённого под законом, чтобы искупить тех, кто под законом, дабы нам получить усыновление. А поскольку вы

— сыны, Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, взывающего: „Авва, Отче!“ Поэтому ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник через Бога».

[26] Как могли исправители перевода выбрать это последнее чтение — «наследник через Бога» — и сохранить слово *усыновление*? Из отрывка явствует с предельной для Павла ясностью, что словом, переведённым как *усыновление*, он обозначает возведение собственного ребёнка отца из состояния опеки и подчинения другим — состояния, которое, по его словам, ничем не лучше рабства, — в положение и права сына. Только ребёнок мог стать сыном; мысль здесь — о духовном совершеннолетии: *лишь когда ребёнок становится взрослым, он по-настоящему и вполне становится сыном*. Это верно и в земных отношениях. Сколько детей добрых родителей — в общем-то и самих добрых детей — никогда не узнают своих родителей, никогда не испытывают к ним чувств, какие могли бы испытывать дети, пока, повзрослев, не покинут дом, — пока, быть может, сами не станут родителями или смерть не разлучит их! Быть ребёнком ещё не значит быть сыном или дочерью. Детское родство — низшая ступень восходящего движения к сыновству, почва, на которой вырастет истинное сыновство; первое необходимо, чтобы второе стало возможно. Бог, как и земной родитель, не может довольствоваться тем, чтобы иметь только детей: Ему нужны сыновья и дочери — дети Его души, Его духа, Его любви; не просто в том смысле, что Он любит их, или даже что они любят Его, а в том, что они любят, как Он, любят так, как любит Он. Для этого Он не усыновляет их; Он умирает, чтобы отдать им Себя и тем поднять Своих родных к Своему сердцу; Он даёт им рождение свыше: они вновь рождаются из Него и в Него, ибо Он — единый и

всё. Его дети не будут Его настоящими, истинными сыновьями и дочерьми, пока не станут думать, как Он, чувствовать вместе с Ним, судить, как судит Он, быть с Ним как дома и стоять перед Ним без страха, потому что Он и они разумеют одно, любят одно, стремятся к одним целям. Для этого мы созданы; это единственная цель нашего бытия, включающая в себя все прочие цели. Лишь от неверия, а не от веры может происходить убеждение людей в том, будто Бог их отверг, отрёкся от них, объявил, что они не Его дети и даже никогда ими не были, — тогда как Он всё это время отдаёт Себя, чтобы сделать нас детьми, каких замыслил, предопределил, — детьми, которые признали бы в Нём своего Отца! Он всё время наш Отец, потому что Он истинен; но пока мы не ответим Ему истиной детей, Он не может вполне излить на нас Своё отцовство: голубице Его нежности некуда опуститься. Он наш Отец, но мы не Его дети. Потому что мы Его дети, мы должны стать Его сыновьями и дочерьми. Ничто не удовлетворит Его и не послужит нам, кроме единства с нашим Отцом! Что ещё могло бы помочь! Как иначе жизнь когда-нибудь стала бы благом! Поскольку мы сыны Божии, мы должны стать сынами Божиими.

[27] Среди моих читателей, быть может, есть такие — горе им! — кому слово *Отец* не несёт ни утешения, ни рассвета, в чьём сердце оно не пробуждает даже трепета угасшего чувства. Едва ли это их вина. Хотя мы, будучи детьми, редко любим в той мере, в какой разумно было бы любить; хотя часто обижаем; хотя поведение иных детей непостижимо любящему их родителю, — всё же, если родитель был хотя бы обыкновенно добр, даже сын, выросший никчёмным человеком, время от времени, в лучшие свои минуты, почувствует смутный отблеск детского родства, вспомнит с тихой радостью и лёгкой

печалью отца, за чью шею некогда цеплялся руками. В моём детстве и отрочестве отец был убежищем от всех жизненных бед, даже от самой острой боли. Поэтому сыну или дочери, которых не радует имя *Отец*, я говорю: «Толкуйте это слово через всё, чего вам недоставало в жизни. Всякий раз, когда человек мог бы стать вам укрытием от ветра, прибежищем от бури, тенью большой скалы в земле истомлённой, — это было время, когда отец мог бы поистине быть отцом. Вы всё же счастливы, если нашли такое убежище в мужчине или женщине; в этой мере вы познали тень Совершенного, увидели со спины единственного Человека, совершенного Сына совершенного Отца. Всё, что человеческая нежность может дать или пожелать в близости и готовности любви, — всё это и бесконечно больше должно быть истинно о совершенном Отце: о Творце отцовства, Отце всех отцов земли, особенно Отце тех, кто особенно явил отцовское сердце».

[28] Этот Отец хочет обрести Себе истинных сыновей и дочерей — таких, которые будут Его сыновьями и дочерьми не только потому, что вышли из Его сердца, но и потому, что вернулись в него; детей по тому, что они подобны Тому, из Кого вышли, и сами избирают быть такими, как Он. Он хочет, чтобы они приобщились к Его бытию и природе: были сильны в том, в чём Он ценит силу; нежны и милостивы, как нежен и милостив Он; гневались там и так, где и как гневается Он. Даже в такой малости, как могущество, Он хочет, чтобы они могли делать всё, что мог на земле Его Сын Иисус, Чья жизнь была жизнью совершенного человека, Чьи дела были делами достигшего совершенства человечества. Всё должно в конце концов покориться человеку, как покорялось Человеку. Когда Бог сможет делать с

человеком всё, что пожелает, человек сможет делать с миром всё, что пожелает: он сможет ходить по морю, как его Господь; самое смертоносное не сможет повредить ему. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и большие сих сотворит».

[29] Бог, Чьё желанье привело
Человека к бытию, отступает
Как бы на ширину ладони, давая
Новосозданному место жить.

[30] Он создал нас, но быть предстоит нам самим. Всё сотворено *через* Слово, но сотворённое *в* Слове было жизнью, и та жизнь — свет человеков. Те, кто живёт этим светом, то есть живёт так, как жил Иисус, — именно послушанием Отцу, — участвуют в собственном создании; свет становится в них жизнью; они, на своей низшей ступени, живы той жизнью, которая впервые родилась в Иисусе и через Него родилась в них; послушанием они становятся едины с Божеством: «Тем, которые приняли Его, дал власть стать сынами Божиими». Он не *делает* их сынами Божиими, но даёт им власть стать сынами Божиими: избирая истину и повинуясь ей, человек становится истинным сыном Отца светов.

[31] Достаточно с пониманием прочитать приведённый мною отрывок из Послания к Галатам, чтобы увидеть: слово *усыновление* нисколько не отвечает мысли Павла и не согласуется с его словами. Пока мы лишь повинуемся закону, который Бог на нас возложил, не зная сердца Отца, из которого исходит закон, мы только рабы — не обязательно низкие рабы, но всё же рабы; когда же мы начинаем мыслить *вместе с* Ним, когда ум сына становится подобен уму Отца, действие сына — действию Отца, тогда сын действительно *от* Отца, тогда мы сыны

Божии. И в обоих отрывках — в этом и в том, из Послания к Римлянам, который я поставил в начале проповеди, — мы находим одни и те же слова: *Авва, Отче!* Они показывают, если ещё нужно доказательство, что в обоих случаях он употребляет слово [греч.: υἱοθεσία] в одном смысле; едва ли среди вещей, над которыми вообще надо задуматься, есть что-либо яснее этого смысла. Посмотрим мельком на другие места, где он употребляет то же слово: поскольку из всех авторов Нового Завета он один его употребляет, он, насколько мне известно, мог и сам его создать. Один такой отрывок находится в той же восьмой главе Послания к Римлянам; я оставлю его напоследок. Другой — в следующей главе, в четвёртом стихе; там он говорит о [греч.: υἱοθεσία], буквально — *поставлении в сыновья* (то есть поставлении сыновей на истинное место сыновей), как о принадлежащем иудеям. Об этом мне остаётся лишь заметить, что слова «которым принадлежит [греч.: υἱοθεσία]» не могут означать ни того, что они уже получили его, ни того, что оно принадлежит иудеям больше, чем язычникам; они могут означать лишь, что им как народу — старшему брату принадлежало первое право на него и они естественно должны были получить его первыми; что в лучших своих людях они всегда стояли к нему ближе всего. Прежде всего оно должно было осуществиться в тех, кто получил необходимое приготовление; это были иудеи; из иудеев происходил Сын, приносящий [греч.: υἱοθεσία], сыновство, всем. Потому им и принадлежало [греч.: υἱοθεσία], как принадлежало Евангелие. Оно предназначалось сперва иудею, потом язычнику, хотя многие язычники получили бы его прежде многих иудеев. Те и только те, кто от искреннего сердца взывает: «*Авва, Отче!*», — к какой бы ничтожной маленькой так называемой церкви, помимо

Тела Христова, они ни принадлежали или вовсе ни к какой другой, — суть сыновья и дочери Божии.

[32] Павел употребляет это слово и в Послании к Ефесянам, в первой главе, в пятом стихе. «Предопределив нас к усыновлению детей Иисусом Христом Себе», — говорит общепринятый английский перевод; «Предназначив нас к усыновлению в качестве сынов через Иисуса Христа Себе», — говорит исправленный; по-моему, выбирать между ними почти нечего: ни тот ни другой не передаёт смысла Павла. Если что-либо и приобретено добавлением слов «детей» в одном случае и «в качестве сынов» в другом для перевода того слова, которое в остальных местах передаётся одним «усыновлением», то приобретение целиком на стороне минуса, на стороне неверного толкования.

[33] Детьми мы были; истинными сынами мы никогда не могли бы стать иначе как через Сына. Он делает нас братьями Себе. Он приводит нас к коленям Отца; созерцая Его лицо, мы вырастаем в истинных сынов. Мы никогда не узнали бы сердца Отца, никогда не почувствовали бы, что можем любить Его как сыновья, если бы не Тот, Кто бросился в бездну, зиявшую между нами. В Нём и через Него мы были предопределены к сыновству; даже если бы мы никогда не согрешили, без Него мы никогда не достигли бы сыновства. Мы оставались бы малыми детьми, в самом деле любящими Отца, но далёкими от сыновства, которое понимает и поклоняется. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»; «Если кто Духа Христова не имеет, тот не Его»; да, если мы не имеем духа друг друга, мы не принадлежим друг другу. Нет единства, кроме обладания одним духом. Есть лишь один дух — дух истины.

[34] Остаётся отметить ещё один отрывок.

[35] Легко было бы показать, что ни в одном своём сочинении Павел не намеревался вносить вклад в богословскую систему. Один из признаков этого — он без колебаний употребляет слово, быть может, им самим созданное, в разных и на вид противоположных, хотя вовсе не противоречащих друг другу смыслах: его значения всегда оживляют друг друга. Его мысли столь велики, что испытывают пределы речи и заставляют до крайности напрягать слова; но для честного сердца, о котором одном он и заботится, нет опасности понять их превратно, хотя «невежды и неутверждённые превращают их» и доныне. То он говорит о сыновстве как о достоянии израильтянина, то — как о достоянии того, кто научился взывать: *Авва, Отче!*; а здесь, в последнем отрывке, который мне остаётся рассмотреть, — с восемнадцатого по двадцать пятый стих той же восьмой главы Послания к Римлянам, — он говорит о *υἱοθεσία* как о чём-то ещё предстоящем и как будто относящемся к нашему телесному, а не духовному состоянию. Однако такое употребление слова, хотя и отличается от всех прочих, вполне согласуется с ними.

[36] Двадцать третий стих гласит: «И не только так, но и мы сами, имеющие начатки Духа, и мы сами стенаем в себе, ожидая усыновления — искупления нашего тела».

[37] Нетрудно увидеть, что мысли этого и основного словоупотребления необходимо связаны и более чем согласны друг с другом. Поставление сына на его истинное, предопределённое место имеет не только внутреннюю действительность, но и внешние отношения; внешнее зависит от внутреннего, возникает из него и открывает его. Когда ребёнок, чья пора пребывания под

надзором воспитателей миновала, занимал положение сына, он, естественно, менял одежду и образ жизни. Когда дети Божии перестают быть рабами, поступающими правильно по закону и долгу, и становятся Его сынами, поступающими правильно по сущностной любви к Богу и ближнему, они тоже должны сменить одеяния своего рабства на одежды свободы, отложить тело этой смерти и явиться в телах, подобных телу Христа, вместе с Которым они наследуют от Отца. Но многие дети, научившиеся взывать: *Авва, Отче!*, ещё далеки от свободы сынов Божиих. Они сыны и уже не дети, а всё же стенают, словно всё ещё в рабстве! — Очевидно, апостол вовсе не думает о систематическом развитии мысли: с пылающим сердцем он пишет письмо; и всё же он даёт нам с избытком достаточно черт, чтобы мы сами раскрыли его мысль; вот как она обретает ясный облик.

[38] Мы — сыны Божии с той минуты, как возносим сердца, стремясь стать сынами, с той минуты, как начинаем взывать: *Отец!* Но как искупление мира начинается с немногих людей, так искупление души начинается с немногих её мыслей, желаний и поступков: чтобы довершить новое творение этого искупления, нужно долгое время. Неужели понадобились миллионы лет, чтобы привести мир к тому, что немногие его обитатели возжелают Бога, а создание этого нового рождения достигнет совершенства за один день? Правда, божественный процесс теперь может идти вдесятеро быстрее, ибо явился новый фактор — соработничество человека, ради которого и существовал весь прежний строй средств и сил; но его завершение пока далеко за горизонтом человеческого зрения.

[39] Апостол говорит об одном и том же то как о предстоящем, то как об уже совершившемся, — когда оно только началось: таковы пути нашей мысли. Сердце человека может подпрыгнуть от радости в ту минуту, когда среди морских волн сильная рука схватит его за волосы; он может громко закричать: «Я спасён!» — и он, быть может, в безопасности, но ещё не спасён; до достаточного спасения далеко. Так и мы — сыны, когда начинаем взывать: «Отец!», но до совершенного сыновства нам ещё далеко. Пока есть в нас хоть малейшая примесь недоверия, хоть слабейший остаток ненависти или страха, мы не получили сыновства; нет в нас той жизни, которая воскресила тело Иисуса; мы не достигли воскресения мёртвых — слова, которым в Послании к Филиппийцам (3:2) Павел, думаю, обозначает то же, что здесь называет сыновством, поясняя его как искупление тела. [4]

[40] Пока наше внешнее состояние не есть состояние сынов царственных, сынов божественных; пока одеяния наших душ, эти смертные тела, убоги — изорваны, истасканы, запятнаны; пока мы стенаем под бременем болезни, слабости, усталости, старости, забывчивости и всего тягостного, — до тех пор мы ещё не получили сыновства во всей полноте: мы лишь готовимся некогда выползти из своих куколок и расправить огромные, штурмующие небо крылья Божиих душ-бабочек. Мы стенаем под бременем; стенаем, ожидая сыновства — то есть искупления тела, возвышения тела до достойного жилища и откровения обитающего в нём духа; более того, до достойного, как тело Христа, храма и откровения глубже обитающего в нём Бога. Ибо нам всегда будут нужны тела, чтобы являть и открывать нас друг другу, — следовательно, тела, соответствующие душе с абсолютной верностью явления

и откровения. Поэтому откровение сынов Божиих, о котором говорится в девятнадцатом стихе, — то же самое, что искупление тела; тело искуплено, когда сделано достойным сынов Божиих; тогда оно становится их откровением — тем, чем ему предназначено быть и чем оно всегда, более или менее несовершенно, было. Таким оно станет, когда истина в сынах Божиих будет достаточно сильна, чтобы сделать его таким: ибо именно душа создаёт тело. Когда мы будем сынами Божиими в сердце и душе, тогда станем сынами Божиими и в теле: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

41 Я не склонен много рассуждать о том, каким будет это тело; скажу о нём лишь две вещи, в которые необходимо верить. Во-первых, оно будет телом, являющим ту же личность, что и прежде; но, во-вторых, телом, являющим её истинно, то есть без изъянов и несовершенств прежнего телесного откровения. Даже через телесное присутствие наших близких мы будем тогда знать их бесконечно лучше и находить в них бесконечно больше радости, чем прежде. В это мы должны верить — иначе мы не доверяем Отцу наших духов. Пока не наступит это искупление тела, [греч.: υἱοθεσία] не осуществлено, оно лишь на пути к осуществлению. И прийти оно может лишь через то, что мы сами совершаем спасение, которое Он совершает в нас.

42 Это искупление тела — его избавление от всего неправильного, искривлённого, незавершённого, слабого, изношенного, от всего, что мешает откровению сынов Божиих, — апостол называет, конечно же, не *усыновлением*, а [греч.: υἱοθεσία], сыновством, явленным во всей полноте. Именно раб, ещё остающийся в сыновьях

и дочерях Божиих, предал их, позволив им даже допустить, чтобы слово *усыновление* вводило их в заблуждение!

43 Чтобы увидеть, как всё высказывание связано воедино, прочтите стихи с восемнадцатого по двадцать пятый, обратив особое внимание на девятнадцатый: «Ибо напряжённое ожидание творения ждёт откровения» (*просияния*) «сынов Божиих». Когда сыны Божии явятся такими, каковы они есть, обретя вместе с внутренним обликом внешний вид и место, принадлежащие их сыновству; когда сыны Божии воссядут с *Самим* Сыном Божиим на престоле своего Отца, — тогда они станут во всей действенности этого факта владыками низшего творения, дарующими ему свободу и мир; тогда творение, ради них подчинённое суете, найдёт свою свободу в их свободе, свою радость — в их сыновстве. Животные будут гордиться служением им и с радостью приходить к ним за помощью. Пусть бессердечные насмехаются, несправедливые презирают! Сердце, взывающее: *Авва, Отче!*, взывает к Богу воробья и волов; и надежда не может зайти слишком далеко в ожидании того, что этот Бог сделает для творения, ныне стенающего и мучащегося родовыми муками, потому что наше высшее рождение задерживается. Разве Судия всей земли не поступит справедливо? Разве моё сердце сострадательнее Его сердца?

44 Если кому-либо из читателей моё толкование покажется неудовлетворительным, прошу его тратить силы не на оспаривание моей веры, а на то, чтобы удостовериться в собственном продвижении по пути к свободе и сыновству. Истинное суждение возможно лишь дитяте Божию. Будь иначе, какой был бы толк доказать,

что тот или другой прав или неправ? Правильное мнение о самых важных вопросах никого не избавит. Нет исцеления ни от какого зла во мне или вокруг меня, кроме как стать тем сыном Божиим, каким я рождён быть. Пока я им не стану, пока Христос не родится во мне, пока я не явлюсь сыном Божиим, будут длиться боль и скорбь — и дай Бог, чтобы длились! Назовите это самонадеянностью — и я лишь расширю своё утверждение: пока вы сами не станете тем сыном Божиим, каким рождены быть, вы никогда не увидите в жизни блага. Если я самонадеянно говорю за себя, то и за вас тоже. Но я не самонадеян. Именно так Иисус Христос и Его раб по любви Павел изобразили Бога: Отцом, совершенным в любви, величественным в забвении Себя, высочайшим в праведности, всецело преданным жизням, которые Он изрёк. Я не стану верить об Отце в меньшее, чем та слава, которую могу представить по данным Им чертам, по сиянию Его славы в лице Его Сына. Он — точный образ Отца, через который мы, Его несовершенные образы, должны читать и понимать Его: несовершенные, мы всё же достаточно причастны совершенству, чтобы по буквам пробираться к Совершенному.

[45] Итак, согласно великой мысли апостола, дело обстоит так. Мир существует ради нашего воспитания; это детская Божиих детей, обслуживаемая страждущими рабами, страждущими потому, что дети сами ещё рабы — дети, но не добрые дети. Помимо собственной воли и знания, всё творение трудится над возрастанием детей Божиих в сынов Божиих. Когда наконец дети встанут и пойдут к своему Отцу; когда будут облечены в лучшую одежду, с кольцом на руках и обувью на ногах, засияв наконец в своём природном, предопределённом

сыновстве, — тогда горы и холмы разразятся перед ними песней и все дерева полевые будут рукоплескать. Тогда волк будет жить с ягнёнком, и барс ляжет с козлёнком, и телёнок, молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя поведёт их. Тогда предания о золотом веке, которые вера создала, а неверие отбросило в прошлое, раскроют свою сущностную действительность, и рассказ о рае докажет свою истинность, став фактом. Тогда всякий идеал обнаружит себя как необходимость, устремление, хотя и удовлетворённое, расправит ещё более длинные крылья, а голод по праведности познает своё блаженство. Лишь тогда мы узнаем, что было в мыслях Пастыря, когда Он сказал: «*Я пришёл, чтобы они имели жизнь и имели её в избытке*».

Жизнь

[1] «*Я пришёл, чтобы они имели жизнь и имели её в избытке*». — Ин. 10:10.

[2] Одним словом, Он пришёл восполнить всё, чего нам недостаёт, — от самого корня вовне; ибо что нам нужно, кроме большей жизни? Что нужно младенцу, кроме большей жизни? Что даёт ему материнская грудь, если не жизнь в изобилии? Что нужно старику, чьи члены ослабели и пульс едва бьётся, если не больше той жизни, которая, кажется, от него отливает? Изнемогая от слабости, он призывает смерть, но на самом деле желает жизни. Только наступающая в нём смерть желает смерти. Он жаждет покоя, но смерть отдыхать не может; смерть положила бы конец отдыху так же, как усталости; даже слабость не может отдыхать: для отдыха нужны и сила, и усталость. Как отличается усталость сильного человека после чрезмерно долгого труда от усталости больного, который утром восклицает: «О, если бы настал вечер!» — а вечером: «О, если бы настало утро!» Угасающая жизнь воображает, будто устала от жизни, но устала она от смерти, а не от жизни. Ни одна душа, знавшая, что такое жизнь, никогда не взывала о её противоположности. Почему бедный, измученный, до конца изнурённый самоубийца ищет смерти? Не затем ли, в сущности, чтобы избежать смерти? — смерти бездомности, голода и холода; смерти неудач, разочарования и душевного смятения; смерти истощённой страсти; смерти безумия — домашней жизни, которой он не может управить; смерти преступления и страха разоблачения? Он ищет тьмы, потому что она кажется убежищем от завладевшей им смерти. Он — создание, одержимое смертью; то, что он

называет своей жизнью, — лишь сон, полный страшных призраков.

[3] «Больше жизни!» — бессознательная молитва всего творения, стенающего и мучащегося в родах ради искупления своего господина, сына, который ещё не сын. Разве не читается этот немой вопль в мордах некоторых животных, в облике некоторых цветов и во многих ликах того, что мы называем Природой? Всё возможно Богу, но не всё легко. Ему легко *быть*, ибо здесь Он имеет дело со Своей собственной совершенной волей; Ему нелегко творить — то есть творить тем великим образом, который один удовлетворит Его славное сердце и волю, тем образом, каким Он теперь творит нас. По самой природе бытия, то есть Бога, должно быть трудно — и божественная история показывает, как трудно, — создать то, что будет не Им Самим, но подобным Ему. Задача в том, чтобы настолько отделить от Себя то, что всё же должно всегда, вечно и всецело зависеть от Него, чтобы оно получило бытие отдельной личности и могло повернуться и взглянуть на Него, избрать Его и сказать: «Встану, пойду к моему Отцу», — и так развить в себе высшее *Божественное*, на которое способно: волю к добру против зла, волю быть единым с жизнью, из которой оно вышло и в которой всё ещё пребывает, волю замкнуть круг своего исхождения возвращением, тем совершая полноту воссоединения; начертить в собственной жизни кольцо вечности; жить непосредственно, сознательно и деятельной волей из своего источника, из самой своей жизни; возвратить началу конец, из этого начала вышедший; быть тем, что мыслил Создатель, когда пожелал его, ещё прежде, чем начал осуществлять его бытие.

[4] Я представляю себе трудность этого дела, этого творения, этого отделения от Себя, при котором у создания станет возможной собственная воля, — представляю, говорю я, трудность такого творения столь великой, что ради него Бог должен начать немыслимо далеко в глубине, в бесконечно малых областях первоначал: не просто прежде чего-либо хоть сколько-нибудь напоминающего человека, но за вечные мили от самого дальнего рубежа исследования *протоплазмы*, — чтобы привести в движение то отделение от Себя, великим итогом которого должны стать индивидуальность, сознание, выбор и сознательный выбор; выбор наконец чистый, ибо это выбор правого, истинного, божественно гармоничного. Следовательно, конечная цель разделения — не индивидуальность; она лишь средство; конечная цель — единство, невозможное без неё. Ибо там, где есть только один, не может быть ни единства, ни восторга любви, ни гармонии, ни блага бытия. Для единства нужны по меньшей мере двое; и чем больше отдельных личностей, тем большее, прекраснейшее, более богатое и более божественное единство возможно.

[5] Бог есть жизнь и волящий источник жизни. В излиянии этой жизни я узнаю Его; и когда мне говорят, что Он — любовь, я вижу: если бы Он не был любовью, Он не стал бы, не мог бы творить. Я не знаю в Нём ничего глубже любви и не верю, что в Нём есть что-нибудь глубже любви, — более того, что вообще может быть что-нибудь глубже любви. Бытие Бога — любовь, следовательно — творение. Я полагаю, что от всей вечности Он творит. Как Он увидел, что человеку нехорошо быть одному, так и Сам Он никогда не был один: от всей вечности Отец имеет Сына, и никогда не начинавшееся существование этого

Сына я представляю лёгким излиянием природы Отца; создание же иных существ — существ, подобных нам, — представляю трудом Бога, вечным трудом. Говоря по нашим бедным человеческим способам мышления — единственным, какие нам доступны, — я полагаю, что Бог никогда не довольствовался одиночеством даже с Сыном Своей любви, первою и совершенною идеей человечества, но от начала желал и трудился дать существование иным созданиям, которые были бы блаженны Его блаженством, — созданиям, которых Он ныне и всегда развивал в подобие тому Сыну: подобие, которому долго суждено оставаться далёким и малым, но которое будет расти вечно. Быть может, ни одно из них до сих пор, хотя и неизреченно блаженное, не имеет даже приблизительного понятия о блаженстве, ему уготованном.

[6] Пусть ни одна душа не думает, будто, говоря, что Бог предпринял тяжкий труд, пожелав, чтобы многие сыновья и дочери стали причастниками божественной природы, мы умаляем Его славу! Чем больше трудность, тем больше слава Того, Кто совершает начатое — без тени уступки, без половинчатого успеха, но с торжеством полного удовлетворения бесчисленных сияющих душ! Он знал, чего это будет стоить! — не одной лишь энергии воли и не одного того изречения и отделения от Себя, которое составляет лишь начало творения, хотя и оно само вполне может быть болью, — но тяжкого страдания, какого мы не можем вообразить и какое могло быть только Божиим, при рождении — или, если угодно, развитии — Божией жизни в отдельной душе; страдания, непрестанно возобновляющегося, труда, которому эта самая душа всё время противится, понуждая Его вновь ценой страдания прибегать не к безусловно лучшим, а лишь к лучшим из

возможных средств, оставленных Ему сопротивлением Его создания. Человеку трудно получить желаемое, потому что он не желает наилучшего; Богу трудно давать, потому что Он хочет дать наилучшее, а человек не желает принимать. То, что делал Иисус, Отец делает всегда; страдание, которое Он перенёс, было страданием Отца от основания мира, достигшим вершины в лице Его Сына. Бог даёт жертву; жертва — Он Сам. Он всегда, во все времена, приносит Себя в жертву Своим созданиям и ради них. Это лежит в самой сущности Его сотворения их. Худшая ересь после разделения религии и праведности — отделять Отца от Сына в мысли, чувстве, действии или намерении; изображать Сына делающим то, чего не делает Сам Отец. Иисус не делал ничего, чего не делал и не делает Отец. Если Иисус страдал за людей, то потому, что за людей страдает Его Отец; только Он приблизился к людям через Своё тело и их чувства, чтобы приблизить их дух к Своему Отцу и их Отцу, тем даруя им жизнь и теряя из Своей всё, что можно было потерять. Он — Бог, наш Спаситель; именно потому, что Бог — наш Спаситель, Иисус — наш Спаситель. Бог и Отец Иисуса Христа никак не мог бы удовлетвориться меньшим, чем отдать Себя Своим! Неверующий легко может вообразить Бога лучшего, чем предлагает ему общепринятое богословие нашей страны; но самое любящее сердце, какое когда-либо билось, не способно даже отразить длину, широту, глубину и высоту Божией любви, являющейся в Его Сыне, едином и единомысленном с Ним. Вся история — божественная мука, направленная на то, чтобы дать созданиям божественную жизнь. Плод этой муки, победа этой творящей и вновь творящей силы — сияющая жизнь, цвет которой — неизреченная радость. Каждое дитя

взглянет в глаза Отца, и глаза Отца примут его бесконечным объятием.

[7] Жизнь, которую Господь пришёл нам дать, превосходит жизнь самого возвышенного из людей, непричастных Богу, несравненно больше, чем жизнь этого человека превосходит жизнь наименее похожего на человека животного. Всё больше и больше её дано всякому, кто захочет принять её, — во веки веков. Отец дал Сыну иметь жизнь в Самом Себе; эта жизнь — наш свет. Мы знаем жизнь лишь как свет; именно жизнь в нас делает нас зрячими. Весь рост христианина состоит в том, что он получает всё больше жизни. Поначалу его религия может едва отличаться от простого благоразумного желания спасти свою душу; но в конце концов он теряет саму эту душу в славе любви и тем спасает её; собственное «я» становится лишь облаком, на котором белый свет Божий разлагается в неизреченные гармонии.

[8] «Посреди жизни мы в смерти», — сказал некто; вернее было бы сказать, что посреди смерти мы в жизни. Жизнь — единственная действительность; то, что люди называют смертью, — лишь тень, слово для того, чего быть не может, отрицание, самой идеей себя обязанное тому, что оно хотело бы отрицать. Без жизни не могло бы быть смерти. Если бы Бога не было, не было бы даже ничего. Даже небытие не предшествовало жизни. Небытие самой своей идеей обязано существованию.

[9] Одна из форм вопроса о материи и духе такова: что было первым и породило другое — вещи или мысли? Вещи без мысли породили мысль или мысль без вещей породила вещи? Для тех, кто не может сомневаться, что первой была мысль, как причина предшествовавшая самому раннему материальному явлению, совершенно ясно:

смерть не может быть лекарством ни от чего, лекарство от всего — жизнь; беды, приходящие с существованием, происходят от его несовершенства, а не от него самого; нам нужно больше существования. Мы, которые *есть*, не имеем дела со смертью; наши отношения — только с жизнью. То, что может скорбеть, скорбит лишь от недостатка; оно не может скорбеть оттого, что существует, но оттого, что существует недостаточно. Мы — сосуды жизни, ещё не полные вина жизни; там, куда вино не доходит, глина трескается, болит и мучается. Кто же стал бы поэтому выливать то вино, которое уже есть, вместо того чтобы долить ещё и наполнить сосуд до краёв! Всё существо должно приобщиться к сущностному бытию; жизнь во всякой её части должна быть поддержана, укреплена, утешена жизнью. Жизнь — закон, пища, необходимость жизни. Жизнь — всё. Многие, несомненно, принимают радость жизни за саму жизнь и, стремясь к радости, изнемогают от жажды одновременно убогой и неутолимой; но даже эта жажда указывает на единственный источник. Они любят собственное «я», а не жизнь, и это «я» — лишь тень жизни. Когда его принимают за саму жизнь и ставят в центр человека, оно становится живой смертью в нём, дьяволом, которому он поклоняется как своему богу; червя вечной смерти он прижимает к груди как единственную свою радость!

[10] В душе, составленной из гармоний, больше жизни, шире бытие, чем в душе, снедаемой заботами; мудрец — более великая жизнь, чем невежда; поэт живее человека, чья жизнь утекает, чтобы притекали деньги; человек, любящий ближнего, бесконечно живее того, кто стремится возвыситься над ним; человек, стремящийся стать лучше, — того, кто жаждет похвалы толпы. Но человек, для которого Бог — всё во всём, который

чувствует, что корни его жизни сокрыты со Христом в Боге, который знает себя наследником всех богатств, миров и веков, более того — власти сущностной и сущей в самой себе, — этот человек начал жить по-настоящему.

[11] Будем во всех жизненных скорбях помнить: единственное, чего нам недостаёт, — жизнь; нам нужно больше жизни, больше животворящего присутствия в нас, делающего нас всё более и всё полнее живыми. Когда мы более всего угнетены, когда более всего устали от жизни, как выразилось бы наше неверие, вспомним, что на самом деле устали от вторжения и присутствия смерти. Когда больше всего клонит ко сну, побудим себя к жизни. Прежде всего будем избегать ложного убежища изнеможения, в котором опускаются руки, безнадёжной покорности тому, что есть. Недовольна в нас именно жизнь; нам нужно больше того, что недовольно, а не больше причины его недовольства. Недовольство, повторяю, — это жизнь в нас, которой не хватает самой себя, которой недостаточно самой себя и которая потому просит большего. Побеждает тот, кто среди боли и слабости взывает не о смерти, не о покое забвения, а о силе бороться; о большей мощи, о более полном сознании бытия, о большем присутствии Бога в себе; кто, будучи тяжелей всего ранен, говорит вместе с сэром Эндрю Бартоном из старой баллады:

> [12] Сражайтесь, друзья, — сэр Эндрю Бартон сказал, —
> Я ранен, но я не убит;
> Прилягу ненадолго, истекая кровью,
> Потом поднимусь — и снова в бой;

[13] — и не с глупой мыслью разыгрывать героя: какое дело до героизма таким созданиям, как мы, ещё едва умеющим

быть честными! — но потому, что так сражаться — истина и единственный путь.

14 Если бы в крайнем нашем истощении к нам, как к Илии, спавшему в пустыне, пришёл ангел, чтобы разбудить нас и указать на приготовленные хлеб и воду, — как бы мы поступили? Не ответили ли бы, в бессильном нежелании встать и поесть: «Вот, я устал до смерти! Боевой дух покинул меня! Битва проиграна или не стоит победы! Мир мне не по силам! Его силы меня не слушаются! Они меня изнурили! Я не совершил спасения даже для своих и никогда не совершу, хоть проживи вечно! Довольно; позволь мне вернуться туда, откуда я пришёл; позволь присоединиться к отцам моим и обрести покой!»? Мне не хотелось бы думать, что, если враг в узнаваемом облике с рыком бросится на нас, мы не поднимемся ему навстречу, шатаясь, как рыцарь Алого Креста, с тяжёлым мечом в обессилевшей руке; но в слабости после тщетного усилия нужна ещё большая вера, чтобы встать и принять пищу, которая принесёт новые усилия, новый труд, новую усталость. Истинный человек уповает на силу, которая ему не принадлежит, которой он не чувствует и даже не всегда желает; верит в могущество, которое кажется далёким, но всё же лежит в корне самой его усталости и потребности в отдыхе — отдыхе, столь же далёком от смерти, как труд. В нашей слабости уповать на силу Бога; говорить: «Я слаб — пусть так; Бог силён»; искать у Того, Кто есть наша жизнь, как естественного, простого исцеления всего, что в нас неладно, силы действовать, быть и жить, даже когда мы устали, — вот победа, побеждающая мир. Верить в Бога — нашу силу — перед лицом всего, что, кажется, опровергает её; верить в Него из глубины слабости и неверия, вопреки оцепенению, усталости и вялости;

сквозь весь оглушающий, расслабляющий, искажающий сон верить в бодрствующую действительность; хотеть пробудиться, когда само существо словно жаждет безбожного покоя, — вот неровные ступени к высоким полям, где покой — лишь форма силы, сила — лишь форма радости, радость — лишь форма любви. «Я слаб, — говорит истинная душа, — но не настолько, чтобы не хотеть быть сильной; не настолько сонна, чтобы не хотеть увидеть восход солнца; не настолько хрома, чтобы не хотеть ходить! Благодарение Тому, Кто совершает силу в немощи и даёт Своим возлюбленным, пока они спят!»

15 Если мы только позволим нашему Богу и Отцу исполнить над нами Свою волю, не будет предела тому, насколько Он расширит наше существование, тому потоку жизни, которым Он переполнит наше сознание. Мы не представляем, какой могла бы быть жизнь, насколько необъятным могло бы стать доступное нам сознание. Многие могут вспомнить минуту, когда жизнь казалась богаче и полнее, чем когда-либо прежде; к некоторым такие минуты приходят большей частью во сне. Неужели душа, бодрствующая или спящая, способна вместить блаженство большее, чем то, которое её Жизнь, живой Бог, может утвердить, увековечить, расширить? Неужели человеческие сумерки сна способны породить или вместить более полную жизнь, чем утро божественной деятельности? Ведь Бог в любую минуту мог бы одним словом, обращённым к душе, новым дыханием в тайные пещеры её бытия дать ей такое чувство жизни, перед которым самый ликующий восторг земного торжества побледнел бы до пепла! Если когда-нибудь залитое солнцем море, полное парусов, под синим небом, испещрённым белизной гонимых ветром облаков, наполняло вашу душу словно новым даром жизни,

подумайте, какое чувство существования станет вашим, если Тот, Чья мысль лишь окаймила край своей одежды вспышкой такого зрелища, поселится у вас и, мысля радость Бога внутри вашего существа, даст вам знать и почувствовать, что несёт вас, как отец, у Своей груди!

[16] Я говорил так, словно жизнь и сознание жизни — одно; но сознание жизни — не жизнь, оно лишь её следствие. Настоящая жизнь — то, что существует из себя и через себя, что есть жизнь, потому что само желает себя, что есть в деятельном, а не страдательном смысле; таковым может быть лишь Бог. Но и в нас должна быть жизнь, соответствующая жизни Божией; и в нас должна быть жизнь, сама себя желающая, — жизнь, настолько подобная самосущей жизни и причастная её образу, что она участвует в собственном бытии. Человеку возможно самобытное действие, которое должно положить начало действительности его существования. Он должен жить в желании жить и через это желание. Дерево живёт; я почти не сомневаюсь, что у него есть некое смутное сознание, посредством которого оно познаёт, но которое само не познаётся им, а лишь Богом, его создавшим; я верю, что жизнь в своих низших формах идёт к мысли и блаженству, находится в процессе того, так сказать, отделения от Бога, в котором состоит сотворение живых душ. Но жизнь этих низших форм — не жизнь в высшем смысле, в том смысле, в каком слово употребляется в Библии: истинная жизнь знает себя и управляет собой; вечная жизнь — жизнь пробудившаяся. Жизнь самого возвышенного из животных не такова, чем бы она ни могла стать и как бы я ни отказывался верить, будто их судьба и бытие навсегда закреплены в том виде, в каком мы их видим. Но как едва ли мужчина или женщина склонны были бы назвать существование собаки, в чьих

тоскливых глазах светится странная нехватка чего-то, существованием удовлетворительным, её жизнь — целью, достаточной самой по себе, так и я, глядя на человеческие удовольствия, человеческую утончённость, обычные человеческие стремления вокруг меня, не мог бы согласиться, что они достойны имени жизни. Истинное в них обитает среди неоспариваемого тления, для уничтожения которого нужны покаяние, труд и молитва. Состояние большинства мужчин и женщин кажется мне жизнью в смерти, пребыванием в непобелённых гробницах, обладанием увядающими формами со стороны духов, которые дремлют и бормочут во сне. То, что они сами этого не чувствуют, ничего не значит. Свинья, валяющаяся в грязи, может с полным правом утверждать, что так она хранит чистоту, но их жизнь — не жизнь рождённых от Бога. Должен прийти день, когда они закроют лица от такого стыда, какой добрый человек ещё испытывает, вспоминая время, когда жил подобно им. Для человека нет ничего достойного имени жизни, кроме жизни вечной — Божией жизни, в которой, по своей мере, участвует человек, также созданный для вечности. Ибо он — образ Божий, предназначенный приобщиться к жизни Всевышнего, быть живым, как жив Он. Плод и свет этой жизни — праведность, любовь, благодать, истина; но сама жизнь — то, что не поддаётся определению, как не поддаётся определению Бог: она — сила, бесформенная причина формы. У неё нет границ, по которым можно было бы определить её. Она открывается душе, алчущей и жаждущей праведности, но эта душа не может показать её другой иначе как сиянием собственного света. Невежественная душа понимает под вечной жизнью лишь бесконечное продление сознания; Бог же разумеет бытие,

подобное Его собственному, бытие, недоступное нападению тления или смерти, бытие столь сущностное, что оно не имеет никакого отношения к небытию; нечто, что есть и никогда не может уйти в то, чего нет, ибо никогда не имело с ним дела, но вышло из сердца Жизни, из сердца Бога, источника бытия; существование, причастное божественной природе и, как и Сам Вечный, не имеющее ничего общего с тем, что может миновать или прекратиться. Бог никому не обязан Своим бытием, и у Его дитяти нет господина, кроме Отца.

[17] Эта жизнь, эта вечная жизнь, для человека состоит в абсолютном единстве с Богом и со всеми божественными образами бытия, в единстве со всякой стороной правого и гармоничного. Она состоит в любви, столь же глубокой, сколь всеобъемлющей, столь же сознательной, сколь неизреченной; любви, о которой не больше возможно рассуждать, чем о самой жизни; любви, чьё присутствие — её достаточное доказательство и оправдание, чьё отсутствие — уничтожающий изъян. Кто её не имеет, тот не может в неё верить: как смерти верить в жизнь, хотя все птицы Божии поют, ликуя, над пустой гробницей! Какова может, какова должна быть радость такого бытия, великолепие сознания, устремляющегося из широко распахнутых врат источника существования, восторг духовного чувства, в которое безмолвной полнотой вливается из сердца сердец волна жизни сущностной, бессмертной, несотворённой, — в великий день Бога и отдельной души!

[18] Каково же наше практическое отношение к первоначальной жизни? Что должны мы делать, чтобы достигнуть воскресения из мёртвых? Если мы не создали и не могли создать самих себя, как можем мы теперь, уже

созданные, что-либо сделать у неведомых корней нашего бытия? Какое отношение сознательного единства может быть между самосущим Богом и существами, живущими по воле другого, существами, которые не могли отказаться от бытия, не могут даже перестать быть, но должны по воле этого другого продолжать жить, утомлённые тем, что не есть жизнь, и способны утверждать своё отношение к жизни лишь отказом довольствоваться тем, что не есть жизнь?

[19] Самосущий Бог и есть тот Другой, по Чьей воле мы живём; значит, звенья единства уже должны существовать, и остаётся лишь соединить их. Звено в нашем бытии, которым можно замкнуть круг бессмертного единства с Отцом, мы, конечно, должны искать в самой глубине человеческой природы: лишь там, несомненно, оно может быть найдено. И там мы его находим. Ибо *воля* — самое глубокое, самое сильное, самое божественное в человеке; предполагаю, что такова она и в Боге, ибо такою мы находим её в Иисусе Христе. Здесь, и только здесь, в отношении двух воль, Божией и его собственной, человек может войти в живое соприкосновение — согласно вечной идее, не в одностороннем единстве полнейшей зависимости, а в добровольно избранной гармонии единства двоих — с Тем, Кто есть всё во всём. Когда человек способен всецело сказать и действительно говорит: «Не моя воля, но Твоя да будет», — когда он так желает воли Божией, что исполняет её, тогда он един с Богом, един, как истинный сын с истинным отцом. Когда человек желает, чтобы его бытие сообразовалось с бытием его Источника, которое есть жизнь в его жизни, порождающая и несущая её, а потому жизнь его всецело и исключительно одного рода с нею, единая с нею больше и глубже, чем способны

выразить слова и образы; с той жизнью, которая есть он сам, только больше его самого и больше, чем он сам, и которая порождает его самого; когда человек так принимает жизнь, его породившую, *и берётся жить волей этой порождающей жизни*, смиренно стремясь к правам, данным его происхождением, — принимая таким образом Бога, он в самом этом действии становится причастником божественной природы, истинным сыном живого Бога и наследником всего Его достояния: послушанием сына принимает в себя самую жизнь Отца. Послушание — соединение звеньев вечного круга. Послушание — лишь другая сторона творящей воли. Воля есть Божия воля, послушание — человеческая; обе составляют одно. Коренная Жизнь, прекрасно зная, какие тысячи бед это Ей принесёт, создала и продолжает создавать другие жизни, чтобы они, хотя и неспособные к самобытию, могли добровольным послушанием разделить блаженство Её сущностного, Самой Собою установленного бытия. Если мы исполняем волю Божию, вечная жизнь — наша: не простая непрерывность существования, ибо сама по себе она столь же лишена ценности, как ад, а бытие, единое с сущностной Жизнью и потому доступное Ей для наполнения обильными и бесконечными излияниями Её любви. Наши души будут вечно растущими сосудами и по мере роста будут наполняться всё большей жизнью, исходящей от Отца и Сына, от Бога повелевающего и Бога послушного. Какова радость этого бытия, каково изобилие жизни, которую Он пришёл нам дать, мы не узнаем, пока её не обретём. Но уже теперь святому воображению она порой может казаться слишком славной, чтобы её вынести, словно нам предстоит умереть от самой жизни, от большего бытия, чем мы можем вместить, — и пробудиться к ещё высшей

жизни, и наполниться вином, которое наши души прежде были слишком слабы удержать! Осознать хотя бы на одну минуту такую чистую, простую любовь хотя бы к одному из моих ближних, какую, верю, я некогда буду питать к каждому, — это само по себе должно дать чувство жизни, которое крайнее усилие моего воображения сейчас способно лишь слабо оттенить: могучую славу сознания! Ей, правда, не предстоит всегда быть в сознании: моя жизнь — моя любовь, а не моя слава в этой любви. Уже в одной такой любви, в простой чистоте единственного чувства, которое мы созданы рождать и призваны лелеять ко всем, было бы невыразимое, неизреченное расширение жизни. Ибо мы созданы для любви, а не для собственного «я». Наш ближний — наше убежище; *собственное «я»* — наш демон-враг. Всякий человек для всякого человека — образ Божий, и по мере любви к нему мы будем узнавать этот священный факт. Драгоценность для человеческой души есть — и некогда будет признано, что есть, — всякая человеческая душа. И если так между человеком и человеком, как же будет между человеком и его Создателем, между дитятей и его вечным Отцом, между сотворённой и творящей Жизнью? Разве слава существования не должна без конца удваиваться в бесконечной любви создания — ибо всякая любовь бесконечна — к бесконечному Богу, великой единственной Жизни, кроме Которой нет иной, а есть лишь тени, прекрасные Его тени!

[20] Читатель, которому мои слова кажутся напыщенностью и нелепой восторженностью, для тебя ничего не будет значить, если я скажу, что сам, по-моему, говорю лишь слова истины и здравого смысла; но что, если они кажутся твоему уму иными не только потому, что ты не здоров, а потому, что твоё существо вовсе не жаждет

гармонии, что ты не от истины, что ещё не начал жить? Как гуляке, выходящему измученным и опустошённым из притонов, где неистовые силой захватывают радость, лишь затем, чтобы увидеть её умирающей в своих объятиях, — как такому гуляке, говорю я, выйти и запеть вместе с сынами утра, когда океан света изливается из восточного источника? Столь же мало можешь и ты, с умом, полным мелких забот или ещё более мелких честолюбивых замыслов, понять стоны и родовые муки творения. Возможно, ты искренне желаешь спасти свою жалкую душу, но пока ещё мало можешь знать о своей нужде в Том, Кто есть *Первый и Последний и Живой*.

Страх Божий

[1] *«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его как мёртвый. И Он положил на меня правую руку Свою, говоря: не бойся; Я Первый и Последний и Живой».* — Откр. 1:17–18.

[2] Не только первые зачатки религии полны страха. Пока любовь несовершенна, остаётся место для мучения. Только любовь, наполняющая сердце, — а ничто, кроме любви, не может наполнить никакого сердца, — способна изгнать страх, не оставив места для его присутствия. То, что мы находим в начале религии, будет в разной мере сохраняться, пока религия, то есть любовь, не достигнет совершенства.

[3] То, что неведомо, но о чём известно, что оно существует, всегда будет более или менее внушать страх. Когда мы знаем, что оно неизмеримо превосходит нас, имеет на нас права и предъявляет к нам требования, то чем смутнее мы их понимаем, тем больше места для тревоги; а если совесть нечиста, эта тревога вполне может подняться до ужаса. Род и степень ужаса будут соответствовать природе ума, занятого мыслью о Всевышнем, — рассматривает ли он Его как Творца или как Владыку. Такой ужас вовсе не предполагает высоких представлений о Боге; больше всего Его боятся те, кто воображает Его всего более похожим на собственное злое «я», только превосходящим их силой и потому легко способным произвольно поступать с ними по Своей воле. То, что они ставят Его лишь немного выше себя, нисколько не ведёт к единению с Ним: кто дальше друг от друга, чем находящиеся на одной ступени ненависти и недоверия? Сила без любви, зависимость там, где нет праведности, рождают поклонение без преданности,

мерзость рабской лести. Но и там, где представление о Боге лучше, а совесть встревожена, Его благость мало поможет устранить опасения. То же сознание зла и вины, которое породило кровавую жертву, всё ещё действует в умах большинства называющих себя христианами. Естественно, первое чувство человека к существу, которое он называет Богом, но о котором знает так мало, — страх.

[4] Где страх ещё возможен, хорошо, чтобы он существовал, причинял постоянное беспокойство и был изгнан не чем иным, как любовью. В том, кто не знает Бога и кому уж никак не следует быть довольным собой, страх перед Богом столь же разумен, сколь естественен, и могущественно служит развитию его истинной человечности. Ни дикарь, ни самодовольный мудрец ещё не человек в должном смысле. Неважно, считаем ли мы того или другого выродившимся или неразвитым: ни тот ни другой, говорю я, ещё не человек; человечность в нём есть, но в каждом должна родиться, и для этого рождения всё естественное должно внести свою долю. Страх естественен и имеет в рождении истинной человечности роль, которую ничто другое исполнить не может. Пока любовь, которая есть истинное отношение к Богу, не способна изгнать страх, хорошо, чтобы страх оставался: это связь, сколь угодно бедная, между тем, что существует, и Тем, Кто творит; связь, которую нужно разорвать, но которую можно разорвать лишь затягиванием бесконечно более тесной связи. Воистину Бог должен быть страшен тем, кто далёк от Него; ибо они боятся, что Он сделает, — более того, Он уже делает с ними то, чего они не желают, не могут желать и едва способны вынести. Такими, каковы многие люди и какими стали бы все без Бога, они должны предпочитать дьявола,

из-за его величайшего себялюбия, Богу, Который готов умереть за Свои создания и настаивает на том, чтобы отдать им Себя, настаивает, чтобы они стали, как Он, свободны от себялюбия и блаженны. Они должны стать тем, что составляет силу и ценность жизни, или умереть; смутное сознание этого и заставляет их бояться. Они любят своё бедное существование таким, каково оно есть; Бог любит его таким, каким оно должно быть, — и они боятся Его.

5 Ложные представления людей низкой, неразвитой природы и о том, что есть добро, и о том, чего требует от них Высшая Сила, таковы, что они не могут не бояться, и преданность теряется в жертвах заискивания. Бог принимает их там, где они находятся, принимает всё, что они честно приносят, и тем помогает им перерасти самих себя, приготовляя их принести истинное приношение и познать Того, Кому они поклоняются в неведении. Он не устранит их страх иначе как истиной Своего собственного существа. Пока они её не постигнут и чтобы они могли прийти к её постижению, Он принимает их кровавые жертвы, изобретение их мучительной нужды, пока лишь воздействуя на способы их принесения. Ложь, которая не вполне ложь, Он уничтожит лишь истиной, которая вся истинна. Хотя Он любит их всецело, Он не говорит им, что в Нём нет ничего, чего им следует бояться. Это означало бы навсегда отогнать их от Себя. Пока они таковы, каковы есть, в Нём многое не может их не пугать; они должны бояться Его, и хорошо делают, что боятся. Пока они остаются такими, страх — единственное истинное отношение между ними. Устранить этот страх из их сердец иначе как дав им узнать Его любовь с её очистительным огнём — любовь, которой они, быть может, ещё века не способны узнать, — значило бы

всецело отдать их власти зла. Убедите людей, что страх — низкая вещь, что он оскорбляет Бога, что Бог его не приемлет, — тогда как они ещё влюблены в собственную волю и рабы каждого движения страстного порыва, — и что последует? Они оскорбят Бога как отвергнутого идола, как суеверие, ложь, как нечто, под чьим злым влиянием они слишком долго стонали, нечто, что надо выбросить и оплевать. Много ли после этого они о Нём узнают? И недолго бы прошло до возвращения прежнего страха — быть может, с той разницей, что вместо трепета перед живой силой они трепетали бы перед силами, которые прежде считали неодушевлёнными, а теперь наделили душами по воображению своих страхов. Тогда вновь наступил бы духовный хаос со всеми его чудовищами. Бог таков, каков Он есть: Бог, любящий праведность; Бог, Который скорее сложил бы с Себя Божество и утвердил Себя прекращением бытия, чем совершил несправедливость; Бог, Который, чтобы Его создание не умерло от неведения, умер настолько, насколько может умереть Бог, — а это божественно больше, чем может умереть человек, — чтобы дать ему Себя. Такой Бог, говорю я, вполне может издали казаться страшным созданию, которое не признаёт в себе никакого обязательного добра, которое боится лишь страдания и не имеет возвышенных стремлений — одного жалкого честолюбия! Но по мере того, как такое создание приближается, возрастает к Тому, по Чьему подобию и ради Чьего подобия было положено его начало; по мере, то есть, того, как ему начинает открываться вечная правда; по мере того, как оно становится способно помыслить, что люди, подобные ему, принадлежат ему так, как оно никогда не могло бы принадлежать себе; приближается к способности увидеть и понять, что его

индивидуальность может стать совершенной только в любви к ближнему, а его бытие может найти свою цель только в единстве с источником, из которого вышло; по мере — не говорю, что оно видит всё это, но что оно приближается к возможности увидеть, — его ужас перед Богом своей жизни будет слабеть. Хотя оно ещё далеко даже от предчувствия ожидающего его блаженства, оно приближается к цели своей природы, к центральной тайной радости сыновства Богу, Который любит праведность и ненавидит беззаконие, не делает ничего, чего не позволил бы Своему созданию, не требует от создания ничего, чего не сделал бы Сам.

[6] Огонь Божий, который есть Его сущностное бытие, Его любовь, Его творческая сила, — огонь, отличающийся от своего земного символа тем, что жжёт лишь на расстоянии: чем дальше от Него, тем сильнее жжёт, а когда мы обращаемся и начинаем приближаться к Нему, жжение начинает превращаться в утешение; утешение же вырастет в такое блаженство, что сердце наконец воскликнет с радостью, которой не достигнет никакая иная радость: «Кто мне на небе, кроме Тебя? И на земле я ничего не желаю, кроме Тебя!» Слава бытия, сущность жизни и её радости, сияя на тленное и мертвящее, должна, как солнце, пожирать мёртвое и обращать тление в прах. То, что она выжигает в душе, не принадлежит душе, более того, совершенно ей противно; но столь близок к душе этот гнусный грибной нарост, выросший из неё и питающийся ею, что его выжигание чувствуется каждым духовным нервом. Когда злые паразиты будут истреблены — то есть когда человек отдаст своё «я» со всем его низким миром и вернётся к своему Господу и Богу, — тогда то, что прежде он сознавал лишь как жжение, он почувствует как любовь, утешение, силу, как

вечную, вечно растущую жизнь в себе. Ибо теперь он жив, а жизнь не может повредить жизни; она может повредить лишь смерти, которую необходимо и должно уничтожить. Бог — жизнь сущностная, вечная, и смерть не может жить перед Его лицом: ибо смерть есть тление, она не существует сама по себе, живя лишь в распаде того, что принадлежит жизни. Поэтому если какое-либо дитя Отца находит, что боится перед Ним, что мысль о Боге причиняет ему беспокойство или даже ужас, пусть поспешит — пусть не медлит, надевая какую-нибудь одежду, но тотчас, нагим, как истинное дитя, бросится за укрытием от собственного зла и Божия ужаса в спасительные объятия Отца, в дом, откуда его послали, чтобы оно узнало: это дом. Какого отца, будь он и зол, не тронет вид ребёнка, которым он был недоволен, бегущего в его объятия? Тем более Отец наших духов, Который не ищет ничего, кроме самих Своих детей, примет его с распростёртыми руками!

[7] Собственное «я», принятое как закон собственного «я», — единственный демон-враг жизни; Бог — единственный Спаситель от него и от всего, что не Бог, ибо Бог — жизнь, а всё, что не Бог, — смерть. Жизнь — уничтожение смерти, всего, что убивает, всего, что сродни смерти.

[8] Когда Иоанн увидел славу Сына Человеческого, он пал к ногам Его как мёртвый. Каким образом Иоанн Его увидел — в том ли, что мы неопределённо зовём видением, или столь же по-человечески, как тогда, когда возлежал у Него на груди и поднимал глаза к Его лицу, — я сейчас не хочу спрашивать: для явления Иисуса потребовались бы все славные облики человечества, и Он знал, как надлежит явить Себя Иоанну. Мне кажется, такие слова, как те, что были произнесены, не могли исходить из уст

простого видения, не могли быть допущены в слух, всего лишь пребывающий в исступлении; что их произнесли уста Самого Господа и что никто, кроме живого, присутствующего Иисуса, не мог их произнести и не может мыслиться произносящим их; при этом очевидно, что Иоанн принял и ощутил их как весть, которую должен был передать дальше. Есть также, как бы странно ни действовало на нас всё целое, различные черты его описания явления Господа, которые даже нашему неведению внушают доверие своим величием и уместностью. Почему же Иоанна охватил ужас? Мы вспоминаем, что нечто сродни ужасу захлестнуло сознание трёх учеников, увидевших Его славу на горе; но с тех пор Иоанн возлежал на груди Господа, следовал за Ним к судилищу и не отрёкся от Его имени, свидетельствовал о Его воскресении и страдал за Него — и теперь был «на острове, называемом Патмос, за слово Божие и свидетельство Иисуса»: почему же, спрашиваю, он боялся, почему должен был бояться? Никакая слава, даже Божия, не *должна* рождать ужаса; когда дитя Божие боится, это знак, что слово *Отец* ещё не свободно складывается на духовных устах ребёнка. Слава может породить ужас лишь в том, кто способен устрашиться её; пока он таков, хорошо, чтобы ужас возникал и сохранялся, пока человек не станет искать от него убежища в единственном месте, где его нет, — в лоне самой славы.

[9] Один оттенок невозможно различить по греческому тексту: означает ли он «подобного *тому самому* Сыну Человеческому» или «подобного *некоему* сыну человеческому»? Общепринятый английский перевод даёт первое, исправленный предпочитает второе. Я склоняюсь к первому и думаю, что Иоанн увидел Его

подобным человеку, которого так хорошо знал, и что неуверенным его сделала чрезмерная слава, затмившая зрение, а не замеченное несходство, примешавшееся к сходству. Ничто так не ослепляет, как свет, и сама слава знакомых черт *Того Самого* Сына Человеческого вполне могла помешать Иоанну ясно их различить.

10 Но явление Сына Человеческого не предназначалось для того, чтобы породить ужас в сыне человеческом, к которому Он пришёл. Почему же Иоанн боялся? Почему слуга Господа пал к ногам Его как мёртвый? Нам на радость, что это произошло, — ради последовавших слов, которые уж конечно не были призрачным порождением смутного видения или ослепляющего ужаса! Они несут в себе наилучшую печать своего источника: каким бы образом они ни дошли до его слуха, они должны исходить из сердца нашего великого Брата, единственного Человека, Христа Иисуса, божественно человечного!

11 Всё ещё и единственно несовершенство ученика, не достигшего полноты веры и потому полноты всего, что нужно человеку, было причиной его ужаса. Разве не это подразумевается в словах Господа, сказанных ему, когда он пал! О том, что испугало Иоанна, Он говорит как о том, что должно было отнять у него всякий страх. Ибо слава, которую тот видел, — голова и волосы, изливавшие такое сияние света, что были белы, как белая шерсть, белоснежны, как Его одежды на горе Ермон; посреди сияния глаза, подобные огненному пламени, и лицо, как солнце, сияющее во всей силе; более тёмное свечение ног, всё же подобное очищенной меди, раскалённой в печи, — словно они, в память сумерек Его уничижения, касаясь земли, принимали славу более смиренную, нежели Его голова высоко в эмпирее ненарушенного

совершенства; пояс под грудью, золотой между снегом и медью, — чем было всё это, если не сиянием славы Того, Кто Сам был сиянием славы Отца, бедным выражением неизреченной истины, которая сама и была причиной, почему Иоанну не следовало бояться? «Он положил на меня правую руку Свою, говоря мне: не бойся; Я Первый и Последний и Живой».

12 Бесконечен должен быть наш ужас, пока мы не приблизимся сердцем к сердцу огненного средоточия вселенной, Первого и Последнего и Живого!

13 Но какая радость услышать от Самой Силы, от Первого и Последнего, от Живого — услышать то, что, как мы тогда видим, действительно *должно* быть истинным, но во что мы так медленно веруем: что лекарство от трепета — присутствие Силы; что страх не устоит перед Мощью; что зримый Бог есть уничтожение смерти; что единственная безопасность во вселенной — совершенная близость Живого! Бог есть бытие; смерти нет нигде! Каково научиться этому из самых уст Того, Кто знает! Своему слуге Павлу Он сказал, что сила совершается в немощи; здесь Он наставляет Своего слугу Иоанна, что бояться следует слабости, а не силы. Все обличья силы, которые могли бы справедливо внушать ужас, — лишь ложные обличья; истинно Сильный — *Один*, как и истинно Благой — *Один*. Живому принадлежит власть жизни; Злому — лишь власть смерти, сама природа которой заключает в себе необходимость собственного уничтожения.

14 Но слава самого кроткого явления Живого такова, что даже самый дорогой из Его апостолов, лучший из сынов человеческих, робеет при этом зрелище. Он ещё не усвоил, что сама слава — часть его наследства, более того, принадлежит естественному состоянию его бытия;

что в человеке, созданном по образу Божию, нет ничего чуждого самым славным небесным явлениям. Он ещё не усвоил этого и падает перед ним как мёртвый — и вот голос Того, Кто был, есть и будет вовеки, велит ему не бояться именно по той причине, единственной причине, что Он — Первый и Последний, Живой! Ибо что может стать радостью, миром, полнотой живущего, кроме теснейшего соприкосновения с его Жизнью? — соприкосновения столь же тесного, как прежде, чем он вышел из той Жизни, только бесконечно высшего рода, поскольку теперь оно желанно с *обеих* сторон. Тому, кто имел начало, нужна обитающая в нём сила этого начала, чтобы его бытие стало полным — не только полным в его сознании, но полным в самом себе: оправданным, округлившимся, завершившимся там, где началось, — «бесконечным завершением». Тогда оно полно так же, как полно Божие бытие, ибо едино с Самосущим, цветёт в воздухе того мира, где укоренено, где живёт и растёт. Вместо того чтобы трепетать оттого, что Тот, на Чьей груди он возлежал, когда свет Его любви был почти весь сокрыт, теперь стоит перед ним, изливая славу этой любви, Иоанн Воанергес должен был ощущать тем большую радость и безопасность, чем явственнее была сила Живого. Доверять Иисусу следовало вовсе не потому, что Он был облечён в немощь плоти, а потому, что Он был силён силою, способной принять немощь плоти как одеяние, в котором она лучше всего совершит своё дело: эта сила теперь сияла собственным светом, ещё недавно заключённым в открывающем её покрове. Если бы Иоанн был столь же близок духом к Сыну Человеческому, как прежде был близок телесно, он, конечно, пал бы к Его ногам, но не как мёртвый — как человек, слишком переполненный радостью, чтобы стоять перед Жизнью,

питавшей его жизнь; он пал бы, но не затем, чтобы лежать без чувств от самого святого благоговения; он пал бы, чтобы обнять и целовать ноги Того, Кто теперь во второй раз, словно воскреснув свыше, восстал перед ним в ещё более небесной полноте славы.

15 Разумно боится силы человек злой, человек корыстных замыслов, а не тот, кто охотно творил бы правое, не тот, кто даже в худшую свою пору тотчас покорился бы слову Учителя. Когда Бог перестанет быть Владыкой мира и найдётся кто-то сильнее Его; когда зло будет обладать собственной мощью, а то, чья природа — разрушение, будет обладать творческой силой, — тогда настанет время страшиться силы. Но даже тогда дурной человек не был бы в безопасности от случая пересечь какой-нибудь замысел беззаконного мгновения, где распад — единственное единство плана, и быть перемолотым и уничтоженным ради какого-нибудь бессмыслия Силы тьмы. И тогда настало бы время для доброго — нет, не трепетать, а вместе с Господом света решиться всё перенести, дать каждой волне зла ударяться и разбиваться о него, но не совершить ни малейшего зла, не сказать ради Бога ни самой невинной лжи, зная, что всякая так завоёванная область не может принадлежать никакому царству небесному, а будет лишь провинцией царства тьмы. Если бы существовали две силы — одна злая, другая добрая, — как люди в неведении вполне естественно воображали, чувство долга обнаруживало бы существо, рождённое доброй силой, тогда как рождённое злой не имело бы иного выбора, кроме зла. Но творить может лишь Добро; и будь Зло сколь угодно сильнее, долг людей остался бы прежним: держаться Живого и бросать вызов Силе, пусть она делает худшее, — как Прометей на скале, бросающий вызов Юпитеру и вечно умирающий,

тем вечно посрамляя Зло. Ибо Зло может уничтожать лишь себя и своё; ни одного врага оно уничтожить не может — в худшем случае оно могло бы лишь причинять череду смертей, из каждой из которых непокорная душа восставала бы к более высокому противостоянию, к более победоносному терпению, пока наконец не рассмеялась бы Злу в лицо, а демон-бог не сжался бы перед нею иссохшим. Какое же место для страха в тех, кто верит, что добро — единственная сила и что зло существует лишь потому, что некоторое время служит, не может не служить добру? Сильный и Благой — одно; и если наша надежда совпадает с надеждой Бога, если она укоренена в Его воле, что нам делать, кроме как радоваться сияющей славе Первого и Последнего?

16 Первый и Последний — круговая защита крепости нашего бытия; Учитель впереди и позади; Он положил начало, Он позаботится, чтобы конца не было. Он охраняет крепость; Он — Живой, оживляющий.

17 Итак, причина не бояться перед Богом в том, что Он всеславен, всесовершенен. Наше бытие нуждается во всеславном, всесовершенном Боге. Дети не могут обойтись ничем меньшим, чем Отец; им нужен Бесконечный. За пределами всего, в чём бедный разум способен различить порядок; за пределами всего, что может измыслить богатое воображение; за пределами всего, чего могло бы желать самое алчущее сердце и за что могло бы благодарить самое полное, — за всем этим, как небеса выше земли, возвышаются мысль, творение, любовь Бога, Который во Христе, Его Бога и нашего Бога, Его Отца и нашего Отца.

18 За века до рождения Иисуса, когда — или, по крайней мере, там, где — ещё не знали даже Моисея и его закона,

страдающее сердце человечества увидело и уверилось, что нигде нет ему мира, кроме как у Первого, Последнего, Живого:

19 *О, если бы Ты укрыл меня в могиле… и вспомнил обо мне!… Ты позовёшь, и я отвечу Тебе: Ты возжелаешь дела рук Твоих.*

Голос Иова

1 «*О, если бы Ты укрыл меня в могиле, если бы Ты спрятал меня, пока не пройдёт Твой гнев, назначил мне срок и вспомнил обо мне! Если человек умрёт, будет ли он снова жить? Во все дни назначенного мне срока я буду ждать, пока не придёт моя перемена. Ты позовёшь, и я отвечу Тебе: Ты возжелаешь дела рук Твоих*». — Иов 14:13–15.

2 Книга Иова кажется мне самой дерзновенной из поэм: с позиции реализма, лишённого всяких преимуществ, она штурмует самую цитадель идеала! Её герой — человек, сидящий в пепле, покрытый отвратительными нарывами с головы до ног и скребущий себя черепком. Израненный телом, израненный умом, израненный сердцем, израненный духом, он являет образец человечества в глубине его бедствия: все волны и валы мира враждебных обстоятельств свободно перекатываются над его головой. Пусть не думают, будто словом *человечество* я обозначаю отвлечённое понятие или всю человеческую массу; я имею в виду бесконечно повторяющуюся человечность отдельной личности: Иов, говорю я, — *человеческое существо*, средоточие тошнотворных нападений боли, жутких вторжений страха. Предполагаю, что они в то или иное время грозят захлестнуть каждого человека, открывают ему его порабощённость внешнему и побуждают искать выход в бесконечное, где только он и может радоваться свободе, принадлежащей его природе. Сидя в самом сердце свинцового отчаяния, Иов громко взывает к незримой, едва ведомой Силе, которую всё же признаёт Богом своей жизни. Но его вопль столь же мало рабский, как вызов, который Прометей со своей скалы

бросает Юпитеру. Он подавлен сильнее титана, ибо испытывает не только боль, но и бесконечное недоумение; однако в его вопле не больше следа трусости, чем в вопле Прометея. Перед Судией он утверждает свою невиновность и отказывается пресмыкаться, зная, что так вести себя значило бы оскорблять святое. Он чувствует, что не заслужил такого страдания, и не станет ни говорить, ни слушать ложь ради Бога.

[3] Прометей терпеливее Иова — терпением камня. Иов нисколько не стоик: он жалуется, как ребёнок, смелый ребёнок, которому кажется, что с ним поступают несправедливо, и который отшатывается от бессмысленности происходящего в потрясённом ужасом недоумении. Прометей имеет дело с тираном, которого презирает и перед которым поэтому терпит без жалоб и без покорности, поддерживаемый сознанием, что сражается за человечество против почти всемогущего Себялюбия: терпение — единственное действенное оружие против него, и он будет терпеть до вечно отдаляемого конца! Иов же тем более смятён, что руку на него возложил Тот, Кто стоит во главе и в сердце, Кто есть начало и конец вещей, — возложил с такой тяжкой мукой, что от боли он берёт свою плоть в зубы. Он не может и не хочет верить, что *Он* тиран; но, возражая против Его обращения с собой, любит Его и взирает на Него как на источник жизни, силу и радость бытия. Он не смеет считать Бога несправедливым, но не может из-за этого допустить, будто сделал что-то, заслуживающее такого обращения с Его стороны. Поэтому он неизбежно пребывает в глубочайшем недоумении: как примирить эти две вещи? Ему ещё не пришла мысль, что то, что было бы несправедливо возложить на него как наказание, всё же может быть возложено как милость — высочайшей

любовью, желающей дать ему благословение превыше всякой возможной молитвы; благословение, которого он не осмелился бы просить, если бы увидел средства, необходимые для его дарования, но ради которого, однажды узнав и поняв его, был бы готов вновь перенести всё пережитое. Поэтому он так мучительно раздвоен в себе. Хотя он не должен думать, будто Бог ошибся в нём, несоответствие, похожее на ошибку, навязывается ему через каждый канал мысли и чувства. Он нисколько не ослабил стремления к благочестивой жизни, и всё же рука Бога, Которого он признавал на всех своих путях, поднята против него так, как редко против какого-либо беззаконника! — и не против него одного, ибо его сыновья и дочери сметены, словно порождение ехидны! Имущество, делавшее его величайшим из всех людей Востока, отнято у него огнём, ветром и рукой врага! Он беден, как беднейший, болен, как самый презренный, лишён детей, бывших его гордостью и силой! Всё худшее, чем страх мог его устрашить, обрушилось на него; и теперь хуже всего — ему отказано в смерти! Молитва о том, чтобы, как нагим он вышел из чрева, так нагим и израненным возвратиться в лоно земли, не услышана; ему оставлено томиться отвращением к себе, при каждом повороте измученной мысли встречать ужасное предположение, что Бог его отверг! Он не отрицает, что в нём есть зло; ибо он молит: «Неужели на такого Ты открываешь очи и ведёшь *меня* на суд с *Тобою*?» Но он отрицает, что был нечестивым человеком, делавшим то, о чём знал, что это зло; он отрицает, что в нём есть лукавство. И кто, зная и оплакивая лукавство в себе, посмеет отрицать, что некогда в мире был Нафанаил? Будь Иов кальвинистом или лютеранином, Книга Иова была бы совсем иной. Его недоумение тогда состояло бы в

том, как Бог, будучи справедлив, может требовать от человека больше, чем тот способен сделать, и наказывать его так, словно его грех — грех совершенного существа, избравшего зло, всю чудовищность которого оно знало. Я же никого не назову Учителем, кроме Христа, — и от Него узнаю, что Его спор с нами в том, что мы не хотим делать известного нам, не хотим прийти к Нему, чтобы иметь жизнь. Насколько бесконечно сильнее действовало бы на людей увещание, основанное не на том, что они сделали, а на том, чего не желают делать!

[4] Детское суждение Иова о Боге никогда не было испорчено и извращено, к бесчестию великого Отца, никакой примесью тех низких теорий, которые мы, увы, вынуждены называть общепринятыми. Объяснения Божиих путей, предлагаемые теми, кто не понимал *Его Самого*, приемлемы для тех, кто не заботится о познании Его, кто довольствуется тем, что стоит вдали и смотрит на облако, откуда исходят громы и голоса; но для тех, кто хотел бы встать и пойти к Отцу, они — бремя, грозящее низвергнуть их в Тофет, бремя тяжкое и невыносимое. Противоречие между представлением Иова о справедливости Бога и тем, что с ним случилось, постоянно преследует его; в нём есть жало, гораздо мучительнее всех прочих бед, которыми он терзается; но оно не закреплено в безнадёжности ада принятым объяснением, ещё более страшным, чем само противоречие. Пусть мировая сфинкс задаёт сколько угодно загадок, она не может пожрать человека, пока тот ожидает ответа от Искупителя мира. Иов отверг объяснение друзей, потому что знал его ложность; принять такое, какое многие дали бы ему в наши дни, значило бы сразу быть пожранным чудовищем. Он просто держится за край Божией одежды, осаждает Его дверь,

снова и снова задаёт свой вопрос, неотступно возвращаясь к единственному источнику истинного ответа и примирения. Никакой ответ не удовлетворит его, кроме того, который может дать только Бог; ибо кто, кроме Бога, может оправдать пути Бога перед Его созданием?

[5] От души, само сознание которой есть противоречие, не следует ждать логики; страдание редко логично, оно само — разлад. И всё же совершенно естественно, что Иов, *чувствуя*, будто Бог поступает с ним несправедливо, непрестанно жаждет увидеть Бога, стремится в Его присутствие, хочет встать перед Ним лицом к лицу. Он желает предстать перед Единым. Он убеждён — или, по крайней мере, лелеет эту мысль как единственную надежду, — что, если бы ему удалось добиться, чтобы Бог его выслушал, если бы он мог ясно изложить перед Ним своё дело, Бог непременно увидел бы, как всё обстоит, и объяснил бы ему это, непременно дал бы ему мир. Человек в пепле узнал бы, что основания мира всё ещё стоят прочно; что Бог не закрыл глаза и — ужас всех ужасов — не перестал быть справедливым! Поэтому он хотел бы расположить перед Ним свои слова и услышать, что Бог скажет: несомненно, Справедливый успокоит ум Своего справедливость любящего создания!

[6] Его друзья — добрые люди, люди религиозные, но фарисейского склада: то есть люди, которые предпочитают заискивать перед Богом, а не входить в Его присутствие как дети; люди с унаследованными теориями, которые послужили их скудным нуждам, удовлетворили их слабые умственные требования, и потому, полагают они, другие должны либо принять их, либо погибнуть; люди, стремящиеся скорее умилостивить

Бога, чем довериться Ему; люди, которые скорее примут от Бога спасение, чем Бога — своё спасение, — эти друзья хотят склонить Иова к признанию, что он лицемер, настаивая: такое могло постигнуть его лишь за нечестие; а поскольку явного нечестия они не знали, значит, за какую-то тайную мерзость. Они сердятся на него, когда он отказывается поверить им вопреки тому, что знает о себе. Они настаивают на его лицемерии, он — на своей праведности. Не следует забывать, что здесь нет никакого самомнения со стороны Иова: поэма готовит нас к верному пониманию этого человека, сообщая в прологе, что Бог сказал обвинителю людей: «Обратил ли ты внимание на Моего раба Иова? Нет такого, как он, на земле: человек совершенный и прямой, боящийся Бога и уклоняющийся от зла». Бог отдаёт Иова в руки сатаны, уверенный в исходе; а в конце испытания одобряет то, что Иов говорил о себе. Но одного явления Бога достаточно, чтобы Иов обратился против самого себя: его делом было всецело доверять Богу, несмотря на всякую видимость, несмотря на всякую действительность! Он больше не станет оправдываться. Он видит: хотя Бог и не наказывал его за грехи, он всё ещё далёк от того, каким должен быть и каким должен стать. «Вот, — говорит он, — я ничтожен; что отвечу Тебе? Полагаю руку мою на уста мои».

[7] Но присмотримся внимательнее к тому, как Иов думает и говорит о Боге и как обращается к Нему, — столь непохоже на фарисейский образ всех веков, и более всего нашего.

[8] Негодуя при мысли, будто его природа требует такого обращения, он восклицает: «Разве я море или кит, что Ты ставишь надо мной стражу?» *Ты знаешь, что я не нечестив*. «Ты ставишь метку на пятках ног моих!» —

чтобы по моим следам был известен пройденный мною путь! Друзьям он кричит: «Будете ли вы нечестиво говорить ради Бога и лживо беседовать ради Него?» *Разве вы не знаете, что я тот человек, каким себя называю?* «Будете ли лицеприятствовать Ему?» — *становясь на Его сторону против меня?* «Будете ли выступать за Бога?» — *быть Его пристрастными защитниками, Его приверженцами*? «Хорошо ли будет, если Он исследует вас? Или, как человек насмехается над человеком, так вы насмехаетесь над Ним?» — *говоря то, чего не думаете*? «Он непременно обличит вас, если вы тайно лицеприятствуете!» — *даже Самому Богу*!

[9] Такие слова приятны слуху Отца духов. Он не тот Бог, Который примет лесть, объявляющую Его свободным от обязательств перед Своими созданиями; не тот Бог, Который потребует от них праведности, отличной от Его собственной; не тот Бог, Который поступит невеликодушно со Своими нищими детьми; не тот Бог, Который предъявит самым малым Своим самые суровые требования! Иов уверен, что получит справедливость. В нём происходит странная, но совершенно естественная борьба чувств. Его вера поистине глубока, и всё же он непрестанно жалуется. Это лишь форма, которую принимает его вера в беде. Даже говоря о жестокости и несообразности обращения, которому он подвергается, он, кажется, уверен: чтобы всё исправилось, ему нужно лишь быть допущенным в присутствие Бога — на беседу со Всевышним. Быть услышанным должно значить получить справедливость. Он употребляет язык, который в устах любого живущего человека привёл бы нынешних религиозных людей в ужас, соразмерный недостатку истины в них, так же как привёл в ужас трёх его друзей, честных фарисеев того времени, чья религия состояла из

«учения» и обличения. Бог ни словом не упрекает Иова за свободу его речи: Он всегда искал таких поклонников, как Иов. Именно те, кто знает и чтит одну внешнюю сторону религии, кто никогда не говорит и не думает о Боге иначе как о *Всемогущем* или *Провидении*, скажут о человеке, желающем подойти к Богу вплотную и говорить с Ним из самой глубины созданной Им природы: «Он неблагоговеен». Произнести имя Бога в драме — высшем из человеческих искусств — для таких людей богохульство. Они заискивают перед Богом, а не любят Его; обращаются с Ним как с далёким, а не как с Тем, Чьё лоно — единственный дом. Они лицеприятствуют Богу. «Неужели Его величие» — нечто совсем иное, чем то, чем вы восхищаетесь, — «не устрашит вас? Неужели Его ужас» — нечто совсем иное, чем то, чему вы оказываете своё языческое почтение, — «не падёт на вас?»

[10] В опустошении этого человека истина Бога кажется ему ещё яснее, чем прежде, единственным, что держит воедино мир, впервые возникший словом Его уст. Если Бог недоступен, человеку, ещё так недавно величайшему на Востоке, остаются только отчаяние и ад. Как ребёнок, спасающийся от уличных собак, он распахивает дверь до стены и, не оглядываясь, бросается искать присутствия Живого. Неся бремя своей смерти, он взывает: «Посмотри, что Ты на меня возложил! Неужели смертный человек, беспомощное создание Твоих рук, должен нести такой крест?» Он хочет бросить свою ношу к ногам Создателя! Бог — Бог утешения; человек знает Его как убежище, как Подателя жизни — или не знает вовсе. Но, увы, он не может прийти к Нему! Нигде не может увидеть Его лица! Он скрылся от него! «О, если бы я знал, где найти Его, чтобы прийти к самому престолу Его! Я изложил бы перед Ним моё дело и наполнил уста мои

доводами. Я узнал бы слова, которыми Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне. Неужели Он стал бы спорить со мной Своей великой силой? Нет! Он вложил бы силу в меня. Там праведник мог бы состязаться с Ним, и я навеки избавился бы от моего судьи. Вот, я иду вперёд — и Его нет; назад — и не могу Его ощутить; налево, где Он действует, — и не могу Его увидеть; направо Он скрывается, и я не вижу Его. Но Он знает путь, которым я иду; когда испытает меня, я выйду, как золото».

11 Он не может Его найти! И всё же всё это время пребывает в Его присутствии, и его слова доходят до слуха Бога, его Спасителя.

12 Величие поэмы в том, что Иов защищает своё дело перед Богом вопреки всем возражениям религиозного авторитета, не признавая никого, кроме Бога, — и в этом оправдан. А величайшее из всего — то, что он подразумевает, если и не говорит прямо, что Бог что-то *должен* Своему созданию. Это начало величайшего из открытий: Бог должен *Самого Себя* созданию, которое Он сотворил по Своему образу, ибо тем самым сделал его неспособным жить без Него. Это высшее право Его созданий на Него — Его самый божественный дар им. Чтобы исполнить это их требование, Он послал Своего Сына, дабы Самому, Отцу Его и нашему, последовать в наши сердца. Быть может, худшее в богословии, построенном из тусклого человеческого *возможного*, а не из бытия, дел и слов Иисуса Христа, — впечатление, которое оно повсюду внушает: будто Бог не признаёт такого обязательства. Разве мы не глина, а Он не горшечник? Как глина может что-либо требовать от горшечника? Мы глина, это верно, но *Его* глина, но духовная глина, живая глина, с потребностями и

желаниями — и *правами*; мы глина, но глина, ради которой стоило умереть Сыну Божию, чтобы она научилась соглашаться быть вылепленной в честь. У нас не может быть заслуг — *заслуга* невозможна; но Бог дал нам права. Вне Него у нас нет ничего; но, созданные Им, вышедшие из Него, мы имеем даже права по отношению к Нему — ах, никогда, никогда не *против* Него! Всё Его желание и весь труд — сделать нас способными просить по праву и побудить нас требовать от Него то, права на что Он даровал нам, созидая нас. У нас не было права быть созданными: это было бы нелепостью; но, будучи созданы, мы имеем права по отношению к Создавшему нас; наши нужды — наши права. Человека, не желающего утолить голод своего ребёнка, осуждает весь мир.

13 «Ах, но, — говорит пристрастный защитник Бога, — Всемогущий находится в отношении совсем ином, чем земной отец: здесь нет соответствия». Согласен: соответствия нет. Человек не создал ребёнка, он лишь уступил побуждению, созданному в нём самом; Бог бесконечно больше обязан заботиться о *Своём* ребёнке, чем любой человек — о своём. Это отношение бесконечно, божественно теснее. Именно к Богу следует относить всякий голод, всякое стремление, всякое желание, всякую жажду нашей природы; Он создал все наши нужды, сделал нас созданиями тысячи потребностей — и у нас нет на Него прав? Нет, наши права бесчисленны, бесконечны; и Его великое право на нас в том, чтобы мы предъявляли Ему наши права.

14 Ужасно представлять Бога так, будто мы не связаны с Ним правом взывать к Его праведности. Как Он мог бы быть праведен, если бы ничего нам не был должен? Какое правое дело могло бы быть у Судии всей земли, если бы

Он ничего не был должен? Поистине, Он не должен нам ничего, чего не воздавал бы как Бог; но мысль, будто в обязательстве есть несовершенство и бесчестие, — от дьявола. Бог столь далёк от подобной мысли, что каждым действием Своего бытия возлагает на Себя обязательства перед Своими созданиями. О величие Его благости, праведности и бесстрашного самоотречения! Когда вторгаются сомнение и ужас, а голос любви в душе нем, что может быть приятнее Отцу людей, чем услышать, как Его дитя взывает к Тому, от Кого произошло: «Вот я, Боже! Ты создал меня: дай мне то, в чём Ты создал меня нуждающимся». Нужда ребёнка, его слабость, его беспомощность — сильнейшие из всех его прав. Если я кит, я вправе требовать моря; если я море, я требую простора, чтобы колыхаться и разбиваться волнами по своему роду; если я лев, я ищу пищи у Бога; если я дитя, превыше всех прочих прав я требую вот чего: если какая-нибудь моя нужда не будет удовлетворена, пусть это будет по любви отца, который даст мне видеть своё лицо и позволит изложить перед ним своё дело. И это должно быть именно тем, чего желает Бог! Чего бы Он хотел, как не того, чтобы дети заявили своё право на Отца? К чему все Его дела с ними, все Его страдания вместе с ними, за них и в них, если не к тому, чтобы они предъявили своё право рождения? Разве их право рождения — не то, ради чего Он их создал и что создал в них, когда творил их? Разве это не то, что Он всеми силами стремился дать им с самого начала их бытия: божественную природу, Самого Бога? У дитяти есть и должно быть право на отца, право, признавать которое — радость отцовского сердца. Созданная нужда есть созданное право. Бог — источник и нужды, и её удовлетворения, Отец наших потребностей, щедрый

Податель благ. Воистину славно Он отвечает правам Своего дитяти! История Иисуса — сердце Его ответа не прежде всего на молитвы, а на божественные потребности детей, которых Он послал в Свою вселенную.

15 Прочь мысль, будто Бог мог бы быть совершенным, достойным поклонения Создателем, сделав для Своих детей меньше, чем сделал! Будто какое-либо иное существо, чем Иисус Христос, могло бы быть достойно всепрославляющего поклонения! Будто Его природа требовала от Него меньшего, чем Он сделал! Будто Его природа — не абсолютная любовь, не абсолютная самоотдача, будто она могла бы существовать без этого высочайшего великолепия!

16 В свете этой истины посмотрим на слова, поставленные в начале проповеди: «*О, если бы Ты укрыл меня в могиле*!» Иов взывает к своему Создателю, Которого страдания вынуждают его считать недовольным им, хотя он не знает почему. *Мы* знаем, что Бог не был недоволен, но Иов не читал предисловия к собственной истории. Он молит Его спрятать его и на время забыть, чтобы в Создателе пробудилось желание снова взглянуть на созданное Им существо, ещё раз увидеть дело Своих рук; чтобы безмолвие, отсутствие и утрата заговорили за погребённого и заставили сердце Родителя вспомнить и затосковать по лицу ребёнка; тогда «Ты позовёшь, и я отвечу Тебе: Ты возжелаешь дела рук Твоих»; тогда он радостно восстанет, чтобы с уверенностью защищать дело своей праведности. Ибо Бог ближе человеку, чем что-либо созданное Богом: что может быть ближе, чем творящее и сотворённое? То, что есть, и то, что есть потому, что есть другое? То, что волит, и то, что отвечает, обязанное воле, сердцу, желанию другого самой способностью отвечать?

Какое иное мыслимое отношение могло бы дать права, сравнимые с возникающими из такого отношения? Бог должен любить Своё создание, поднимающее к Нему голодные глаза, — голодные до жизни, признания, справедливости, до возможности жить той жизнью, ради которой творящая Жизнь сделала его живым. Всё существование создания — единое, целостное право на его Создателя; именно *поэтому* пусть Он поступает со мной как хочет, даже усадит меня в пепел и смотрит, как я скребу себя черепком! — не меньше, а всё настойчивее буду я предъявлять своё право! Утверждать его, настаивать на нём, осаждать им слух и сердце Отца. Разве это не самая сладкая музыка, какую может услышать ухо Создателя? — кроме слова совершенного Сына: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже!» Мы, несовершенные сыновья, тоже научимся говорить те же слова; чтобы мы стали способны произнести их и тем вступить в своё право рождения, более того — стать причастниками божественной природы в самом божественном её начале, Сын пришёл к нам, умер ради умерщвления нашего себялюбия, уничтожения нашей мелкой, пустой гордости, пробуждения нашего детского сыновства. Мы — должники Его Отца за наши нужды, наши права, наши требования, и Он заставит нас заплатить до последней мелкой монеты. Да, Отец столь истинен, что даже принудит нас, через страдание, если понадобится, предъявить наши права, ибо знает: мы вечно нуждаемся в этих вещах. Без сущностных прав своего бытия кто может жить?

[17] Поэтому я протестую против всякого учения, которое, происходя из неверия человеческого сердца и им вскормленное, внушает, будто превосходящая всякую меру благость Бога к человеку не есть естественный и

необходимый плод Его бытия. Корень каждой распространённой в церкви ереси черпает питание единственно и исключительно из почвы неверия. Мысль, будто Бог всё равно был бы Богом, столь славным, сколь Ему надлежит, если бы не взял на Себя божественный труд возвращать домой заблудших детей, если бы ничего не сделал, чтобы взыскать и спасти погибшее, — ложна, как ад. Ложь ради Бога не могла бы зайти дальше. Словно понятие Бога допускает, чтобы Он был меньше, чем Он есть, меньше совершенного, меньше всего во всём, меньше Иисуса Христа! Меньше абсолютной Любви, меньше полного отсутствия себялюбия! Словно Бог, открытый нам в Новом Завете, не есть собственная совершенная необходимость милующей любви, а кто-то, сделавший себя лучше, чем Ему требовалось быть по собственной природе, по собственной любви, по законам, которые Он Сам пожелал сделать законами Своего существования! Они хотят сказать, что, ничем не связанный, Он заслуживает большего почитания! Так могло бы быть, если бы Он не был нашим Отцом. Но думать о живом Боге не как о нашем Отце, а как о Том, Кто весьма снизошёл до нас, вовсе не обязанный — в величии Своей праведной природы, которого Сам желает, — поступать так, как поступил, значит убивать всякую преданность, кроме рабской. Значит думать о Нём как о ком-то совершенно непохожем на Бога, Которого мы видим в Иисусе Христе.

[18] Нам ответят, что мы пали и этим Бог освобождён от всякого обязательства, если оно вообще когда-либо было. Это лишь ещё одна ложь. Никакое множество проступков ребёнка не может освободить родителя от божественной необходимости сделать всё возможное для его избавления; связь между ними не может быть разорвана.

Что свобода состоит в отсутствии всяких обязательств — вульгарное, рабское, мирское представление. Не таково Божие понятие свободы! Говоря по-человечески: чем больше живых обязательств Он на Себя возлагает, чем больше создаёт детей, у которых всё больше прав на Него, тем свободнее Он как Создатель и Податель жизни, в чём и состоит сущность Его Божества; дать простор Своей сущности — значит быть свободным. Наш Господь учит нас, что истина, познанная через послушание Ему, сделает нас свободными: наша свобода — жить истиной наших отношений с Богом и человеком. Человеку быть одному во вселенной значило бы быть рабом неизреченных томлений и одиночеств. И снова говоря по-человечески: Бог не мог бы быть доволен Собой, не сделав всего, что Бог и Отец мог бы сделать для созданных Им существ, — то есть не сделав именно того, что Он сделал, делает и сделает, чтобы избавить Своих сыновей и дочерей и с радостью привести их домой. Чтобы ответить на вопль человеческого сердца: «О, если бы я мог увидеть Его! Если бы мог предстать перед Ним и взглянуть Ему в лицо!» — Он послал Своего Сына, точный образ Своего существа. И опять-таки, чтобы наше понимание Бога не было ограничено постоянным присутствием перед нашим слабым и способным притупляться духовным чувством какого бы то ни было воплощения, Он взял Его от нас. Увидев Его, в Его отсутствие мы понимаем Его лучше. Чтобы мы могли знать Его, Он пришёл; чтобы мы могли прийти к Нему, Он ушёл. Если мы осмелимся, как Иов, обратиться к Нему со своим делом в какой-либо из снедающих сердце скорбей, которые возникают от невозможности любить то ложное изображение Его, что предлагают нам для любви наши мнимые учители; если мы будем мыслить и высказывать

перед Ним то, что кажется нам правым, — разве Он не порадуется от всего сердца любви Своих детей к праведности, истине, которая отказывается отделять Его от Его праведности? Поистине, Он не станет спорить с нами Своей великой силой, но вложит в нас силу и, где мы неправы, наставит нас. Ибо сердце, желающее делать и мыслить правое, сердце, стремящееся поклоняться Ему не как тирану, а как совершенно, абсолютно праведному Богу, — радость Отца. Сердцу, которое не назовёт праведностью то, что чувствует несправедливым, но держится за край Его одежды и поднимает молящие глаза к Его лицу, — такому сердцу Он откроет богатства Своего бытия, богатства, каких этому сердцу и представить не приходило. «Господи, мне говорят, что я так преступил Твой закон, что Ты не можешь взглянуть на меня, каков я есть, но грозишь вечным изгнанием от Твоего лица. Но если Ты не взглянешь на меня, как я когда-нибудь стану иным, чем я есть? Господи, вспомни, что я рождён во грехе: как же я могу видеть грех так, как видишь его Ты? Вспомни, Господи, что я никогда не знал себя чистым: как я могу очиститься? Ты должен принять меня таким, каков я есть, и очистить. Разве не невозможно для меня увидеть предельную благость добра, предельную злобность зла? Как же я могу заслуживать вечной муки? Если бы я знал добро и зло, видел их так, как Ты, и тогда избрал зло и отвернулся от добра, не знаю, чего бы я тогда не заслужил; но Ты знаешь: всегда что-то доброе во зле соблазняло моё себялюбивое сердце — и не только моё, но и сердца всех подобных мне. Ты требуешь от нас прощать: несомненно, Ты прощаешь свободно! Ты можешь быть обязан уничтожить зло, но разве обязан сохранять грешнику жизнь, чтобы карать его, даже если это нисколько не делает его лучше? Грех не может быть так

глубок, как жизнь, ибо Ты — жизнь; а скорбь и боль идут глубже греха, ибо достигают божественного в нас: Ты можешь страдать, хотя не пожелаешь грешить. Вид страдающих людей мог бы заставить нас избегать зла, но никогда не заставил бы ненавидеть его. Через это мы могли бы увидеть, что Ты ненавидишь грех, но никогда не увидели бы, что Ты любишь грешника. Наказуй нас, молим Тебя, с любящей милостью, и мы не изнеможем. Мы сделали много злого; да, зло очень глубоко в нас, но мы не целиком зло, ибо любим праведность; и разве не Ты Сам в Своём Сыне — жертва за наши грехи, примирение нашего разрыва? Ты подчинил нас суете, но Сам принял Свою богоподобную долю последствий. Разве мы могли бы когда-либо познать добро, как знаешь его Ты, иначе как пройдя через море греха и огонь очищения? Мне говорят, что я должен сказать *ради Христа*, иначе Ты не простишь; у моей бедной любви вырывают самое сердце, когда я слышу, что Ты не простишь меня, кроме как потому, что Христос меня полюбил; но я благодарю Тебя, что нигде в записи Твоего Евангелия ни один Твой слуга не говорит ничего подобного. Несмотря на все наши страхи и раболепие, нашу слабость и наши прегрешения, Ты будешь для нас Тем, Кто Ты есть, — таким совершенным Отцом, какого самое любящее детское сердце на земле не могло бы и придумать! Ты возьмёшь наши грехи на Себя, дав нам Свою жизнь, чтобы ею жить. Ты несёшь наши беды и принимаешь наши скорби; и, конечно, однажды Ты сделаешь нас способными уплатить всякий долг друг другу! Ты будешь нам воистину щедрым, изобильным Отцом! Тогда наши сердца воистину возликуют, потому что Ты — Тот, Кто Ты есть, бесконечно превыше всего, что мы могли бы вообразить. Ты смиришь нас и вознесёшь. Ты отдал Себя нам, чтобы, имея Тебя,

мы были вечно живы Твоей жизнью. Мы вбегаем в круг того, что люди называют Твоим гневом, — и оказываемся охвачены поясом Твоей любви!»

19 Но пусть будет ясно: говоря *права*, я не имею в виду *заслуг* — никаких. Мы не можем ничего у Него заслужить в смысле какого-либо права, исходящего из нас самих. Все наши права — те, которыми щедрость непостижимой любви прославила наше бытие, даровав их с единственной целью — дать им удовлетворение, исполнение; права столь глубокие, столь высокие, столь тонкие, что их удовлетворение нельзя дать, пока мы его не пожелаем, более того — не возжаждем самым глубоким нашим желанием. Даровавший их пришёл к людям, жил с людьми и умер от рук людей, чтобы они обладали этими правами в изобилии; большего и Бог не мог сделать, чтобы исполнить Свою часть, — кроме того, конечно, что Он всё ещё делает каждый час, каждую минуту для каждого отдельного человека. Наши права — права, в самом сердце которых Бог. Он мог бы отозвать их, если бы пожелал, но лишь отозвав нас самих, прекратив наше бытие. Пока мы существуем, они наши по самому нашему бытию. Если бы Он не мог осуществить для нас наши права — то есть потому, что мы не захотели бы их; если бы не мог сделать нас такими, чтобы нам стали дороги эти права, данные Им из самой глубины Его творящего бытия, — думаю, Ему пришлось бы отменить наше сотворение. Но что до заслуг, это нелепость: Ему пришлось умереть, стараясь заставить нас услышать и принять. «Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы бесполезные; мы сделали то, что обязаны были сделать». Долг — нечто оплаченное заранее: он никогда не может стать заслугой. Нет права на Бога, которое возникало бы из нас; всё от Него.

[20] Но чтобы какая-нибудь душа, чуждая детского духа, не могла в высокомерии и неведении задумать отстаивать свои права *против* Бога и требовать от Него того или другого по воле плоти, я изложу перед такой возможной душой некоторые вещи, на которые она имеет право, да, быть может, прежде всего имеет право от Бога своей жизни — по тому началу, которое Он ей дал, по божественному зародышу в ней. Итак, у неё есть право на Бога, божественное право на всякую боль, нужду, разочарование или бедствие, которые помогут показать ей, что она за глупец; у неё есть право быть наказанной до последнего скорпиона бича, не быть избавленной ни от одной муки, способной побудить её к покаянию; да, у неё есть право быть выброшенной во тьму внешнюю — будь то, что мы называем адом, или нечто несказанно худшее, — если ничего меньшего не хватит. У неё есть право быть принуждённой к покаянию; быть со всех сторон ограждённой; чтобы за ней посылали одну за другой сильных, острозубых овчарок великого Пастыря, мешающих всякому её желанию, срывающих всякий замысел, разбивающих всякую надежду, пока наконец она не увидит: ничто не облегчит её боли, ничто не сделает жизнь достойной обладания, кроме присутствия в ней живого Бога; ничто не благо, кроме воли Божией; ничто не достаточно благородно для желания человеческого сердца, кроме единства с Вечным. Ради этого Бог должен заставить её отдать самое своё бытие, чтобы Он мог войти и поселиться в ней.

[21] То, что сам человек не станет настаивать ни на одном из этих прав, ничего не меняет: ведь обязан ему не человек, а вечный Бог, Который собственной волей правого отношения к созданному Им существу связан исполнить их. Бог должен ответить перед Самим Собой за

Свою мысль; Он имеет дело с нуждой созданной Им природы, а не с самородным выбором человека, погубившего себя. Его светильник пока тускло горит в человеческой душе; этот светильник должен сиять, как солнце. Ибо что такое всепроникающее недовольство его жалкого бытия, если не неузнанный голод по праведности его Отца? Созданная Богом душа именно так голодает, хотя себялюбивое «я», захватившее власть и составляющее её сознание, жаждет лишь низкого и своекорыстного, вечно и тщетно пытаясь наполнить свою убогую, тесную вместимость шелухой, слишком бедной даже для его нищих желаний. Ибо даже самая униженная горница души, храм обожествлённого «Я», не может быть наполнена ничем меньшим, чем Бог; даже захватившее власть «Я» должно быть несчастным, пока не перестанет глядеть на себя в зеркало сатаны и не откроет дверь своей самой сокровенной комнаты Богу, намеренному обитать там и водворить мир.

22 Тот, кто взглянул на лицо Бога в Иисусе Христе, чьё сердце хоть сколько-нибудь переполняется ответной любовью, видит Бога, стоящего с полными руками, чтобы дать изобилие, ради которого Он создал Своих детей, — и этих детей, отступающих, отказывающихся брать, сомневающихся в Божием сердце, которое знает себя абсолютным в истине и любви.

23 Сначала нелегко увидеть, в чём Бог вообще отвечает Иову; я не нахожу, чтобы Он предложил хоть малейшее объяснение, почему так поразил его. Он оправдывает его слова; говорит, что Иов говорил о Нём правое, а друзья его — нет; и вызывает перед ним одно за другим дела Своих рук. Ответ, подобно некоторым ответам нашего Господа, если не всем, кажется обращённым к самому

Иову, а не к его рассудку; к открывающему истину богоподобному воображению в человеке, а вовсе не к какой-либо способности логического мышления. Он состоит в явлении силы Бога, видимой в делах Его рук и вызывавшей удивление у людей того времени; и всё сказанное о них касается того, как они предстают человеческому взору. В том, что относится к глубинному смыслу природы и её посредничеству между нами и Богом, явления природы — истины природы, гораздо более глубокие, чем любые научные открытия в них и о них. Зримый облик вещей — то, о чём Бог заботится *больше всего*, ибо их облик — лицо вещей гораздо более глубоких, чем они сами; в них мы отдалённо, как сквозь тусклое стекло, видим лицо невидимого. Мы входим в глубочайшие их истины через их облик, а не через анализ. То, что они говорят детской душе, — самая верная истина, которую можно из них извлечь. Знать первоцвет — нечто более высокое, чем знать всю его ботанику, — так же как знать Христа бесконечно выше, чем знать всё богословие, всё, что сказано о Его личности или наболтано о Его деле. Тело человека существует не ради своих скрытых тайн; скрытые тайны существуют ради его внешности, ради лица и облика, в которых обитает откровение: внешнее в нём — самое глубокое. Так и Природа существует прежде всего ради своего лица, своего вида, своего обращения к сердцу и воображению, своего простого служения человеческой нужде, а не ради тайн, которые предстоит в ней открыть и обратить к дальнейшей пользе человека. Во имя Бога, что наше знание составных частей атмосферы рядом с нашим знанием стихий Природы? Что её кислород, водород, азот, углекислота, озон и всё прочее, что только может быть, рядом с дуновением ветра в наши лица? Что анализ воды

рядом с журчанием бегущего ручья? Что для сердца любое знание вещей рядом с его детской игрой с Вечным! И бесконечным разложением на части мы не узнали бы больше о том, что вещь есть на самом деле, ибо в миг разложения она перестаёт быть и весь её смысл исчезает. Бесконечно больше, чем даже астрономия, которая ничего не разрушает, может сделать для нас один лишь вид и перемены свода над нашей головой. Подумайте на минуту, какими были бы наши представления о величии, о Боге, о бесконечности, о высоком стремлении, если бы вместо синего, далеко отступившего, усеянного огнями небосвода мы родились и выросли под плоским белым потолком! Не следует думать, будто я умаляю труды науки; но я говорю, что её открытия несказанно менее драгоценны, чем самые простые дары Природы, те, что с утра до ночи мы бездумно принимаем из её рук. Я верю, однажды мы сможем войти в их тайны изнутри, через естественное соприкосновение нашего сердца с их сердцем. Когда мы будем едины с Богом, мы вполне сможем за час понять то, до чего ни один учёный, ведущий исследования с поверхности и со всеми средствами, какие способен предоставить самый острый человеческий ум, не добрался бы за самую долгую жизнь. Придёт ли такая способность когда-либо к кому-нибудь в этом мире или может прийти лишь в каком-то состоянии существования за его пределами, мне безразлично: этот вопрос меня не занимает; жизнь одна, и вещи тогда будут тем, что они теперь, ибо Бог один и тот же там и здесь; и я буду там тем же, что здесь, насколько бы большей жизнью ни пожелал Отец моего бытия меня наделить.

[24] Довод, подразумеваемый, но не высказанный в поэме, кажется таким: Иов, видя, насколько Бог превосходит его силой и насколько дела Его превосходят его понимание,

наполняя удивлением и восхищением, — необъятную мощь творения, времена и сроки, чудеса небес, источники моря и врата смерти; животных, их размножение и пропитание, их красоту и инстинкты; странных и страшных зверей, превосходящих прочих, бегемота на суше, левиафана в море, существ, быть может, ныне исчезнувших из живого мира, — Иов, созерцая всё это, должен был рассудить, что Тот, Кто может столь величественно действовать за пределами его понимания, несомненно должен поступать мудро и в том, что касается его ближе, хотя не становится ближе его пониманию. «Неужели спорящий со Всемогущим будет поучать Его? Обличающий Бога пусть ответит на это». «Неужели ты отменишь Мой суд? Осудишь Меня, чтобы самому быть праведным?» В этом мире сила не *доказательство* праведности; но вероятно ли, чтобы Тот, Кто способен творить, был неправеден? Разве не всё Им созданное вызывало восторг созерцающего человека? Предвещали ли такие вещи несправедливость к существу, созданному Им по Своему образу? Если Иов не мог исследовать Его разум в этих вещах, почему он должен был заключать, что его собственное дело окутано мраком несправедливости? Понимал ли он своё собственное бытие, историю и судьбу? Разве пути Бога и в этом не должны превосходить его понимание? Не мог ли он довериться Ему, что Он воздаст ему справедливость? В столь высоком деле, как права живой души, разве не могли заключаться вопросы слишком высокие для Иова? Создатель Иова был настолько больше Иова, что Его пути с ним вполне могли превосходить его разумение! Божии мысли были выше его мыслей, как небеса выше земли!

[25] Истинное дитя, праведный человек, будет безусловно доверять, вопреки всякой видимости, Богу, создавшему в нём любовь к праведности.

[26] Бог, говорю я, не объясняет Иову, почему поразил его: Он пробуждает в нём детское сердце к доверию. Думаю, всю оставшуюся земную жизнь Иова его медленно исчезавшие недоумения давали ему всё новые размышления о Боге и Его путях, новые возможности доверять Ему, свет во многих вопросах, в которых он ещё и сомневаться не начинал, новые средства возрастать во всех направлениях в познании Бога. Так его недоумения оказались бы самым божественным даром. Поистине, всё, чего мы не можем понять, — закрытая книга более великого знания и блаженства, застёжки которой блаженное недоумение побуждает нас открыть. Нет и не может быть ничего, что не заключало бы в себе праведной постижимости, — постижимо ли оно для нас, неважно. Ужасно было бы, если бы что-нибудь по природе своей было непостижимо: это значило бы то же, что *Бога нет*. Мне достаточно, что Бог знает; я узнаю, если смогу знать. Смертью было бы думать, что Бог не знает; это значило бы заключить, что нет Бога, Который мог бы знать.

[27] Насколько же больше Иова обязаны мы, знающие Бога в Его Сыне как Любовь, доверять Ему во всех тревожных вопросах о ходе и исходе вещей, которые настойчиво встают перед нами! Во всех вопросах о низших животных, во всех вопросах о душах, которые, кажется, никогда не пробуждаются от сна смерти или вновь в него впадают, мы будем доверять Ему.

[28] В смятении мыслей Иова — а как им было не быть смятенными перед ужасным противоречием двух таких

фактов, стоящих друг против друга: Бог справедлив, и всё же *наказывает* праведника так, словно тот нечестив? — пока он ещё не мог породить или принять мысль, что сама одобряющая любовь может причинять или допускать мучение, что такое страдание, как его, даровано лишь праведному, чтобы тот достиг совершенства, — я вполне могу представить, что порой, когда в одну минуту он сомневался в праведности Бога, а в следующую громко восклицал: «Хотя бы Он убил меня, всё же буду уповать на Него», — в этом хаосе должна была примешиваться какая-то доля сомнения в самом существовании Бога. Не следует думать, будто такое сомнение — ещё более далёкая ступень неверия. Отрицать существование Бога — как ни парадоксально сперва покажется некоторым это утверждение — может заключать в себе меньше неверия, чем малейшая уступка сомнению в Его благости. Я говорю *уступка*: ведь человека могут преследовать сомнения, и от них он будет лишь возрастать в вере. Сомнения — посланники Живого, призванные будить честных. Это первый стук в нашу дверь вещей, которые ещё не поняты, но должны быть поняты; и их обычно встречают так же негостеприимно, как ангелов, пришедших не в собственном облике. Сомнение должно предшествовать всякой более глубокой уверенности: ибо неясности — первое, что мы видим, вглядываясь в область доныне неизвестную, неисследованную, неосвоенную. Поэтому ко всем мольбам и желаниям Иова увидеть Бога вполне могло примешиваться могучее желание удостовериться в Божием бытии. Признавать Бога — ещё не быть уверенным в Нём. Один из главных смыслов поэмы таков: когда Иов слышит голос Бога, хотя тот не произносит ни слова объяснения, ему достаточно его слышать; он знает, что Бог есть и что Он слышит вопль

Своего создания. Достаточно, что Он здесь, знает всё о нём и о том, что его постигло; больше ничего не нужно, чтобы примирить кажущиеся противоречия, и худшие беды внешней жизни становятся переносимыми. Даже если Иов не мог сперва проследить Его довод о божественной вероятности, Бог разрешил для него всё, когда, ответив из вихря, показал, что не оставил его. Правда, лишь гораздо более тесное божественное присутствие может когда-либо сделать жизнь достойной сына человеческого, и по самой простой причине: он создан по образу Божию, и ему безусловно необходимо иметь в себе ту действительность, образом которой является его бытие; пока её в нём нет, его бытие, его сознающее «я» — лишь маска, духовная пустота. Но пока Иов, покорившись Богу, был успокоен и удовлетворён. Быть может, со временем он увидел: если что-либо, что Бог мог с ним сделать, способно было так его смутить, чтобы он усомнился в Боге, если он так несовершенно знал Того, Кто не может сделать ничего дурного, — значит, пришло время так его смутить, чтобы ему открылось несовершенство его познания Бога и недостаток веры в Него; чтобы землетрясение его существа обнаружило его пустоты и одновременно вынесло на поверхность Божие золото, бывшее в нём. Знать, что наша вера слаба, — первый шаг к её укреплению; быть способным не доверять — смерть; узнать, что мы способны на это, и возопить — значит начать жить, начать становиться такими, что не сможем не доверять, такими, что Бог сможет сделать с нами всё, а мы никогда не усомнимся в Нём. Пока сомнение не станет невозможным, нам недостаёт истинного, детского познания Бога: ибо либо Бог таков, что Ему *можно* не доверять, либо таков, что недоверие к Нему —

величайшая несправедливость, в которой человек может быть виновен. Если же мы способны не доверять Ему, то либо знаем Бога несовершенным, либо не знаем Его. Быть может, Иов научился чему-то подобному; во всяком случае, итогом пережитого стала большая близость к Богу. Но в тот миг от него требовалось принять лишь довод от Божией любящей мудрости в Его могуществе к Его любящей мудрости во всём остальном. Ибо сила — нечто действительное и доброе, непосредственно внушающее, что она происходит от благости. И как бы долго она ни сохранялась после ухода благости, рождалась она всегда лишь от благости. В очень глубоком смысле сила и благость — одно. В самом глубоком факте они одно.

[29] Увидев Бога, Иов забывает всё, что хотел сказать, всё, что думал сказать, если бы только мог Его увидеть. Завершение поэмы величественно внезапно. Он собирался изложить перед Ним своё дело; жаждал увидеть Его, чтобы заговорить и защититься, воображая, будто Бог, как и его праведные друзья, несправедливо его обвиняет; но речь покинула его, ему нечего сказать. Оправдывать себя в присутствии Того, Кто есть Праведность, кажется ему тем, что это и есть, — глупостью и бесполезным трудом. Если Бог не видит его праведным, он не праведен и может умолкнуть. Если он праведен, Бог знает это лучше, чем он сам. Более того, если Бог не желает его оправдывать, Иов утратил интерес к самооправданию. Всё зло и все несовершенства его природы встают перед ним в присутствии Единого чистого, Единого правого, в Ком нет себялюбия. «Вот, — взывает он, — я ничтожен; что отвечу Тебе? Полагаю руку мою на уста мои. Однажды я говорил, но отвечать не стану; и дважды, но больше не продолжу». Затем вновь,

после того как Бог призвал Себе в свидетели бегемота и левиафана, он отвечает: «Знаю, что Ты можешь всё и никакая мысль не может быть от Тебя сокрыта. Кто сей, скрывающий совет без знания?» Этот вопрос был словом, которым Бог впервые явил ему Своё присутствие; теперь, в устах Иова, повторяющего вопрос, это смиренное признание: «*Я — тот неразумный человек*». «Поэтому, — продолжает он, — я говорил о том, чего не понимал, о вещах слишком чудных для меня, которых я не знал». Ему недоставало знания, чтобы иметь право говорить. «Выслушай, молю, и я буду говорить». — В грядущем он ещё будет взывать, но чтобы научиться, а не оправдать себя. «Я буду спрашивать Тебя, а Ты объявляй мне». — Ещё усерднее он станет искать познания Божиего совета. Неспособность понять больше не будет его мучить; она лишь побудит к новым усилиям познать Того, Кто совершенен во всех Своих делах. «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же глаз мой видит Тебя. Поэтому я отвращаюсь от себя и раскаиваюсь в прахе и пепле».

[30] Иов получил желаемое: увидел лицо Бога — и возгнушался собой в прахе и пепле. Он искал оправдания; нашёл отвращение к себе. Было ли это наказанием? Ничего более далёкого от наказания быть не могло. Для начала это было лучшее, что могло сделать для него лицо Бога. Блаженнейший дар — презрение к себе, когда дарует его видимая слава Живого. Ибо здесь увидеть — значит приобщиться; быть способным созерцать эту славу — значит жить; отвернуться от себя и обратиться против себя — значит начать становиться чистым сердцем. Иов был прав, говоря, что не заслужил такого наказания за свои грехи; не заслужил он и увидеть лицо Бога, однако ему был дан этот венец всех даров — и состоял он в том, чтобы увидеть себя ничтожным и возгнушаться собой.

Посредством тех самых страданий, против которых он вопил, Живой приблизился к нему, и он умолк. О божественная щедрость, дарующая нам смутиться и осудить себя перед Святым! — приблизиться к Нему настолько, чтобы увидеть себя тёмными пятнами на фоне Его сияния! Воистину мы должны быть сродни Ему, иначе никакое явление Его не заставило бы нас почувствовать себя маленькими, безобразными и нечистыми! О любовь Отца, дарующего нам сравнивать себя с Ним и погребаться в смирении и стыде! Быть обличённым перед Ним — значит принадлежать Ему. Каким бы добрым человеком ни был Иов, он ещё никогда не был по-настоящему близок к Богу; теперь Бог приблизился к нему, стал для него совершенно реальным; теперь он поистине знает, что Бог — Тот, с Кем он имеет дело. Он возложил на него все эти скорби, чтобы через них приблизиться к нему и дать ему возможность познать Его.

[31] Две вещи ясно заключены в этой поэме и явствуют из неё: не каждый человек за свои грехи заслуживает вечного наказания вдали от лица Господа; и лучший из людей, увидев лицо Бога, узнает своё ничтожество. Бог справедлив и никогда не поступит с грешником так, словно тот способен грешить чистым грехом; и всё же, если лучший человек не будет избавлен от самого себя, это «я» погрузит его в Тофет.

[32] Всякий человек может, подобно Иову, защищать своё дело перед Богом — хотя, возможно, не к такому же оправданию: Он даёт нам свободу говорить и выслушает с абсолютной справедливостью. Но, благословен Бог, единственным итогом для всех, кто так приближается к Нему, будет увидеть, что Он явно и несомненно прав, что Он совершенный Спаситель, глубочайшее убежище даже

от неправд их собственного бытия, да, всегда более близкое им, чем любой грех, который они могли бы совершить; так увидев Его, они возгнушаются собой и возрадуются в Нём. И, как указывает поэма, когда мы отвернёмся от себя к Нему, становясь истинными, то есть будучи перед Богом и собой теми, кто мы есть, Он возвратит нас из плена; сеявшие со слезами пожнут с радостью; непременно возвратятся с ликованием, неся свои снопы. Тогда воды, поднимающиеся из Божиих источников, потекут по Божиим руслам.

33 Ибо благоденствие, последовавшее за покорностью Иова, — воплощение великой истины. Хотя человек должен делать правое, даже если это пошлёт его в Аид, да, даже если это навеки пошлёт его в самый ад, всё же, пока Господь жив, нам нечего бояться: *все* добрые вещи должны вырастать из единственного средоточия добра и зависеть от единственного закона жизни — Воли, Единого Благого. Безусловно покориться Ему — единственный разумный путь: тогда обстоятельства, как и всё бытие, должны дать побеги и расцвести, как роза. И расцветут! Какая разница — в этом мире или в следующем, — если однажды я узнаю свою жизнь как совершенное блаженство, в котором нет ни ограничения, ни препятствия, ни боли, ни скорби большей, чем та, над которой оно может властвовать в мире и совершенной уверенности?

34 Мне безразлично, история ли Книга Иова или поэма. Я думаю, и то и другое; насколько относительно того и другого, мне неважно. Вероятно, в детские дни мира это был известный на Востоке рассказ, который некий человек, умудрённый Богом понимать Его волю и пути, взял и пересказал поэтически. Какого он возраста — кто

может сказать наверняка! — должно быть, он возник прежде Моисея. Я охотно исключил бы речи Елиуя как позднейшую вставку. Один человек, которому из всех знакомых я доверяю больше всего, однажды сказал мне примерно следующее: «Между языком остальной поэмы и языком Елиуя такая же разница, как между языком Чосера и языком Шекспира».

35 Поэма по многим причинам трудна, а в подлиннике мне недоступна; но сквозь всю очевидную недостаточность нашего перевода кто не услышит двух душ — души поэта и души Иова, — громко взывающих с мучительной надеждой, что, каковы бы ни были злые явления вокруг, истина и праведность всё же остаются сердцем вещей! Вера, даже надежда Иова порой кажется готовой рухнуть; он бьётся, как утопающий, когда волна накрывает его, но, едва голова его поднимается, мужество оживает. Мы зовём себя христианами! Какой же была бы наша вера, будь она настолько больше веры Иова, насколько слово из уст Иисуса могущественнее того, которое Иов услышал из вихря! Вот поистине книга веры, ещё прежде, чем закон был дан через Моисея; нас посетили Благодать и Истина — но где наша вера?

36 Друзья, наш крест может быть тяжёл, а *via dolorosa* — скорбный путь — тернист; но у нас есть права на Бога, да, право взывать к Нему о помощи. Он отдал и отдаёт Себя, чтобы дать нам наше право рождения — праведность. Хотя мы не будем осуждены за наши грехи, мы не можем спастись иначе как оставив их; хотя мы не будем осуждены за прошлые грехи, мы будем осуждены, если возлюбим тьму больше света и откажемся прийти к Нему, чтобы иметь жизнь. Бог предлагает нам единственное, без чего мы не можем жить, — Самого Себя: мы должны

дать Ему место; должны очистить сердца, чтобы Он мог войти; должны делать так, как велит Учитель, знавший всё об Отце и о пути к Нему: *мы должны отвергнуться себя, ежедневно брать свой крест и следовать за Ним*.

Самоотречение

[1] *«И сказал всем: если кто хочет идти за Мною, пусть отречётся от себя, ежедневно берёт свой крест и следует за Мною. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, тот потеряет её; а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот её спасёт».* — Лк. 9:23–24.

[2] Христос — путь наружу и путь внутрь; путь из рабства, сознаваемого или неосознанного, к свободе; путь от неуютности всего окружающего к дому, которого мы желаем, но не знаем; путь от развевающихся в буре краёв Отчей одежды к покою Его груди. Чтобы изобразить Его, нам нужны не только бесконечные образы, но иногда совершенно противоположные: Он не только дверь овчарни, но и Пастырь овец; не только путь, но и Вождь на пути, скала, следовавшая за ними, и Начальник нашего спасения. Мы должны стать маленькими детьми, и Христос должен родиться в нас; мы должны учиться у Него, и единственный урок, который Он даёт, — Он Сам: всё, что Он хочет, чтобы мы делали, Он сначала делает Сам; всем, чем Он хочет, чтобы мы были, Он сначала является Сам. Мы должны не просто делать то, что делал Он; мы должны видеть вещи, как видел Он, относиться к ним, как относился Он; мы должны принять волю Бога как самую жизнь нашего существа; мы не должны ни добиваться своего, ни тревожиться о том, что о нас подумают или скажут. Мир должен быть для нас как ничто.

[3] Я хотел бы избежать неверного понимания, если это возможно: говоря *мир*, я имею в виду не тот мир, который создаёт и замышляет Бог, и ещё меньше — человеческие сердца, живущие в нём; я имею в виду мир, который

человек создаёт, выбирая извращение собственной природы, — мир, отдельный от Божьего мира и противостоящий ему. Под *миром* я разумею все способы судить, смотреть и мыслить — политические, хозяйственные, церковные, общественные или личные, — которые не божественны, не являются Божьими способами мыслить, смотреть и судить; которые не принимают Бога в расчёт, не ставят Его волю превыше всего как единственный закон жизни; которые заботятся не об истине вещей, а об обычаях общества или о принятых в ремесле правилах; которые внимают не правде, а обычаям времени. От всего, что противно учению и мысли Иисуса, от мира в сердце лучшего из живущих в мире людей и особенно от мира в собственном сердце ученик должен отвернуться, чтобы следовать за Ним. Первый шаг всякого продвижения — оставить что-нибудь позади; следовать за Ним — значит оставить позади себя самого. «Если кто хочет идти за Мною, пусть отречётся от себя».

[4] Некоторые, кажется, понимают это так: ученик должен идти против своих вкусов именно потому, что это его вкусы; не отзываться на собственные склонности, влечения и желания именно потому, что они таковы и принадлежат ему. Кажется, они думают, что само воздержание от приятного или делание неприятного приносит некую пользу, что противодействие низшей природе само по себе благо. Я не осмелюсь сказать, из чего человек не может извлечь добра, если действует просто и честно. Я верю, что, когда человек ради правильного поступка по ошибке делает неправильное, Бог позаботится показать ему лучший путь — возможно, воспользуется самой его ошибкой, чтобы открыть ему, в чём она состоит. Я допускаю, что одно лишь усилие воли,

произвольное и не направленное сознанием долга, имеющее черты тирании и даже внутреннего раскола, может увеличить власть человека над своей низшей природой; но и в этой природе должен править Бог, а не человек, как бы добры ни были его намерения. Из управления собой, хоть в малейшей мере противоречащего, при всей благочестивости, закону собственного бытия, возникает огромная опасность: гордостью победы над собой взрастить нечто куда худшее, чем даже распущенное животное «я», — «я» демоническое. Истинная победа над собой — это победа Бога в человеке, а не одного лишь человека. Недостаточно покорения: нужно покорение Богом. Во всём, что человек делает без Бога, он неизбежно потерпит жалкое поражение — или одержит ещё более жалкую победу. Ни одна часть человека не может править другой, потому что создал её Бог, а не человек, и часть больше целого. Достигая того, чего Бог не замышляет, человек лишь впадает в новые дурные состояния. Противясь своим естественным, а потому самим по себе правильным склонностям, человек может развить самодовольство, которое по самой природе есть корень всякого греха. Делая то, чего Бог от него не требует, он ставит себя на место Бога, становится для себя не законом, а законодателем, тем, кто повелевает, а не тем, кто слушается. Болезненное удовлетворение, которое некоторые умы испытывают, налагая на себя бремена, есть потворство — как бы мало они это ни подозревали — самому опасному аппетиту того «я», которое, как им кажется, они умерщвляют. Всё сотворённое Богом благо, когда принимается с благодарением; что-либо из сотворённого может стать злом только тогда, когда употребляется в обстоятельствах, где высший закон это

запрещает, или когда от него отказываются ради самодисциплины в обстоятельствах, где никакой высший закон не запрещает его и Бог, следовательно, его дозволяет. Быть собственным учителем — весьма опасное положение для человека; едва ли можно ожидать, что ученик продвинется, разве только в неверном направлении. Наслаждаться всем сердцем и с благодарностью и бодро обходиться без того, чего, по воле Бога, у нас быть не должно, — вот как следует жить в отношении вещей низшей природы; их ни в коем случае нельзя смешивать с вещами *мира*. Если кто скажет, что это опасное учение, я отвечу: «Божьего закона мне достаточно, а законов, придуманных человеком, я не принимаю ни одного. Они ложны и все происходят из мятежа. Наш судья — Бог, а не человек».

[5] Воистину, Иисус велит нам не досаждать бедному «я» и не дразнить его. Не для того Бог дал его нам! Он говорит, что мы должны оставить его совсем — отдать, отречься от него, отвергнуть, потерять: только так мы спасём его, только так будем причастны собственному бытию. Собственное «я» дано нам, чтобы мы могли принести его в жертву; оно наше, чтобы и у нас, подобно Христу, было что принести — не чтобы мучить его, а чтобы от него отречься; не чтобы ему противиться, а чтобы совершенно его оставить: тогда оно больше не сможет быть уязвлено.

[6] «Что это может значить: не противиться, а оставить? Как оставить, не противясь?»

[7] Это значит вот что: мы должны совершенно отвергнуть, оставить, отречься от «я» как от управляющего, определяющего или исходного начала в нас. Оно больше не должно править нашими действиями. Мы должны думать уже не «Что мне хотелось бы делать?», а «Что

Живой хочет, чтобы я сделал?». Принимать то, желать чего Бог нас создал, — не себялюбие; и отдать это — ещё не особая добродетель: мы были бы лишь очень дурны, если бы не отдали, когда Он пожелает это у нас взять. Но отдать всем сердцем, без борьбы и сожаления, — значит не просто отказать «я» в желанной вещи, а отвергнуть само «я», отречься от него и оставить его. Это «я» создано Богом, только оно должно быть «рабом Христа», чтобы Сын сделал и его свободным сыном того же Отца; оно должно всё принимать от Него, а не словно бы из ниоткуда; как и более глубокая душа, оно должно следовать за Ним, а не за своими желаниями. Оно не должно быть собственным законом: его законом должен быть Христос. Настанет время, когда обитающий в нём Бог — его более глубокое, самое глубокое «я» — так овладеет им, так расширит, так доведёт до идеала, что никакого вынужденного отречения от него уже не потребуется. Оно окончательно отвергнуто, от него отреклись и отослали на подобающее ему место послушания; оно научилось принимать с благодарностью, ничего не требовать, больше не вращаться вокруг собственного центра и не помышлять о служении собственному благу. Вечное самоотречение Бога, явленное в Том, Кто ради нас, пребывая во плоти, ежедневно брал Свой крест, разовьётся в человеке; его вечная радость будет в Боге — и в ближних, перед которыми он бросит своё радостное «я», чтобы стать ковром для их пути, подножием для отдыха, ступенью для восхождения.

[8] Итак, отречься от себя — значит больше не действовать исходя из своего «я»; не допускать ни тайного сговора, ни мимолётного влияния между «я» и волей; не позволять правой руке знать, что делает левая. Никакое хватание,

искание, никакая личная жажда не должны приводить волю в движение; никакое желание сознавать собственное достоинство не должно определять жизнь; никакое честолюбие не должно быть побуждением к действию; никакому желанию превзойти другого нельзя дать ни мгновения отсрочки от смерти; никакая жажда людской похвалы не должна влиять ни на один удар сердца. Отречься от себя — значит не отступать ни перед порицанием, ни перед осуждением, ни перед презрением общества, круга или страны, если они противны мысли Живого; ни ради любви, ни ради просьбы отца или матери, жены или ребёнка, друга или возлюбленной не сворачивать с пути за Ним, а оставить их всех как любую правящую или распоряжающуюся силу в нашей жизни; мы не должны делать им в угоду ничего, что прежде не было бы угодно Ему. Правые дела, а не суждение о них; истинные слова, а не то, как их примут, — вот о чём нам надлежит заботиться. Мы должны не только не любить денег, не полагаться на них и не делать их приобретение делом жизни: есть они у нас или нет, мы никогда не должны думать о них как о случайном плоде, упавшем с дерева событий или из облака обстоятельств, но как о даре Бога. Волею, взирающей ввысь и признающей Его, мы должны каждое мгновение заново черпать жизнь из Живого, из Жизни, дающей бытие, а не упиваться одним лишь сознанием здоровья и существования. Бог кормит нас, согревает, утоляет жажду. Воля Бога должна быть для нас всем во всём; для всей нашей природы жизнь Отца должна быть радостью ребёнка; мы должны знать, что сам наш разум — Его, что каждый час мы живём Им и питаемся Им самым близким, самым истинным образом. Знать это в самой глубине нашего знания — значит отречься от себя и вместо себя принять Бога. Стремиться

к этому — значит начать отречение, следовать за Тем, Кто никогда не искал Своего. Так же мы должны отвергнуть все тревоги и страхи. В молодости нам не следует заботиться о том, что мир называет неудачей; старея, мы не должны досадовать, что не можем вспомнить, сожалеть, что не можем сделать, страдать от того, что слабеем или болеем: ничто не должно нас тревожить. Мы имеем дело с Богом, Который может, а не с собой там, где мы не можем; мы имеем дело с Волей, с Вечной Жизнью Отца наших духов, а не с существом, которого мы не могли создать и о котором заботится Он. Он — наша забота; мы — Его; наша забота — желать Его воли; Его забота — дать нам всё. Это и значит отречься от себя. «Моё „я“, мне нужно советоваться не с тобой, а с Тем, Чья идея есть твоя душа, которой ты пока совершенно недостойно. Я имею дело не с тобой, а с твоим Источником, благодаря Которому ты существуешь в любое мгновение, — с Тем, Кто тебя вызывает к бытию, а не с тобой, вызванным. Ты можешь быть моим сознанием, но ты не моё бытие. Если бы ты было им, каким бедным, жалким, тусклым, слабым ничтожеством я был бы! Но моя жизнь сокрыта со Христом в Боге, откуда пришла и куда возвращается, — конечно, вместе с тобой, но как с послушным слугой, а не господином. Покорись, или я отброшу тебя и буду молиться, чтобы мне дали другое сознание. Ибо Бог для меня больше, чем моё сознание себя. Он — моя жизнь; ты — лишь столько её, сколько моё бедное, наполовину созданное существо способно охватить, столько, сколько я теперь могу сознавать разом. Из-за того что я дурачил и баловал тебя, обращался с тобой так, словно ты и вправду моё подлинное „я“, ты измельчало и уменьшило меня, так что мне стыдно за себя. Если бы я слушался твоих слов, ты скоро стало бы

мне противно; уже и теперь я то и дело испытываю отвращение к твоему мелочному, низкому лицу, которое встречаю на каждом шагу. Нет! Дай мне быть в обществе Совершенного, а не в твоём, в обществе моего Старшего Брата, Живого! Я не стану дружить с одной лишь тенью собственного бытия! Прощай, моё „я“! Я отрекаюсь от тебя и каждый день буду всеми силами стараться оставлять тебя позади».

[9] И в этом отношении мы не должны не заметить — или, заметив, когда-либо забыть, — что, когда Иисус говорит нам следовать за Ним, прийти к Нему, верить в Него, Он прежде всего и всегда говорит как *Сын* Отца, и притом в деятельном смысле, как послушный Бог, а не просто как Тот, Кто заявляет о сыновстве как об основании Своего бытия и тем самым дальнейших прав. Он — Сын Отца как Сын, Который слушается Отца, как Сын, пришедший исключительно и только исполнить волю Отца, как Посланник, чья радость — исполнять волю Пославшего Его. В тот миг, когда Он говорит *«Следуй за Мною»*, Он следует за Отцом; лицо Его обращено к дому. Он хочет, чтобы мы следовали за Ним, потому что Он устремлён к воле Благословенного. Даже так думать о Нём — ничто, если мы так не *веруем* в Него, то есть не поступаем так. Верить в Него — значит делать, как делает Он, следовать за Ним туда, куда идёт Он. Мы должны верить в Него *на деле*, всецело на деле, как Он верил в Отца; не как в Того, о Ком нужно придерживаться какого-то мнения, а как в Того, за Кем нужно выйти из тела этой смерти в жизнь вечную. Следовать за Ним — не значит воспринимать Его каким-либо теоретическим образом, держаться той или иной теории о том, почему Он умер или в чём состояло Его искупление: это может быть открыто лишь следующим за Ним в Его деятельном бытии и в начале

Его жизни — тем, кто делает, как делал Он, живёт, как жил Он. Иного следования нет. Он всецело для Отца; и мы должны быть всецело для Отца, иначе мы за Ним не следуем. Следовать за Ним — значит учиться у Него, думать Его мысли, судить Его суждениями, видеть вещи, как видел Он, чувствовать их, как чувствовал Он, быть сердцем, душой, умом такими, как Он, чтобы так и нам быть единомысленными Его Отцу. Вот что значит отречься от себя и идти за Ним; ничто меньшее, будь то даже чудотворение и изгнание бесов, не означает быть Его учеником. Если бы мы с утра до вечера были заняты великими делами для Него, идя любым другим путём, мы заслужили бы лишь встречу словами: «Я никогда не знал вас». Когда Он говорит: «Возьмите Моё иго на себя», Он имеет в виду не иго, которое хотел бы возложить на наши плечи; Он велит взять Своё собственное иго и научиться у Него — то иго, которое несёт Он Сам, которое дал Ему нести Его совершенный Отец. Воля Отца — вот иго, которое Он хочет, чтобы мы приняли и тоже понесли с Ним. Именно об этом иге Он говорит: *«Оно не тягостно»*, об этом бремени: *«Оно легко»*. Он не говорит: «Иго, которое Я возлагаю на вас, не тягостно, бремя легко»; Он говорит: «Иго, которое Я несу, не тягостно, бремя на Моих плечах легко». Видя впереди Гефсиманский сад, зная, что Его ждут час и власть тьмы, Он объявляет Своё иго нетягостным, Своё бремя лёгким. В этом нет возвеличивания Себя. *Он первый* отрекается от Себя и берёт Свой крест — а затем велит нам делать то же. Отец возвеличивает Сына, а не Сам Сын; Сын возвеличивает Отца.

[10] Мы должны ревновать о Боге против себя самих и внимательно следить за хитрым и лживым «я» — вечно хитрым и лживым, пока Бог не придаст ему облика, пока

оно не будет полностью и совершенно отвергнуто и Бог не станет и для него Всем во всём; пока мы не оставим его совершенно пустым от нашей воли и нашего внимания, а Бог не войдёт в него и не сделает его для Себя — не *святилищем*, но *вратами*. До тех пор самые его отказы, самые отвращения от дорогих ему вещей ради Христа будут способствовать росту его внимания к себе и порождать ещё более глубокое самопоклонение. Пока от него не отреклись, а лишь ему противодействуют, мы можем удовлетворением от преодолённых трудностей и мнимой победы ещё сильнее питать его самодовольство. Когда «я» обнаружит, что не может получить почёта благодаря своим дарованиям, расточаемой на него любви, своим победам и «золотым отзывам, купленным у всякого рода людей», оно станет услаждать себя мыслью о своих отречениях, своём бескорыстии, своей преданности Богу, о том, что оставило ради Него. Оно, возможно, не станет *называть* себя святым, но скоро *почувствует* себя святым, высшим существом, взирающим сверху на глупый мир и его обычаи, идущим в вышине «над дымом и суетой этой тусклой точки»; и всё это время будет видеть сон полного безумия, поклоняться себе тем сосредоточеннее, что отказалось от одобрения мира и отбросило внимание других: даже они уже не нужны ему для уверенности в собственной ценности и заслугах! Тысячью способов «я» обманет себя, тысячью способов одурачит собственное рабское существо. Христос не искал Своего, не искал ничего, кроме воли Отца; мы должны стать прозрачны, как алмаз, истинны, как белый свет утра. Безнадёжная задача! — если бы не то, что Он предлагает Сам прийти и поселиться в нас.

11 Я задумывался, было ли выражение Господа «взять свой крест» в ходу в то время: когда Он впервые его

употребил, Он ещё не сказал им, что Сам будет распят. Мне трудно поверить, что эта казнь была столь обычной, что образ несения креста вошёл в повседневную речь. Как новой для людей была мысль Господа, так, думаю, новым был и образ, в который Он её облекал. Я допускаю, что, будучи столь ненавистным в глазах иудеев, он *мог* стать обозначением наихудшего человеческого несчастья; но охотно ли они стали бы употреблять как образ факт, столь болезненно свидетельствовавший об их рабстве? Едва ли. Во всяком случае, он ещё не стал обозначением того, чему Он теперь учил, — того самоотречения, которое Он лишь недавно вывел на свет, нет, едва ли ещё на свет, лишь в сумерки; и ничто меньшее, как мне кажется, не могло подсказать этот страшный символ!

[12] Но нужно заметить: хотя идея отречения от себя полна и безусловна, осуществлять его приходится *ежедневно*; мы должны продолжать отрекаться. Это глубже и труднее того, что может окончательно совершить одно, пусть самое геркулесово, усилие воли. Ведь сама воля не чиста, не свободна, пока «я» не отвергнуто безусловно. Нужно долгое время, чтобы вода жизни, текущая из источника внутри нас, проникла во все отдалённые части нашего духовного устроения, всё подчинила себе, сделала всё одной природы, пока наконец, достигнув самых внешних складок нашей личности, она не изгонит болезнь, наши тела не будут искуплены обитающей в них праведностью и творение не освободится от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. До тех пор мы должны каждый день брать свой крест; каждый час следить, несём ли мы его. Первородство можно потерять за миску похлёбки, и то, что сатана называет пустяком, непременно имеет вечное значение.

[13] Разве мало христиан, которые, начав отрекаться от себя, всё же тратят много сил на тщетную и злую попытку уладить отношения между Христом и дорогим «я», стараясь спасти то, что таким образом они непременно потеряют, — и как иначе, чем хотел бы Учитель! Одно дело — чтобы любимое «я» пожрал ад в ненависти, ужасе и разочаровании; другое — отдать его в сознательное владение Самому живому Богу, Который лишь тогда и впервые возведёт его к истинной индивидуальности, свободе и жизни. Тогда, с собственной Причиной внутри себя, оно воистину будет спасено! Как же ему тогда не жить! Вот обещание тем, кто оставит всё и последует за Ним: «*Кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот её спасёт*», а у святого Матфея — «*найдёт её*». Какая речь людей или ангелов передаст хотя бы тень этой смутно сияющей надежды! Потерять себя в спасении Божьего сердца! Больше не быть для себя предметом заботы, но знать, что Бог божественнейшим образом заботится о нас, Своих! Быть и чувствовать себя просто местом покоя для божественной любви, ветвью дерева жизни, на которую голубь может опуститься и сложить крылья! Быть открытым простором любви, дорогой для мыслей Бога и всех святых созданий! Узнавать себя в отражённом действии бесконечного братского присутствия, ни от кого ничего не жаждая, а всегда изливая любовь естественным движением духа! Упиваться стократным возвращением всякого блага, которое, возможно, пришлось оставить ради Него, — прежде всего, неисканной любовью тех, кто любит нас, как мы любим их, любовью, окружающей нас, купающей в блаженстве, никогда не выпрашиваемой, всегда принимаемой, всегда желанной, всецело и божественно драгоценной! Знать, что Бог и мы желаем одного и того же, что мы посвящены в тайну, в детскую

тайну бытия, что мы угодны глазам и сердцу Отца! Жить, прижимаясь к Его колену, взбираясь к Нему на грудь, блаженствуя в одном лишь простом бытии, едином с Богом и исходящем из Его воли, оправдывающем существование самими фактами существования, сознанием себя как блаженства! Какое «я» мы получим от Него взамен того, которое оставили, покинули, отвергли! Мы оставили его мелким, низким, убогим; Он поднял бедный уголёк сознания, отнёс обратно в мастерскую Своего Духа, сделал его истинным, сияющим, ясным, пригодным для вечного общения и обитания в нём, и вернул нам в обладание и владение навсегда!

[14] Обо всём высоком можно говорить лишь образами; эти образы, имея дело с предметами слишком высокими для них, не могут *совпадать* с ними в рассудочном смысле; истинно истолковать, правильно понять их могут лишь те, кто носит в себе сам духовный факт. Говоря о человеке и его душе, мы подразумеваем одно «я» и другое «я», воздействующие друг на друга; мы не можем так разделить себя, и образ подходит лишь несовершенно. Господь никогда не намеревался объяснять вещи нашему рассудку — это ни в малейшей мере не помогло бы нашей нужде; нам нужно средство, слово, с помощью которого мы могли бы размышлять в себе о высоком: именно этим всегда будет для нас истинный образ, ибо образ может быть истинным и при этом далёким от совершенства. Но несовершенство Его образов не может заключаться в преувеличении. Будьте уверены: какой бы истины ни касался символ, как бы он ни был высок, он неизбежно не достигает славы, заключённой в самом смысле. Только низкая тупость бездуховной природы станет истолковывать смысл Господа как нечто меньшее Его символов. Истинная душа видит или придёт к тому, чтобы

увидеть, что Его слова и образы всегда означают больше, чем способны представить; ибо, как небеса выше земли, так небесные вещи выше их земных знаков, пусть эти знаки будут так хороши, как только могут быть знаки. Нет радости, принадлежащей человеческой природе, какой создал её Бог, которая не увеличилась бы стократно для человека, отдающего себя, хотя ему и может казаться, что тем самым он отдаёт самую сущность жизни. Отдать себя — значит перестать хвататься за вещи в их вторичных причинах, как называют их люди, хотя это лишь Божьи средства, и принимать вещи прямо из их Источника: брать их, видя, откуда они приходят, а не словно бы они приходили из ниоткуда, потому что никто не появляется с ними в руках. Небрежная душа принимает дары Отца так, словно вещи сами имеют обыкновение падать ей в руки. Тем самым человек признаёт себя рабом, зависящим от случая и собственных неуклюжих усилий, и всё же вечно жалуется, словно кто-то ответствен за препятствия, встречающиеся на каждом шагу. За приходящее к нему добро он не благодарит — кого благодарить? На постигающие его разочарования ропщет — должен же быть кто-то виноватый! Он не думает о том, какой Силе было бы сколько-нибудь важно поддерживать его по его собственному образцу, в его мелком, низко устремлённом существовании; более того, какая сила не была бы при этом растрачена хуже, чем впустую! Как мог бы Бог изливать Своё бытие, чтобы поддерживать одно лишь расточение Своих созданий? На такой идее нельзя ни построить, ни поддерживать никакого мира. Землю унаследуют дети; те, кто не хочет быть детьми, не могут ею обладать. Приходит час, когда всё, что могут дать искусство, наука, природа, животная природа в облагораживающем подчинении высшему, как и человек

подчинён Отцу, станет достоянием сыновей и дочерей Бога к их бесконечной радости. Тому, для кого Он всё во всём, Бог способен дать эти вещи; другому Он не может их дать, ибо тот, кто находится вне их истины, неспособен их принять. Конечно, мы не должны любить Бога ради того, что Он может нам дать; более того, невозможно любить Его иначе, чем потому, что Он наш Бог, всецело благой и прекрасный. Но нам нельзя забывать и того, чего не забывает Господь: в конце концов, когда истина победит, Бог ответит Своему созданию радостью его сердца. Ведь что такое радость, если не гармония духа! Добрый Отец создал детей для радости; только прежде, чем они смогут войти в Его радость, они должны стать подобны Ему — готовыми пожертвовать радостью ради истины. Ни одно обещание такой радости не обращается к себялюбию. Всякая награда, которую предлагает Христос, чиста; и войти в душу она может лишь как смерть себялюбия. Небо Христа — любовь ко всем, забвение себя, пребывание каждого во всех и всех в каждом. Даже в наших детских радостный ребёнок редко бывает себялюбивым, обычно он праведен. Быть радостным — не себялюбие. Какая сила могла бы помешать тому, кто видит лицо Бога, радоваться? Ему принадлежит блаженство, лежащее за всяким другим блаженством, без которого ни одно другое не могло бы созреть или сохраниться. Единственное блаженство вселенной — присутствие Бога: это просто означает, что Бог есть для человека и ощущается человеком как Тот, Кем является по Своей природе, — обитающая внутри сила его жизни. Бог должен быть для Своего создания Тем, Кто Он есть в Себе, ибо творить Он может только Своим сущностным бытием, тем, благодаря чему Он есть. Его присутствие — непрерывный зов и ответ творящего и сотворённого, Отца

и ребёнка. Где же себялюбие в счастье, которое так даровано? Отказаться быть счастливым может быть глубоким себялюбием. Есть ли себялюбие в том, что Господь видит плод трудов Своей души и удовлетворяется? Себялюбие состоит в том, чтобы отнимать блаженство у другого; находить своё блаженство в блаженстве другого — не себялюбие. Радость — не себялюбие; и чем больше радость, пожатая таким образом, тем дальше она от себялюбия. Единственное блаженство после любви к Богу — любовь к ближнему. Если кто скажет: «Вы любите, потому что это делает вас блаженными», — я отрицаю это: «Мы блаженны, говорю я, потому что любим». Никто не мог бы достичь блаженства любви к ближнему, будучи себялюбивым и ища этого блаженства из любви к себе. Любовь есть отсутствие себялюбия. По большей части мы любим, потому что не можем иначе. В этом нет заслуги: как могла бы она быть в какой-либо любви? Но это и не себялюбие. Многие смешивают праведность с заслугой и думают, будто там, где нет заслуги, нет ничего праведного. «Если любить делает вас счастливыми, — говорят они, — в чём ваша заслуга? Это одно себялюбие!» Заслуги нет, отвечаю я, но любовь, рождающаяся в нас, — наше спасение от себялюбия. Она принадлежит самой сущности праведности. Из того, что нечто радостно, не следует, что я делаю это ради радости; но когда радость — в других, она чиста. То, что *определённые* радости являются радостями, и есть само отрицание себялюбия. Демонически себялюбив был бы человек, которого сама любовь не делала бы радостным. Себялюбиво наслаждаться в довольстве, видя нужду других; даже в высочайшем духовном блаженстве сидеть, не заботясь о других, было бы себялюбием, и чем выше блаженство, тем

хуже себялюбие. Но, несомненно, всецело праведно то блаженство, значительная часть которого состоит в труде, чтобы и другие могли его разделить. Такой труд — труд привести других, чтобы они разделили наше достояние, — я не сомневаюсь, составит большую часть нашего небесного довольства и радости. Творящий, искупляющий Отец найдёт для Своих детей много подобной работы. Тупы — или по крайней мере мало имеют христианского воображения — те, кто думает, будто там, где все добры, непременно скучно. Именно потому, что добра в них пока так мало, они так мало знают о силе и красоте самой простой божественной жизни. Пусть такие поспешат стать истинными. Довольно будет и интереса, и разнообразия, не без боли, в служении помощи тем, кто ещё устало взбирается на высоты истины — быть может, ещё не желая расстаться с жалким «я», лелея которое они ещё не достойны быть им и не способны им обладать.

15 Некоторые вещи, которые человеку, возможно, придётся оставить, следуя за Христом, он должен оставить не из-за того, чем они являются сами по себе. Ни природа, ни искусство, ни наука, ни подходящее общество не принадлежат к тому, что человек потеряет, отрекаясь от себя: они Божьи и не имеют доли в мире зла, ложных суждений, низких желаний и вообще призрачностей, составляющих сознательную жизнь того «я», от которого нужно отречься; такое никогда не будет возвращено человеку. Но, оставляя себя ради исполнения того, чего требует от него Бог, то есть своей истинной работы в мире, человек может обнаружить, что ему приходится оставлять некоторые Божьи вещи — не отвергать их, а на время отложить, потому что они отвлекают ум от безусловно необходимого для истинной жизни в нём

самом или в других. Возможно, ему придётся отречься от себя, оставив их, — не как дурные вещи, а как вещи, которым нет места, пока не уделено должного внимания более настоятельным требованиям, так что первые станут уже не мешать им, а содействовать. Тогда познавший Бога обнаружит, что это знание открывает дверь его понимания ко всему остальному. Он станет способен созерцать вещи изнутри, вместо того чтобы утомительно исследовать их снаружи. Это дало царю Давиду больше разумения, чем было у всех его учителей. Тогда то, что ему пришлось оставить, будет возвращено ему стократно. Так будет и с оставлением друзей. Оставить их ради Христа — не значит оставить их как злых. Это не значит перестать их любить, ибо «не любящий брата своего, которого видел, как может любить Бога, Которого не видел?». Это значит не позволить их любви бросить даже тень между нами и нашим Учителем; быть готовым потерять их одобрение, их общение, даже их любовь там, где Учитель говорит одно, а они — другое. Это значит научиться любить их гораздо более высокой, глубокой, нежной, истинной любовью, чем прежде, — любовью, которая сохраняет всё подлинное в прежней и теряет всё ложное. Мы будем любить *их* личности, а своей пренебрегать.

[16] Я не забываю слов Господа о том, чтобы *возненавидеть отца и мать*: мне дан проблеск их смысла, но сейчас я не осмелюсь попытаться их объяснить. Они всецело направлены против собственного «я», а не против отца и матери.

[17] Есть и другой вид оставления, который может выпасть некоторым и показаться им очень трудным: оставление тех представлений о Боге и Его Христе, которым их учили

в юности, — которых они держались и не могли не держаться в ту пору, когда начали верить; в истинности которых они начали сомневаться, но отказаться от которых кажется им расставанием со всякой уверенностью в безопасности.

18 Есть так называемые учения, издавна принятые добрыми людьми; мне трудно понять, как можно любить Бога и придерживаться их, разве что плотно закрыв духовные глаза. Если человеку мнение дороже жизни, другому не стоит труда убеждать его отказаться от случайно усвоенных мнений: он лишь поставит другие мнения на то же почётное место, которое не может *принадлежать* вообще никакому мнению. Во что такой человек верит или не верит, совершенно неважно, ибо он не истинный человек. Держась школы, которую считает правой, он лишь подпирает себя худшим из неверий: мнением, называющим себя верой, неверием, называющим себя религией. Но для того, кто серьёзно относится к Божьей воле, бесконечно важно правильно мыслить о Боге. Он не может приблизиться к Нему, не может истинно узнать Его волю, пока его представление о Нём хотя бы в одном отношении есть представление о ложном боге. Нелепость очевидна. Если такому человеку, отказывающемуся от недостойных Бога представлений, кажется, будто он отказывается даже от прежней уверенности в спасении, он всё равно, если хочет быть истинным, если желает войти в жизнь, должен взять и этот крест. Он придёт к пониманию, что должен следовать не *какому бы то ни было* учению, будь оно истинно настолько, насколько может выразить человеческое слово, а живой Истине, Самому Учителю.

[19] Многие добрые души однажды ужаснутся тому, что теперь думают о Боге. Если они не размышляли об этих представлениях, а посвятили себя послушанию, возможно, те пока не причинили им большого вреда; но они мало могут продвинуться в познании Бога, пока, пусть даже пассивно, считают злое истинным о Нём. Если же они размышляют об этом и не находят здесь препятствия, то должны быть действительно далеки от чего-либо, что можно назвать истинным знанием Бога. Но есть те, кто находит в этих представлениях страшное препятствие и всё же воображает или по крайней мере боится, что они истинны: таким нужно набраться мужества оставить ложь в *любом* обличье, отречься от прежних себя в самых, казалось бы, священных предрассудках и следовать за Иисусом — не таким, каким Его представляют предания старцев, а таким, каким Он представлен Самим Собой, Своими апостолами и Духом истины. «Предания человеческие» существуют и после Христа, как существовали до Него, и они гораздо хуже, поскольку «упраздняют» более высокие и лучшие вещи; и нам следует смотреть, *как мы научились Христу*.

Истина в Иисусе

1 «*Но вы не так познали Христа, если действительно слышали Его и были научены в Нём, как истина есть в Иисусе: чтобы вы отложили, по прежнему образу жизни, ветхого человека, который истлевает вслед за обманчивыми вожделениями.*» [Примечание: То есть «который всё ещё идёт к погибели через любовь ко лжи».] — Еф. 4:20–22.

2 Как мы познали Христа? Мысль о том, что мы могли познать Его неверно, должна потрясать. Это должно быть гораздо хуже, чем вовсе Его не познать: Его место занимает ложный Христос, которого трудно изгнать! Вопрос в том, познали ли мы Христа так, как Он Сам учил о Себе, или так, как учили о Нём люди, думавшие, что понимают Его, но не понимавшие. Думаем ли мы, что знаем Его, имея плотские понятия, согласно низким, убогим человеческим вымыслам и объяснениям, или действительно знаем Его — по духу, в свою меру так, как знает Его Бог? Христианская религия на протяжении всей своей истории была открыта для более пагубного искажения, чем когда-либо могла быть иудейская, ибо, насколько она выше и шире, настолько больший простор должна давать искажению: познали ли мы Христа через ложные утверждения и испорченные уроки о Нём или познали *Его Самого*? Более того: истинны ли сведения или ложны — наполнен ли только наш мозг вещами о Нём, или Он Сам живёт в наших сердцах, как усвоенный и всё вновь усваиваемый урок, как сила нашей жизни?

3 К тому, что я собираюсь сказать, меня привело одно высказывание человека, стоящего в первом ряду тех, кто утверждает, что мы ничего не можем знать о

«Бесконечной и Вечной энергии, из которой всё происходит»; вот это высказывание:

4 «Постигавшие потомков Адама на протяжении сотен поколений ужасные кары за малый проступок, которого они не совершали; осуждение на погибель всех людей, не пользующихся предполагаемым способом обрести прощение, о котором большинство людей никогда не слышало; и достижение примирения путём принесения в жертву совершенно невинного сына, чтобы удовлетворить предполагаемую необходимость умилостивительной жертвы, — это такие способы действия, которые, будучи приписаны человеческому правителю, вызвали бы выражения отвращения; и приписывать их Первопричине вещей, даже если это и не ощущается как нечто, полное затруднений, должно стать невозможно».

5 Я цитирую этот отрывок не с намерением оспорить какую-либо часть его утверждения, ибо вполне с ним согласен: почти нелепо кажется говорить это. Не намерен я обращаться и со словом к его автору или к кому-либо, кто с ним согласен. Отрывок подтверждает то, что я часто говорил: я ещё никогда не слышал от человека такого образа мыслей ни слова, которое хотя бы коснулось чего-либо, чего я придерживаюсь. Одно из самых ранних моих воспоминаний — начало моей борьбы с той ложной системой, на которую здесь нападают. Такое язычество я столь же сердечно презираю во имя Христа, сколь презираю его во имя праведности. Прежде чем поверить хоть в один пункт, заключающий в себе её дух, даже получив тем самым уверенность в таком спасении, какое предлагает эта система, я присоединился бы к рядам тех, кто «ничего не знает», и с безнадёжным сердцем принялся бы за то, что теперь стараюсь делать с

бесконечной надеждой на помощь чистого Единого, дающего всему начало, — избавляться от своего жалкого, низкого себя, утешаясь лишь возможностью, что смерть либо оставит меня без всякой дальнейшей мысли, либо откроет что-то о Первопричине, чего держаться о Ней не было бы оскорблением Ей или бесчестием Её творению. Даже одна такая возможность могла бы дать человеку силы жить.

[6] Я не стану сейчас разбирать, почему автор приведённого отрывка, по-видимому, выставляет эти так называемые верования как выражение христианства или хотя бы вероучения тех, кто называет себя христианами, хотя столь многие, и среди них люди более высокого литературного положения, чем он сам, веря во Христа истинным сердцем, не верят ни в одну из перечисленных им вещей, но относятся к ним с отвращением по меньшей мере столь же великим, как он. Вероятно, он ответил бы, что, даже знай он этот факт, ему предстояло иметь дело с понятиями, которые формируют религиозное общество и господствуют в нём; а что именно таковы убеждения большинства образованных и необразованных людей, называющих себя христианами, как бы многие из них ни думали напрасно отвести позор этой лжи пояснительной оговоркой тут и там, оставляя убеждения по существу прежними, — того, что именно этих убеждений они держатся, я, увы, отрицать не могу. Ничему не помогает, повторяю, что многие, мало думая об этом, употребляют для выражения своих догматов *как будто* смягчённые формы и воображают, что тем самым обозначают иной класс идей: достаточно было бы краткого исследования, чтобы убедиться, что эти идеи не просто сходны — в конечном счёте они тождественны.

[7] Но если бы мне пришлось говорить с автором, я спросил бы: как получается, что, отвергая эти догматы как отвратительные и сами по себе явно ложные, но зная, что их приписывают людям, чьё учение сделало для цивилизации мира больше, чем учение любых других, — как получается, что, видя неспособность подобного учения к такому действию, он не дал себе труда исследовать вопрос так, как, несомненно, было бы достаточно человеку его способностей, чтобы убедиться: не таково было их учение; оно, напротив, было настолько иным и настолько благим, что даже навязанное соседство с такими ужасными выдумками, какие он перечислил, не смогло уничтожить его возрождающей силы. Полагаю, он допустит, что существовал человек по имени Иисус, умерший за истину, которой учил: может ли он верить, что Иисус умер за такую мнимую истину? Не хорошо ли было бы, спросил бы я его, выяснить, чему же Он действительно учил, согласно первичным источникам нашего знания о Нём? Если бы он ответил, что вопрос ему неинтересен, мне больше нечего было бы сказать; да и сейчас я заговорил о нём лишь с целью ясно обозначить свою позицию для тех, к кому хочу обратиться, — а именно для называющих себя христианами.

[8] Если бы я спросил их: «Отчего существуют такие мнения о Святом, пути Которого вы берётесь излагать?» — большинство ответило бы мне: «Это то, что Он Сам говорит нам в Своём слове; мы узнали это из Писаний»; многие ответили бы объяснениями, которые, как им кажется, так объясняют эти вещи, что они уже не заслуживают осуждения; а другие заметили бы, что лучшие представления, хотя и широко распространены, ещё не успели проявиться как вера мыслящих людей страны. Среди тех, чьё изложение христианского учения

представлено в приведённой цитате, есть два класса: те, кто доволен тем, что дело обстоит так, и те, кому эти вещи тягостны, но кто не видит, как от них избавиться. Последним, возможно, послужит некоторым утешением, что человек, много лет изучающий Новый Завет и любящий его больше, чем способна выразить речь, объявляет им своё убеждение: во всём этом прекрасном, божественном изречении нет ни крупицы подобного учения; всё это целиком и полностью — изобретение людей; честное изобретение, по крайней мере отчасти, я согласен, но всё же не истинное. Благодарение Богу, мы ничуть не обязаны принимать чьё бы то ни было объяснение Божьих путей и Божьих дел, как бы ни был хорош этот человек, если оно не находит подтверждения в нашей совести. Совесть этого человека может быть лучше нашей, а его суждение яснее; тем не менее мы не можем принять того, в чём не видим добра: сделать это было бы грехом.

[9] Но моя цель отнюдь не в том, чтобы изложить, во что я верю или не верю; для этого, быть может, придёт время; сейчас мой замысел совершенно иной. Я желаю обратиться к тем, кто называет себя христианами, и увещевать их так:

[10] Каковы бы ни были ваши *мнения* о величайшем из всех предметов, хорошо ли, что представление о христианстве, создаваемое вами у вашего поколения, должно быть представлением о ваших мнениях, а не о чём-то за пределами мнения? Можно ли выразить христианство мнением, даже самым лучшим? Если бы можно было, сколь многие из нас таковы, что Бог избрал бы наши мнения о Его мыслях и намерениях для их представления? Кому из своих друзей какой-нибудь

мыслящий человек поручил бы представлять его мысли собратьям? Если вы отвечаете: «Мнения, которых я держусь и которыми представляю христианство, — мнения Библии», — я возражаю: никто не может понять, а тем менее представить мнения другого, кроме того, кто един с ним мыслью; и уж конечно не тот, кто столь ошибается относительно всего его замысла и цели, что считает *мнение* целью какого-либо библейского автора. Христианство — система положений веры, пусть настолько точных, насколько язык способен их передать? Никогда. Я так далёк от этой веры, что предпочёл бы человека, который держится, как многие из вас, того, что представляется мне самой отвратительной неправдой, самых непочтительных и грубых мнений, если при этом он *живёт* верой Сына Божьего, то есть доверяет Богу так, как доверял Ему Сын Божий, человеку, с каждой формулой веры которого я совершенно согласен, но который ничего не знает о ежедневной жизни и хождении с Богом. Первый, придерживаясь учений бесовских, всё же дитя Божье; второй, придерживаясь учений Христа и Его апостолов, — от мира, да, от дьявола.

11 «Как! Человек может держаться учения бесовского и всё же быть от Бога?»

12 Да; ибо держаться чего-либо умом — не значит верить в это. Настоящая вера человека — то, чем он живёт; а то, чем живёт человек, которого я имею в виду, — любовь Божья и послушание Его закону, насколько он его узнал. Эти отвратительные учения находятся вне его; он *думает*, что они внутри, но это неважно; они неистинны и не могут по-настоящему находиться внутри доброго человека. Они тяжко действуют против него, ибо он не может любить размышление ни об одной из этих

предполагаемых черт своего Бога; и всё же в какой-то мере он действует и живёт подобно истинному Богу. То, во что человек верит, — то, что он делает. Этот человек с отвращением отшатнулся бы от поступков, которые, по его мнению, Бог вправе совершать; подобно Богу, он любит, помогает и спасает. Позволит ли живой Бог мнениям такого человека погубить его? Не более, чем позволит правильным мнениям другого, живущего для себя, спасти его. Даже лучшее спасение, какое могли бы дать последние, было бы лишь погибелью. К чему я прихожу и на чём настаиваю: допустим, ваши теории верны и содержат всё, во что следует верить, — всё же не эти теории делают вас христианами, если вы действительно христиане. Напротив, для немалого числа из вас именно они мешают стать христианами. Ибо, когда вы говорите, что для спасения человек должен придерживаться того или этого, вы оставляете живого Бога и Его волю и возлагаете упование на какое-то понятие о Нём или о Его воле. Чтобы яснее выразить свою мысль: некоторые из вас говорят, что мы должны полагаться на завершённое дело Христа; или ещё — наша вера должна быть в заслуги Христа, в совершённое Им искупление, в пролитую Им кровь. Все эти утверждения — простое отвержение живого Господа, *в Которого* нам велено верить, Который Своим присутствием с нами и в нас и нашим послушанием Ему поднимает нас из тьмы в свет, ведёт из царства сатаны в славную свободу сыновей Божьих. Никакой вид и никакая мера веры *о Нём* не есть вера Нового Завета. С таким учением я знаком всю жизнь и объявляю его самым жалким образом ложным. Но сейчас я не собираюсь спорить против него; если свет познания славы Божьей в лице Иисуса Христа не вызовет у человека отвращения к его мнениям, пусть он держится

их до Судного дня — я не стану мешать; ибо никакое мнение, повторяю, не есть христианство, и никакая проповедь какого-либо плана спасения не есть проповедь славного Евангелия живого Бога. Даже если бы ваш план, ваши теории были абсолютно истинны, искренне держаться их, полагаться на то или иное о Христе, или на что-либо сделанное Им или возможное для Него, полагаться на что угодно, кроме Него Самого, Его собственного живого существа, — заблуждение. Многие сердечно согласятся с этим, и всё же, едва вы начинаете говорить с ними, обнаруживается, что они настаивают: верить во Христа — значит верить в искупление, разумея под этим единственно и всецело свою особую теорию искупления; а когда вы говорите, что мы должны верить в искупляющего Христа и никак не можем верить в какую-либо теорию об искуплении, они уходят и обличают вас, говоря: «Он не верит в искупление!» Если я объясняю искупление иначе, чем они, они утверждают, что я отрицаю искупление; и не считают сколько-нибудь существенным, что я говорю: верю в Искупителя всем сердцем, душой, силой и умом. Это они называют *бороться за истину*! Я отказываюсь принять объяснение, которого нет в Новом Завете, хотя они верят, что оно там есть, потому что не могут придумать другого, — объяснение, которое кажется мне столь же ложным в логике, сколь отвратительным в нравственном отношении, не говоря уже о полном отсутствии в нём духовности; и потому я не христианин! Что удивительного, если люди вроде того, кого я процитировал, отвергают христианство, которое, как они думают, представляют такие «верующие»! Я не говорю, что с этим печальным безумием не может смешиваться сильная вера в Самого Господа; но я говорю, что

значение, которое они придают теории, ещё печальнее препятствует истинной вере, чем сами такие теории: пока ум занят вопросом,

13 «Правильно ли я верю в это или чувствую это?» — забывается истинный вопрос: «Всё ли я оставил, чтобы следовать за Ним?» У человека, отдающего себя живому Господу, всякая вера неизбежно придёт в порядок; Сам Господь позаботится, чтобы Его ученик верил о Нём верно. Если человек не может доверить Ему этого, какое право имеет он притязать на веру в Него? Именно потому, что у него мало веры или нет вовсе, он остаётся цепляться за нелепые и бесчестящие представления, человеческие предания о Его Отце, а не за Его учение и не за учение Его апостолов. Живой Христос для них лишь тень; во Христа их теорий, почти совершенно стёртого, никакая душа не может верить всецело: ученик такого Христа опирается на Его дело, или заслуги, или искупление!

14 Я настаиваю на том, чтобы вера человека была в живого, любящего, царствующего, помогающего Христа, преданного нам так же, как всегда, и обладающего всеми силами Божества ради спасения Своих братьев. Не вера в то, что Он сделал это, что Его дело произвело то, а вера в Человека, Который сделал и делает для нас всё, спасёт человека: без неё Он не может действовать ради духовного исцеления, как не исцелял телесно, когда был видим человеческим глазам. Вы спрашиваете: «Что такое вера в Него?» Отвечаю: оставить свой путь, свои цели, себя и принять Его путь, Его цели и Его Самого; оставить своё упование на людей, деньги, мнения, характер, на само искупление *и делать, как Он вам говорит*. Я не нахожу слов достаточно сильных, чтобы выразить вес этой необходимости — этого послушания. Единственная

страшная ересь церкви в том, что она всегда представляла как веру во Христа что-нибудь иное, нежели послушание. Дело Христа — не Действующий Христос, как одежда Христа — не тело Христа. Если бы женщина, коснувшаяся края Его одежды, доверилась одежде, а не Тому, Кто её носил, разве была бы она исцелена? И причина, по которой столь многие, кто верит *о* Христе, а не в Него, всё же получают своё утешение, состоит в том, что, касаясь таким образом лишь края Его одежды, они не могут не верить хоть немного в живого Человека внутри одежды. Неудивительно, что такие верующие так часто несчастны: они ложатся спать, держа в руке лишь подол Его одежды — да и то, говорю я, одежды, которая никогда не была Его, а только считается ими Его, — тогда как могли бы спать в мире, имея живого Господа в сердцах. Вместо того чтобы знать Христа так, чтобы Он пребывал в них, спасая их, они лежат, изнуряя себя мучительным для души самоисследованием: верующие ли они, действительно ли уповают на искупление, истинно ли сокрушаются о грехах, — а это путь к безумию ума и отчаянию сердца. Некоторые даже размышляют о непостижимом: из числа ли они избранных, имеют ли участие в крови, пролитой за грех, спасительна ли их вера, — тогда как всё это время Человек, умерший за них, ждёт, чтобы начать спасать их от всякого зла, и прежде всего от этого «я», которое пожирает их тревогой о собственном спасении; Он освободит их и приведёт домой, в лоно Отца, если только они станут внимать тому, что Он им говорит, — а это начало, середина и конец веры. Если бы вместо исследования тайн тления в собственных склепах они лишь пробудились, восстали из мёртвых и вышли в свет, который Христос ждёт, чтобы им дать, Он сразу начал бы наполнять их полнотой Бога.

15 «Но я не знаю, как пробудиться и встать!»

16 Я скажу вам: встаньте и сделайте что-нибудь из того, что велит Учитель; так сразу сделайте себя Его учеником. Вместо того чтобы спрашивать себя, верите вы или нет, спросите, сделали ли вы сегодня хотя бы одно дело потому, что Он сказал: «Сделай», или хотя бы раз воздержались потому, что Он сказал: «Не делай». Просто нелепо говорить, что вы верите или даже хотите верить в Него, если не делаете ничего из того, что Он вам говорит. Если вы не можете вспомнить ничего из когда-либо сказанного Им, что хоть сколько-нибудь повлияло на ваше действие или бездействие, у вас более чем достаточно оснований считать себя не Его учеником. Не тратьте, прошу вас, время хуже, чем впустую, пытаясь убедить себя, что вы всё-таки Его ученик, что по той или иной причине у вас всё же есть основание думать, будто вы верите в Него. Что с того, если вам удастся убедить себя с полной уверенностью, что вы Его ученик, а Он в конце концов скажет вам: «Почему ты не делал того, что Я тебе говорил? Отойди от Меня; Я не знаю тебя!» Вместо того чтобы убеждать себя, если это правда, вы можете сделать её ещё вернее; если неправда — можете сразу начать делать её правдой, начать *быть* учеником Живого, повинуясь Ему в первом же деле, которое вспомните и в котором не повинуетесь. Мы должны научиться повиноваться Ему во всём и потому должны с чего-то начать: пусть это будет сейчас же, с ближайшего дела, стоящего у двери нашей совести! О неразумные и медлительные сердцем, если вы ни о чём, кроме Христа, не думаете, а исполнять Его слова не принимаетесь! Вы лишь строите дома на песке. За что только не придётся отвечать тем учителям, которые отвратили ваше внимание от прямых слов Самого Господа, которые суть

дух и жизнь, к созерцанию планов спасения, вымученных из слов Его апостолов, — даже если бы те планы были столь же истинны, сколь они ложны! Есть только один план спасения: верить в Господа Иисуса Христа; то есть принять Его за Того, Кто Он есть, — нашего Учителя, а Его слова — так, словно Он именно это и имел в виду, а Он, несомненно, именно это и имел в виду. Исполнять Его слова — значит вступить с Ним в живое отношение; повиноваться Ему — единственный путь быть с Ним единым. Отношение между Ним и нами безусловно; оно никак не может начать *жить*, кроме как в послушании: оно и есть послушание. Не может быть ни истины, ни действительности ни в каком начале примирения с Ним, если оно не послушание. Как! Имея хоть самое бедное понятие о Боге, смею ли я думать о вступлении в отношения с Ним, самым первым из которых не было бы: что Он говорит, то я исполню? Это вечно нелепо и происходит от отца лжи. Я знаю, что он шепчет тем, кому такое учение неприятно: «Это учение о делах!» Но одного слова Господа, смиренно услышанного и принятого, будет достаточно, чтобы послать всех бесов ложного богословия в бездну. Он говорит, что человек, не делающий того, что Он ему велит, строит дом, которому предстоит полное разрушение. Он велит Своим посланникам идти и крестить все народы, «уча их соблюдать всё, что Я повелел вам». Скажите мне, что Он требует веры: разве я этого не знаю? И разве вера не высшее действие, на которое способен человеческий ум? Но вера во что? Вера в то, Кто Он есть, в то, что Он говорит, — вера, которая не может существовать иначе, как в послушании, вера, которая и есть послушание. Делать то, чего Он желает, — значит проявлять веру в Него. Вместо этого человеческое учение подставило то или иное верование *о* Нём, веру в ту

или иную предполагаемую цель Его явления во плоти. Он явил Себя Самого и Бога в Себе; но веру в Него и Его Отца, так явленных, они делают совершенно второстепенной по сравнению с принятием жалкой выдумки нравственного жонглёрства, которую приписывают Богу и Его Христу, воображая, будто это искупление и «план спасения». «Вы верите *Ему*, — спрашиваю я, — или учениям и заповедям человеческим?» Если вы говорите: «Ему», — я отвечаю: «Неужели возможно, что вы не видите: превыше всех вещей и всех мыслей вы обязаны повиноваться Ему?» Разве вы не скорбите, что не можете доверять Ему так, как хотели бы, что это кажется слишком трудным? Слишком трудно это для вас и слишком трудным останется, пока вы даже не пытаетесь делать то, что Он вам велит, — то, что вы можете сделать! Как вы можете быть способны доверять Истинному, когда сами ничуть не верны Ему? Как можете верить, что Он исполнит Свою часть по отношению к вам, когда сами не таковы, чтобы исполнить свою по отношению к Нему? Как можете верить, пока не верны? Как, говорю я, можете быть способны доверять Ему? Именно от того, что сделало бы вас способными доверять Ему и тем принимать от Него всё, вы отворачиваетесь: от послушания вы отказываетесь или по меньшей мере пренебрегаете им. Вы говорите, что не отказываетесь повиноваться Ему? Мне безразлично, отказываетесь вы или нет, пока вы не повинуетесь. Помните притчу: «Иду, господин, — и не пошёл». Что вы сделали сегодня потому, что это была воля Христа? Отбросили ли вы хоть раз тревожную мысль о завтрашнем дне? Послужили ли какой-нибудь нуждающейся душе или телу и удержали ли правую руку от знания того, что сделала левая? Начали ли оставлять всё и следовать за

Ним? Принялись ли судить праведным судом? Остерегаетесь ли любостяжания? Простили ли врага? Ищете ли прежде всего Царства Божьего и Его праведности? Алчете ли и жаждете праведности? Дали ли кому-нибудь, попросившему у вас? Расскажите мне что-нибудь, что вы сделали, делаете или пытаетесь делать потому, что Он вам сказал. Если вы не делаете ничего из того, что Он говорит, неудивительно, что вы не можете доверять Ему и потому вынуждены искать убежища в искуплении, словно искупление — нечто сделанное Им, а не Он Сам в Своём действии. *Вы понимаете это иначе?* Какое значение имеет, как вы понимаете и что понимаете, пока вы не единомысленны с Истиной, пока вы и Бог не *едины*, не примирены в единстве? Как вы можете понимать? Зная, что вы не внимаете Его слову, почему я должен внимать вашему объяснению этого слова? Вы не исполняете Его волю и потому не можете Его понимать; вы не знаете Его, вот почему не можете Ему доверять. Вы думаете, вашего здравого смысла достаточно, чтобы знать, что Он имеет в виду? Вашего здравого смысла должно хватить на то, чтобы признать свою неспособность к этой задаче. Только сердце ребёнка может понять Отца. Хотите ли вы, чтобы я считал вас виновными в грехе против Святого Духа — что вы *понимаете* Иисуса Христа и всё же не желаете Ему повиноваться? Это было бы слишком страшно. Я верю, что вы Его не понимаете. Ни один человек ещё не может как следует делать то, что Он ему велит, — но пытаетесь ли вы? Послушание — не совершенство, а старание. Вы считаете Его суровым господином и не желаете шевельнуться. Неужели вы полагаете, что Он когда-либо давал заповедь, зная, что она бесполезна, поскольку её нельзя исполнить? Он говорит нам нечто, зная, что мы

должны это сделать или погибнуть; что даже Сам Его Отец не мог бы спасти нас иначе, как побудив наконец делать всё, что Он повелевает, ибо только так мы можем познать жизнь, можем узнать святую тайну божественного бытия. Он знает, что вы можете пытаться и что в ваших попытках и неудачах Он сможет помогать вам, пока наконец вы не будете исполнять волю Божью так, как Он исполняет её Сам. Он принимает волю в несовершенном деле и в конце концов делает дело совершенным. Самые правильные понятия без послушания ничего не стоят. Исполнение воли Божьей — путь к единству с Богом, которое одно и есть спасение. Сидя у врат неба, сидя у подножия самого престола, да, обнимая колени Отца, вы не могли бы быть в мире, если бы во всяком своём жизненном движении, в каждой малейшей точке сознания ваши сердце, душа, ум, мозг, тело не были едины с живым Богом. Если бы у вас была хотя бы одна затаённая мысль, не являющаяся радостью в Нём, вы не были бы в мире; если бы у вас было хоть одно желание, которого вы не могли бы безусловно предоставить Его воле, вы не были бы в мире; вы не были бы спасены и потому не могли бы чувствовать себя спасёнными. Бог, всё и во всём, наш до полноты самого нашего бытия, — вот религия совершенного, сыновнего сердцем Господа Христа.

[17] Я хорошо знаю, что нас спасает вера, — но не вера в какое-либо дело Бога, а вера в Самого Бога. Если бы я не верил, что Бог благ настолько, насколько нежнейшее человеческое сердце, справедливейшее, чистейшее, бескорыстнейшее человеческое сердце может Его вообразить, да, бесконечно лучше, выше нас, как небеса выше земли, — не верил бы этому не как положению и даже не как чему-то, в чём я убеждён, но ответным

состоянием и бытием всей моей природы; если бы не чувствовал, что каждая нить сердца, мозга и тела в безопасности с Ним, потому что Он — Отец, сделавший меня тем, что я есть, — я не был бы спасён, ибо эта вера и есть спасение; это единство Бога и человека. Бог и человек вместе, жизненная энергия, беспрепятственно текущая от Творца в Его творение, — вот спасение творения. Но самая бедная вера в живого Бога, Бога, открытого во Христе Иисусе, если она живая, истинная, то есть послушная, — начало пути к познанию Его, а знать Его — жизнь вечная. Если под верой вы подразумеваете что-либо иного рода, такая вера вас не спасёт. Вера, например, что Бог прощает меня не потому, что любит меня, а потому, что любит Иисуса Христа, не может меня спасти, ибо это ложь против Бога: если бы это было правдой, такое евангелие было бы проповедью Бога, Который не есть любовь, следовательно, в Котором нет спасения, Бога, знание Которого не могло бы быть вечной жизнью. Такая вера погубила бы человека, а не спасла; ибо привязала бы его к Богу, Который как угодно далёк от совершенства. Такие утверждения под именем христианства — лишь жалкие остатки язычества; и лишь той частью нашей природы, которая ещё не стала христианской, мы способны верить в них — насколько вообще возможно верить лжи. Ради Христа мы должны оставить все свои страхи и недоверие. Мы должны сердечно принять Его учение и не позволять толкованию этого учения, приписываемому Его апостолам, отвратить нас от него. Я говорю: толкованию, приписываемому им; ибо то, чему учат они, никогда не противоречит учению Христа, хотя очень часто противоречит изложение их учения — и не по вине апостолов, а по тяжкой вине тех, кто предпочитает понимать и даже объяснять вместо

того, чтобы повиноваться. В этом мы можем быть уверены: ни один человек не будет осуждён за какой-либо грех, оставшийся в прошлом; если он будет осуждён, то потому, что не захотел прийти к свету, когда свет пришёл к нему; потому, что не захотел перестать делать зло и научиться делать добро; потому, что спрятал своё неверие в одежду ложной веры и не захотел повиноваться; потому, что вменил себе праведность, которая не была его; потому, что предпочёл воображать себя достойным человеком вместо того, чтобы признать себя во всём неправым и покаяться. Можем быть уверены и в другом: если человек становится учеником Христа, Христос не оставит его в неведении о том, во что ему следует верить; он узнает истину всего, что ему необходимо понять. Если мы делаем то, что Он говорит, Его свет взойдёт в наших сердцах. До тех пор мы не смогли бы понять, даже если бы Он объяснил нам. Если вы не можете доверить Ему дать вам знать, что правильно, а думаете, что должны держаться того или этого, прежде чем сможете прийти к Нему, тогда я оправдываю ваши сомнения в те времена, которые вы называете худшими, но которые, подозреваю, — ваши лучшие времена, когда вы ближе всего подходите к истине, а именно когда боитесь, что у вас нет веры.

[18] Пока человек не принимается повиноваться слову Господа Христа — произнесённому, написанному, напечатанному, прочитанному, — я не стал бы утруждать себя убеждением его в том, что самые отвратительные учения ложны, как ад. Я хочу помочь тем, кто желал бы верить, но кому такие учения мешают. Споры о вещах лишь скрывают живого Христа, Который один может научить истине, Который есть истина и знание Которого — жизнь; я пишу ради тех, кого ложное учение, прежде всего притязающее на истинность, отогнало от Бога — и

вполне могло отогнать, ибо Бог, о Котором так учат, не Бог, достойный веры. Палка, камень или дьявол — вот всё, во что могут верить некоторые из наших собратьев по человечеству; тот, кто верит в Бога не всецело бескорыстного и благого, в Бога, Который не делает всего, что может, для Своих творений, принадлежит к тому же разряду; его Бог — не Тот, Кто сотворил небо, землю, море и источники вод, не Бог, открытый во Христе. Если человек видит в Боге хоть какую-либо тьму и особенно если защищает эту тьму, пытаясь оправдать её, словно лицеприятствуя Богу, я не могу не думать, что его слепота последовала за насмешливым: «*Господи! Господи!*» Несомненно, если бы он усердно повиновался Иисусу, то к этому времени принял бы истину, что Бог есть свет и нет в Нём никакой тьмы, — истину, которую не признают тем, что называют приписанную Ему тьму светом, а светильник Господа в человеческой душе — тьмой. Одно дело верить, что Бог не может сделать ничего дурного; совсем другое — называть правым всё, что самонадеянность может Ему приписать.

19 Вся тайна продвижения — делать то, что мы знаем. Нет другого пути вперёд в духовной жизни; нет другого пути вперёд в понимании этой жизни: лишь делая, можем мы знать.

20 Есть ли тогда что-нибудь, чего вы не оставите ради Христа? Вы не можете знать Его, — а ведь Он Истина, единственное, что только и может быть познано! Вам всё равно, что вы несовершенны? Вы предпочли бы сохранить то или другое вместе с несовершенством, чем расстаться с ним, чтобы стать совершенными? Вы не можете знать Христа, ибо самый принцип Его жизни был простым, безусловным отношением действительностей; Его

единственная мысль — быть совершенным ребёнком Своему Отцу. Кто не расстанется со всем ради Христа, тот недостоин Его и не может Его знать; а Господь истинен и не может признать такого Своим: как мог бы Он принять в Свой дом как подобного Себе человека, предпочитающего что-либо своему Отцу; человека, который не за Бога; человека, который станет торговаться с Богом и скажет: «Я отдам столько-то, если Ты пощадишь меня»! Отдать всё Тому, Кто всего лишь создал нас и дал нам всё, да, Самого Себя жизнью и смертью, — такой человек считает чрезмерным. Его поведение говорит: «Я никогда не просил Тебя делать для меня столько и не могу воздать Тебе то, чего Ты требуешь». Человека придётся оставить самому себе. Он должен узнать, что значит быть без Бога! Те, кто знает Бога или хотя бы начал улавливать далёкий отблеск Его славы, того, Кто Он есть, считают жизнь невыносимой, если Бог не Всё во всём, не первый и последний.

[21] Дать своему свету светить, а не навязывать ближним свои толкования Божьих замыслов — вот долг христиан перед собратьями. Если бы вы, взявшиеся объяснять теорию христианства, вместо этого принялись исполнять волю Учителя — единственную цель, ради которой вам было проповедано Евангелие, — как иначе обстояло бы теперь дело в той части мира, с которой вы соприкасаетесь! Если бы вы посвятили себя пониманию Его слова, чтобы исполнить его, а не добыче из него материала для подпорок своим системам, ко времени нынешнему во многих сердцах имя Господа было бы любимо там, где теперь остаётся неизвестным. Тогда вы действительно несли бы слово жизни. Люди, не отпугнутые вашими объяснениями христианства, ибо вы не принуждали бы их к принятию, и привлечённые вашим

поведением, говорили бы друг другу, как Моисей сказал себе при виде куста, горевшего огнём и не сгоравшего: «Пойду и посмотрю на это великое явление!» Они подходили бы ближе, чтобы увидеть, как эти христиане любят друг друга и как справедливы и честны со всяким, кому приходится иметь с ними дело! Чтобы заметить, что их товары — лучшие, их вес — вернейший, их цены — самые *разумные*, их слово — самое надёжное! Что в их семьях нет ни ревности, ни соперничества! Что там не поклоняются маммоне! Что в их домах себялюбие — ни скрытый, ни открыто господствующий принцип; что их детей столь же старательно учат делиться, как иных — копить или тратить только на себя, и матери больше тревожатся, как бы ребёнок не стал скопидомом, чем как бы он не стал расточителем; что ни в одном их доме религия не одно, а повседневная жизнь — другое; что церковный служитель не думает прежде всего о своей церкви, а пэр — о своих привилегиях.

[22] Что я слышу от вас? — «*Как же тогда будет существовать мир?*» Мир Господа будет существовать, и без вас; мир дьявола будет существовать, и с вами. Это возражение — лишь новое и неопровержимое доказательство вашего неверия. Либо вы не верите слову, сказанному Господом, что, если мы прежде всего ищем Царства Божьего и Его праведности, всё необходимое приложится нам; либо то, за что Он ручается, вас не удовлетворяет: этого мало, вы хотите большего, вы предпочитаете предложения Маммоны. Вы нисколько не стремитесь спастись от избытка, который есть сеть; вам нужно то, что вы называете состоянием, — свобода мира. Вы не желаете жить под ограничениями, которые Господь, быть может, сочтёт нужным на вас наложить, если увидит, что из вас можно сделать нечто драгоценное

в Его глазах! Вы хотите наследовать землю, и не кротостью; хотите, чтобы жизнь этого мира была сладка, а с жизнью вечной, жизнью, которой Бог делится с вами, пусть будет что будет: о том, к чему всё это приведёт, вы охотно предоставили бы заботиться Богу, лишь бы быть уверенными, что после смерти не разделите участи богача. Но вы обнаруживаете: не в силах довериться Ему в этом мире, вы не можете довериться Ему и в будущем. Отказываясь повиноваться Ему в своей жизни, как можете доверить Ему свою жизнь? Отсюда различные замены, которые вы ищете вере в Него: вы хотели бы поймать Его на слове, связать Его обещаниями, сослаться на искупление, на удовлетворение Его справедливости, как вы это называете, — тогда как не даёте себе никакого труда исполнить совершенно разумное и необходимое условие, да, нравственно и духовно обязательное условие, условие и средство одновременно, на котором Он предлагает и через которое одно только может предложить вам избавление от бремени жизни в силу и славу жизни: чтобы вы были истинными и послушными Ему детьми. Вы говорите: «Христос удовлетворил закон», — но сами не желаете удовлетворить Его! Он говорит: «Придите ко Мне», — а вы не хотите встать и идти к Нему. Вы говорите: «Господи, верую; помоги моему неверию», — но, когда Он говорит: «Оставьте всё позади и будьте по отношению к Богу такими, как Я, и обретёте мир и покой», — вы отворачиваетесь, бормоча об *иносказании*. Если бы вы были истинными, если бы жили *настоящей* жизнью, если бы были христианами в действительности, вы, пусть хоть немного, увлекли бы мир за собой. В своих церквах вы получали бы самое истинное питание, да, силу жить, — думая гораздо меньше о служении Богу в воскресенье и гораздо больше о служении ближнему в

будни. Общительные низкие люди, властные богачи, лживые торговцы, честолюбивые бедняки, которых вы привлекли в свои общины предложением спасения иного, чем избавление от греха, не властвовали бы над ними и не тянули бы их вниз; общины были бы чище и сильнее от их отсутствия; вместо них были бы привлечены мытари и грешники и обращены в истинных мужчин и женщин; а истинный израильтянин, которого ваша общая мирская настроенность отталкивает ещё сильнее, чем ваши искажения Бога, представляющие Его себялюбивым, как вы, хотя Он — чистота творения, — израильтянин, в котором нет лукавства, поспешил бы в общество любящих и истинных людей, стремясь узнать, что делает их столь добрыми, счастливыми, бескорыстными, свободными от забот, готовыми умереть, охотно живущими, исполненными надежды, готовыми помочь, столь равнодушными к обладанию и столь непочтительными к богатству. Обнаружив, что вы по силе традиции ложного учения держитесь таких убеждений, каких держитесь, он сказал бы: «Нет! Подобные верования никогда не объяснят столь великих результатов!» Вы ответили бы: «Исследуй Писания и посмотри». Он исследовал бы и нашёл — не то, конечно, что воображаете в них вы, а вещи бесконечно лучшие и высшие, вещи, которые действительно объясняют поразивший его результат; он нашёл бы такую истину, которой нашедший её будет держаться вечно как единственной радости своего бытия. Вот где вы получили бы награду за то, что были истинными христианами вопреки дурным учениям, которым вас учили и которым учили вы: вас, в свою очередь, научил бы истине дела тот, кого ваше истинное христианство привлекло к себе и послало к первоисточнику свободным от предубеждений, лишавших

силы ваше суждение. Так избавившись от ложных понятий, которые до сих пор неизбежно задерживали ваш рост, как стремительно стали бы вы расти!

23 Если кто-нибудь из вас скажет мне, что моё учение самонадеянно, что оно противно учению Нового Завета и тому, во что всегда верили лучшие люди, я не стану поэтому защищать даже свои верования, начала, по которым стараюсь жить, — тем менее свои мнения! Вместо этого я обращусь к вам с вопросом: сказал ли я правду о нашей первейшей обязанности исполнять слово Христа? Если ответите, что нет, мне больше нечего сказать; у нас нет иного основания для встречи. Но если вы допускаете, что это одна из главных обязанностей, пусть даже не допускаете, что она *главнейшая*, то я настаиваю на том, чтобы вы её исполняли, так, а не иначе представляя людям познание Его как достойное желания. Я не пытаюсь изменить ваши мнения; если они неверны, только послушание, на котором я настаиваю, может дать вам возможность их исправить; я лишь прошу вас повиноваться и утверждаю, что только так вы можете приготовиться к пониманию мысли Христа. Я говорю: никто, кроме поступающего правильно, не может правильно мыслить; вы не можете *знать*, что Христос прав, пока не делаете, как делает Он, как Он велит вам делать; и не можете представить Его, пока не узнаете так, как Он желает быть узнанным, то есть каков Он есть. Если вы служите Маммоне и уповаете на неё, как можете знать живого Бога, Которому одному, как источнику жизни, следует доверять! Если вы не признаёте, что долг человека — исполнять слово Христа, или, признавая долг, всё же не заботитесь его исполнить, зачем мне заботиться убедить вас в правоте моего учения? Какое дело истинному человеку до того, что вы думаете о его учении?

Какое имеет значение, что вы думаете о любом учении? Если бы я мог убедить ваше суждение, а сердца остались бы прежними, я лишь усилил бы ваше осуждение. Истинное сердце должно сразу увидеть: сколь бы я ни был прав или неправ в другом, по крайней мере в этом я прав — Иисусу нужно повиноваться, и повиноваться сразу, в том, что Он действительно сказал; такое сердце недолго будет воображать, будто повинуется Ему в том, чего Он не говорил. Если человек делает неугодное Христу, веря, что это Его воля, он всё же получит от этого пользу, ибо тем даёт Господу возможность удержать его, и Господь ею воспользуется; но прежде чем человек сможет достичь свободы, он должен быть избавлен от этой лжи. Того же, кто не хочет увидеть, что Христу должно повиноваться, надо оставить учению Отца, Который приводит всех слышащих Его и учащихся у Него ко Христу, чтобы они узнали, каков Тот, Кто их учил и привёл. Он не оставит ни одного человека его собственному пути, как бы сильно тот ни предпочитал его. Господь умер не для того, чтобы обеспечить человеку жалкие небеса, которые тот может выдумать для себя или принять выдуманными для него другими; Он умер, чтобы дать ему жизнь и привести в небо Отчего мира; дети должны разделить сущностное блаженство Отца и Сына. В этом от начала было и есть дело Отца: привести нас в дом Своего сердца, где Он делится славами жизни с Живым, в Котором родилась жизнь, чтобы светом вести людей назад к изначальной жизни. Это наше предназначение; и как бы человек ни отказывался, он обнаружит, что бороться с Богом тяжко, что бесполезно брыкаться против рожна Его любви. Ибо Отец уже понуждает его или, если понадобится, станет понуждать к жизни беспокойством и бедой; придёт очередь адского огня, если меньшего окажется

недостаточно: кому он может быть нужнее, чем тем, кто и сам не входит в Царство Небесное, и желающим войти не позволяет? Древнее племя фарисеев отнюдь не вымерло; они были великой скорбью святого Павла, и их поныне можно найти в каждой религиозной общине под солнцем.

24 Единственное, что действительно примирит все разногласия, — хождение во свете. Так учит нас святой Павел в Послании к Филиппийцам, в третьей главе, шестнадцатом стихе. Изложив высочайшее представление о человеческом стремлении в провозглашении вершины собственного устремления, он говорит не: «Таково должно быть и ваше стремление, иначе вы не можете спастись», — но: «Если же вы в чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы уже достигли, по тому и будем ходить». Заметьте, какой широчайший мыслимый простор даёт апостол честному мнению даже в вопросах величайшей важности! Единственный существенный для него пункт: того, чего мы достигли, что увидели истинным, *того и держаться в жизни*. В таком хождении и только в таком хождении будет расти любовь, будет расти истина; душа, впервые оказавшись в своей подлинной стихии и верном отношении к Богу, проникнет в действительность, которая прежде была для неё пустотой; и Тот, Кто обещал учить, научит обильно. Всё быстрее будет восходить слава Господа в сердцах и умах Его народа, так ходящего, — тогда действительно Его народа; быстро и далеко будет распространяться знание Его, ибо истина поступка, и предшествующая истине слова, и следующая за ней, приготовит путь перед Ним. Человек, ходящий в том, чего достиг, будет способен правильно мыслить; человек, который мыслит неправильно, неспособен потому, что ходил неправильно; только когда он начинает делать то,

что знает, начинает он быть способным правильно мыслить; тогда Бог приходит к нему новым, высшим образом и действует вместе с духом, который создал. Душа, не имеющая своего неба над головой, своего дыхания жизни вокруг себя, своего сокровища любви в сердце, своего истока, единого с ней и связанного с ней, своего истинного «я» и дающей начало жизни, не может мыслить ни к какой действительной цели — и не смогла бы во веки веков. Когда человек соединяется с Богом, тогда изгоняются всякое бессилие и разлад. До тех пор возможен только раздор; Бог борется с вратами ада, открывающимися в человеке, и может лишь удерживать Своё; когда человек присоединяется к Нему, тогда сатана побеждён. Ибо лишь тогда природа получает необходимое ей: нет у неё такой необходимости, как этот закон всех законов — Бог и человек едины. Пока они не начинают быть едины в действительности, как в божественном замысле, в цветении, как в корне, в завершении, как в исходящем творении, ничто в человеке не может идти правильно и Бог не может отдохнуть от Своего труда в нём. Как величайшие небесные светила притягиваются наименьшими, так Сам Бог должен пребывать в божественном беспокойстве, пока каждый из Его семьи не будет приведён домой к Его сердцу, чтобы стать единым с Ним в единстве слишком безусловном, глубоком, далеко простирающемся, тонком и напряжённом, чтобы быть понятым кем-либо, кроме Бога, от Которого оно исходит, — и всё же угадываемом душой по неизреченности её восторга, когда наконец она с *Единственным*, Кто может быть её собственным, с Тем, Кем она может обладать, с Тем, Кто может обладать ею. Ибо Бог — наследие души в принадлежности по происхождению; человек — порождение Его творящей

воли, Его жизни; Сам Бог — место его рождения; Бог — то «Я», которое даёт душе возможность сказать: *«И я тоже, я сам»*. Ради этого безусловного, неизреченного блаженства творения Сын умер, Отец страдал вместе с Ним. Только тогда жизнь становится собой; только тогда она права, едина; только тогда она такова, как замыслила и сделала необходимой вечная Жизнь, изливающая жизнь.

25 Итак, до чего мы достигли, по тому и будем ходить!

26 КОНЕЦ ВТОРОЙ СЕРИИ.

Серия 3 · Посвящение

1 *МОЕЙ ЖЕНЕ*

[2] Господь — и солнце, ветер и дожди
Для семени, что в землю вверил Отец:
Ведь Он — живое Слово
И Дух животворящий.

[3] БОРДИГЕРА:
3 *мая* 1889 года.

Творение во Христе

[1] *Всё Им было сотворено, и без Него не было сотворено ничто, что было сотворено. В Нём была жизнь, и жизнь была светом людей*. — Ин. 1:3–4.

[2] Мне кажется, всякий любящий Евангелие человек, склонный к размышлению, и особенно тот, кому привычно усилие выразить мысль, едва ли мог не испытать более или менее определённого неудовлетворения концом третьего стиха в том виде, в каком он представлен здесь английскому читателю. Своей слабостью он кажется мне непохожим на остальное и риторически недостойным его. То, что он не хуже простого плеоназма, то есть избыточности, а потому всего лишь не нужен, не может удовлетворить человека, который хотел бы, если возможно, найти совершенство в словах того, кто был к Господу ближе всех. Выражение «что было сотворено» своей бесполезностью кажется слабым до нелепости после предшествующего: «Всё Им было сотворено, и без Него не было сотворено ничто, *что было сотворено*».

[3] Поэтому велика была моя надежда, когда, читая по-гречески, я увидел, что перестановка точки избавит меня от плеоназма. Если при этом открылся бы ещё и какой-либо драгоценный смысл, изменение было бы не просто оправданным — ведь для всякого, кто знаком с причудами переписчиков, редакторов и печатников, знаки препинания не имеют самостоятельного авторитета, — но таким, за которое следует благодарить Бога. И я обнаружил, что изменение действительно раскрыло такую истину, которая показала: сама риторика согласуется с высочайшей мыслью апостола. Я был так

рад, что известие о том, что это изменение подтверждают лучшие рукописи и переводы, мало прибавило к моей удовлетворённости. Не могло ничего прибавить к ней и известие, что это место в отношении двух чтений было причиной многих споров: основание доводов в пользу обычного чтения казалось мне хуже, чем никчёмным.

4 Посмотрим же на это место так, как, по-моему, его следует перевести, а затем поищем смысл, ради которого оно было написано. Раскрытие этого смысла, конечно, отнюдь не зависит от данного места, поскольку он принадлежит самой истине, какова она в Иисусе; но здесь апостол выражает его великолепно и иначе, чем где-либо ещё, — если, разумеется, я прав в толковании, которое пришло мне в голову, едва я увидел вероятную риторическую связь слов.

5 «Всё было сотворено через Него, и без Него не было сотворено ни единой вещи. То, что было сотворено в Нём, было жизнью, и жизнь была светом людей».

6 Заметьте противопоставление *через* и *в*.

7 В этом великом утверждении мне видится не просто намеченный, а уже заключённый зародыш творения и искупления — всего божественного в его отношении ко всему человеческому.

8 Пытаясь изложить то, что я в нём нахожу, я пишу без всякого желания вызвать спор, который мне отвратителен, но с некоторой надеждой представить умам тех, кто стал способен это увидеть, славу истины Отца и Сына, как изрёк её этот первый из прозорливцев, в величайшем проявлении своего прозрения. Я столь же равнодушен к репутации правоверного, сколь презираю

поборничество новизны. Неистинным сама истина должна казаться нездравой, ибо свет, который в них, — тьма.

9 Итак, я верю, что Иисус Христос — вечный Сын вечного Отца; что от самого начала всякого начала Иисус есть Сын, потому что Бог есть Отец, — утверждение несовершенное и непригодное, поскольку это попытка человеческой мысли представить то, чего она не может объять, но во что так верит, что должна попытаться высказать это даже речью, которая не может быть верной. Поэтому я верю, что Отец больше, что, если бы не было Отца, не могло бы быть Сына. Я не стану применять к этому положению логику и не стал бы излагать его теперь, если бы не то, что должно последовать. Истинное сердце будет помнить о несоответствии нашей речи, да и нашей мысли, тому, что лежит близ неведомых корней нашего существования. Говоря это, я говорю лишь то, что подразумевает Павел, когда говорит о Господе, передающем Царство Своему Отцу, дабы Бог был всё во всём. Я поклоняюсь Сыну как человеческому Богу, божественному, единственному Человеку, получающему Своё бытие и силу от Отца, равному Ему, как сын одновременно равен своему отцу и подвластен ему, — но *делающему Себя равным Своему Отцу в самом драгоценном в Божестве, а именно в Любви*; в этом, собственно, и заключается сущность того утверждения евангелиста, которым я теперь занимаюсь, — это выше сотворения миров и всего, что в них, которое Он совершил силою Отца, а не самосущей силою в Себе; потому апостол, которому Господь, должно быть, говорил то, чего не говорил остальным, или который лучше мог принять то, что Он говорил всем, говорит: «Всё было сотворено» не *Им*, а «*через* Него».

[10] Мы не должны изумляться вещам до того, чтобы они исчезли в ничто, но должны стараться представить их себе так, как способны, — наши тени небесного. Ибо сами наши существа, разумения и сознания, хотя и только тени по сравнению с каким-либо совершенством очертаний или действия, всё же тени Его бытия, Его разумения, Его сознания, и эти тени отбросил Он; по своему происхождению они принадлежат нам не больше, чем нам принадлежит Его сила творения. Итак, на нашем теневом языке, следуя своим теневым разумением, как только могу, словам евангелиста, я говорю: Отец, выводя из невидимого видимые вещи, сущностно действовал посредством Сына, так что всё существующее было сотворено *через* Него. В чём может состоять различие между участием Отца и участием Сына в творении — кто способен понять? Но, быть может, однажды мы сумеем немного в это проникнуть; ибо я дерзаю надеяться, что через добровольно избранное сыновство сами приблизимся гораздо больше к творчеству. Слово *творение*, приложенное к величайшим достижениям человеческого гения, кажется мне насмешкой над человечеством, которое само ещё находится в процессе сотворения.

[11] Прочтём текст ещё раз: «Всё было сотворено *через* Него, и без Него не было сотворено ни единой вещи. То, что было сотворено *в* Нём, было жизнью». Вы начинаете видеть? Силу, которой Он сотворил миры, дал Ему Отец; в Самом Себе Он обладал силой большей, чем та, которой создал миры. Было нечто, сотворённое не *через*, а *в* Нём; нечто, вызванное к бытию Им Самим. Здесь Он творит Своим великим способом, в Себе, как творил Отец. «То, что было сотворено *в* Нём, было *жизнью*».

[12] Что это значит? Какую *жизнь* имеет в виду апостол? Многие формы жизни возникли через Сына, но они были результатами, а не формами той жизни, которая возникла *в* Нём. Отец не мог бы действовать через Него в творении иначе, как в силу жизни, которая была *в* Нём.

[13] Что есть жизнь Бога для Него Самого, мы можем знать лишь то, что не можем этого знать, — и даже это не абсолютное неведение, ибо никто не может увидеть, что по самой природе вещи не способен её понять, не приблизившись тем самым к этой вещи самым подлинным образом. Что есть жизнь Бога в отношении к нам, мы знаем: это жизнь, дающая начало всему, что мы называем жизнью, — всему, что существует; и, зная это, мы кое-что знаем об этой жизни по самим формам её силы. Но единственная нескончаемая тайна — ибо я предполагаю, что две составляют одну, — тайна, которая навеки должна остаться для нас тайной не потому, что Бог не хочет её объяснить, а потому, что Сам Бог не мог бы дать нам её понять, — во-первых, как Он может быть самосущим и, во-вторых, как может давать бытие другим существам: самобытности и творения никакой человек никогда не поймёт. Далее, если смотреть со стороны творения: причина его бытия предшествует этому бытию; следовательно, оно не может знать собственного сотворения; не могло бы оно и понять того, чему само не способно сделать ничего подобного. Если бы мы могли создать самих себя, мы поняли бы своё сотворение, но для этого должны были бы быть Богом. И из всех мыслей самая мрачная и безнадёжная — та, что я, с тем недовольным собой, мучительно ограниченным сознанием, каким обладаю, мог бы каким-либо образом оказаться собственной причиной. Тем не менее, если я дитя Божье, я должен быть *подобен* Ему, подобен Ему

даже в отношении этой творческой энергии. Во мне должно быть нечто, что своим детским образом соответствует вечной мощи в Нём. Но я забегаю вперёд. Сейчас вопрос таков: что представляла собою та жизнь, то, что было сотворено *в* Сыне, — сотворено Им внутри Себя, а не вне Себя, сотворено не *через*, а *в Нём*, — жизнь, которая была Его собственной, как жизнь Бога — Его собственная?

[14] Это было, отвечаю я, то действие в Нём, которое в Нём как Сыне соответствовало самобытности Его Отца. Что же глубочайшее в Боге? Его сила? Нет, ибо сила не могла бы сделать Его тем, что мы разумеем, говоря *Бог*. Зло, конечно, никогда не могло бы создать ни единого атома; но поймём совершенно ясно: существо, чья сущность была бы одной лишь силой, представляло бы такое отрицание божественного, что никакого праведного поклонения ему воздать было бы нельзя; служение ему должно было бы быть страхом и только страхом. Такое существо, даже будь оно праведно в суде, всё же не могло бы быть Богом. Сам Бог, Которого мы любим, не мог бы быть праведен, не будь Он чем-то ещё более глубоким и лучшим, чем мы обычно подразумеваем под этим словом, — но, увы, как мало может сказать язык, не создавая впечатления, будто говорит что-то неверное! Одним словом, Бог есть Любовь. Любовь — глубочайшая глубина, сущность Его природы, в корне всего Его бытия. Дело не просто в том, что Он не мог бы быть Богом, если бы не создал существ, для которых был бы Богом; любовь — сердце и рука Его творения; она — Его право творить, а также Его сила творить. Любовь, предвидящая творение, сама есть сила творить. И Он не мог бы быть праведен, то есть справедлив к Своим творениям, если бы их не создала Его любовь. Его совершенство — Его любовь. Все

Его божественные права покоятся на Его любви. Ах, Он не великий монарх! Простейший крестьянин, любящий свою корову, божественнее всякого монарха, для которого слава — его владычество. Если бы Бог не желал наказывать грех или делал бы это по какой-либо иной причине, кроме любви, Он не был бы Отцом Иисуса Христа, Богом, Который действует так, как действовал Иисус. Что же, спрашиваю я ещё раз, во Христе соответствует творческой силе Бога? Это должно быть нечто, также происходящее из любви; а в Сыне любовь должна быть обращена к уже существующему. В силу той вечной любви, которая не имеет начала, Отец должен иметь Сына. Бог не мог бы любить, не мог бы быть любовью, не создавая того, что любить: у Иисуса есть Бог, Которого можно любить; любовь Сына отвечает любви Отца. Ответ самосущей любви — любовь самоотрекающаяся. Отказ от Себя — то в Иисусе, что соответствует Божьему творению. Его любовь действует, творит в самоотречении, в смерти себя как побуждения; в погружении себя в жизнь Бога, где это «я» живёт лишь как любовь. Что есть жизнь в ребёнке? Не совершенный ли отклик родителям? Не полное ли единство с ними? Ребёнок, враждующий с родителями, в ком их воля не стала его волей, — не ребёнок; как ребёнок он мёртв, и его смерть проявляется в оцепенении и судорогах. Его духовный строй движется к хаосу. Распад начался. В нём действует смерть. Посмотрите на того же ребёнка, уступающего воле, которая по праву выше его собственной; посмотрите, как жизнь начинает течь из сердца по членам тела; посмотрите, как расслабляются конечности; как свет поднимается фонтаном в его глазах и вспыхивает на лице! Жизнь снова воцарилась!

[15] Жизнь Христа вот в чём: с отрицательной стороны — Он ничего не делает и ни о чём не заботится ради Себя; с положительной — всей душой заботится о воле, о благоволении Своего Отца. Поскольку Его Отец — Его Отец, Он хочет быть Его ребёнком. Истина в Иисусе — Его отношение к Отцу; праведность Иисуса — исполнение этого отношения. Отвечая этому отношению, любя Отца всем существом, Он не просто жив как рождённый от Бога; но, отдавая Себя Богу совершенной волей, избирая умереть для Себя и жить для Бога, Он тем самым творит в Себе новую и более высокую жизнь; и, стоя на собственном основании, обретает силу пробуждать жизнь, божественную тень Своей собственной, в сердцах нас, Его братьев и сестёр, которые вышли из того же родного дома, что и Он, а именно из сердца Его Бога и нашего Бога, Его Отца и нашего Отца, но которые, не будь нашего старшего Брата, совершившего это первым, никогда не избрали бы самоотречения, которое есть жизнь, никогда не стали бы живыми, как Он. Желать не из себя, а вместе с Вечным — значит жить.

[16] Этот выбор Своего собственного бытия, с полным сознанием того, что Он делал; это деятельное желание быть Сыном Отца, совершенным в послушании, — вот что в Иисусе отвечает и соответствует самобытности Бога. Иисус сразу поднялся на высоту Своего бытия, воссел на престоле Своей природы самим актом подчинения Себя воле Отца как единственному Своему благу, единственному *основанию* Своего существования. Умирая на кресте, Он совершил в ненастье Своих отдалённых пределов, в муке тела, которым явил Себя, то, что совершал дома, в славе и радости. От бесконечного начала — ибо здесь я могу говорить лишь противоречиями — Он замкнул и крепко удерживал

вечный круг Своего существования, говоря: «Да будет Твоя воля, не Моя!» Он сделал Себя Тем, Кто Он есть, *умирая* в волю вечного Отца, через которую был вечным Сыном, — так погружаясь в источник собственной жизни, в вечное Отцовство, и принимая Божество Сына. Вот жизнь, которая была сотворена *в* Иисусе: «То, что было сотворено в Нём, было жизнью». Эта жизнь, по собственной воле возникшая в Иисусе, — единственное, что делает такую жизнь, вечную жизнь, истинную жизнь, возможной — более того, обязательной, сущностно необходимой — для каждого мужчины, женщины и ребёнка, которых Отец послал во внешний мир, чтобы они вернулись во внутренний, в Его сердце. Как самосущая жизнь Отца дала нам бытие, так добровольная преданность Иисуса есть Его сила даровать нам вечную жизнь, подобную Его собственной, — дать нам способность делать то же. Ни для какого человека нет иной жизни, кроме той же самой по роду, какую имеет Иисус; Его ученик должен жить такой же безусловной преданностью своей воли воле Отца; тогда его жизнь едина с жизнью Отца.

[17] Поскольку мы произошли из божественной природы, которая избирает быть божественной, мы должны *избрать* быть божественными, быть от Бога, быть едиными с Богом, любить и жить, как любит и живёт Он, и тем стать причастниками божественной природы — иначе мы погибаем. Человек не может положить начало этой жизни; она должна быть ему явлена, и он должен её избрать. Бог — Отец Иисуса и нас, всякой возможности нашего бытия; но, тогда как Бог — Отец Своих детей, Иисус — отец их сыновства, ибо в Нём сотворена жизнь, которая есть сыновство Отцу, — а именно признание делом и жизнью, что Отец имеет право на Своих сыновей

и дочерей. Мы не являемся и не можем стать истинными сыновьями без того, чтобы наша воля хотела Его воли, а наше делание следовало Его творению. Воля Иисуса быть Тем, Кем Бог Его хотел и замыслил, сделала Его истинным Сыном Божьим. Он был Сыном Божьим не потому, что иначе не мог, а потому, что желал в Самом Себе быть тем Сыном, каким был в божественном замысле. Так и с нами: мы должны *быть* теми сыновьями, каковы мы есть. Мы созданы не для того, чтобы быть тем, чем не можем не быть; сыновья и дочери не таковы! Мы сыновья и дочери по праву Божьего отцовства; мы должны быть сыновьями и дочерьми по своей воле. И мы можем быть сыновьями и дочерьми, спасёнными в изначальную необходимость и блаженство нашего бытия, лишь избирая Бога тем Отцом, Который Он есть, и исполняя Его волю — отдавая себя истинными сыновьями безусловному Отцу. В этом человеческое блаженство — единственное и сущностное. Совершение этого нашего спасения должно сопровождаться болью, и передача его тем, кто ниже, всегда должна сопровождаться болью; но вечная форма воли Божьей в нас и для нас — полнота блаженства.

[18] «И жизнь была светом людей».

[19] Жизнь, о которой я сейчас говорил, стала светом людям в явлении Того, в Ком возникла. Жизнь стала светом, чтобы люди могли увидеть её и сами жить, также избрав эту жизнь, избрав так жить, такими быть.

[20] Всегда есть нечто более глубокое, чем что-либо сказанное, — нечто, по отношению к чему все человеческие и божественные слова, образы, картины, формы движения — лишь внешние, слой за слоем, сферы, сквозь которые центральная действительность

просвечивает более или менее ясно. Сам свет — лишь скудная внешняя форма чего-то более глубокого и лучшего, а именно жизни. Жизнь — Христос. Свет тоже Христос, но лишь тело Христа. Жизнь — Сам Христос. Свет — то, что мы *видим* и увидим в Нём; жизнь — то, чем мы можем *быть* в Нём. Жизнь «есть свет, от избытка ясности невидимый»; она — неизреченное неведомое; она должна стать светом, который люди способны увидеть, прежде чем они смогут её познать. Потому послушный человеческий Бог явился как послушный божественный Человек, творящий дела Своего Отца, то есть то, что делал Его Отец, — творящий их смиренно перед недружелюбными братьями. Сын Отца должен принять Свой собственный облик в веществе плоти, чтобы люди увидели Его и чтобы Он тем стал светом людей — не ради того, чтобы люди имели свет, а ради того, чтобы люди имели жизнь; чтобы, видя то, чему сами не могли положить начала, они через жизнь, которая в них, начали алкать той жизни, к которой способны и которая необходима их бытию; чтобы жизнь в них затосковала по Тому, Кто есть их жизнь, и возжаждала собственного совершенства, как корень и стебель могут жаждать цветка, ради которого и благодаря присутствию которого в них они существуют. Чтобы дитя Божье могло стать сыном Божьим, созерцая *Сына*, жизнь, открытую в свете; чтобы лучезарное сердце Сына Божьего стало солнечным светом для Его собратьев; чтобы замысел был вызван к осуществлению присутствием и влечением Идеала, — этот Идеал, совершенный Сын Отца, был послан к Своим братьям.

[21] Не будем забывать: преданности Сына никогда не могло бы быть без преданности Отца, Который ищет Своей славы ни на йоту не больше, чем Сын; Который

предан Сыну и всем Своим сыновьям и дочерям преданностью совершенной и вечной, с бездонным бескорыстием. Всё бытие и делание Иисуса на земле — то же, что Его бытие и делание от вечности, то, чем Он есть блаженный Бог-Сын Бога-Отца; это сияние той жизни, чтобы люди могли её увидеть. Это подобие Богу, исполнение воли Божьей, совершение дел Божьих, а потому открытие Отца в Сыне, чтобы люди познали Его. Это мольба Сына к остальным сыновьям: вернуться к Отцу, примириться с Отцом, относиться к Отцу так, как относится Он. Мне кажется, Он говорит: «Я знаю вашего Отца, ибо Он Мой Отец; Я знаю Его, потому что был с Ним от вечности. Вы не знаете Его; Я пришёл к вам сказать: каков Я, таков и Он; Он точно таков, как Я, только больше и лучше. Он один — истинное, изначальное благо; Я истинен, потому что не ищу ничего, кроме Его воли. Он один — всё во всём; Я не всё во всём, но Он Мой Отец, и Я Сын, в Котором Его любящее сердце находит удовлетворение. Идите со Мной домой и сядьте со Мной на престоле Моего послушания. Вместе мы будем исполнять Его волю и радоваться с Ним, ибо Его воля — единственное благо. Вы можете делать со Мной что хотите; Я не стану защищаться. Поскольку Я говорю истину, Моё свидетельство непоколебимо; Я стою на нём, что бы ни случилось. Если бы Я держался Своего свидетельства лишь до приближения опасности, а затем попросил Отца послать двенадцать легионов ангелов избавить Меня, это значило бы сказать, что Отец готов сделать для Своих детей всё, пока это не начнёт причинять Ему боль. Я свидетельствую, что Мой Отец таков, как Я. Перед лицом смерти Я утверждаю это и вызываю смерть опровергнуть Мои слова. Убейте Меня; делайте против Меня всё, что хотите и можете; Мой Отец

истинен, и Я истинен, говоря, что Он истинен. Ни опасность, ни боль не могут отвратить Меня от этого свидетельства. Смерть может убить лишь Моё тело; она не может сделать Меня своим пленником. Отче, да будет воля Твоя! Боль пройдёт; она будет лишь на время! Я с радостью пострадаю, чтобы люди узнали, что Я жив и что Ты — Моя жизнь. Будь со Мной, Отче, чтобы это не оказалось больше, чем Я могу вынести».

22 Друзья, если вы думаете, что нечто меньшее могло бы искупить мир или сделать блаженным хоть одно дитя, которое создал Бог, вы не знаете ни Сына, ни Отца.

23 Связь вселенной, цепь, удерживающая её воедино, единственное деятельное единство, согласие вещей, отрицание раздельности, примирение всех форм, всех явлений, всех блуждающих желаний, всех возвращающихся любвей; факт в корне каждого видения, открывающий, что «любовь — единственное благо в мире», а себялюбие — единственное ненавистное, в городе живого Бога невыразимое, — это преданность Сына Отцу. Она — жизнь вселенной. Вселенную делает целым не тот факт, что Бог создал всё, а то, что Тот, через Кого Он всё создал, любит Его совершенно, вечно доволен Своим Отцом, доволен тем, что существует, потому что Отец с Ним. Вселенную объединяет не тот факт, что Бог — всё во всём; её объединяет любовь Сына к Отцу. Ибо из единичности не рождается единства; не может быть единения там, где есть только один. Для самого начала единства нужны двое. Поэтому без Христа не могло бы быть вселенной. Примирение, совершённое Иисусом, — не первоначальный источник единства и безопасности мира; это примирение было необходимым осуществлением вечного предшествующего факта,

действием этого факта на остальную семью: Бог и Христос — одно, Они Отец и Сын, Отец любит Сына так, как может любить только Отец, Сын любит Отца так, как может любить только Сын. Молитва Господа о единстве между людьми, Отцом и Им Самим рождается из вечной потребности любви. Чем больше я это рассматриваю, тем больше теряюсь в чуде и славе этого. Если бы не Отец и Сын, никакие двое ничуть не заботились бы друг о друге. Быть может, твореньям было бы правильно любить уже в силу самого существования, но какие два творения когда-либо положили бы начало любви? Я ни на миг не могу поверить, что это был бы я. Даже если бы я возник, как сейчас, со склонностью любить, себялюбие вскоре подавило бы её. Но если Отец любит Сына, если сама музыка, создающая согласие жизни, заключена не в мысли о любви в сердце Отца, а в самой её действительности, в пламенной любви сердец Отца и Сына, тогда слава Отцу и Сыну и Духу Обоих, отцовству Отца, встречающемуся и сливающемуся с сыновством Сына и возводящему нас в славу Их радости, чтобы мы разделили мысли любви, проходящие между Ними, Их мысли о наслаждении и покое друг в друге, Их мысли о радости во всех малых. Жизнь Иисуса — свет людей, открывающий им Отца.

[24] Но света недостаточно; свет существует ради жизни. Мы тоже должны иметь жизнь в самих себе. Мы тоже должны, подобно Самой Жизни, жить. Мы не можем жить иначе, чем жил Иисус, иначе, чем в Нём была сотворена жизнь. Этот путь — отдать свою жизнь. Это единственное высшее действие жизни, доступное нам для сотворения жизни в самих себе. Христос совершил его Сам и тем стал светом для нас, чтобы мы могли совершить его в себе вслед за Ним и через Его первоначальное действие. Мы

должны совершить это сами, говорю я. Помощь, которую Он оказал и оказывает, свет и духовное действие Господа, Духа, в наших сердцах — всё направлено на то, чтобы мы могли, как и должны, совершить это сами. До тех пор мы не живы; жизнь не сотворена в нас. Вся борьба, труд и мука Сына с каждым человеком направлены на то, чтобы побудить его умереть так, как умер Он. Всякая проповедь, не стремящаяся к этому, строит из дерева, сена и соломы. Если я не говорю всем сердцем: «Отче мой, делай со мной что хочешь, только помоги мне против себя самого и ради Тебя»; если я не могу сказать: «Я Твоё дитя, наследник Твоего духа, Твоего бытия, частица Тебя Самого, славная в Тебе, но обедневшая во мне: позволь мне быть Твоим псом, Твоим конём, Твоим чем угодно; позволь быть Твоим в любом облике, в каком любовь, которая есть мой Отец, пожелает меня иметь; позволь мне быть Твоим как угодно, а своим или чьим-либо ещё — никак иначе, кроме как Твоим»; если мы не можем столь полно отдаться Отцу, то ещё не достигли того, ради чего Христос достиг нас. Вера, которую человек может, более того — должен, возложить на Бога, поднимается выше земли и неба, простирается за самую далёкую звезду вселенной, какую возможно сотворить. Но сейчас вопрос не о передвижении гор, которое однажды станет для нас простым делом, а о том, чтобы пробудиться и восстать из мёртвых теперь.

[25] Когда человек истинно и совершенно говорит вместе с Иисусом и так, как сказал Иисус: «Да будет воля Твоя», — он замыкает вечный круг жизни; жизнь Отца и Сына течёт через него; он — часть божественного организма. Тогда в нём исполняется молитва Господа: «Я в них, и Ты во Мне, да будут они совершены воедино». Христос в нас — дух совершенного ребёнка по отношению к

совершенному Отцу. Христос в нас — наша собственная истинная природа, которую Господь заставил расцвести в нас; Его жизнь — свет людей, чтобы стать жизнью людей; ибо наша истинная природа — быть детьми Отца.

[26] Друзья, те из вас, кто знает или подозревает, что всё это истинно, встанем и будем жить — встанем даже в самые тёмные минуты духовного отупения, когда сама надежда не видит ничего, на что надеяться. Не станем тревожиться о причине нашей приземлённости, если только не знаем, что это какая-то неправедность в нас, но сразу пойдём к Жизни. Никогда, никогда не будем принимать в утешение скудную мысль, что причина нашей мёртвости — телесная. Может ли утешать знание, что наше тело из-за заключённой в нём смерти оказывается сильнее духа, который должен не просто торжествовать над ним, но вдохновлять его к подчинению и послушанию? Будем утешаться мыслью об Отце и Сыне. Пока там обитает согласие, пока Сын любит Отца всей любовью, которую Отец может принять, с малыми всё хорошо. У Бога всё хорошо — зачем же нам тревожиться, если мы минуту постоим снаружи Его окна в темноте? Конечно, нам недостаёт *пребывания внутри*, но у ожидания есть собственное блаженство. Пусть идёт дождь и дует ветер; пусть мы стоим одни или — что ещё больнее — рядом с нами дорогой человек, разделяющий наше *пребывание снаружи*; пусть даже окно не светится, потому что за ним задвинуты занавеси непостижимого блага, — подумаем про себя или скажем другу: «Бог есть; Иисус не мёртв; ничто не может идти дурно, как бы ни казалось иначе сердцам, ещё не совершенным в детскости». Скажем Господу: «Иисус, любишь ли Ты там, внутри, Отца? Тогда мы здесь, снаружи, будем исполнять Его волю, терпеливо ожидая, пока Он откроет дверь. Мы

не очень будем бояться ветра и дождя. Быть может, Ты говоришь Отцу: „Твоим малым нужно немного ветра и дождя: их почки тверды, цветы не раскрываются. Я не могу сделать их блаженными без ещё небольшой поры зимней непогоды“. Тогда, быть может, Отец скажет: „Утешь их, Мой Сын Иисус, памятью о Твоём терпении, когда Ты тосковал по Мне. Утешь их тем, что Ты был уверен во Мне, когда всё вокруг Тебя казалось столь непохожим на Меня, столь непохожим на место, которое Ты оставил“». Одним словом, будем в мире, ибо в сердце вещей — мир, мир и полное удовлетворение между Отцом и Сыном; этот мир Они призывают нас разделить; Они обещают, что наконец, когда совершат в нас Своё благое дело, мы разделим этот мир.

[27] Итак, перед нами лежит неизреченное блаженство, блаженство за пределами человеческой мысли и вымысла, для каждого ребёнка, который согласится с совершенным воображением Отца. Его воображение едино с Его творческой волей. Что Бог воображает, то существует. Когда сотворённое приходит в согласие с волей Того, Кто «любовью вызвал его к бытию», тогда всё хорошо; с этого времени могучее творение продолжается в нём на всё более высоких ступенях, в всё более божественном воздухе. Да будет воля Твоя, о Боже! Всё иное — лишь утрата, упадок, тление. Нет иной жизни, кроме рождённой от жизни, которую Слово сотворило в Себе, исполняя Твою волю, и эта жизнь — свет людей. Через этот свет рождается жизнь людей — та же жизнь в них, которая впервые возникла в Иисусе. Как Он положил Свою жизнь, так люди должны положить свои жизни, чтобы, как живёт Он, жили и они. То, что было сотворено в Нём, было жизнью, и жизнь есть свет людей; и всё же Свои, к которым Он был послан, *не поверили Ему*.

Познание Сына

[1] *Вы никогда не слышали Его голоса и не видели Его облика. И слово Его не пребывает в вас, ибо Тому, Кого Он послал, вы не верите*. — Ин. 5:37–38.

[2] Однажды мы узнаем, насколько близко подходим в Новом Завете к собственным словам Господа. Что они дошли до нас с некоторыми отличиями, я не могу сомневаться. Прежде всего, я не верю, что Он говорил по-гречески. Он был послан к погибшим овцам дома Израилева и должен был говорить на их родном языке, а не на том, который они в лучшем случае знали как второй. Я не могу представить, чтобы мысли Бога исходили из сердца Иисуса на каком-либо ином языке, кроме родного языка простых людей, к которым Он обращался. Быть может, Он и говорил по-гречески с иудеями Иерусалима, ибо они были менее просты; но пока я не вижу оснований верить, что это было так.

[3] Далее: обязаны ли мы верить, что Иоанн Воанергес, который действительно лучше всех, а в некоторых вещах — единственный, понимал Его, смог после стольких лет передать нам в своём Евангелии — предположим, Господь говорил с учениками по-гречески — *те самые* слова, которыми Он выражал простейшие глубины, когда-либо звучавшие в человеческом мире? Я не говорю, что он не мог; я говорю: обязаны ли мы верить, что он мог? Когда ученики благодаря божественному присутствию в их сердцах обрели способность понимать Господа, они вспомнили то, что Он говорил и что они забыли; возможно, в их память вернулись и те самые слова, которыми Он это говорил; но должны ли мы верить, что евангелисты всегда в точности записывали Его слова?

Небольшие различия между их записями — уже достаточный ответ. Евангелие Иоанна — плод долгих лет воспоминания, припоминания и размышления над словами Учителя, когда понимание одного вызывало в памяти другое. Мы не можем сказать, на сколь многое способна память в наилучшем своём состоянии — то есть когда в человеке Бог; но я не верю, что Иоанн всегда передавал бы нам собственные слова Господа, даже если бы, вопреки моему мнению, Он произносил их по-гречески. Бог не позаботился о том, чтобы где-либо мы имели уверенность в обладании Его точными словами; и не только, быть может, из-за склонности Его детей к поклонению словам, ложной логике и искажению истины, но и потому, что Он не хотел угнетать их словами: ведь слова, будучи человеческими и потому лишь отчасти способными выполнить своё назначение, не могли абсолютно вместить или выразить то, что Господь имел в виду, и даже Он в том, чтобы быть понятым, должен был полагаться на дух Своего ученика. Поскольку буква не могла дать жизни, ей не следовало давать престол и власть убивать; она должна была быть лишь служанкой, открывающей дверь истины уму, который был *от* истины.

4 «Значит, вы верите в личное вдохновение каждого, кому вздумается на него притязать!»

5 Да — каждого, кто просит его у Бога; не каждого, кто требует от людей признания, что оно у него есть. Тому, кто чем-либо обладает, нет нужды добиваться признания этого. Если бы я не верил в особое вдохновение для каждого человека, который просит Святого Духа, благого дара Божьего, мне пришлось бы отвергнуть всю эту историю как обман; ибо Господь, согласно этой истории, обещал такое вдохновение тем, кто о нём просит. Если у

возражающего нет этого духа, если он не вдохновлён истиной, он ничего не знает о словах, которые суть дух и жизнь; и его возражение менее достойно внимания, чем возражение дикаря против утверждения химика. Его согласие тоже лишь пустое дудение в рог.

6 «Но как узнать, действительно ли в человеке говорит Дух Божий?»

7 Вы не призваны это определять. Для вас вопрос в том, имеете ли вы сами дух Христа. Этот вопрос вам следует задать себе; на этот вопрос вам следует ответить самому себе: жив ли я жизнью Христа? Пребывает ли Его дух во мне? Каждый, кто желает следовать за Учителем, имеет дух Учителя и получит ещё больше, чтобы следовать теснее, ближе, по самым Его стопам. Он не призван доказывать тому, другому или кому бы то ни было, что обладает светом Иисуса; он должен дать своему свету светить. Из этого не следует, что его дело — учить других или что он способен выражать великие истины в верной форме. Когда сила, радость или сострадание истины побуждают его, пусть высказывает её и не боится, соглашаясь быть за это осуждённым и утешаясь тем, что, если ошибётся, Сам Господь осудит его и спасёт «как бы из огня». Осуждение собратьев ему не повредит, и ничуть не больше повредит оно оттого, что произнесено именем Христа. Если он говорит истину, Господь скажет: «Я послал его». Ибо всякая истина от Него; никто не может увидеть истинное истинным иначе, как через Господа, Духа.

8 «Как мне узнать, что нечто истинно?»

9 *Делая* то, что вы знаете как истинное, и не называя ничего истинным, пока не увидите его истинности;

закрыв рот, пока истина его не откроет. Вам предназначено молчать? Тогда горе вам, если вы заговорите.

10 «Но если я не принимаю слова, приписываемые Ему евангелистами, за несомненные, безусловные, собственные слова Учителя, как мне узнать, что они передают Его истину?»

11 Увидев в них то, что соответствует самой ясной истине, которую Он говорит, и находит подтверждение в силе, действующей в вас, чтобы сделать вас истинным человеком; по их обращению к вашей способности судить об истинном; по тому, что они пробуждают вашу совесть. Если они не кажутся вам истинными, то либо это не слова Учителя, либо вы недостаточно истинны, чтобы их понять. Будьте уверены: если какие-либо Его слова не открывают вам своей истинности, вы не приняли заключённой в них Его вести; они ещё не стали для вас словом Божьим, ибо в вас они не дух и жизнь. Они могут быть самым близким к истине, к чему только способны подойти слова; возможно, они привели многих к соприкосновению с сердцем Бога; но для вас они пока остаются запечатанными. Если ваше сердце истинно, оно будет благоговеть перед ними из-за вероятности, что за этими словами стоит смысл, вложенный Учителем; для вас они — скала в пустыне до того, как Моисей обратился к ней. Если вы будете ждать, ваше неведение вам не повредит; если же самонадеянно станете строить на них рассуждения, вы — слепой, спорящий о том, чего никогда не видел. Рассуждать, исходя из непонятого, — значит идти прямо в трясину. Дерзать рассуждать об истине по словам, которые не открывают нам своей истинности, — самонадеянность фарисейского *лицемерия*. Только неистинные способны

это делать. Смиренная ошибка нам не повредит: истина существует, и Господь позаботится, чтобы мы её познали. Мы можем думать, что знаем её, едва мельком увидев; но заблуждению истинного сердца не будет позволено его погубить. Несомненно, сердце не ошиблось бы в истине, если бы в нём не оставалось неправды; но Тот, Кто изгоняет бесов, изгонит и этого беса.

12 В изречении, которое перед нами, я вижу достаточно, чтобы поверить: его слова воплощают мысль Христа. Если бы я не мог этого сказать, я сказал бы: «Апостол записал здесь изречение Христа; я ещё не смог распознать в нём мысль Христа; поэтому я заключаю, что не мог его понять, ибо понять истинное — значит узнать его истинность». Я ещё не встречал слов, с достоверностью передаваемых как слова Иисуса, о которых осмелился бы сказать: «Его мысли в них нет, поэтому слова не Его». Ум человека способен принять любое слово лишь в той мере, в какой оно — слово Христа, и в той мере, в какой сам человек един со Христом. Для того, кто действительно принимает Его слово, оно — сила не довода, а жизни. Слова Господа предназначены не для логики, которая обращается со словами, словно они вещи, а для духовной логики, которая движется от божественной мысли к божественной мысли, имея дело с духовными фактами.

13 Никакая мысль, человеческая или божественная, не может передаваться от человека к человеку иначе, как через символику творения. Небеса и земля окружают нас, чтобы мы могли говорить о невидимом посредством видимого; ибо самая внешняя оболочка творения соответствует глубочайшему в Творце. Он не Бог, Который скрывает Себя, а Бог, Который творил, чтобы открыться; Он во всём последователен и един. Есть вещи,

в которые вмешался враг; но гораздо больше вещей, в которые никакой враг вмешаться не мог и посредством которых мы можем говорить о Боге. Возможно, они не открыли Его нам, но, во всяком случае, когда Он открыт, они обнаруживают столько от Его природы, что мы тотчас используем их как духовные знаки в общении духа, чтобы помочь передать другим умам то, что нам удалось увидеть из невидимого. К такому посредничеству принадлежат слова Господа, в которые я теперь хочу всмотреться.

14 «И Сам Отец, пославший Меня, свидетельствовал обо Мне. Вы никогда не слышали Его голоса и не видели Его облика. И слово Его не пребывает в вас: ибо Тому, Кого Он послал, вы не верите».

15 Если Иисус произнёс эти слова, Он имел в виду больше, а не меньше того, что лежит на их поверхности. Они не могут быть простым утверждением того, что все знали; и повторение сходных отрицаний в них не может быть тавтологией. Они не были предназначены сообщить иудеям факт, отрицать который им бы и в голову не пришло. Кто из них сказал бы, что когда-либо слышал голос Бога или видел Его облик? Сам Иоанн говорит: «Бога никто никогда не видел». Каков тон этого отрывка? Укор. Значит, Он укоряет их в том, что они не видели Бога, тогда как Бога никто никогда не видел и Павел говорит, что никто не может Его видеть! Есть ли здесь парадокс? Здесь не может быть софизма: «Никто не видел Бога; вы виноваты в том, что не видели Бога; следовательно, все люди виноваты в том, что не видели Бога!» Если мы прочтём: «Никто не видел Бога, но некоторые люди должны были Его увидеть», — из этого не извлечь такой надежды для человеческого рода, которая

придала бы вид откровения уверению, что ни один из способных видеть Его никогда Его не видел!

16 Одно высказывание принадлежит Иоанну, другое — его Учителю: если между ними есть противоречие, конечно, слова Иоанна нужно отбросить. Но противоречие едва ли возможно, поскольку тот, кто говорит одно, записывает другое как слова своего Учителя, Того, Кому он принадлежал, Чьим учеником был, Кого любил, как прежде никогда человек не любил человека.

17 Слово *видеть* употреблено в одном смысле в первом утверждении и в другом — во втором. В одном оно значит *видеть глазами*; в другом — *душою*. Одно утверждение относится ко всем людям; другое обращено к некоторым иерусалимским иудеям и касается их самих. Истинно, что никто не видел Бога, и истинно, что некоторые люди должны были Его увидеть. Никто не видел Его телесными глазами; эти иудеи должны были увидеть Его духовными глазами.

18 Никто никогда не видел Бога в какой-либо внешней, зримой, точно облекающей Его собственной форме: Он не явлен ни в каком облике, кроме облика Своего Сына. Но множество людей оком ума, или, вернее, оком сердца, видели в большей или меньшей мере Бога; и, возможно, каждый человек мог бы и должен был увидеть нечто от Него. Мы не можем проследовать за Богом в бесконечно малые глубины Его духовного действия, как не можем проникнуть в атомные потенции жизни, лежащие глубоко за пределами взора микроскопа: Бог может действовать в сердце дикаря так, как никакая мудрость Его мудрейшего, смиреннейшего ребёнка не способна увидеть или даже вообразить, что видит. Многие, никогда не созерцавшие лица Божьего, всё же, быть может, мельком

видели край Его одежды; многие, никогда не видевшие Его облика, всё же, быть может, видели необъятность Его тени; тысячи, никогда не ощущавшие тепла её складок, всё же были поражены видом:

[19] Ни лица — лишь взору открыт
Белый простор одеяния, что струится и скользит.

[20] Некоторым, никогда не знавшим, что они прижаты к Его груди, снилось, что Его рука легла на них. Укор в словах Господа — укор людям, которые должны были испытать то, чего не испытали. Всмотримся немного пристальнее в Его слова.

[21] «Вы никогда не слышали Его голоса» могло бы значить: «*Вы никогда не вслушивались в Его голос*» или: «*Вы никогда не повиновались Его голосу*»; но следующая фраза — «и не видели Его облика» — скорее удерживает нас при первоначальном смысле слова *слышать: «Звук Его голоса вам незнаком»; «Вы никогда не слышали Его голоса так, чтобы узнать его как Его голос»*. «Вы не видели Его облика» — «*Вы не знаете, каков Он*». Очевидно, Он подразумевает: «*Вы должны знать Его голос; вы должны знать, каков Он*». «Слово Его не пребывает в вас» — «*Слово, которое в вас от начала, слово Божье в вашей совести, вы не сохранили при себе; оно не живёт в вас; Писание, которое вы сами принимаете как свидетельство Моисея, в котором думаете иметь вечную жизнь, не остаётся с вами, не пребывает в вас как дома. Оно приходит к вам и уходит от вас. Вы слышите, не внимаете и забываете. Вы не живёте с ним, не размышляете о нём и не повинуетесь ему. Оно не находит в вас ничего знакомого. Вы ему не сродни. Вы не из тех, к кому приходит слово Божье. Их уши готовы слышать; они алчут слова Отца*».

22 На чём Господь основывает это обвинение? Какой признак в них выдаёт их незнание Бога? — «Ибо Тому, Кого Он послал, вы не верите».

23 «Как же так? — могли бы ответить иудеи. — Разве мы не просили у Тебя знамения с неба и разве Ты не отказал нам наотрез?»

24 Довод Господа действительно мало весил для тех, к кому более всего относился, и был им мало полезен, ибо чем более он к ним относился, тем менее способны были они увидеть, что он к ним относится; но он имел бы великую силу для некоторых стоявших и слушавших, чьи умы были более или менее открыты истине, а сердца влеклись к Человеку перед ними. Его довод был таков: «Если бы вы когда-нибудь слышали голос Отца; если бы когда-нибудь узнавали Его зов; если бы когда-нибудь представляли себе Его или Бога, хоть сколько-нибудь подобного Ему; если бы вы заботились о Его воле так, чтобы Его слово жило в ваших сердцах как дома, вы узнали бы Меня, увидев, — узнали бы, что Я непременно должен быть от Него, что Я непременно Его посланник, и стали бы Меня слушать. Самое малое знакомство с Богом, какое должно быть у всякого истинного сердца, позволило бы вам распознать, что Я пришёл от того Бога, о Котором вы знали хоть это малое. Вы смогли бы узнать Меня по свету Его слова, пребывающего в вас; по облику, который вы видели, пусть и смутно; по сходству Моего лица и голоса с лицом и голосом Моего Отца. Вы увидели бы Моего Отца во Мне; вы узнали бы Меня по тому немногому, что знали о Нём. В вас пробудилось бы чувство родства, святое чутьё одного и того же духа, дающее узнать своего старшего брата. Вы не знаете Меня теперь, когда Я стою здесь и говорю с вами, потому что не

знаете собственного Отца, Моего Отца; потому что всю жизнь отказывались исполнять Его волю и потому не слышали Его голоса; потому что закрыли глаза, чтобы не видеть Его, и думали о Нём лишь как о стороннике ваших честолюбивых стремлений. Если бы вы любили Моего Отца, вы узнали бы Его Сына». И, думаю, Он мог бы сказать: «Если бы вы даже просто любили своего ближнего, вы узнали бы Меня, ближнего самому глубокому и лучшему в вас». Если бы Господь появился сегодня в Англии, как некогда в Палестине, Он не пришёл бы с нимбом живописцев или с тем холодным сиянием женственной красоты, сладкой слабости, в котором они по своему беспомощному обыкновению Его изображают. И, вероятно, Он не пришёл бы плотником, каменщиком или садовником. Он пришёл бы в таком облике и положении, которые относились бы к нынешней Англии, Шотландии и Ирландии так же, как Его тогдашний облик и положение относились к пёстрой Иудее, Самарии и Галилее. Если бы Он пришёл так, в совершенно неожиданном облике, кто были бы те, кто узнал и принял бы Его? В этой мысли нет ничего нелепого. Он ни на мгновение не далёк от нас — если древняя история и впрямь больше, чем лучшая и сильнейшая из басен, владеющих миром. Он мог бы появиться в любую минуту: кто, спрашиваю я, принял бы Его первым? Теперь, как и тогда, это, конечно, были бы люди с детским сердцем, самые истинные, наименее себялюбивые. Они не были бы выше всех в оценке какой-либо церкви, ибо люди детского сердца пока ещё не большинство. Это могли бы оказаться даже не те, кто больше всех знал о прежнем посещении Учителя, кто обдумал каждое слово греческого Нового Завета. Первым воскликнул бы: «Это Господь!» — ни «добрый сын государственной церкви», ни «добрый

диссентер». Это не был бы человек, в котором так мало ума Христова, что он способен представить, будто Христа занимают глупые внешние вещи. Это не был бы тот, кто держится за причальное кольцо буквы, вмурованное в набережную того, что он называет богословием, и со своей гниющей палубы бранит дерзость тех, кто выходит на кораблях в море, — позволяет ветру духа дуть, где тот хочет, но никогда не позволяет ему вынести себя среди его чудес в морской глубине. Это не был бы тот, кто, исполняя заповедь, не заботится увидеть в ней смысл; не тот, кто из-за совершенной бесплодности души не способен принять смысл и волю Учителя и потому не исполняет буквы Его слова, лишая её силы. Если кто-либо и узнал бы Его, то, несомненно, те, кто всего более подобен Учителю, то есть те, кто исполняет волю своего Отца и Его Отца, кто построил свой дом на камне, слушая и исполняя Его слова. Но есть ли кто-нибудь настолько подобный Ему, чтобы сразу узнать Его по звуку голоса, по выражению лица? Есть множество людей, которые тотчас пленились бы лжехристом, созданным по их вкусу, и тотчас отвергли бы Господа как жалкого самозванца. Одно несомненно: первыми Его узнали бы те, кто больше всех любил праведность и ненавидел беззаконие.

[25] Но я не хотел бы забывать, что во многих людях нелепые формы скрывают живое сердце, тёплое ко всему человеческому и божественному; ибо самое нескладное и уродливое платье может скрывать прекраснейший облик. Не всякое покрытие — одежда. Трава одевает поля; слава, превосходящая Соломонову, одевает траву; но предания достойнейших старцев не оденут никакой души — тем менее предания недостойных! Подлинная её одежда должна вырасти из самой живой души. Некоторым нагим душам достаточно увидеть истину, чтобы устремиться к

ней, как говорит Данте, подобно дикому зверю в логово; другие, тяжело облачённые в одежды, оставленные книжниками, и боящиеся разорвать то, что годится лишь быть попранным, подходят к истине весьма осторожно, ходят вокруг неё кругами, словно пугливый конь, боящийся скрытого врага. Но пусть каждый будет истинен так, как ему доступно, и он получит похвалу Учителя.

[26] Если бы Господь явился, множество тех, кто принимает общепринятое изображение вещи или лица за саму вещь или само лицо, никогда не смогли бы узнать в новом видении другую форму прежнего: так исказили Учителя люди, притязавшие на то, чтобы Его представить, и особенно — в единственном вечном факте всех фактов, отношении между Ним и Его Отцом, что для них невозможно увидеть какое-либо сходство. Что до меня, я предпочёл бы не верить ни в какого Бога, чем верить в такого, в какого обычно предлагают верить. В какой мере могут быть виноваты те, кто с праведным отвращением отбрасывает эту мысль, не пытаясь выяснить, нет ли в ней чего-то истинного, хотя большая часть должна быть ложна, и не признаёт за нею даже права быть исследованной на тот случай, что некоторые из называющих себя Его пророками, быть может, приняли духовные взятки,

> [27] Чтоб красоту смешать с изъяном,
> А чистое совершенство — с нечистым
> обезображеньем, —

[28] в какой мере они могут быть виноваты — не моё дело разбирать. Некоторые с радостью ухватились бы за надежду, что такая возможность окажется фактом; другие не позаботились бы различить на палимпсесте,

скрытую, но не стёртую, достоверную повесть о совершенном Человеке, открывающем совершенного Бога: они недостаточно истинны, чтобы желать действительности того, что немедленно потребовало бы выстраивать свою жизнь по совершенному образцу и основывать на нём же всякую свою надежду.

29 *Мы же все, созерцая славу Господню, преображаемся в тот же образ*.

Зеркала Господа

[1] *Мы же все, с открытым лицом созерцая, как в зеркале, славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Духа Господня*. — 2 Кор. 3:18.

[2] Из этого места мы можем увидеть, как апостол Павел принял Господа и как понимает он, что Его жизнь есть свет людей, а потому и их жизнь.

[3] Из всех известных мне писателей Павел кажется мне самым явно, самым решительно направленным в своих писаниях на дело. То, что называли его мистицизмом, есть то действие способности видеть, словно посредством духовного преломления, истины, которые ещё не взошли, а быть может, и поныне не взошли над человеческим горизонтом; то плод привычки широко открытыми глазами замечать сходства и соответствия между соцентрическими областями творения; это работа божественно живого поэтического воображения, которому дано предвидеть и приветствовать приближающуюся истину, открывать одно и то же начало в вещах, внешне несходных, воплощать открытое в ещё не употреблявшихся формах и символах и тем самым представлять другим умам более глубокие истины, которым эти формы и символы обязаны своим существованием.

[4] В писаниях Павла я нахожу тот же художественный изъян и ту же возникающую из него трудность, что и у Шекспира, — изъян, который в обоих случаях проистекает из прекрасного обстоятельства: человек гораздо больше художника. Это стремление сказать слишком много

сразу, без меры излить преизбыток души, переполненной жизнью и мыслью о ней, через слишком узкое горлышко человеческой речи. Отсюда происходит то, что порою мы теряемся между двумя или несколькими значениями, каждое из которых само по себе хорошо, но которые затрудняют верный вывод, понимание хода мысли автора. Неопределённость, однако, всегда относится к области умозрения, никогда — к области дела. То, о чём заботится Павел, достаточно ясно истинному сердцу, хотя весьма далеко от ясности для человека, чьё желание понимать опережает его послушание, кто исходит из представления, будто Павел намеревался преподать систему, объяснить Бога вместо того, чтобы помочь Его увидеть, — Бога, Который может открыться лишь прозрению детского сердца, никогда — самому острому уму. Сила апостола, как и его Учителя, была обращена на то, чтобы побудить людей искать Царства Божьего над собой и Его праведности в себе; отбросить жажду обладания и преходящего удовольствия; взирать на славу Бога и Отца и обращаться к Нему от всего, что Он ненавидит; признать братство людей и отвратительность всего несправедливого, нелюбящего, самовозвышающегося. Он не намеревался учить какому-либо иному пути спасения, кроме послушания Господу жизни. Он ничего не знал о так называемых христианских системах, которые превращают славу совершенного Бога в подобие низких человеческих умов и тупой совести, — и это худшее искажение, чем изображение Его в человеческом облике. Что это за душа, которая не предпочтёт Аполлона света, высоко шествующего Гипериона, представлению о тупом, себялюбивом монархе, о судье, раздающем законы, или о жестоком служаке — образам, порождённым языческой

спесью Рима и принятым миром внутри церкви за портрет своего Бога! Иисус Христос — *единственное* подобие живого Отца.

5 Посмотрим же, чему учит нас Павел в этом месте о жизни, которая есть свет людей. Так он прилагает к людям истину, возвещённую Иоанном.

6 Когда Моисей выходил после беседы с Богом, его лицо сияло; его сияние было дивом для народа и имело над ним силу. Но свет тотчас начинал слабеть и угасать, как и следовало ожидать, ибо он не был присущ самому Моисею. Поэтому Моисей покрывал лицо покрывалом, чтобы люди не видели, как он меркнет. Было ли это правильно или мудро — мнения могут расходиться; обсуждать этот вопрос не моё дело. Когда он вновь входил в скинию, он снимал покрывало, беседовал с Богом с открытым лицом и снова надевал покрывало, выходя. Павел говорит, что покрывало, скрывавшее лицо Моисея, теперь лежит на сердцах иудеев, так что они не могут понять его; но когда они обратятся к Господу, войдут с Моисеем в скинию, покрывало снимется и они увидят Бога. Тогда они поймут, что слава на лице Моисея и впрямь померкла, но от славы, превосходящей её, — от славы Иисуса, затмевающей её. И всё-таки здесь я едва могу удержаться от вопроса: не лучше ли поступил бы Моисей, позволив им увидеть, что слава их вождя всецело зависит от славы за завесой, куда они были недостойны войти? Только ли лицо Моисея скрывало это покрывало? Не наложил ли он его, пусть совершенно невольно, на их сердца? Не пристало ли оно к ним и не помогло ли скрыть от них Бога, так что они не смогли увидеть, что пришёл Тот, Кто больше Моисея, и возмущались мыслью, что слава их пророка должна уступить? Если бы на его лице

не было покрывала, не оказались ли бы они чуть способнее понять, что его слава должна пройти, что её слава состояла в приготовлении пути для славы, которая должна была её погасить? Моисей навсегда снял покрывало со своего лица, но они прижали его к своим сердцам, и оно ослепило их — замечательный символ добровольной слепоты древнего последователя Моисея или нынешнего последователя Уэсли, который не допускает никакого света, не увиденного его Моисеем или его Уэсли, и потому теряет и тот свет, какой тот увидел и отразил.

7 Павел говорит, что видение Господа снимет это покрывало с их сердец. Его свет выжжет его. Его присутствие дарует свободу. Где Он, там уже нет ни тяжести, ни рабства, ни пустыни, ни горы Синай. Сын освобождает сыновством.

8 И теперь следует место, смысл которого я хочу прояснить:

9 «Мы же все», имея это присутствие и эту свободу, «с открытым лицом созерцая, как в зеркале, славу Господню, преображаемся в тот же образ», образ Господа, «от славы в славу, как от Господа, Духа».

10 «Нам не нужен Моисей, не нужен земной посредник, который встанет между нами и светом и вынесет для нас немного славы. Мы входим в присутствие Сына, открывающего Отца, — в присутствие Света людей. Наш посредник — Сам Господь, дух света, посредник, не нами посланный к Богу, чтобы принести назад Его волю, а пришедший от Бога, чтобы принести нам Его Самого. Мы входим, подобно Моисею, в присутствие зримого, сияющего Бога — только насколько более зримого, более

сияющего! Как Моисей стоял с непокрытым лицом, принимая на него всю славу Божью, так с открытым, непокрытым лицом, прямо в свете славы Божьей, в месте Его присутствия стоим мы — вы и я, коринфяне. Мы видим не отражённый свет, а славу Божью, сияющую *в* лице Христа, исходящую из него, сияющую в нём и от него, — славу Отца, единого с Сыном. Израиль видел лишь угасающее отражение славы Божьей на лице Моисея; мы видим саму славу в лице Иисуса».

11 Но далее, мне кажется, исправленный перевод почти так же упускает смысл, как и авторизованный, когда вместо «созерцая, как в зеркале» даёт «отражая, как зеркало». Первое неверно; второе далеко от верного. Мысль, как и образ, принадлежит поэту, а не учёному. Поэт имеет дело с внешним явлением вещей, и это внешнее явление бесконечно глубже в своём отношении к истине, а также полезнее для жизни, чем анализ учёного. Павел вовсе не думал о зеркале как об отражателе, отбрасывающем лучи света от своей поверхности; он думал о нём как о принимающем, вбирающем в себя вещи, представленные перед ним, — здесь как о наполняющем своё лоно славой, на которую оно смотрит. Когда я вижу лицо друга в зеркале, кажется, что зеркало держит его внутри себя, обнимает лик своим текучим объятием. Лицо находится *там* — там, в глубине зеркала. Правда, оно сияет из него, но не это сияние из зеркала имеет в виду Павел; он имеет в виду факт — *зримый* факт, который, согласно Вордсворту, поэт всегда схватывает, — того, что зеркало держит лицо в себе.

12 Что именно так поэт или пророк — а Павел был и тем и другим — представлял бы это, особенно во времена апостола, я смогу сделать ещё вероятнее, обратив ваше

внимание на следующий отрывок из Данте, чьё время, хотя и настолько дальше от апостольского, чем наше время от Данте, во многих отношениях гораздо больше походило на время Павла, чем на наше.

[13] Вот этот отрывок: «Ад», песнь XXIII, строки 25–27:

> [14] И он: «Будь я свинцом покрытым стеклом,
> Твой внешний образ не впитал бы я скорее,
> Чем постигаю тот, что у тебя внутри».

[15] Здесь Вергилий, говоря о своей способности читать мысли спутника, обращается к Данте:

[16] «Будь я свинцовым стеклом», — то есть: «Будь я стеклом, с обратной стороны покрытым свинцом, так что я был бы зеркалом», — «я не притянул бы к себе твой внешний образ скорее, чем улавливаю внутренний», — то есть: «чем сейчас узнаю твои мысли».

[17] Итак, мне кажется, что верное простое слово, передающее греческое выражение, и вместе с тем самое буквальное для его перевода — глагол *вбирать в себя, как зеркало*; тогда начало предложения звучало бы так: «Мы же все, с непокрытым лицом, вбирая в себя, как зеркало, славу Господню…»

[18] Теперь я должен продолжить и раскрыть мысль, живущую в сердце апостола. Ибо простая правильность перевода ничего не стоит, если не приносит нам чего-то более глубокого или хотя бы более свежего понимания; с тем, кто заботится о словах независимо от того, что автор хотел ими передать, мне нечего делать: ему нужно перестать «слыть человеком» и начать действительно быть человеком, стать на путь к живой душе, прежде чем я смогу пожелать общения с ним. Итак, мне кажется,

пророк-апостол говорит: «Мы все, ясно видя Господа, вбирая в наши сердца Его славу, как зеркало приняло бы в себя Его лицо, тем самым преображаемся в Его подобие: Его слава творит нашу славу присутствующей в самой глубине нашего существа силой Господа, Духа». Следовательно, наше вбирание Христа, как зеркалом, есть одно с присутствием Его духа в нас. Видите, мысль здесь не в отражении, не в излучении света Христова на других, хотя такой образ был бы вполне допустим; мысль — в принятии внутрь и обладании в себе Им, действующим ради нашего преображения.

[19] То, что обозначаемое превосходит знак, выходит за пределы образа, — не открытие; изображаемое всегда принадлежит более высокому слою, к которому уподобление служит лишь лестницей; когда восходящий достигает его, он «тогда к лестнице поворачивается спиной». Вполне согласно закону символа, что символизируемое зеркалом обладает свойствами, далеко превосходящими свойства покрытого свинцом стекла или полированного металла, поскольку это живая душа, понимающая то, что принимает в свои глубины, — удерживающая это и сознающая, что удерживает. Она становится зеркалом благодаря своей воле держать в своём зеркале. В отличие от своего символа, она способна хранить не только внешнее зримое сходство, но и внутреннее подобие личности, которая им открывается; она открыта влияниям того, что объемлет, и способна деятельно с ними сотрудничать: зеркало и то, что в него принято, имеют единое происхождение и природу и находятся в теснейшем родстве друг с другом. Мысль Павла такова: когда мы принимаем в свой разум, своё сердце, свою совесть, своё существо славу Божью, то есть Иисуса Христа, каким Он являет Себя нашим глазам,

сердцам, совести, Он действует на нас и будет продолжать действовать, пока мы не преобразимся в то самое подобие, которое мы таким образом приняли в себя, как в зеркало; ибо вместе со Своим подобием приходит Он Сам и живёт в нас. Он будет действовать, пока в нас не создастся и не усовершится то же подобие, а именно образ человечности Бога, по которому мы были созданы изначально, но который никогда не смог бы развиться в нас без вселения совершенного подобия. Силой Христа, так принятого нами и живущего в нас как дома, мы преображаемся: слава в Нём становится славой в нас, Его слава преображает нас в славу.

[20] Но мы должны остерегаться принимать этот или любой другой символ *по плоти*, остерегаться толковать его так, чтобы в толкование примешивалось что-либо чисто физическое, психическое или духовно-механическое. Символ говорит о вещах, далеко превосходящих самую глубокую область, откуда можно черпать символы. Кто изъяснит пребывание Иисуса в душе человека! Но заметим вот что: пребывание Иисуса в нас есть действие силы Духа Божьего на нас, ибо «Господь есть тот Дух», и, когда этот Господь живёт в нас, мы преображаемся, «как от Господа, Духа». Когда мы мыслим Христа, Христос приходит; когда мы принимаем Его образ в наше духовное зеркало, Он входит вместе с ним. Наша мысль не отсечена от Его мысли. Наша открытая, принимающая мысль — дверь, через которую Он входит. Когда наши сердца обращаются к Нему, это и значит открыть Ему дверь, это и значит поднять к Нему наше зеркало; тогда Он входит — не одной нашей мыслью, не только в нашем представлении, но приходит Сам, по Своей собственной воле; приходит так, как мы не могли бы Его взять, но как Он может прийти, а мы — принять Его, получая от самого

Его прихода способность принять единственного желанного Гостя всей вселенной. Так Господь, Дух, становится душой наших душ, становится духовно тем, чем всегда был как Творец; и как наш дух образует, придаёт форму нашим телам, так Его душа образует, придаёт форму нашим душам. В этом нет ничего противоестественного, ничего противоречащего нашему бытию. Просто более глубокая душа, которая восхотела и продолжает хотеть наших душ, поднимается, бесконечная Жизнь, в то существо, которое мы называем *я* и *мною*, но которое живёт непосредственно от Него и составляет Его собственное достояние и природу — неизреченно больше Его, чем наше: эта более глубокая творящая душа, действуя над своим творением и вместе с ним на более высоких ступенях, делает *я* и *меня* всё больше Своими, а Себя — всё больше нашими; пока наконец слава нашего существования не озаряет нас, мы не поворачиваемся лицом к солнцу, освещающему то, что оно послало из себя, и не узнаём, что живы бесконечной жизнью, самой жизнью Отца; не узнаём, что наше существование — не лунный свет простого сознания бытия, а солнечная слава жизни, оправданной тем, что она стала едина со своим истоком, мыслит и чувствует вместе с первичным Солнцем жизни, от которого она была отпущена, чтобы узнать и осмыслить себя и вернуться, дабы вечно обращаться вокруг Него в ликующем согласии. Тогда мы воистину *есть*; тогда мы воистину имеем жизнь; жизнь Иисуса через свет стала жизнью в нас; слава Божья в лице Иисуса, принятая зеркалом наших сердец, оживила нас; мы едины с Богом во веки веков.

[21] Что меньше столь сияющей надежды было бы достойно откровения Иисуса? Исполненные души своего Отца, люди унаследуют славу своего Отца; исполненные себя,

они изгоняют Его и гниют. Общение с Господом, душа с душою, спасает души Его братьев жизнью — Его жизнью, преданной Богу. Никакое иное спасение их не спасёт. Они должны принять Сына, а через Сына — Отца. Чего стоило Сыну подойти к нам так близко, чтобы мы могли сказать: *«Войди»*, — вот история Его жизни. Он стоит у двери и стучит, и, когда мы открываем Ему, Он входит, живёт с нами, и мы преображаемся в тот же образ истины, чистоты и небесного детства. Где пребывает сила, там нет принуждения; где Господь-Дух, там свобода. Господь Иисус свободным и могучим общением с самой глубиной их существа изменит Своих послушных братьев так, что в каждой мысли и каждом побуждении они станут благими, как Он, бескорыстными, добрыми к ближним, братолюбивыми, как Он, совершенно любящими Отца, как Он, готовыми умереть за истину, как Он, заботящимися, как Он, ни о чём во вселенной, кроме воли Божьей, которая есть любовь, согласие, свобода, красота и радость.

[22] Не знаю, можно ли назвать это обладанием жизнью в самих себе; но это пробуждение и совершенствование в нас божественной жизни, унаследованной от нашего небесного Отца, Который создал нас по Своему образу, Чья природа остаётся в нас и делает самым глубоким укором человеку то, что он никогда не слышал Его голоса и не видел Его облика. Тот, кто хочет так жить, должен — как зеркало вбирает в своё лоно внешнюю славу — принять в «сердцевину сердца» внутреннюю славу Иисуса Христа, *Истину*.

Истина

[1] Я есмь истина. — Ин. 14:6

[2] Когда человек пяти чувств говорит об *истине*, он считает её лишь признаком чего-либо исторического или научного, доказанного как факт; или, если допускает, что, насколько ему известно, может существовать высшая истина, то, поскольку он не может получить её доказательства извне, ведёт себя так, будто на нём не лежит никакой мыслимой обязанности искать какого-либо иного удостоверения в ней. Какой бы призыв ни обращался к высшей области его природы, такой человек держится так, словно мудрецу подобает не обращать на него внимания, поскольку он не входит в круг действия низших сил этой природы. Однако, согласно слову *Человека*, истина значит больше, чем факт, больше, чем отношение фактов или лиц, больше, чем высочайшее отвлечение метафизической сущности; она значит бытие и жизнь, волю и действие, ибо Он говорит: «*Я есмь истина*».

[3] Я желаю помочь тем, кому могу, лучше понять, что означает *истина*, — не ради определения или логического различения, а ради того, чтобы, услышав это слово из уст Господа, они обрели верное представление; чтобы слово не было для них ни пустым звуком, ни поводом для смутного или ложного понятия о том, что Он им разумел. Если Он говорит: «Я есмь истина», — то, по меньшей мере, хорошо знать, что Он понимает под словом, с понятием которого отождествляет Себя. И сразу можно предпослать: Он не может иметь в виду нечто лишь умственное, такое, что можно изложить и на этом оставить; Он имеет в виду нечто живое, настолько живое,

что все необходимые отношения этого подчинены ему, настолько живое, что оно включает всё остальное, что на любой низшей ступени может носить или носило то же имя. Постараемся прийти к Его смыслу по полого восходящей лестнице.

[4] Если дело обстоит так, слово, говорящее, что это так, истинно. Но сам факт может не иметь никакой ценности, как не иметь ценности может и наше знание о нём. О большинстве фактов можно сказать, что истина относительно них несущественна. Например, само по себе не может быть важным, по какой стороне улицы я шёл в определённое утро. Для кого-нибудь может оказаться важно знать, по какой я шёл, но само по себе это неважно. Потому прозвучало бы неуместно, если бы я сказал: «То, что я шёл по солнечной стороне, — *истина*». Верным словом было бы *факт*, а не истина. Если бы возник вопрос, правильно ли высказывание об этом обстоятельстве, мы всё ещё находились бы в области факта или отсутствия факта; но когда мы начинаем спрашивать, было ли высказывание правдивым или ложным, нас занимает уже утверждение человеческого существа, и мы поднимаемся в иной план вещей. По какой стороне я шёл, может быть несущественно, или кому-нибудь может быть важно это знать; но для свидетеля и всякого, кто его любит, жизненно важно, верит ли он сам в своё утверждение, — истинен или лжив сам человек. Относительно самого обстоятельства возможен только вопрос *факта*; даже то, сказал ли человек правду, остаётся вопросом факта; но относительно человека это вопрос истины: он либо чистая душа, насколько свидетельствует это дело, либо лживая душа, способная ко лжи и виновная в ней. В этом отношении несущественно, сообщил ли человек

действительный факт; если он намеревался сообщить факт, он остаётся истинным человеком.

[5] Здесь я несколько забегу вперёд и скажу, что существуют не только *факты*, но и *истины*, и ложь против истин, как и ложь против фактов. Когда фарисеи говорили *корван*, они лгали против истины, что человек должен чтить отца и мать.

[6] Поднимемся теперь из области фактов, которые кажутся случайными, к фактам неизменным, нами не изменяемым, а потому заключающим в себе то, что мы называем *законом*. Сразу видно, что здесь *факт* имеет больше достоинства, а истинность или ложность высказывания в этой области сама по себе существеннее. Мало важно, замёрзла ли вода в моём кувшине таким-то утром; но то, что при тридцати двух градусах Фаренгейта вода всегда замерзает, — факт огромной важности. Мы поднялись на ступень в природе рассматриваемых фактов: вошли ли мы тем самым в область истин? Истина ли то, что вода замерзает при тридцати двух градусах? Думаю, нет. В неизменном факте не заключено никакого открытого нам начала. Начало, лежащее в его корне в уме Бога, должно быть истиной, но для человеческого ума этот факт пока лишь факт. Слово «истина» следует беречь для более высокого. Есть люди, считающие такие факты высшим из того, что можно познать; потому они прикладывают высшее известное им слово к высшей известной им вещи и называют факты природы истинами; но мне кажется: как бы высоко вы ни поднялись в обобщении, как бы широко ни простёрли свой закон — включив, например, всякую твёрдость в закон замерзания, — вы не поднялись выше утверждения, что то-то и то-то есть неизменный факт. Назовите это

законом, если угодно, законом природы, если хотите, — что это всегда так; но не истиной. Для нас это не может стать истиной, пока мы не различим основание его существования, его отношение к мысли и замыслу, да, к самобытному бытию. Скажите нам, почему это *должно* быть так, — и вы выскажете истину. Когда мы увидим, что закон таков потому, что он — воплощение определённой вечной мысли, которую мы созерцаем в нём, факта бытия Бога, лишь факты Которого суть истины, тогда он действительно станет для нас не просто законом, а воплощённой истиной. Закон природы Бога — путь, которым Он хочет, чтобы мы мыслили о Нём; это необходимая истина всякого бытия. Когда закон Природы позволяет нам это увидеть; когда мы говорим: «Я понимаю этот закон; я вижу, почему он должен существовать; это вполне подобает Богу», — тогда он поднимается не до достоинства самостоятельной истины, а до истины собственной природы, а именно до откровения о характере, природе и воле Бога. Он — изображение чего-то в Боге, слово, сообщающее факт о Боге, и потому гораздо ближе к тому, чтобы называться истиной, чем всё, что ниже него. Вот простой пример: какое представление имели бы мы о неизменном и неизменяемом без твёрдости вещества? Если бы мы, такие, каковы есть, не имели вокруг ничего твёрдого, где было бы наше мышление о Боге, истине и законе?

[7] Но существует область, быть может не столь высокая с научной точки зрения, где всё же слово «истина» уже можно начать применять по праву. Я верю, что всякий факт в природе — откровение Бога, что он существует таким, каков есть, потому что Бог таков, каков Он есть; и я подозреваю, что все её факты воздействуют на нас так, что мы бессознательно учимся познавать Бога. Правда,

мы не можем так помыслить отдельный факт, пока не найдём его души — его факта о Боге; но с первого мгновения нашего соприкосновения с миром он для нас — откровение Бога, Его видимое, через которое мы познаём невидимое. Как могли бы мы представить себе то, что способны представить о Боге, без небосвода над головой, зримого свода и в то же время бесформенной бесконечности! Какое понятие о Боге имели бы мы без неба? Истина неба — в том, что оно даёт нам почувствовать о Боге, открывшем его нашим глазам. Если вы скажете, что небо не могло быть иным, я соглашусь — с Богом в его основании. Мы не можем помыслить ничего вместо него, потому оно действительно должно быть таким. В своих открытых законах свет кажется мне таким потому, что Бог таков. Его так называемые законы — колыхание Его одежд, которые так колышутся, потому что внутри них Он мыслит, любит и идёт.

[8] Здесь мы в области, намного превышающей ту, на которую обычно притязает наука, открытой лишь сердцу ребёнка и мужчин и женщин с детской простотой, — области, где поэт находится среди своего и куда ему часто приходится ходить, чтобы это принести. Ибо вещи, каковы они есть, а не как с ними обращается наука, — откровение Бога Своим детям. Я не хотел бы быть неверно понятым: нет ни одного научного факта, ещё не включённого в закон, ни одного научного закона, вышедшего за пределы гипотезы и предварительной попытки, в котором не было бы воли Божьей и который поэтому не мог бы открывать Бога; но ни факт, ни закон существуют не ради факта или закона; каждый — лишь средство к цели; в совершённой цели мы находим намерение, и там Бога — не в самих законах, кроме как в Его средствах. По той же причине человеческая наука не может открыть Бога; ибо

человеческая наука лишь распускает в обратном порядке ткань гобелена Божьей науки, работает спиной к Нему и всё время оставляет Его — то есть Его намерение, Его завершённое дело — позади себя, всё дальше и дальше отходит от той точки, где Его дело достигает вершины в откровении. Несомненно, так она немного приближается к Нему умственно, но в лучшем случае может подойти лишь к Его спине; наука никогда не найдёт лица Бога; а те, кто стремится достичь Его сердца, кто, как Данте, возвращается туда, где находится, найдут также первоисточник Его науки. Анализ хорош, как хороша смерть; анализ — смерть, а не жизнь. Он открывает немногое из пути, которым Бог идёт к Своим целям, но при этом забывает и оставляет позади саму цель. Я не говорю, что так поступает учёный; но самый процесс его работы есть такое оставление Божьих целей позади. Это движение назад по Его следам, слишком часто без оценки результата, ради которого ноги сделали те шаги. Восхождение от завершённого дела быстрее и выше. Если бы человек мог выяснить, почему Бог действовал так, тогда он открывал бы Бога; но и тогда он открывал бы не лучшее и не глубочайшее в Боге, ибо Его средства не могут быть столь велики, как Его цели. Я должен выразиться яснее.

[9] Спросите человека, который только учёный, в чём истина цветка: он разберёт его на части, покажет их, объяснит, как они действуют, как каждая служит жизни цветка; расскажет, какие перемены производит в нём научное разведение; где он живёт изначально, где способен жить; как влияет на него другой климат; какую роль играют насекомые в его разновидностях, — и, несомненно, сообщит ещё много фактов о нём. Спросите поэта, в чём истина цветка, и он ответит: «Как же, сам

цветок, совершенный цветок, и то, чего он не может не говорить имеющему уши услышать». Истина цветка — не факты о нём, будь они точны, как сама идеальная наука, а сияющее, светящееся, радующее, терпеливое существо, восседающее на стебле, — то, что вызывает улыбку и слезу у ребёнка и пророка. Учёный смеётся над этим, потому что он только учёный и не знает, что это значит; но поэт и ребёнок заботятся о его смехе не больше, чем птицы Божьи, как Данте называет ангелов, — о его трактате по воздухоплаванию. Дети Божьи всегда должны терпеть насмешки детей мира, в церкви или вне её, — детей с острыми ушами и глазами, но тупыми сердцами. Те, кто считает любовь единственным благом в мире, понимают детей мира, улыбаются им и прекрасно могут обходиться без всего, что те способны им рассказать. В высшем состоянии, к которому ведёт их любовь, они быстро обгонят учёных, ибо обладают тем, что лежит в корне науки, тем, для откровения чего существует Божья наука. Какая польза человеку знать всё и утратить блаженство, сознание благополучия, которое одно только может придать ценность его знанию?

[10] Божья наука в цветке существует ради существования цветка в его отношении к Его детям. Если мы понимаем цветок, если едины с ним, если любим его, у нас есть то, ради чего существует наука, то, что одно только может подготовить нас к истинному исследованию средств и путей, которыми божественный замысел цветка был осуществлён, чтобы предстать перед нами. Замысел Бога *есть* цветок; Его замысел — не ботаника цветка. Его ботаника — лишь дело путей и средств, холста, красок и кисти по отношению к картине в уме художника. Один лишь рассудок никогда не откроет того, что обязано своим бытием высшему сердцу. Отношение рассудка к

рождённому сердцем недействительно, если оно не смиренно. Замысел Бога, повторяю, — цветок. Он его помыслил; изобрёл средства его создания; послал его, дар Себя Самого, глазам и сердцам Своих детей. Когда мы видим, как любят цветы невежественные и опустившиеся, мы вполне можем поверить, что в истории мира, записанной для небесных архивов, цветы занимают место, до понимания которого нам ещё очень далеко и которого наука не смогла бы ни понять, ни помочь понять во веки веков. Посмотрите на этого ребёнка! Он нашёл одного из своих безмолвных и неподвижных братьев, одетого Богом, с Божьей мыслью на лице. В какой улыбке вспыхивает божественное взаимопонимание между ними!
Посмотрите на его мать, когда он приносит ей цветок домой: она ничуть не ближе к его пониманию, чем он! Не давняя связь воспоминаний вызывает эти слёзы на её глазах, как ни сильны в этом цветы и вещи, гораздо ниже цветов; это Божья мысль, не узнанная как таковая, вступает с ней в общение. Она плачет от неизъяснимого восторга. Всего лишь маргаритка! Всего лишь первоцвет! Всего лишь нарцисс «фазаний глаз»! Всего лишь полевая лилия! Всего лишь подснежник! Всего лишь душистый горошек! Всего лишь отважный жёлтый крокус! Но здесь для неё не простой факт; здесь не закон природы; здесь истина природы, истина цветка — совершенная мысль из сердца Бога, истина Бога! Не умственная истина, а божественный факт, смутное откровение, движение творящей души! Кто, кроме отца, мог бы помыслить цветы для своих малых? Теперь мы близки к области, где слово Господа у себя дома: «Я есмь истина».

[11] Возьму пример, вполне отвечающий моему образу мысли и особой цели. В чём, спрашиваю я, истина воды? В том ли, что она образована из водорода и кислорода? То,

что у химика теперь есть иной способ изложить *факт* воды, не повлияет на мой пример. Его новый способ, вероятно, однажды устареет ещё больше, чем мой устарел сейчас. Ради ли того факта, что водород и кислород, соединяясь, образуют воду, существует эта драгоценность? Кислород-и-водород — это и есть божественный замысел воды? Или Бог соединил эти два вещества лишь затем, чтобы человек мог их разделить и обнаружить? Он позволяет Своему ребёнку разбирать игрушки на части; но разве они сделаны ради того, чтобы он их разбирал? Не позавидуешь ребёнку, для которого его бесславный отец делал бы игрушки с такой целью! Школьный экзаменатор мог бы увидеть в этом лучшее применение игрушки, но не отец! Найдите для нас, что в строении двух газов делает их подходящими и способными удостоиться такой чести — образовать эту прекрасную вещь, — и вы дадите нам откровение о большем, чем вода, а именно о Боге, Который создал кислород и водород. В кислороде нет воды, в водороде нет воды: она свежо бьёт ключом из воображения живого Бога, устремляется из-под великого белого престола ледника. Одна мысль о ней заставляет задохнуться от стихийной радости, которую никакой метафизик не способен разложить анализом. Сама вода, которая пляшет, поёт и утоляет чудесную жажду, — символ и образ того питья, о котором женщина Самарии просила Иисуса; сама эта прекрасная вещь, чья влажность — наслаждение для каждого дюйма человеческого тела в её объятиях; эта живая вещь, которую я, будь моя воля, пустил бы течь через мою комнату, да, журчать вдоль моего стола, — эта вода сама есть собственная истина и в этом — истина Бога. Пусть тот, кто хочет познать любовь Создателя, испытает мучительную жажду и напьётся из

ручья у дороги, а затем вознесёт сердце — в ту минуту не к Создателю кислорода и водорода, а к Тому, Кто задумал и соединил жажду и воду, чтобы человек мог немного предвидеть, что его душа может найти в Боге. Если тогда он не станет подобен оленю, жаждущему потоков вод, пусть вернётся к своей науке и её шелухе: в конце концов они заставят его жаждать, как жертву в пыльной башне перса. С таким же успехом человек может думать, будто описал радость питья, дав в качестве её анализа жажду и воду, как воображать, будто открыл что-либо о воде, разложив её на научные элементы. Пусть человек пойдёт на склон холма и даст ручью петь ему, пока не полюбит его, и он обнаружит, что гораздо ближе к источнику истины, чем триумфальная колесница химика когда-либо приведёт к нему кричащую толпу наполовину понимающих последователей. Он почерпнёт из ручья воду радостных слёз «и поклонится Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод».

12 Итак, истина *вещи* — её цветение, то, ради чего она создана, верхний камень, положенный с ликованием; истина в человеческом воображении — способность распознать эту истину вещи; и где бы, в чём бы то ни было созданном Богом, в его славе — будь то небо, цветок или человеческое лицо — мы ни видели славу Бога, там истинное воображение созерцает истину Бога. А теперь мы должны подняться на ещё более высокую ступень.

13 Мы видели: как только то, что называют истиной, вступает в связь с человеком; как только оно, вместо того чтобы просто отражаться в его уме как нечто внешнее ему, соприкасается с ним как с действующим существом; как только знание о нём воздействует или должно воздействовать на его чувство долга, — оно приобретает

гораздо более благородное значение; вопрос истины входит в более высокую фазу, смотрит из более высокого окна. Факт, сам по себе не имеющий ценности, сразу становится вопросом жизни и смерти — нравственной жизни и смерти, — когда у человека есть выбор, неотвратимый выбор быть истинным или лживым относительно него. Когда человек постигает истину, сердце, вершину, венец вещи, он приближается к источнику истины, откуда вещь произошла, и, постигая Бога через понимание сущего, становится больше человеком, больше тем существом, каким ему предназначено быть. В силу этой постигнутой истины у него возникают отношения со вселенной, дотоле в нём не развитые. Но исполнение самого малого, самого незначительного долга поднимет его намного выше. Этим он начинает быть истинным человеком. Человек может наслаждаться видением и славой истины и сам не быть истинным. Человек, чьё зрение слабо, но который, насколько видит и желая видеть дальше, делает то, что видит, — истинный человек. Если человек знает, что есть, и говорит, что этого нет, его знание нисколько не мешает ему оставаться лжецом. Человек, признающий истину какого-либо человеческого отношения и пренебрегающий заключённым в нём долгом, не истинный человек. Человек, знающий законы природы и не внимающий им, — тем менее истинный человек, чем больше учит им других. Но он может повиноваться им всем и быть самым лживым из людей из-за гораздо более высоких и близких обязанностей, которыми пренебрегает. Человек, хорошо заботящийся о себе и нисколько о брате и сестре, лжив. Человек может быть поэтом, сознающим высшую истину вещи, ту красоту, которая составляет конечную цель её существования; он может почерпнуть отсюда понятие о

творческой красоте, которая её замыслила; он может быть человеком, который не солжёт, не украдёт, не оклевещет, — и всё же может не быть истинным человеком, поскольку сущность человечности не является его целью: он никак не достиг цветения собственного бытия, никак не достиг на своей высшей ступени истины *вещи*, а именно того, ради чего существует, творческого замысла о себе, и даже не стремится к этому. Есть отношения ближе, чем отношения окружающих его фактов, яснее, чем те, что, по-видимому, приближают к нему Создателя, — отношения, которых он не видит, или, видя, не признаёт, или, признавая, не исполняет. Человек — человек лишь в исполнении истины, совершенный человек — лишь в исполнении высшей истины, то есть в осуществлении своих отношений к своему истоку. Но у него есть отношения с ближним, бесконечно более тесные, чем с любой из окружающих вещей, и для многих людей гораздо более ясные, чем их отношения с Богом. Ближайшее яснее для того, чтобы человек мог ступить на него и подняться к высшему, до той поры менее ясному. Эти отношения составляют большую часть его бытия, необходимы самому его существованию и рождаются из самих фактов возникновения его бытия. Это отношения мысли к мысли, существа к существу, долга к долгу. Сама природа человека зависит от этих отношений или едина с ними. Они — *истины*, и человек истинен по мере того, как исполняет их. Исполняя их совершенно, он сам есть *истина*, живая истина. Рассматриваемые одним лишь рассудком, эти отношения — факты человеческой природы; но то, что они принадлежат человеческой природе, делает их истинами, а их осуществления — обязанностями. Человек устроен так, что поначалу понимает их больше, чем способен любить, и отсюда

преимущество: он получает возможность избрать их исключительно потому, что они истинны; поступая так, он избирает любить их и обретает способность любить их в исполнении, которое одно только может по-настоящему открыть их ему и сделать любовь к ним возможной. Тогда они перестают являться в виде обязанностей и предстают такими, каковы они в более истинном смысле: безусловными истинами, сущностными действительностями, вечными радостями. Истинный человек — тот, кто избирает долг; совершенный человек — тот, кто под конец никогда не думает о долге, кто забывает само его имя. Долг Иисуса состоял в том, чтобы в формах ниже совершенных делать то, что Он совершенно любил и совершенно делал также в высших формах. Так Он исполнил всякую праведность. Тот, кто шёл бы к истине по одному лишь побуждению, был бы святым животным, а не истинным человеком. Отношения, истины, обязанности показываются человеку далеко за его пределами, чтобы он мог избрать их и стать дитятей Божьим, избирающим праведность, как Он. Отсюда вся печальная, победоносная человеческая повесть и слава, которой предстоит открыться!

[14] Нравственный философ, рассматривающий обязанности лишь как факты своей системы; более того, даже человек, который считает их истинами, сущностными действительностями своей человечности, но дальше не идёт, — по существу лжец, человек неправды. Он, конечно, человек, но не истинный человек. Он человек в возможности, но ещё не действительный человек. Признание этих вещей есть безусловная обязанность их исполнять. Не осуществляя этих отношений, человек уничтожает право собственного существования, разрушает своё *основание быть*,

превращает себя в чудовище, в живое основание тому, почему ему не следует жить, ибо на таких условиях ничто никогда не могло бы начать существовать. Само его присутствие — требование к своему Создателю уничтожить его.

15 Итак, факты человеческих отношений — подлинно истины, и истины страшнейшей важности. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет вечной жизни, пребывающей в нём!» Человек, живущий охотником за удовольствием, а не работником на полях долга, думающий о себе так, словно он один на земле, — в самом себе ложь. Вместо того чтобы быть человеком, каким выглядит, человеком, каким создан быть, он живёт так, как, по-видимому, живут звери, — с той разницей, надеюсь, что они поднимаются, а он, насколько это зависит от него, опускается. Но ему не может быть позволено опуститься за пределы Божьей досягаемости; отсюда все святые, то есть исцеляющие, страдания, которые постигают его и на которые он жалуется как на такие тяжёлые и несправедливые: они нужны, чтобы принудить его к истине, которой он не желает уступить, — мучительное убеждение быть самим собой, быть истиной.

16 Но допустим, ради последовательного раскрытия моей мысли, что человек делал всё требуемое от него — исполнял все отношения к собратьям, о которых я говорил, был, по крайней мере по отношению к ним, истинным человеком; он всё же чувствовал бы, и, несомненно, тем сильнее чувствовал бы, что ему чего-то недостаёт, чего-то необходимого для его благополучия. Подобно живому цветку, он чувствовал бы, что ещё не

расцвёл, и не мог бы сказать, каким должно быть цветение. В эту сторону указывают слова Господа, когда Он говорит юноше: «Если хочешь быть совершенным». Человек, которого я предполагаю, чувствовал бы, что его существование ещё не оправдано перед самим собой, что истина его бытия и природы ещё не открылась его сознанию. Он оставался бы неудовлетворённым; а причина была бы в том, что в нём есть отношение, причём самое глубокое, близкое и сильное, которое ещё не стало живым фактом, ещё не стало истиной в нём, которому он ещё не верен, отчего его бытие остаётся неистинным, он не есть сам собой, не созрел в божественный замысел, который один только может удовлетворить себя. Ребёнок с детским сердцем, который даже не знает, что у него есть отец, всё же тоскует по нему — всей своей природой, пусть и не сознанием. Это отношение ещё не начало исполняться в нём настолько, чтобы грядущее цветение послало впереди себя достаточно терпения и надежды, позволяющих жить верой, без видения. Когда цветок начинает появляться, человеческое растение начинает радоваться ещё не открытой славе Божьей, наследию святых во свете; подняв стебель и устремив вперёд бутон, ожидает часа, когда лилия Божьего поля узнает себя живой, имея Самого Бога своим сердцем и своим воздухом; часа, когда Бог и человек будут одно и всё, о чём заботится Бог, станет достоянием человека. Но я снова забываю о последовательности.

[17] Высшая истина для рассудка, отвлечённая истина — отношение, в котором человек находится к источнику своего бытия: его воли к воле, от которой она стала волей, его любви к любви, зажёгшей в нём способность любить, его ума к уму, который осветил его ум. Если человек обращается с этими вещами лишь как с предметами

рассмотрения, как с объектами мысли, как с идеями, которые надо проанализировать и расположить в надлежащем порядке и верном отношении, он обращается с ними как с фактами, а не истинами, и от общения с ними не становится лучше — вероятно, становится гораздо хуже, ибо в некоторой мере знает и неверен всему самому достойному его верности.

18 Но когда душа, сердце, дух — или как вам угодно назвать то, что есть сам человек, а не его тело, — рано или поздно осознаёт, что ему нужен Кто-то выше его, Кому повиноваться, в Ком обрести покой, у Кого искать избавления от того в самом себе, что презренно, разочаровывает, недостойно даже его собственного внимания; когда он сознаёт в себе противоборство, которое не есть согласие; что, хотя он ненавидит это, всё же с ним присутствует и кажется им самим нечто, называемое им то *ветхим Адамом*, то *плотью*, то *низшей природой*, то *злым своим «я»*, а иногда распознаваемое просто как та часть его существа, где нет Бога, — тогда человек действительно находится в области истины и начинает становиться истинным в себе. И недолго пройдёт, прежде чем он обнаружит: в нём нет ни одной части, с которой он враждовал бы, если бы там был Бог, если бы она была истинной, такой, какой должна быть, — в правильном отношении к целому; ибо, как бы она ни называлась — ветхий Адам, или предшествующий конь, пёс, тигр, — тогда она свято исполняла бы своё дело, ни на что не посягая, всецело подчиняясь власти высшего; будь то конь, пёс или тигр, это был бы добрый конь, добрый пёс, добрый тигр.

19 Когда человек склоняется перед силой, которая может дать ему объяснение, силой, для которой он не тайна, как

для самого себя; силой, которая знает, откуда он пришёл и куда идёт; которая знает, почему он любит это и ненавидит то, почему и где начал сбиваться с пути; которая может его исправить, поистине жаждет его исправить, сделав существом, взирающим к Ней без тени сомнения, тревоги или страха, с доверием ребёнка, которого отец ведёт за руку к высотам истины, дарующей счастье, и который знает, что там, где он неправ, отец прав и исправит его; когда человек чувствует всё своё существо в объятиях отцовства, которое само отвечает за себя, — тогда человек раскрывается своим цветком; тогда начинает являться истина его бытия, вечный факт в корне его нового имени, его настоящая природа, замысел о нём — изначально рождённый в Боге и отвечающий истине, бытию Бога, своему истоку; тогда его природа почти в согласии с собой. Ибо, повинуясь воле, которая есть причина его бытия, причина того, что требует от себя быть истинным, а эта воля есть праведность, любовь и истина, он начинает стоять на вершине своего бытия, сознавать себя божественным. Он начинает чувствовать себя свободным. Истина — не познанная рассудком, а открытая в собственном чувстве истинности, познанная сущностным сознанием своего божественного состояния, без которого его природа не принадлежит ни ему, ни Богу, — истинность сделала его свободным. Ни одна отвлечённая истина, ни все отвлечённые истины вместе, ни сама истина как метафизическая сущность, схваченная чистейшим проникновением в сущее, не может сделать человека свободным; это может истина исполненная, истина любимая, истина, которой человек живёт; истина *самого* человека, а не просто истина *в* нём; честность, делающая самого человека ребёнком честного Бога.

[20] Когда человек всей своей природой любит истину и желает её, тогда он — живая истина. Но не он сам положил ей начало в себе. Он увидел её и стремился к ней, но не дал ей начала. Единственная дающая начало, живая, зримая истина, объемлющая все истины во всех отношениях, — Иисус Христос. Он истинен; Он — живая Истина. Его истина, избранная и желанная Им, зрелость Его бытия, цветение сыновства, которое есть Его природа, венец Его единственного высочайшего совершенного отношения, которое Он признаёт и которым славится, — Его безусловное послушание Отцу. Послушный Иисус есть Иисус-Истина. Он истинен и есть корень всякой истины и всякого развития истины в людях. Само их бытие, сколь бы далеко оно ни было от истинно человеческого, — ещё не развившийся Христос в них, и подобие человека Христу есть истина человека, как совершенный смысл цветка — истина цветка. Каждый человек, согласно божественному замыслу о нём, должен прийти к истине этого замысла; и под всякой формой Христа — Христос. Истина каждого человека, говорю я, — Христос, достигший совершенства в нём. Как Христос — цвет человечества, так цветение каждого человека — Христос, достигший совершенства в нём. Жизненная сила человечества, действующая в нём, — Христос; Он — его корень, родитель и совершитель его неповторимости. Чем сильнее чистая воля человека быть истинным, чем свободнее и деятельнее его выбор, чем определённее его неповторимость, тем больше сам человек и всё его принадлежит Христу. Без Него он не мог бы существовать; существуя, не мог бы стать способным к истине; способный к истине, никогда не мог бы её полюбить; любя и желая её, не мог бы её достичь. Ничто, кроме сердечного присутствия, самого человечного

сочувствия и какого бы то ни было ещё более глубокого отношения между творящей Истиной и отвечающей душой, не могло бы побуждать человека продолжать надеяться, пока наконец он не забудет себя и не станет держать дом открытым, чтобы Бог входил и выходил. Он даёт нам волю, которой желать, силу ею пользоваться и помощь, необходимую для восполнения силы, в чём бы ни заключалась в каждом случае нужда; но желать истины должны мы сами, и этого Господь ждёт — победы Бога, Своего Отца, в сердце Его ребёнка. Только в этом Он может увидеть плод труда Своей души, только этим удовлетвориться. Дело Его, но мы должны принять добровольное участие. Когда цветок раскрывается в нас, чем больше он наш, тем больше он Его, ибо высшее творение Отца, и преимущественно через Сына, — существо, способное, подобно Отцу и Сыну, само от себя желать правого. Стон и мука рождения, цветение и радость — Отца, Сына и наши. Воля, способность желать, может быть сотворена, но само воление рождено. Поскольку Бог желает первым, человек также желает.

[21] Когда моё бытие сознательно и добровольно находится в руках Того, Кто призвал его жить, мыслить, страдать и радоваться, — возвращено Ему совершенным послушанием, — с этого времени я дышу дыханием, разделяю жизнь Самого Бога. Тогда я свободен, поскольку истинен, а это значит — един с Отцом. И свобода знает себя свободой. Когда человек истинен, даже если бы он оказался в аду, он не мог бы быть несчастным. Он в ладу с собой, потому что в ладу с Тем, от Кого произошёл. Быть в ладу с Богом — значит быть в ладу со вселенной; быть единым с силой, любовью, волей могучего Отца, хранителя радости, владыки смеха, Которому принадлежат все славы, все надежды, Который

любит всё и не ненавидит ничего, кроме себялюбия, которому не даст места в Своём царстве.

22 Итак, Христос — Господь жизни; Его жизнь — свет людей; свет, принятый их зеркалами, преображает их в образ Его, Истины; и так *истина, которая есть Сын, делает их свободными*.

Свобода

[1] *Истина сделает вас свободными… Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не остаётся в доме вечно; Сын остаётся вечно. Итак, если Сын освободит вас, вы будете истинно свободны.* — Ин. 8:32, 34–36.

[2] В том виде, как это место передано здесь, я не мог найти в нём смысла. Никто не может находиться в доме Отца в силу того, что он раб греха; однако этот человек находится в доме как раб, и дом, в котором он служит, — не дом греха, а дом Отца. Высказывание, в лучшем случае, сбивчиво, а рассуждение ошибочно. Должно быть, он находится в доме Отца на каком-то ином основании, чем грех. Если бы не пришла помощь, этого было бы достаточно, чтобы оставить это место в покое, допустив, что слова Господа, быть может, переданы здесь неверно, — место, где я, во всяком случае, усматривая несколько основополагающих истин, не мог проследить ход довода. Не думаю, что сам когда-либо смог бы предположить, где именно закралось искажение, если оно было. Большинство подобных трудностей возникло — как, едва ли сомневаюсь я, и эта — благодаря какому-нибудь писцу, который, желая объяснить то, чего не понимал, записал на полях своё никчёмное толкование: следующий переписчик принял эти слова за пропуск, который следует восстановить в основном тексте, и, вставив их, исказил высказывание и весьма затемнил его смысл. Как многим обязаны мы исследователям, которые изучали Писания и выясняли, что же было написано на самом деле! В данном случае помета доктора Уэсткотта даёт нам понять, что существует другое чтение, имеющее «достаточные основания считаться подлинным». Разница

на глаз и впрямь мала, но достаточно велика, чтобы вместо сомнительной руды дать нам чистое золото. Когда приходится выбирать между подобными вариантами, я должен возлагать надежду на то, что представляется логичным, перед тем, что кажется нелогичным; на то, что лучится светом, перед тем, что выглядит банальным.

[3] Итак, чтение, которое я считаю подлинным, я передаю по-английски так: «Всякий, делающий грех, есть раб. Но раб не остаётся в доме вечно; сын остаётся вечно. Итак, если сын освободит вас, вы будете на самом деле свободны». Авторизованный перевод гласит: «Всякий, делающий грех, есть раб *греха*»; исправленный перевод гласит: «Всякий, кто делает грех, — подневольный раб *греха*»; оба принимают чтение со словами «*греха*». Само по себе это утверждение, несомненно, истинно, но для следующего за ним рассуждения оно кажется мне бесполезным. И я думаю, что именно то чтение, которое я считаю подлинным, могло подсказать апостолу Павлу сказанное им в начале четвёртой главы Послания к Галатам — слова духа и жизни, из которых ошибочно вывели учение об усыновлении, сущий яд для детского сердца. Здесь Господь говорит не то, что согрешающий — раб греха, хотя это совершенно верно, но что он — раб, и ход рассуждения показывает, что Он имеет в виду раба Божьего. Одно вполне совместимо с другим. Никакая степень рабства греху не может помешать человеку быть настолько рабом Божьим, насколько Бог по милости Своей пожелает его сделать. Именно грех делает его рабом вместо ребёнка. Его рабство греху — его погибель; его рабство Богу — его единственная надежда. Конечно, Бог не любит рабства; Он ненавидит его; Он желает иметь детей, а не рабов; однако Он может долго держать раба в Своём доме в надежде пробудить в жалкой рабской

натуре стремление к сыновству, которое ей принадлежит, которое дано ей по праву рождения. Но раб не должен оставаться в доме вечно. Отец не обязан держать своего сына в рабстве лишь потому, что неразумное дитя так предпочитает.

[4] Кто не желает делать того, чего Бог от него хочет, тот раб, которого Бог может принудить это делать, сколько бы терпения Он к нему ни проявлял. Тот, кто повинуется Богу, зная это или боясь наказания, всё ещё раб, но раб, который подошёл достаточно близко, чтобы слышать голос своего господина. Есть, однако, люди гораздо выше его, и всё же они лишь рабы. Те, для кого Бог не есть всё во всём, — рабы. Возможно, они не совершают больших грехов; возможно, стараются поступать правильно; но пока они, как сами выражаются, *служат* Богу из чувства долга и не знают в Нём своего Отца, радости своего бытия, они рабы — добрые рабы, но рабы. Если бы они не старались исполнять свой долг, они были бы плохими рабами. В них далеко не столько рабского, сколько в тех, кто служит из страха, но они рабы; и поскольку они лишь рабы, они не могут исполнить никакой праведности, не могут совершенно исполнить никакого долга, а должны вечно стремиться к этому, утомляясь и страдая, прекрасно зная, что, если перестанут стараться, погибнут. Они и впрямь рабы, раз были бы рады, чтобы их усыновил Тот, Кто уже их родной Отец! Где же тогда сыновья? Отвечаю: я не знаю никого, кто был бы уже всецело и без остатка сыном или дочерью. Возможно, такие есть — Бог знает; я их не встречал; или, встречая, сам не был таков, чтобы суметь их узнать. Но я знаю людей, в которых достаточно сыновнего и дочернего, чтобы воевать с рабом внутри себя, которые не согласны быть рабами своего Отца. Ничто из виденного или

познанного мною в сыновстве не приближается к его славе; однако есть тысячи сыновей и дочерей, пусть число их пока — лишь остаток, которые становятся на сторону Отца своих духов против самих себя, против всего, что отделяет их от Того, от Кого они произошли, но вне Кого никогда не были, ибо в Нём живут, движутся и существуют. Такие люди не рабы; они истинные, хотя ещё не совершенные дети; они сражаются вместе с Богом против злого разделения; они сокрушают стоящую между ними преграду. От их оков остались одни кольца, и они бьются, чтобы снять их. Они дети — с большей или меньшей долей умирающего раба внутри; они знают, что он там, и знают, что он такое, и ненавидят рабство в себе, и стараются его умертвить. Настоящий раб — тот, кто не стремится быть ребёнком; кто не желает положить конец своему рабству; кто считает притязание ребёнка дерзостью; кто держится освящённой традицией службы форм и обрядов и не знает воли Того, Кто создал Семизвездие и Орион, а тем более не заботится повиноваться ей; кто никогда не возносит сердца, чтобы воскликнуть: «Отче, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Такие люди постоянно выдают своё рабство жалобами. «Разве не вправе мы сердиться?» — восклицают они вместе с Ионой; и, поистине, раз они рабы, я не знаю, как им от этого удержаться. Когда они станут сыновьями и дочерьми, они больше не будут жаловаться на тяготы, бедствия и тревоги жизни; больше не будут роптать на ломоту и боль, на тесноту бедности, на донимающий их голод; больше не будут негодовать, что их отвергает так называемое общество. Тем, кто верит в собственного совершенного Отца, едва ли пристало винить Его за то, что им не нравится. Ах, друг, возможно, мы с тобой рабы, но такие сыновья и дочери, о которых я говорю, *есть*.

[5] Рабы греха редко ропщут на это рабство; они ропщут на своё рабство Богу; только на него и жалуются — на мучительных вестников, которых Он посылает, чтобы избавить их от рабства и греху, и Ему Самому. Они должны быть либо сыновьями, либо рабами. От своего Владыки они избавиться не могут. Отрицают ли они Бога, или глумятся над Ним, признавая Его, но не слушаясь, или обращаются с Ним как с самовластным монархом, блюдущим формальности; не давая себе труда узнать, что Ему угодно, совершают ли ради служения Ему унылые дела, до которых Ему нет дела, или пытаются Его умилостивить, с натугой взвалив на себя какое-нибудь иго, которого Сын никогда не носил и носить которое их никогда не призывал, — они рабы, и оттого, что они рабы Богу, рабами они быть не перестают; они настолько рабы, что даже не стремятся выйти из рабства, став сыновьями и дочерьми, обретя благо жизни там, где только оно может или могло бы находиться. Может ли творец создать существо, чьё благополучие не зависело бы от него самого? И если бы мог, разве это существо стало бы от этого выше? Какое из существ было бы выше: то, которое он сделал более, или то, которое сделал менее зависимым от себя? Раб сердцем тотчас ответит вместе с Сатаной Мильтона, что свободнее всех должен быть тот, кто дальше всего от своего Создателя, признавая тем самым рабством самое своё существование и признавая в бытии только два рода существ — творца и столько рабов, сколько ему угодно создать, причём их отказ повиноваться оказывается неосознанным протестом против самой их сущности. Ради того, что они называют свободой, следует отвергнуть само *бытие*! Если судить по их жизненным правилам, само творение — несправедливость! Бог не имел права создавать существ

ниже Себя; а поскольку равных создать не мог, Ему не следовало творить вовсе! Но они жалуются не на то, что созданы; они жалуются на то, что от них требуют поступать справедливо. Они не желают повиноваться, но, сами будучи делом Его рук, вырывают из Его творения всякую выгоду, какую могут! Они желают быть свободными иной свободой, чем та, которою свободен Бог; сами того не зная, они ищут более полного рабства. Поистине нет середины между совершенным согласием с Отцом и состоянием рабов — покорных или мятежных. Если они мятежны, то и самый их мятеж совершается силой Отца, пребывающей в них. Божественные по сущности, они выставляют своё существование наперекор своей сущности, собственной природе.

[6] И всё же самый их мятеж в некотором смысле — лишь восстание Его духа в них против ложного представления о Нём, против лжи, которую они принимают за правду о Нём. Они не видят: если Его творение, а именно они сами, составляет их главную радость, то насколько большей славой и радостью для них, творения, могла бы стать жизнь, которая их творит, — ведь она ближе к ним, чем они сами к себе, поскольку даёт им быть, и, не разрывая связи с ними, простирается так бесконечно выше и дальше их. Ибо ничто не может быть так близко, как то, что творит; ближайшая, крепчайшая, самая дорогая из возможных связей — связь творца и творения. Где её отрицают, там раскол глубочайший; где её признают и осуществляют, там близость невыразима. Но всегда остаётся то, чего сказать нельзя, и я умолкаю, побеждённый. Самый протест мятежника против рабства проистекает одновременно из Божьей истины в нём, которую он не в силах целиком из себя изгнать, и из рабства, слишком низкого, чтобы любить истину, — из

низости, готовой всё брать и ничего не признавать, словно самое его бытие — для него позор. Свобода Бога, желающего свободы Своему творению, борется с рабством творения, которое хотело бы отрезать собственный стебель от своего корня, чтобы назвать его своим и полюбить его; которое радуется собственному сознанию вместо жизни этого сознания; которое балансирует на шаткой стене своего бытия вместо того, чтобы стоять на скале, на которой это бытие возведено. Такой человек считает своё господство над собой — владычество меньшего над большим, поскольку сознающее себя «я» меньше самого «я», — свободой бесконечно большей, чем простор вселенной Божьего бытия. Если он говорит: «По крайней мере, я поступаю по-своему!» — я отвечаю: ты не знаешь, что здесь твоё, а что не твоё. Ты ничего не знаешь о том, откуда берутся твои порывы, желания, склонности, пристрастия. То они могут возникнуть из случайности — например, из расстроенных нервов; то из рёва какого-нибудь бродячего бесплотного беса; то из зародыша ненависти в твоём сердце; то из алчности или беззакония какого-нибудь предка, которого ты стыдился бы, знай ты его; а то, быть может, из далеко проникающего созвучия небесного оркестра: едва всё это возникает в твоём сознании, ты называешь его собственной волей и гордишься ею! Два беса, развлекаясь дуэтом внушений, по одному у каждого уха, вскоре заставили бы то царственное *я*, в которое ты так влюблён, радоваться свободе каждое следующее мгновение желать противоположного; а под конец свели бы тебя с ума открытием, что ты, как бы ни желал, не можешь одновременно выбрать и один путь, и противоположный. Весь вопрос покоится на отношении творящего и сотворённого и вращается вокруг него, а

сознание этого отношения, по-видимому, ещё мало у кого развилось. Жить без вечной творческой жизни невозможно; свобода от Бога может означать только неспособность видеть факты существования, неспособность понять славу творения, которое соединяется со своим Творцом в Его деле собственного сотворения, которое хочет, чтобы прекрасная воля, вызывающая его к жизни и дарующая ему выбор, завершила его создание, ввела его в круг творящего сердца, дабы оно радовалось тому, что живёт не скудной силой собственной воли, но едино с жизнью, дающей жизнь ему, пребывает в теснейшем единстве дыхания и воли, в живом и дерзающем на своё право единстве с жизнью всякой жизни. Такое творение знает жизнь бесконечного Отца как самое пламя своей жизни и радуется тому, что во вселенной ничего не совершается и не совершится, соучастником чего Отец не сделает его в полной мере, какую только позволяет совершенная щедрость. Если ты скажешь, что это непочтительно, я усомнюсь, видел ли ты Бога, явленного в Иисусе. Но всё будет хорошо, ибо маленький бог, которым ты так скудно довольствуешься, доведёт твою душу голодом до страдания, и ужас подступающей вечной смерти принудит тебя искать совершенного Отца. О, закоснелые христиане, не Господь стеснён — вы стеснены в своих узких, упорствующих душах! Некоторым из вас нужно устыдиться перед самими собой; некоторым из вас нужен огонь.

[7] Но кто-нибудь из читающих, в муке и жажде ребёнка, проснувшегося от сна о бесконечных поисках, не приносящих находки, может воскликнуть: «Я связан, как Лазарь погребальными пеленами! Что мне делать?» Вот ответ, извлечённый из этой притчи нашего Господа: ведь

это изречение весьма подобно притче, учит большему, чем говорит, обращается к совести и сердцу, а не к рассудку. «Ты раб; у раба нет прочного места в доме; только сыновья и дочери обретают постоянный покой в доме своего отца. Бог не может вечно держать вокруг Себя рабов. Ты должен отказаться от своего рабства и освободиться от него. Для этого Я и здесь. Если Я освобожу тебя, ты будешь истинно свободен; ибо Я могу освободить вас лишь сделав вас теми, кем вам предназначено быть, — сыновьями, подобными Мне. Только так Сын и может действовать. Но стать сыновьями должны вы сами; вы должны этого захотеть, и Я здесь, чтобы помочь вам». Он словно говорит: «Вам откроется свобода вселенной Моего Отца; ибо, свободные от себя, вы получите свободный доступ к Его сердцу. Вы сами — ваше рабство. Вот та тьма, которую вы возлюбили больше света. Вы воздавали честь себе, а не Отцу; вы искали славы от людей, а не от Отца! Потому даже в доме своего Отца вы были лишь временно пребывающими рабами. Мы в Его семье все едины; у нас нет духа разделения; у нас нет своекорыстия: присоединяйтесь к нам, и вы будете свободны, как свободны мы».

[8] Если тогда бедное, изголодавшееся дитя воскликнет: «Как, Господи?» — ответ будет зависеть от того, что оно разумеет под этим *как*. Если оно имеет в виду: «Какой план Ты изберёшь? Каков Твой замысел, чтобы рассечь мои узы и освободить меня?» — ответом может стать сгустившаяся тьма и ещё туже затянутые узы. Но если оно имеет в виду: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» — ответ не замедлит. «Отдайся Мне: делай, что Я тебе велю, понимай, что Я говорю, будь Моим добрым, послушным маленьким братом, и Я пробужу в тебе сердце, которое вложил в тебя Мой Отец, сердце,

подобное Моему; оно научится любить Отца всецело и безусловно, как любит Моё, пока ты не будешь готов дать растерзать себя ради Него. Тогда ты узнаешь, что находишься в сердце вселенной, в сердце всякой тайны — в сердце Отца. До тех пор ты не будешь свободен; тогда — свободен воистину!»

[9] Христос умер, чтобы спасти нас не от страдания, а от нас самих; не от несправедливости и тем более не от справедливости, а от того, чтобы быть несправедливыми. Он умер, чтобы мы могли жить, — но жить, как живёт Он, умирая, как умер Он, умерший для Себя, чтобы жить для Бога. Если мы не умрём для себя, мы не можем жить для Бога; а кто не живёт для Бога, тот мёртв. «Вы познаете истину, — говорит Господь, — и истина сделает вас свободными. Я — истина, и вы будете свободны, как свободен Я. Чтобы быть свободными, вы должны быть сыновьями, подобными Мне. Чтобы быть свободными, вы должны *быть* теми, кем вам надлежит быть, кем вы созданы. Чтобы быть свободными, вы должны сыновним ответом откликнуться Отцу, Который зовёт вас. Чтобы быть свободными, вы должны бояться только зла, заботиться только о воле Отца, держаться Его с безусловным доверием и безграничным ожиданием. Только Ему должно доверять». Он явил нам Отца не только тем, что делал дела Отца, не только тем, что любил детей Своего Отца так же, как любит их Отец, но и Своей полной удовлетворённостью Им, Своей радостью в Нём, Своим совершенным послушанием Ему. Он явил нам Отца безусловной преданностью совершенного Сына. Он Сын Божий, потому что Отец и Он — одно, имеют одну мысль, один ум, одно сердце. На этой истине — я имею в виду не догмат, а саму действительность верности Иисуса Своему Отцу — держится вселенная; и от признания этой истины,

то есть от того, станут ли дети так же истинны, зависит их свобода, искупление всего их мира. «Я и Отец — одно» — центральная истина Вселенной; а истина, объемлющая её, — «да и они будут в Нас едино».

10 Итак, единственный свободный человек — тот, кто есть дитя Отца. Он слуга всем, но ничьим рабом стать не может: он сын Владыки вселенной. В самом себе, в силу своей истинности, он свободен. В самом себе он царь. Ибо Сын основывает Своё право на царское достоинство на том, что *Он родился и пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине*.

Царственность

[1] *Итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь! Я для того родился и для того пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине: всякий, кто от истины, слышит голос Мой.* — Ин. 18:37.

[2] Пилат спрашивает Иисуса, царь ли Он. Этот вопрос вызван тем, что Господь только что сказал о Своём царстве, закончив словами, что оно не от мира сего. Теперь Он отвечает Пилату, что действительно Царь, но показывает, что Его царство совсем иного рода, чем то, что называют царством в этом мире. Чины и власть здешнего мира Его не занимают. Он мог бы ими обладать. Призвав учеников следовать за Ним, а двенадцать легионов ангелов — помочь им, Он вскоре мог бы сбросить римлян в бездну, на груду народов, которых они сами прежде туда низвергли. Что было бы для Него легче, чем таким образом расчистить путь и править покорённым миром как справедливый государь, о котором мечтали иудеи, которого никогда не видели ни в Израиле, ни где бы то ни было ещё, но который неизменно вставал перед бедными и их заступниками в надеждах и томительных ожиданиях! Он мог бы из Иерусалима править миром, не просто осуществлять то, что люди называют справедливостью, но принуждать к возмещению причинённого зла. Однако правление Его не привлекало. Подобное царство не послужило бы целям Его небесного Отца и не утешило бы Его собственной души. Что значила для Сына Божьего совершенная держава, когда Он мог научить хотя бы одного человека любить ближнего и быть благим, как Его Отец! Помочь одному сердцу любить, ради его радости и славы Своего Отца, — вот начало

подлинной царственности! Господь предпочёл бы омыть ноги Своим усталым братьям, чем стать единственным совершенным монархом, когда-либо правившим в мире. Именно от владычества Он отказался, когда велел сатане отойти за Него, как псу — к ноге хозяина. Правление, повторю, было для Него пресным, затхлым, бесполезным.

3 Над каким же царством Господь желает царствовать, раз Он говорит, что пришёл в мир, чтобы быть Царём? Отвечаю: над царством царей, и ни над каким иным. Там, где каждый человек — царь, и только там Господь желает царствовать во имя Своего Отца. Как ни один царь в Европе не захотел бы царствовать над племенем людоедов, дикарей или животных, так и Господу не нужно царство над тем, что здешний мир называет народом. Царь должен править подобными себе. Иисус — Царь не по праву завоевания, наследства или избрания, а по праву самой сущности Своего бытия; и Ему не нужны подданные, кроме тех, кто подданные Ему по тому же праву. Его подданные должны быть подобны Ему, царями по самой природе и существу. Чтобы понять Его ответ Пилату, посмотрите, в чём состоит Его царственность, что делает Его Царём, какое проявление Его существа даёт Ему право быть Царём. Царство Господа таково, что в нём никто не стремится стать выше другого: честолюбие принадлежит к грязи царств здешнего мира. Он говорит: «Я Царь, ибо для того родился, для того пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто Мне подобен, кто от истины, слышит Мой голос. Он царь, как Я, и становится одним из Моих подданных». Тогда Пилат — как и большинство нынешних христиан — вместо того, чтобы начать жить в истине, просит дать определение истины, представить его уму в точных выражениях, что означает слово «истина»; но тотчас, то ли убеждённый в

бесполезности этого вопроса, то ли намереваясь вернуться к нему после освобождения Господа, выходит к народу и говорит, что не находит в Нём вины. Как бы мы ни истолковывали здесь его поступок, он заслуживает куда меньшего осуждения, чем те «христиане», которые, вместо того чтобы стараться быть чистыми, «как Он чист», быть хранителями своих братьев и сестёр и служить Богу честностью в лавке, в конторе, на рынке труда, принимаются «служить» Ему: одни — хождением в церковь или молельню, другие — осуждением мнений ближнего, третьи — наставлением других в том, чему сами не следуют. Ни Пилат, ни они не задают единственного верного вопроса: «Как мне стать истинным человеком? Как стать таким человеком, каким стоит быть?» Господь — Царь потому, что Его жизнь, жизнь Его мыслей, Его воображения, Его воли, каждого мельчайшего поступка, истинна: прежде всего верна Богу, ибо Он всецело принадлежит Ему; верна Себе, ибо Он совершенно забывает Себя; верна Его братьям, ибо Он готов претерпеть всё, что они с Ним сделают, и не перестанет провозглашать Себя Сыном, Посланником и подобием Бога. Они убьют Его, но это ничего не меняет: истина такова, как Он говорит!

[4] Иисус — Царь потому, что Его дело — свидетельствовать об истине. О какой истине? О всякой истине; об истинности всех отношений во вселенной — прежде всего о том, что Его Отец благ, совершенно благ, и что венец и радость жизни — желать и исполнять волю вечного источника воли и всякой жизни. Тем самым Он наносит смертельный удар власти ада. Ибо единственный закон ада таков: «Я принадлежу себе. Я сам себе царь и сам себе подданный. *Я* — средоточие, из которого исходят мои мысли; *я* — предмет и цель моих мыслей; ко *мне*, как к

альфе и омеге жизни, мои мысли возвращаются. Моя собственная слава есть и должна быть моей главной заботой; моё честолюбивое стремление — собрать взоры людей в одном средоточии: на себе. Моё удовольствие — *моё* удовольствие. Моё царство — все, кого я могу заставить признать моё превосходство над ними. Моё суждение — безошибочное мерило вещей. Моё право — то, чего я желаю. Чем больше я для себя всё во всём, тем я значительнее. Чем меньше признаю я долг или обязанность перед другим; чем крепче закрываю глаза на то, что не сам себя создал; чем самодостаточнее себя чувствую или воображаю — тем я значительнее. Я буду свободен той свободой, которая состоит в том, чтобы делать всё, к чему меня влечёт, откуда бы это влечение ни приходило. Исполнять собственную волю, пока я чувствую что-либо своей волей, — значит быть свободным, значит жить». Всем этим началам ада, или здешнего мира — это одно и то же, и совершенно неважно, провозглашают ли их и защищают ли, если ими руководствуются в жизни, — Господь, Царь, прямо говорит: ложь. Он словно бы говорит: «Мне подобает знать, что Я говорю, ибо от вечности Я Сын Того, от Кого вы произошли и Кого называете своим Отцом, но Кого не хотите иметь Отцом; Я знаю все Его мысли и всё Его существо; и Я говорю вот что: Моя совершенная свобода, Моя чистая неповторимость покоятся на том, что у Меня нет иной воли, кроме Его воли. Моя воля вся устремлена к Его воле, ибо Его воля права. Он — сама праведность. Само Его существо есть любовь, справедливость и самоотдача, и Он хочет, чтобы Его дети были подобны Ему — существами любви, справедливости, преданными Ему и своим собратьям. Я родился, чтобы свидетельствовать об истине — в Своём собственном лице

быть зримой истиной, самим подобием и явлением истинного Бога. Само Моё бытие — свидетельство о Нём. Всё во Мне свидетельствует о Нём. Он — истина, и Я — истина. Убейте Меня, но пока Я жив, Я говорю: каков Я, таков и Он. Если бы Я сказал, что не знаю Его, Я был бы лжецом. Я не боюсь ничего, что вы можете сделать со Мной. Неужели царь, пришедший возвестить истину, повернётся спиной из страха перед людьми? Мой Отец подобен Мне; Я знаю это и говорю это. Вам не нравится это слышать, потому что вы не подобны Ему. Я низок в ваших глазах, мерящих всё по внешнему виду; поэтому вы говорите, что Я богохульствую. Я богохульствовал бы, если бы сказал, что Он подобен хоть чему-нибудь, чем вы способны Его вообразить, ибо вы любите видимость, власть и людскую хвалу. Я этого не люблю, и Бог подобен Мне. Я пришёл в мир, чтобы явить Его. Я Царь, потому что Он послал Меня свидетельствовать о Его истине, и Я свидетельствую. Убейте Меня, и Я воскресну. Вы можете убить Меня, но удержать Меня мёртвым не можете. Смерть — Моя служанка; вы — рабы Смерти, ибо не хотите быть истинными и дать истине освободить вас. Связанный, в ваших руках, Я свободен, как Бог, ибо Бог — Мой Отец. Я знаю, что буду страдать, страдать до смерти, но, если бы вы знали Моего Отца, вы не удивлялись бы Моей готовности; вы тоже были бы готовы. Он — Моя сила. Мой Отец больше Меня».

[5] Помните, друзья, я сказал: «Он словно бы говорит». Я дерзаю представить тень свидетельства Господа — тень, которую, несомненно, отбрасывают Его дела и Его собственные слова! Если я ошибаюсь, Он простит меня. Я не боюсь Его; я боюсь только, что, умея видеть и писать всё это, не сумею свидетельствовать и сам в конце концов окажусь отвергнутым — не царём, а говоруном; не

учеником Иисуса, готовым идти с Ним на смерть, а спорщиком об истине; ненавистником лжи, которую люди произносят за Бога, и при этом сам — лжецом, говорящим истину, но не исполняющим слово.

6 Итак, мы видим, что Господь свидетельствовал об Истине, о едином Боге, оставаясь именно Тем, Кто Он есть, перед взорами людей и их ложью. Истинный царь — тот, кто стоит прямо как истинный человек и говорит истину, кто умрёт, но не солжёт. Одеждой такого царя могут быть лохмотья или порфира — это ничего не меняет. Лохмотья вероятнее, но они не лучше и не хуже царского облачения. Господь был одет всего царственнее тогда, когда Его одежда была шуткой, издевательством, посмешищем. Из людей, которые до Христа свидетельствовали об истине, одних перепиливали надвое, другие покоряли царства; что именно выпадало им, не имело значения: они свидетельствовали.

7 Истина — Бог; свидетель истины — Иисус. Царство истины — человеческие сердца. Блаженство людей — истинный Бог. Мысль Бога — истина всякой вещи. Всякое благо заключается в истинных отношениях с Богом. Человек, который всем своим существом отвечает на это, — от истины. Человек, который знает всё это и только знает; человек, который видит, что это истинно, но не сообразует с этим жизнь и поступки, суждение и любовь, принадлежит к худшей из лжи: рукой, ногой и лицом он глумится над тем, что исповедует его язык.

8 Мало думали сыновья Зеведеевы и их честолюбивая мать о том, каким будет земной престол славы Христа, который они и она просили позволить им разделить. Ибо Царь, увенчанный Своим свидетельством, достиг высшей силы Своего свидетельства тогда, когда висел на кресте —

словно грех, как дерзновенно выражается Павел. Когда Его свидетельство считают ложью, тогда Он свидетельствует всего сильнее, ибо продолжает свидетельствовать. Высоко вознесённый на престол Своего свидетельства, на крест Своей муки, Он держится Своего слова: «Я и Отец — одно». Каждая насмешка, перенесённая в свидетельстве, — новое свидетельство. Несравненно больше, чем если бы Он воссел на престоле всей земли, свидетельствовал Иисус об истине, когда Пилат вывел Его в последний раз и, возможно, посадил на судейское место в пародии на царские одежды и знаки власти, сказав: «Вот Царь ваш!» Именно благодаря этим одеждам и этому венцу, этому скипетру и этому престолу осмеяния Он был единственным настоящим Царём, когда-либо сидевшим на каком-либо престоле.

[9] От каждого ли христианина ожидается свидетельство? Человек, согласный не свидетельствовать об истине, не пребывает в Царстве Небесном. Верующий должен свидетельствовать. Кто видит истину, должен жизнью свидетельствовать о ней. Так служит ли наша жизнь свидетельством об истине? Ведём ли мы себя в банке, на ферме, дома или в лавке, в кабинете, в комнате или в мастерской так, как вёл бы Себя Господь, или так, как Господь Себя не повёл бы? Заботимся ли мы о том, чтобы быть истинными? Стараемся ли жить на высоте своих представлений? Или мы — низкие, корыстные, льстящие миру, угодливые рабы? Когда истину презирают, улыбаемся ли мы? Когда при нас над ней совершают неправду, не даём ли мы никакого знака, что стоим за неё? Я не говорю, что мы призваны спорить и защищать её логикой и доводами, но мы призваны показать, что стоим на другой стороне. Однако, говоря *истина*, я не имею в виду *мнение*: обращаться с мнением как с истиной

— значит тяжко оскорблять истину. Душа, любящая истину и старающаяся быть истинной, узнает, когда говорить и когда молчать; но истинный человек никогда не будет выглядеть равнодушным. Мы не обязаны высказывать всё, что думаем, но обязаны даже видом не выражать того, чего не думаем. Девушка, сказавшая в кругу насмешливых товарищей: «Я верю в Иисуса», истинно засвидетельствовала о своём Учителе — Истине. Давид свидетельствовал о Боге, Истине, когда сказал: «*У Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаёшь каждому по делам его*».

Справедливость

[1] *И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его*. — Псалом 62:12 [по русской нумерации 61:13].

[2] Некоторые переводчики передают это как *доброту* и *благость*; но, полагаю, между ними нет действительного расхождения относительно природы слова, которое здесь, в английской Библии, переведено как милость.

[3] Однако религиозный ум, воспитанный на теориях, все еще господствующих в так называемом религиозном мире, должен признать здесь отступление от привычного ему изложения: чтобы псалом заговорил согласно преобладающим теоретическим представлениям, стих пришлось бы изменить так: «У Тебя, Господи, справедливость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».

[4] Пусть причина, по которой я выбрал это само по себе столь замечательное место эпиграфом к следующей проповеди, пока остается неясной. Едва ли нужно говорить, что я не собираюсь основывать на нем логическое доказательство.

[5] Постараемся ясно увидеть, что мы подразумеваем, употребляя слово *справедливость*, и подразумеваем ли то, что должны подразумевать, — особенно применительно к Богу. Приблизимся к познанию того, что следует понимать под справедливостью, то есть справедливостью Бога; ибо Его справедливость — живая, деятельная справедливость, дающая существование самой идее справедливости в наших умах и сердцах. Поскольку Он справедлив, мы способны знать

справедливость; именно потому, что Он справедлив, понятие справедливости так глубоко заложено в нас.

6 Что мы чаще всего подразумеваем под *справедливостью*? Не исполнение ли закона, наложение наказания, назначенного за проступок? Под справедливым судьей мы понимаем человека, применяющего закон беспристрастно, без благоволения или неприязни, и там, где вина очевидна, наказывающего ровно настолько, насколько — и не больше — закон установил для данного случая. Но из этого еще не следует, что справедливость совершилась. Сам закон может быть несправедлив, а судья может ошибаться; или, что вероятнее, действию закона могут помешать паразиты закона ради собственной выгоды. Но даже если закон хорош и полностью приведен в исполнение, отсюда еще не обязательно следует, что справедливость совершилась.

7 Предположим, из моего кармана украли часы; я схватил вора; его притащили к судье, признали виновным и приговорили к справедливому тюремному заключению: должен ли я идти домой, довольный результатом? Воздана ли мне справедливость? Вору, возможно, воздана — но где мои часы? Их нет, и я остаюсь человеком, с которым поступили дурно. Кто причинил мне зло? Вор. Кто может исправить зло? Вор и только вор; никто, кроме совершившего его. Бог, быть может, способен побудить человека исправить зло, но Сам Бог не может исправить его без человека. Предположим, часы найдены и возвращены: сведен ли счет между мной и вором? Я могу простить его, но устранено ли зло? Никак нет. Но предположим, вор одумался, раскаялся. Скажем, он лишил себя возможности возвратить часы, однако

приходит ко мне, говорит, что сожалеет об их краже, и просит пока принять то немногое, что он способен принести, как начало примирения: как я тогда должен отнестись к делу? Разве я не почувствую, что он далеко продвинулся к примирению, сделал для возмещения нанесенного мне ущерба больше, чем могло бы достигнуть простое возвращение часов, пусть даже им самим? Разве в признании вора, его смирении и начатом возмещении не заключался бы призыв к самому божественному во мне — к вечному братству? Разве это не было бы, по существу, достаточным примирением между человеком и человеком? Если бы он предложил вынести все, что я захочу на него возложить, почувствовал бы я необходимость ради справедливости причинить ему определенное страдание, как того требует праведность? У меня по-прежнему оставалось бы право требовать от него часы, но разве я не был бы склонен о нем забыть? Тот, кто совершает проступок, может его загладить — и только он.

[8] Одно, несомненно, должно быть ясно: наказание злодея никак не заглаживает совершенное зло. Каким образом наказание человека могло бы возместить мне кражу часов? Зло все равно осталось бы. Я не говорю, что человека не следует наказывать, — далеко нет; я лишь говорю, что наказание никоим образом не возмещает ущерба пострадавшему. Предположим, человек, держа часы в кармане, подверг бы себя жесточайшему бичеванию: уменьшило бы это мое чувство обиды? Исправило бы что-либо? Загладило бы что-нибудь? Дало бы ему право на часы? Наказание может принести пользу совершающему зло, но это дело столь же иное, сколь важное.

9 Ясно и другое: даже без материального исправления зла там, где оно невозможно, покаяние устраняет обиду, чего никакое страдание сделать не могло бы. По крайней мере я почувствовал бы, что больше не имею с этим человеком распри. Я даже почувствовал бы, что дар, который он мне сделал, подарив моему сердцу раскаявшегося брата, бесконечно превосходит возвращение отнятого. Правда, он был должен мне и себя, и часы, но такое большее делает нечто большее, чем просто включает такое меньшее. Если возразят: «Вы можете простить, но человек согрешил против Бога!» — тогда, отвечаю, быть милосердным не принадлежит божественному, и человек может быть милосерднее своего Создателя! Человек может сделать то, что для Бога оказалось бы чрезмерным милосердием! Тогда милосердие — не божественное свойство, ибо может превысить меру и оказаться слишком большим; оно не должно быть бесконечным, а следовательно, не может быть собственным Божьим.

10 «Милосердие может противоречить справедливости». Никогда — если под справедливостью вы понимаете то, что понимаю я. Если что-либо противоречит справедливости, это нельзя назвать милосердием, ибо это жестокость. «*У Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его*». Между милосердием и справедливостью *нет* никакой противоположности, *нет* никакой борьбы. Те, кто говорит, что справедливость означает наказание греха, а милосердие — ненаказание греха, и приписывает то и другое Богу, вносят раскол в самую идею Бога. И это приводит меня к вопросу: что означает божественная справедливость?

11 Человеческая справедливость может быть жалким искажением справедливости, всего лишь ее тенью; но

справедливость Бога должна быть совершенна. Мы не можем сорвать ее действие; справедливы ли мы к ней в своем представлении о ней? Если спросить обычное воскресное собрание в Англии, что означает справедливость Бога, разве девятнадцать из двадцати не ответят, что это Его наказание греха? Подумайте на минуту, о какой степени справедливости свидетельствовало бы в человеке то, что он наказывает за всякую неправду. Римский император, турецкий кадий мог бы это делать и быть самым несправедливым из людей и судей. Ахав мог быть справедлив на престоле наказания, а в своем саду — убийцей Навуфея. Неужели в Боге мы вообразим различие между должностью и характером? Бог един; и глубины глупости достигает богословие, говорящее о Боге так, словно Он занимает разные должности и на каждой различен. Оно вносит противоречие в самую природу Бога. Например, изображает Его вынужденным делать как судья то, чего Он как Отец не сделал бы! Любовь Отца вызывает в Нем желание быть несправедливым как судья! О, безумие ума, который хочет объяснить Бога прежде, чем повиноваться Ему! Который хочет составить карту Божьего характера вместо того, чтобы взывать: Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал? Бог не судейский чиновник; но, если бы был им, право на эту должность давало бы Ему одно Его отцовство; Его отеческие права охватывают всякое право, обладание которым можно аналитически Ему приписать. Справедливость Бога состоит в том, что — прибегну к мальчишескому выражению, лучшему, какое из-за злоупотребления словами язык теперь может мне предоставить, — Он дает каждому мужчине, женщине, ребенку и зверю, всему существующему, *честную игру*; Он воздает каждому по делам его; и в этом Его

совершенное милосердие, ибо ничто иное не могло бы быть милосердным к человеку и ничто, кроме милосердия, не могло бы быть к нему справедливым. Бог не делает ничего, о чем всякий справедливый человек, если бы дело было верно и полно ему представлено так, чтобы он понял, не сказал бы: «Это справедливо». Кто, повторяю, назвал бы человека справедливым потому, что он настаивает на преследовании каждого нарушителя? Так мог бы поступать негодяй. Но справедливость Бога, видите ли, есть наказание греха! Справедливый человек — тот, кто заботится и старается, всегда старается поступать со всеми во всем честно. Говоря о справедливости Бога, позаботимся, чтобы мы действительно подразумевали справедливость! Наказание виновного может входить в справедливость, но оно составляет справедливость Бога ни на йоту не больше, чем составляло бы справедливость человека.

12 «Но никто и не сомневается, что Бог поступает честно!»

13 «Возможно, — но это мало чего стоит, если вы говорите, что Бог делает то или иное, что нечестно».

14 «Если Он это делает, будьте уверены, это справедливо».

15 «Несомненно, иначе Он не мог бы быть Богом — разве только для дьяволов. Но вы говорите: Он делает то-то и то-то и справедлив; я говорю: Он не делает того-то и того-то и справедлив. Вы говорите: делает, ибо так говорит Библия. Я говорю: если бы Библия так говорила, Библия лгала бы; но Библия так не говорит. Господь жизни упрекает людей за то, что они не судят правильно. Говорить на основании авторитета Библии, что Бог делает то, чего не сделал бы ни один порядочный человек, —

значит лгать против Бога; говорить, что поэтому это правильно, — значит лгать против самого Духа Бога. Поддерживать ложь ради Бога — значит быть против Бога, а не за Него. За Бога нельзя лгать. Он истина. Только истина на Его стороне. Пока Его ребенок не мог бы видеть правоты какого-либо дела, Он бесконечно предпочел бы, даже если дело правильно, чтобы тот сказал: Бог не мог бы этого сделать, — чем поверил, что Он это сделал. Если бы человек был уверен, что Бог это сделал, ему следовало бы сказать: «Значит, здесь есть нечто, чего я не знаю; если бы знал, я увидел бы все совсем иначе». Но там, где изобретают зло, чтобы объяснить и обосновать добро, и от любящего Бога требуют поверить выдумке или быть изгнанным, ему незачем бояться изгнания, ибо оно ведет в общество Иисуса. Там, где нет основания верить, что Бог делает нечто, кроме того, что люди, желающие объяснить Бога, в это верили и этому учили, неистинен человек, принимающий людское против собственного совестного сознания Бога. Я не признаю никакой власти, требующей верить о Боге в то, что, оставаясь человеком, я не мог бы считать правильным в своем собрате. Я не приму никакого объяснения какого-либо пути Божьего, если оно включает то, что я презрел бы в человеке как ложь и несправедливость. Если вы скажете: Бог может по праву делать то, чего человек не вправе делать, — я отвечу: да, потому что отношение Создателя к Своим созданиям весьма отличается от отношения одного создания к другому и потому у Него есть обязанности перед ними, требующие того, чего ни один человек не вправе делать с другим; но у Него не может быть обязанности, которая не была бы одновременно справедливой и милосердной. Сам акт творения требует от Создателя большего, чем можно

требовать от людей. Он Сам, Истина, требует от Себя большей и высшей справедливости и праведности — большего благородства, более проницательного сочувствия, — и *ничего*, о чем честный человек, поняв это, не сказал бы, что оно правильно. Если человек не может чего-то понять, он ничего не может сказать о том, правильно оно или нет. Он даже не может знать, что Бог делает *это*, когда *это* ему непонятно. То, что он называет *этим*, может быть лишь мельчайшей гранью сложного действия. Его дело — молчать. Если кто-либо говорит, что Бог делает нечто, и это кажется мне несправедливым, тогда либо я не знаю, что представляет собой это дело, либо Бог его не делает. Высказывание не может означать того, что, по-видимому, означает, или оно неправда. Если, например, говорится, что Бог взыскивает грехи отцов с детей, человек, понимающий под *взыскивает с — наказывает*, а под *детьми — невинных детей*, должен сказать: «Либо я не понимаю утверждения, либо это неправда, кто бы это ни говорил». Бог *может* делать то, что человеку кажется неправильным, но так должно казаться ему потому, что Бог действует по высшим, божественным, совершенным началам, слишком правым для понимания себялюбивого, несправедливого или нелюбящего человека. Но менее всего следует принимать какое-либо низкое человеческое понятие справедливости и утверждать, что Бог справедлив, действуя согласно этому понятию.

16 Итак, распространенное представление состоит в том, что справедливость Бога заключается в наказании греха; именно в надежде дать более широкое представление о справедливости Бога в наказании греха я спрашиваю: «*Почему Бог обязан наказывать грех*?»

17 «Как Он мог бы быть справедливым Богом и не наказывать грех?»

18 «Милосердие — дело благое и правильное, — отвечаю я, — и, если бы не было греха, не могло бы быть и милосердия. Нам заповедано прощать, быть милосердными, быть как наш небесный Отец. Два правых дела никак не могут противоречить друг другу. Если Бог наказывает грех, наказание греха должно быть милосердно; и если Бог прощает грех, прощение греха должно быть справедливо. От нас требуют прощать на том основании, что наш Отец прощает. Прощать, говорю я, должно быть правильно. Каждое свойство Бога должно быть бесконечно, как Он Сам. Он не может быть милосердным иногда и не быть милосердным всегда. Он не может быть справедливым и не быть справедливым всегда. Милосердие принадлежит Ему и для своего оправдания не нуждается ни в какой уловке богословского крючкотворства».

19 «Значит, вы хотите сказать, что наказывать грех неправильно и потому Бог его не наказывает?»

20 «Отнюдь; Бог наказывает грех, но между наказанием и прощением нет противоречия. Одно может быть необходимо для возможности другого. Почему, повторяю, Бог наказывает грех? Вот мой вопрос».

21 «Потому что грех сам по себе заслуживает наказания».

22 «Тогда как Он может велеть нам прощать его?»

23 «Он наказывает и, наказав, прощает?»

24 «Это едва ли годится. Если грех требует наказания и праведное наказание понесено, тогда человек свободен. Зачем его прощать?»

[25] «Он нуждается в прощении, потому что никакая мера наказания не соответствует тому, чего он заслуживает».

[26] Я пока избегаю — как всякий может заметить — вероятного развертывания этого ответа.

[27] «Тогда почему бы не простить его сразу, если наказание не необходимо, если от части можно отказаться? И еще: можно ли требовать того, что, по вашему собственному утверждению, недостаточно? Вы, возможно, ответите: „Бог может согласиться принять то немногое, что может получить“, — и это приводит меня к изъяну всей этой идеи.

[28] Наказание *никоим образом* не служит *противовесом* греху. Глупые люди порой говорят тоном самодовольной жалости к себе: «Если я грешил, то и страдал». Да, воистину, но что из этого? Какая в этом заслуга? Даже если бы ты сам возложил на себя страдание, что это сделало для возмещения зла? То, что благодаря страданию ты, возможно, стал лучше, хорошо для тебя, но какое примирение заключается в самом страдании? Это представление совершенно ложно. Наказание, заслуженное страдание — не противовес греху. Бесполезно класть его на другую чашу весов. Оно не сдвинет ее ни на волос. Страдание совсем ничего не весит против греха. Они не одного рода, не подчиняются одним законам — не более, чем разум и материя. Мы говорим, что человек заслуживает наказания; но, когда прощаем его и не наказываем, мы не *всегда* чувствуем, что поступили неправильно; и, когда наказываем, не чувствуем, что за его дурной поступок совершено какое-либо возмещение. Если бы наказание было противовесом злу, Бог был бы обязан наказывать ради самого наказания; но Он не может быть обязан, ибо

прощает. Значит, Бог наказывает не ради наказания как вещи, которую саму по себе должно совершить, а ради чего-то другого, как средство достижения цели. Не непосредственно ради справедливости — иначе как Он мог бы являть милосердие, ведь тогда оно включало бы несправедливость?

[29] Прежде всего Бог обязан не *наказывать* грех, а *уничтожить* грех. Не будь Он Создателем, Он, возможно, не был бы обязан уничтожить грех — я не знаю; но поскольку Он создал существа, которые согрешили, и потому грех посредством Божьего акта творения пришел в мир, Бог по Своей собственной праведности обязан уничтожить грех.

[30] «Но это значит вовсе не иметь милосердия».

[31] Вы ошибаетесь. Бог действительно уничтожает грех; Он всегда уничтожает грех. Я доверяю Ему, что Он уничтожает грех во мне. Он всегда спасает грешника от его грехов, а это и есть уничтожение греха. Но мести грешнику, закона «зуб за зуб», нет ни в сердце Бога, ни в Его руке. Если грешник и грех в нем — единый конкретный объект божественного гнева, тогда действительно не может быть милосердия. Тогда действительно греху будет положен конец уничтожением греха и грешника вместе. Но так не совершилось бы никакого примирения, не было бы сделано ничего для возмещения зла, которому Бог позволил прийти в бытие, создав человека. Должно быть примирение, заглаживание, воссоединение — примирение, которое, говорю я, не может совершиться иначе как через согрешившего человека.

[32] Повторяю: от Бога требуется не наказание, а абсолютное уничтожение греха. Что хорошего миру, что хорошего грешнику, что хорошего Богу, что хорошего истине от того, что грешник будет страдать, продолжать страдать всю вечность? Станет ли во вселенной меньше греха? Произойдет ли какое-нибудь возмещение греха? Покажет ли это Бога оправданным в том, что Он сделал то, что, как Он знал, введет в мир грех, оправданным в сотворении существ, о которых Он знал, что они согрешат? Какое исправление последует из страдания грешника? Если справедливость требует этого, если страдание — равноценная плата за грех, тогда грешник должен страдать, тогда Бог обязан взыскать с него страдание и не прощать; и тогда создание человека было тиранническим делом, творческой жестокостью. Но допустим, грешник заслужил страдание: никакая мера страдания не заглаживает его греха. Страдать всю вечность не могло бы возместить одного несправедливого слова. Значит ли это, что за несправедливое слово я заслуживаю страдать всю вечность? Несправедливое слово — вечное зло; ничто, кроме Бога в моем сердце, не может очистить меня от зла, которое его произнесло; но следует ли отсюда, что я столь совершенно видел зло содеянного, что вечное наказание за него было бы справедливым? Скорбь, признание и смиряющая себя любовь загладят злое слово; страдание — нет. Со злом отвлеченно ничего нельзя сделать. Оно вечно зло. Но я могу быть спасен от него, научившись испытывать к нему отвращение, ненавидеть его, отшатываться от него в вечном отвержении. Единственная месть греху, которой стоит желать, — сделать самого грешника его палачом. Грех и наказание в человеке не противоречат друг другу, как и прощение и наказание в Боге; они вполне могут

сосуществовать. Одно естественно следует за другим: наказание рождается от греха, потому что зло существует лишь жизнью добра и не имеет собственной жизни, будучи само по себе смертью. Грех и страдание — не естественные противоположности; противоположность зла — добро, а не страдание; противоположность греха — не страдание, а праведность. Путь через пропасть, разделяющую правду и неправду, — не огонь, а покаяние. Если друг причинил мне зло, утешит ли меня вид его наказания? Будет ли это воздаянием мне должного? Станет ли его мука бальзамом моей глубокой ране? Был бы я способен на какую-либо дружбу, если бы такое было возможно хотя бы в отношении врага? Но разве тень раскаянной скорби, свет оживающей любви на его лице не исцелили бы рану тотчас, как бы глубока она ни была? Возьмите любого из тех злых людей в Дантовом аду и спросите: чем их наказание служит справедливости? Заметьте: я не говорю, что наказывать их неправильно; я говорю, что справедливость не удовлетворяется, никогда не может удовлетвориться страданием, — более того, не может найти никакого удовлетворения в страдании или от него. Человеческая обида, человеческая месть, человеческая ненависть могут. Такая справедливость, как у Данте, сохраняет зло живым в его самых страшных формах. Жизнь Бога исходит, чтобы оживлять торжествующее зло или по крайней мере давать ему пристанище. Разве Он не терпит поражение всякий раз, когда одна из этих погибших душ бросает Ему вызов? Весь ад не может заставить Ванни Фуччи сказать: «Я был неправ». Бог, говорю я, торжественно побежден во всем аду Своей мести. Хотя она направлена против зла, это лишь тщетная, впустую растраченная жестокость тирана. Зло тем самым не уничтожается, но его ужасная власть

усиливается посреди самых мучительных и отвратительных пыток, какие способно изобрести *божественное* воображение. Если грех должен сохраняться живым, должен сохраняться живым и ад; но, хотя я считаю малейший грех бесконечно отвратительным, я не верю, что какое-либо существо, никогда не бывшее достаточно добрым, чтобы увидеть сущностную мерзость греха, могло бы согрешить так, чтобы *заслужить* такое наказание. Однако сейчас я рассматриваю не длительность наказания, а само понятие наказания; и лишь мимоходом скажу: мысль, что существо, рожденное несовершенным, более того, рожденное с побуждениями ко злу, которые не само породило и которых не могло не иметь, существо, которому истинный лик Бога никогда не был явлен и которым никогда не мог быть увиден, должно быть так осуждено, — столь же отвратительная ложь против Бога, какая только могла бы найти место в сердце, слишком неразвитом, чтобы понимать справедливость, и слишком низком, чтобы поднять взгляд к лицу Иисуса. По правде, она никогда не находила места ни в каком сердце, хотя находила во многих крючкотворских головах. Есть лишь одно, что ниже сознательной веры в такую ложь, — поклоняться Богу, о Котором в нее верят. Единственное самое глубокое, высокое, истинное, подобающее, самое целительное страдание должно рождаться в злых от видения, от истинного, более или менее полного зрелища отвратительности их жизней, ужаса совершенных ими неправд. Физическое страдание может участвовать в пробуждении этой душевной боли; но «Лучше бы я никогда не родился!» должно быть воплем Иуды не из-за окружающего его адского огня, а потому, что он ненавидит человека, предавшего своего Друга, Друга

мира. Когда человек испытывает к себе отвращение, его спасение началось. К этому результату ведет наказание. Не ради самого себя, не как возмещение греха, не ради божественной мести — ужасное слово! — не ради какого-либо удовлетворения справедливости может существовать наказание. Наказание существует ради исправления и примирения. Бог обязан Своей любовью наказывать грех, чтобы избавить Свое создание; Он обязан Своей справедливостью уничтожить грех в Своем творении. Любовь есть справедливость, есть исполнение закона — и для Бога, и для Его детей. Вот причина наказания; вот почему справедливость требует, чтобы злые не оставались без наказания: чтобы через открывающую глаза силу боли они увидели и стали творить справедливость, чтобы пришли к желанию возместить все возможное и сделали это и так стали справедливыми. Такое наказание касается справедливости в самой глубокой степени. Ибо Справедливость, то есть Бог, по Самой Своей природе обязана добиться, чтобы Его дети творили справедливость — не только во внешнем поступке, но в самом своем бытии. По Самой Своей природе Он обязан возместить зло, совершенное Его детьми, и не может сделать ничего для его возмещения иначе как приведя причинившего зло к покаянию. Когда человек говорит: «Я поступил дурно; я ненавижу себя и свое деяние; я не могу вынести мысли, что сделал это!» — тогда, говорю я, примирение началось. Без этого все, что сделал Господь, было бы напрасно. Он не совершил бы никакого примирения. Покаяние, возмещение, признание, просьба о прощении, праведное поведение впредь — единственное возможное, единственное истинное заглаживание греха. Ради не меньшего умер Христос. Когда человек признает правду,

которую прежде отрицал; когда говорит неправде: «Я отрекаюсь от тебя, ненавижу тебя; теперь я вижу, что ты такое; прежде я не мог видеть, потому что не хотел; Боже, прости меня; очисти меня или дай мне умереть!» — тогда справедливость, то есть Бог, победила, и только тогда.

33 «Какое же здесь искупление?»

34 Всякое примирение, которого желает Бог; и дело Иисуса Христа на земле было творящим примирением, потому что оно совершает примирение в каждом сердце. Он приводит и продолжает приводить Бога и человека, человека и человека в совершенное единство: «Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино».

35 «Это опасное учение!»

36 Для многого опаснее, чем вы думаете: для всякого зла, для всякой лжи и, между прочим, для всякого ложного упования на то, что Христос сделал, вместо упования на Самого Христа. Павел хвалится крестом Христовым, но не уповает на крест: он уповает на живого Христа и Его живого Отца.

37 Итак, справедливость требует, чтобы греху был положен конец; и не только это, но и чтобы он был заглажен; а там, где наказание может хоть что-то сделать ради этой цели, где может помочь грешнику узнать, в чём он виновен, где может смягчить его сердце, чтобы он увидел свою гордыню, неправду и жестокость, справедливость требует не отказываться от наказания. И чем больше мы верим в Бога, тем увереннее будем, что Он не пощадит ничего из того, что страдание способно сделать для избавления Его ребёнка от смерти. Если страдание не может служить этой цели, нам остаётся ожидать уже не ада, а уничтожения греха через

уничтожение грешника. Однако это, как мне представляется, значило бы для Бога потерпеть поражение — безвинное, конечно, но поражение.

[38] Если Бог потерпит поражение, Он должен уничтожить — то есть отнять жизнь. Как может Он продолжать изливать Свою жизнь в неисправимые души, чтобы в них грех оставался жив во веки вечности? Но тогда, говорю я, никакого примирения, заглаживающего причинённые ими неправды, не совершится; Бог останется побеждённым, ибо создал то, что согрешило и не пожелало покаяться и загладить свой грех. Но те, кто верит, что так множество душ победит Бога, несомненно, должны принадлежать к тем, кто не верит, что Он достаточно заботится о них, чтобы сделать для них всё возможное. Он *есть* их Отец; у Него была сила создать их из Себя, отдельными от Себя и способными стать едиными с Ним: конечно же, Он как-нибудь спасёт и сохранит их! Даже сила самого греха не может перекрыть *все* пути между творящим и сотворённым.

[39] Представление о страдании как о возмещении греха, нелепая мысль, будто перенесённым страданием человек может освободиться от враждебного требования, которому подвергло его злодеяние, происходит прежде всего, думаю я, от удовлетворения, которое мы чувствуем, когда зло терпит бедствие. Почему мы испытываем это удовлетворение? Потому что ненавидим зло, но, не будучи сами праведными, более или менее ненавидим вместе со злом и злодея; поэтому мы не только праведно радуемся, видя, как в его наказании возвещается осуждение закона, но и неправедно радуемся его страданию из-за того, что его зло задело нас. Так врождённая справедливость нашей природы переходит в

зло. Богу, в отличие от нас, так часто испытывающих это удовольствие, не доставляет радости видеть страдание нечестивых. С удовлетворением смотреть на какое-либо страдание, кроме как сочувствуя его целительной силе, — значит действовать из зла; это бесчеловечно, потому что небожественно; на это Бог неспособен. Его природе всегда свойственно прощать, и именно потому, что Он прощает, Он наказывает. Поскольку Бог столь всецело чужд неправде, поскольку Ему сердечно больно и тяжело, когда один из Его малых совершает зло, я верю: нет той крайней степени страдания, которой Он не подверг бы их ради уничтожения зла в них. Человек мог бы польстить тирану, подкупить или уговорить его; но от Божией любви нет убежища: эта любовь именно ради любви будет требовать последней малой монеты.

40 «Такая любовь мне не нужна!»

41 Нет; да и как бы она могла быть нужна вам? Охотно верю! Она не станет вам дорога, пока вы не начнёте её узнавать. Но вечная любовь не поддастся уговорам и не отдаст вас убивающему вас себялюбию. Какой влюблённый уступил бы свою возлюбленную её страсти к морфию? Вы можете насмехаться над такой любовью, но Сын Божий, принявший тяжесть этой любви и пронёсший её через мир, доволен ею, как и всякий, кто её знает. Любовь Отца — сияющее совершенство. Вселенной властвует любовь, а не себялюбие. Справедливость требует вашего наказания, потому что справедливость требует уничтожения греха и добьётся его. Справедливость требует вашего наказания, потому что требует, чтобы ваш Отец сделал для вас всё возможное. Бог, будучи Богом справедливости, то есть честного отношения, и создав нас такими, какие мы есть,

склонными падать и способными вновь восставать, внутренне обязан наказывать, чтобы избавлять нас; иначе Его отношение к нам бедно в сравнении с отношением земного отца. «У Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаёшь каждому по делам его». Дело человека — его характер; и Бог в Своём милосердии не остаётся равнодушным, но обходится с ним согласно его делу.

42 Представление, будто спасение Иисуса — спасение от последствий наших грехов, ложно, убого и низменно. Спасение Христово — спасение от малейшей склонности или тяги ко греху. Это избавление, выводящее в чистый воздух Божиего образа мыслей и чувств. Это спасение, делающее сердце чистым при воле и выборе самого сердца быть чистым. Такому сердцу грех отвратителен. Оно видит вещь такой, какова она есть, — то есть как видит её Бог, ибо Бог всё видит таким, каково оно есть. Спасённая так душа скорее погрузится в пламя ада, чем тайком проберётся в рай и будет прятаться там под сенью вменённой праведности. Ни одна душа не спасена, если не предпочла бы ад греху. Иисус умер не для того, чтобы спасти нас от наказания; Он был назван Иисусом потому, что должен был спасти народ Свой от грехов их.

43 Если наказание не есть примирение, какое отношение имеет этот факт к распространённому богословию, которое все противники того, что они называют христианством, принимают как выражение его учения? Большинство из нас были в той или иной мере воспитаны на нём, и немало нас благодаря этому, слава Богу, узнали, что оно такое: зло, которое надлежит изгнать из ума и сердца. Многие воображают, что оно умерло и исчезло, но на деле оно лежит в основе — только умственной, слава Богу, — гораздо большей части преподавания

христианства в нашей стране; и в него верят, насколько в ложное вообще *можно* верить, многие, думающие, что оставили его позади, тогда как они лишь опустили наиболее верные, наиболее оскорбительные способы выражения его учений. Унизительно видеть, сколько сравнительно честных людей думают, что избавляются от лжи, смягчив её формулировку, придав ей такой вид и поставив в такой свет, где она проявится меньше всего, а потому получит хороший шанс пройти и среди тех, кто держится её целиком, и среди тех, кто мог бы восстать против неё, будь она высказана яснее.

[44] Раз и навсегда я облегчу душу относительно этого ужасного призрака. Моё мнение о нём не менялось с тех пор, как я впервые начал писать или говорить; но я мало писал и ещё меньше говорил о нём, потому что не хотел проповедовать одно отрицание. Моим делом было не разрушать ложное, кроме как там, где оно мешало строить истинное. Поэтому я старался говорить лишь то, во что верил, мало касаясь того, во что не верил; доверял, как доверяю и теперь, истинному изгнать ложное и избегал споров. И теперь я не выйду на богословское ристалище поборником за или против одного лишь учения. У меня нет желания менять мнение мужчины или женщины. Пусть каждый, что до меня, держится чего пожелает. Но я сделал бы всё возможное, чтобы помешать тем, кто считает правильное мнение необходимым для спасения, возлагать на плечи истинных мужчин и женщин какое-либо иное бремя, кроме ига их Учителя; а если такое бремя уже кого-то тяготит, я охотно снял бы его. Пусть Сам Господь учит их, говорю я. Человек, не имеющий ума Христова, — а ум Христов имеет лишь тот, кто ставит себе делом послушание Ему, — не может иметь правильных мнений о Нём; да и если

бы мог, они не имели бы для него никакой ценности: от них он не стал бы лучше, он стал бы хуже. Наше дело — не правильно мыслить, а истинно жить; лишь тогда впервые возникнет возможность правильно мыслить. Одна из главных причин множества неверия в мире состоит в том, что увидевшие нечто от славы Христа принимаются строить о Нём теории вместо того, чтобы повиноваться Ему. Уча людей, они учили их не Христу, а о Христе. Стремясь больше к правдоподобной теории, чем к деланию истины, они предавались умозрениям в таком состоянии сердца, в котором понять было невозможно; они дерзнули объяснять Христа, понять Которого могли бы научиться только через долгие-долгие годы послушания. Потому их учение о Нём было противно здравому смыслу многих, кто не имел и половины их преимуществ, но в ком, как в Нафанаиле, не было лукавства. Такие учителя, естественно, навязывают другим свои теории, в основном полученные от древних, настаивая, чтобы те думали о Христе, как думают они, вместо того чтобы убеждать их идти ко Христу и учиться у Него всему, чему Он пожелает их научить. Они невольно делают всё худшее, что могут, чтобы остановить всякий рост, всякую жизнь. От таких людей и их ложного учения я охотно помог бы избавить правых сердцем. Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов, но я хотел бы сделать всё, что могу, чтобы не дать им хоронить живых.

45 Если в одном лишь наказании виновного нет удовлетворения справедливости, что скажем о мысли удовлетворить справедливость, заставив страдать того, кто не виновен? И что, более того, скажем о мысли, будто именно потому, что он не тот, кто заслуживает наказания, а совершенно невинен, его страдание даёт совершенное удовлетворение совершенной справедливости? То, что

несправедливость совершается с согласия того, с кем дурно обходятся, ничего не меняет; это делает её ещё хуже, поскольку, как говорят они, справедливость требует наказания *грешника*, а здесь — Тот, Кто несравненно больше, чем невинен. Они переменили основание: закон теперь требует уже не наказания, а просто страдания! Дело становится всё хуже. Я заявляю о полном и безусловном отвержении этой мысли в какой бы то ни было форме. Скорее я был бы изгнан из людей и поселился бы среди диких зверей, которым недостаёт разума, чтобы быть неразумными, чем поверил бы в справедливость — то есть в Бога, — чья праведность, отвлечённая или конкретная, могла бы получить какое-либо удовлетворение за зло одного человека от страдания человека, не сделавшего зла. Как! Бог, Отец Иисуса Христа, таков! Его справедливость довольствуется страшнейшей несправедливостью! Гнев Того, Кто никак не оправдает виновного, умиротворён страданием невинного! Да не допустит Сам Бог! Заметьте: злой вымысел подменяет наказание не просто страданием, а тем страданием, которое дальше всего от наказания; и это тогда, когда, как я показал, наказание, самое суровое, не может быть удовлетворением справедливости! Как вообще могло возникнуть такое представление? Оно выросло из недоверчивого страха, неспособного поверить в прощение Отца; неспособного поверить, что даже Бог сделает что-либо даром; неспособного довериться Ему без юридического соглашения, которое Его свяжет. Как многие, не умея довериться Богу, ищут опору в *тексте*, как они говорят! Оно выросло из гордыни, которая хочет понять непостижимое прежде, чем повиноваться видимому. Тот, кто хочет *сперва* понять, поверит лжи — лжи, от которой в конце концов избавит его одно

послушание. Если кто скажет: «Но я верю в то, что вы презираете», — я отвечу: верить этому и есть ваше наказание за способность этому верить; можете назвать его наградой, если хотите. Вы не должны быть способны в это верить. Это чистейшая, беднейшая, бесстыднейшая выдумка, изобретённая без сознания того, что она изобретение, — пригодная, несомненно, удовлетворить ум изобретателя, иначе он не мог бы её изобрести. Она, по-видимому, удовлетворяла и немало смиренных душ, довольных тем, что принимают данное и не думают, довольных, что другой подумает за них и скажет, какова мысль их Небесного Отца. Повторяю: пусть тот, кто может этим удовлетвориться, будет удовлетворён; мне незачем о нём тревожиться. Его способность довольствоваться этим показывает, что он не готов принять лучшее. Пока он способен верить лжи о Боге, он таков, что способен ей верить; насколько он в этом виновен или невиновен, знает Бог. Мнение, верное или ложное, ничего не сделает для его спасения. Я хотел бы, чтобы он больше не думал ни об этом, ни о каком другом мнении, а принялся делать дело Учителя. С его мнениями, истинными или ложными, мне нечего делать. Я имею право говорить лишь потому, что такие, как он, навязывают дурное ближним — прямо высказывают или подразумевают его с высоты власти или влияния, — причиняя им муку, оцепенение, неверие, негодование, преткновение. Я хотел бы уберечь ближних от того, чтобы ложь стёрла доступное им представление о Боге.

[46] Если спросят, как учению о заместительной жертве, если оно ложно, было позволено так долго оставаться предметом веры для столь многих, я отвечу: на том же основании, на каком Бог принял и использовал жертвы, которые люди в недостатке веры изобрели как способ

угодить Ему. Некоторые дети лгут, чтобы угодить родителям, ненавидящим ложь. Они даже признаются в проступках, которых не совершали, думая, что родителям понравится такое признание, потому что те учат их признаваться. Бог принимал жертвоприношения людей, пока не мог добиться, чтобы люди увидели, — а со сколькими это Ему ещё не удалось, и в церкви, и вне её! — что Ему нет дела до подобных вещей.

47 «Но, — снова могут с полным основанием спросить, — откуда же возникла несомненная действенность этого учения?»

48 Я отвечу: из того, что оно содержит представление о Боге и Его Христе, бедное, конечно, и тусклое, но самой бедностью и неправдой своего изложения приспособленное к человеческой слабости и неверию, поскольку оно и было изобретено людьми, чтобы ответить на требование, предъявленное их собственной слабости и неверию, и облегчить его. Так распространяется закваска. Истина там есть. Это Христос, слава Божия. Но понятия, которые бедные рабские души порождают об этой славе, едва тьма начинает рассеиваться, — совсем другое дело. Истина и впрямь слишком хороша, чтобы люди ей поверили; им надо разбавить её, прежде чем они смогут принять её; надо разбавить, прежде чем они осмелятся дать её другим. Им надо сделать её менее истинной, прежде чем они смогут поверить ей настолько, чтобы получить от неё хоть какое-то благо. Не в силах поверить в любовь Господа Иисуса Христа, они изобрели посредницу в лице Его матери и так смогли немного приблизиться туда, откуда иначе держались бы в стороне; не в силах поверить в готовность Небесного Отца прощать, они изобрели способ получить прощение,

который не требовал бы от Него так много, который делал бы для Него прощение правомерным, который избавлял бы их от необходимости прямо поверить в нежность Его отцовского сердца, ибо это казалось им невозможным. Они думали, что Он обязан наказывать ради самого наказания, в возмещение их греха; они не могли поверить в чистое прощение: оно не казалось божественным, само нуждалось в оправдании; и для его оправдания они изобрели чудовищную несправедливость, заключающую в себе всё дурное, что было в жертвоприношении, даже человеческом. Они изобрели удовлетворение за грех, оскорблявшее Бога. Он искал не удовлетворения, а послушного возвращения к Отцу. Всё необходимое удовлетворение Он Сам совершил в том, что сделал, чтобы побудить их отвернуться от зла и вернуться к Нему. Это было слишком просто для запутанного неверия и спорящего духа. Охотно помог бы я их последователям возненавидеть такие мысли о Боге; но для этого они сами должны стать лучшими мужчинами и женщинами. Пока они способны ими удовлетворяться, никакой пользы не будет в том, чтобы рассудочно убедиться, что такие мысли ошибочны. Я не сказал бы ни слова, чтобы их в этом убедить. Успех не имел бы ценности. Они лишь остались бы тем, чем были, — детьми, способными низко думать об отце. Когда сердце отшатнётся, увидев, как ужасно было бы иметь Богом такое нереальное существо, оно начнёт искать вокруг и смотреть, действительно ли обязано принять подобные утверждения о Боге; начнёт искать настоящего Бога, за Которого можно крепко держаться, настоящего Бога, способного избавить их от страшного идола. Для тех, кто так пробудился, я и пишу, вовсе не ради спора с любящими ложь, в приверженности которой они, быть может, не виновны; с теми, кто,

подобно древним иудеям, изгнал бы из своей синагоги человека, сомневающегося в подлинности их нравственной карикатуры на Бога, сомневающегося в их искажении величайшей истины во вселенной — примирения, совершённого Иисусом Христом. О таком человеке они без колебаний объявят, что он не верит в искупление. Но ложь ради Бога направлена против Бога и несёт в себе смертный приговор.

[49] Вместо того чтобы отдавать силы исполнению Божией воли, сильные умом люди отдавали их построению системы, объясняющей, почему Христос должен был умереть, какие необходимости и замыслы Бога стояли за допущением Его смерти; и сильные умом люди нашего времени, отбросив немало доброго в учении Римской церкви, сохранили нравственно и духовно грубое представление о справедливости и удовлетворении, которого держался языческий Рим, подкреплённое иудейским понятием жертвы и нашедшее, увы, родной дом у матери всех западных церквей! Лучше бы реформаторы сохранили веру в чистилище и расстались с тем, что зовут заместительной жертвой!

[50] Вкратце их система такова: Бог обязан наказывать грех и наказывать его до крайнего предела. Его справедливость требует, чтобы грех был наказан. Но Он любит человека и не хочет наказывать его, если может этого избежать. Иисус Христос говорит: «Я приму его наказание на Себя». Бог принимает предложение и отпускает человека без наказания — на одном условии. Его справедливость более чем удовлетворена наказанием бесконечного Существа вместо целого мира ничтожных созданий. Страдание Иисуса ценнее страдания всех поколений на протяжении бесконечных веков, потому что

Он бесконечен, чист, совершенен в любви и истине, будучи собственным вечным Сыном Бога. Условие, которое Бог ставит человеку, — поверить в так объяснённое искупление Христа. Человек должен сказать: «Я согрешил и заслуживаю мучений во веки веков. Но Христос заплатил мои долги, приняв наказание вместо меня. Поэтому Он мой Спаситель. Теперь благодарность Ему обязывает меня отвернуться от зла». Некоторые, несомненно, потребовали бы сказать значительно больше, но для моей цели этого достаточно.

[51] О справедливости Бога, требующей наказания грешника, я сказал достаточно. Я также старался показать, что одно лишь страдание грешника не может быть удовлетворением справедливости. Если справедливость Бога действительно требует страдания грешника, пусть оно будет ему назначено. Но какие слова найдём мы, достойные противостать низкому изображению, будто требуется не наказание, не страдание грешника, а страдание само по себе! Более того, словно этой глубины низости недостаточно, чтобы увенчать все языческие изображения Божиих путей, — будто страдание невинного несказанно предпочтительнее в Его глазах страдания нечестивого как возмещение совершённого зла! И ещё: «в глубочайшей бездне — бездна глубже» — будто страдание святого, страдание любящего, страдание вечно и совершенно доброго в высшей степени удовлетворяет чистую справедливость Отца духов! Все страдания, какие только можно было бы нагромоздить на нечестивых, не купили бы им ни мгновения передышки, столь мало их страдание уравновешивает их зло; в действии этого закона равноценности, этого *lex talionis*, закона воздаяния равным за равное, страдание миллионов лет не могло бы

равняться греху мгновения, не могло бы погасить ни малейшей монеты из огромного долга. Но настолько ценнее, драгоценнее, дороже страдание невинного, настолько больше удовлетворения приносит оно — заметьте — *справедливости* Бога, что взамен этого страдания совершается другая несправедливость: грешников, заслуживающих наказания и подлежащих ему, отпускают на свободу.

[52] Я знаю корень всего, что можно сказать об этом предмете; это представление внедрено в серое вещество моего шотландского мозга; и если я его отвергаю, то знаю, что отвергаю. Из любви к Богу моё сердце рано восстало против низкого изобретения. Странно, что в христианской стране приходится говорить: наказать невинного и отпустить виновного — несправедливо! Это неправда по отношению к невинному, виновному и Самому Богу. Худшей из всех несправедливостей к виновным было бы обращаться с ними как с невинными. Вся эта уловка — духовное шарлатанство, годное лишь для мошеннического освобождения из тюрьмы. Если нечестивые должны быть наказаны, худшим извращением справедливости было бы взять праведное существо, как бы оно ни было сильно, и наказать его вместо грешника, как бы тот ни был слаб. Для самого бедного понятия о справедливости наказания необходимо, чтобы наказание получил грешник и никто, кроме грешника. Сильное существо, готовое вынести такое наказание, вполне можно было бы счесть достойным поклонения, но каков же Бог, Чью так называемую справедливость оно таким образом побеждает? Если вы скажете, что страдания требует справедливость, а не Бог, я скажу: справедливость не может требовать несправедливого, а всё это несправедливо. Бог абсолютно справедлив, и от

Его справедливости, единой с Его милосердием, нет избавления. Эта уловка — нелепость, чудовищно уродливая нелепость. Представить живого Бога участником такого образа действий — значит закрыть маской жестокости и лицемерия лицо, славу которого можно увидеть только в лице Иисуса; вложить тираду грубой римской законности в уста Господа Бога милосердного и милостивого, Который никак не оправдает виновного. Скорее чем поверить в такую безобразную глупость о Том, одно имя Которого заставляет знающих Его тяжело дышать, как лань, жаждущая водных потоков; скорее чем подумать о Нём то, что в человеке заставило бы меня избегать его с риском для жизни, — я сказал бы: «Нет Бога; не будем ни есть, ни пить, чтобы умереть! Ибо вот, это не наш Бог! Это не Тот, Кого мы ждали!» Но я видел Его лицо и слышал Его голос в лице и голосе Иисуса Христа; и говорю: это наш Бог, Тот Самый, Чьё бытие Создателем делает бесконечной радостью бытие созданным. Я не приму Бога книжников и фарисеев, иудейских или христианских, протестантских, римских или греческих, но Твоего Отца, о Христос! Он мой Бог. Если вы скажете: «Это наш Бог, а не ваш!» — я отвечу: «Ваш портрет вашего Бога — злая карикатура на лицо Христа».

[53] Верить в заместительную жертву — значит думать найти у Сына убежище от праведности Отца; искать убежища в Его деле вместо Самого Сына; искать убежища в теории этого дела вместо самого дела; укрываться за ложной юридической уловкой вместо того, чтобы прильнуть к вечному сердцу неизменного и праведного Отца, Который милосерден именно в том, что воздаёт каждому по делам его, добивается их послушания и не допускает судебного крючкотворства или увёрток. Бог

никогда не отпустит человека с каким-либо пороком. Он должен сделать его чистым. Он оправдает его до самого крайнего предела истины, но ни на волос дальше; Он его истинный Отец и хочет, чтобы дитя Его было истинным, как истинен Его Сын Иисус Христос. Он не вменит ему ничего, чего в нём нет, не упустит из виду ни малейшего добра, какое в нём есть; не угасит дымящегося льна, не переломит надломленной трости, но приведёт суд к победе. Он — Бог, превосходящий всё, чего сердце, сильнее всех алчущее любви и праведности, могло бы желать целую вечность.

54 Если вы скажете, что лучшие из людей держались мнений, которые я клеймлю, я отвечу: «Некоторые из лучших людей действительно держались этих теорий, и некоторых из державшихся их я любил и почитал сердечно и смиренно, но за то, чем они *были*, а не за то, что они *думали*; и они были тем, чем были, благодаря своей послушной вере, а не мнению. Они не становились лучше оттого, что держались этих теорий. Зная Бога через послушание Его Сыну, они поднимались выше теорий, которым никогда не смотрели в лицо и потому никогда не распознавали в них зло. Многие в естественном ходе своего священного роста достигли той точки, когда должны были их оставить. Человек, о котором я знал больше всего доброго, с радостью отказался от них. Человек, держащийся их, может быть добр до святости, достойной почитания, и потому я ненавижу их ещё сильнее: это ложь, которая, действуя под прикрытием смешанной с нею истины, подкапывается как можно ближе к сердцу доброго человека. Кто бы, по какой бы причине слепоты, ни держался лжи, она остаётся ложью, и никакая неправда не должна примешиваться к справедливости, которую мы ей

воздаём. Для всякой лжи есть лишь бездна ада. Но пока человек не увидит, что она ложь, как ему не держаться её! Разве не смешаны с нею тени лучшей истины во вселенной? Пока человек способен любить ложь, он не способен увидеть, что это ложь. Тот, кто истинен насквозь, сразу узнает неправду; и к этому видению должны прийти мы все. Я пишу не ради тех, кто либо создаёт, либо сердечно принимает какую-нибудь ложь. Когда они увидят славу Бога, они увидят вечное различие между ложным и истинным, и не раньше. Я пишу для тех, кого подобное их учение окутало облаком, сквозь которое им не видны звёзды неба, так что некоторые даже сомневаются, есть ли на небе звёзды. Со святыми, которые верили и учили этому в минувшие дни, всё хорошо. Многие из самых святых среди них отбросили ложь задолго до рождения нынешних её учителей. Многие, кто никогда не изобрёл бы её сам, всё же, получив её с печатями одобрения столь многих добрых людей, смиренно приняли её за признанные истины, а не человеческие изобретения; и, подавленные авторитетом — авторитетом людей, далеко им уступавших, — не смели спорить, а принялись устраивать жизнь по тем истинам, которые нашли в её соседстве, и получили свою награду, награду послушания: этим послушанием были приведены к познанию Бога, и это знание разорвало для них сеть самонадеянной, самозваной ортодоксии. Всякий, кто старается повиноваться Учителю, — мой брат, считает ли он меня братом или нет, и я почитаю его; но смею ли я щадить то, в чём вижу ложь, потому что мой брат верит в неё? Ложь не от Бога, кто бы её ни держался».

55 «Что ж, тогда, — скажут многие, — если вы так бесцеремонно развеиваете по ветру учение о

заместительной жертве, какую теорию предлагаете поставить на его место?»

56 «Во имя истины, — отвечаю я, — *никакой*. Я не пошлю в мир своей теории, чтобы снова вздымать маленькие вихри спорящей пыли, смешанной с грязью, соломинками и святыми словами, скрывая Учителя разговорами о Нём. Если у меня есть такая теория, я не брошу её на дорогу по пути, но поднесу на прекрасном блюде тому, кому сочту полезным её показать. Только глаза, открытые солнцем праведности и очищенные послушанием, способны судить даже о бедной, лунно мерцающей жемчужине сформулированной мысли. Говорите, если хотите, что я боюсь показать своё мнение. Трус ли человек, который не хочет бросить своего ребёнка волкам? Какую веру этого рода я имею, ту буду иметь сам перед Богом, пока не увижу лучшего основания высказать её, чем вижу теперь».

57 «Значит, вы отнимете у меня мою веру и не поможете найти другой?»

58 Вашу веру! Боже сохрани. Ваша теория — не ваша вера и даже ничто на неё не похожее. Ваша вера — ваше послушание; что такое ваша теория, я не знаю. Да, я охотно оставлю вас без всего того, что вы называете верой. Доверьтесь Богу. Повинуйтесь слову — каждому слову Учителя. Вот вера; и при такой вере ваше мнение вырастет из вашей истинной жизни и будет достойно её. Пётр говорит, что Господь даёт Духа повинующимся Ему: дух Учителя, и только он, может привести вас к какой-либо теории, которой вам будет полезно держаться. Теория, полученная иным путём, не стоит времени, на неё потраченного. Иисус — творящий и спасающий Господь наших умов, как и наших более драгоценных сердец;

ничто, чего не мыслит Он, не стоит того, чтобы мыслить; никто не может мыслить как Он, если не чист как Он; никто не может быть чист как Он, если не идёт с Ним и не учится у Него. Откладывать послушание Ему, пока не найдём правдоподобную теорию о Нём, — значит отставить снадобье, выпить которое, как мы знаем, наш долг, ради изучения разных школ врачевания. Вы знаете, что требуемое Христом от вас правильно; по крайней мере многое из этого вы считаете правильным и своим долгом, сказал Он это или нет: *делайте это*. Если вы не делаете того, что знаете об истине, я не удивляюсь, что вы ищете её рассудком, ибо подобный поиск, как изображает его Мильтон, вполне может быть утешением даже падшим ангелам. Но не называйте ничего, что можно так получить, *Истиной*. Как можете вы, не заботясь *быть* истинным, судить о Том, Чья жизнь состояла в том, чтобы из одной любви делать то, что вы признаёте своим долгом, но не делаете? Повинуйтесь истине, говорю я, а теория пусть подождёт. Теория может произрасти из жизни, но никогда жизнь — из теории.

59 Итак, я не скажу вам, что думаю, но скажу всякому, кому это интересно, во что верю. Скажу сейчас. Разумеется, мои слова должны иметь хотя бы ту долю характера теории, что я не могу их доказать; могу лишь стараться устроить по ним свою жизнь.

60 Я верую в Иисуса Христа, вечного Сына Божия, моего старшего Брата, моего Господа и Учителя; верую, что Он имеет право на моё безусловное послушание во всём, в чём я знаю или узнаю Его волю; что повиноваться Ему — значит восходить на вершину собственного бытия; что не повиноваться Ему означало бы отречься от Него. Я верую, что Он умер, чтобы я мог умереть подобно Ему — умереть

для всякой правящей мною силы, кроме воли Бога, — жить, готовым быть пригвождённым ко кресту, как Он, если Бог пожелает. Я верую, что Он мой Спаситель от меня самого и от всего, что произошло из любви к себе, от всего, чего Бог не любит и чего не хотел бы видеть любимым мною, — от всего, что недостойно любви; что Он умер, чтобы справедливость, милосердие Бога могли совершить во мне своё дело, делая меня справедливым, как справедлив Бог, милосердным, как милосерден Он, совершенным, как совершен мой Небесный Отец. Я верую и молюсь, чтобы Он дал мне такое наказание, какое нужно, чтобы исправить меня или удержать от зла. Я верую, что Он умер, чтобы избавить меня от всякой низости, всякого притворства, всякой лжи, всякой нечестности, всякой духовной скудости, всякой трусости, всякого страха, всякой тревоги, всех видов себялюбия, всякого доверия или надежды на обладание; чтобы сделать меня весёлым, как ребёнок, дитя нашего Небесного Отца, любящим только достойное любви, не желающим ничего, чего мне было бы стыдно желать на виду у Божией вселенной. Я верую, что Бог в точности таков, как Иисус, только ещё больше, ибо так сказал Иисус. Я верую, что Бог абсолютно, величественно прекрасен даже по понятию красоты высочайшей человеческой души, но бесконечно превосходит её высочайшее представление — красотой, которая творит красоту, а не только являет её или сама существует прекрасной. Я верую, что Бог всегда делал и всегда делает всё лучшее для каждого человека; что ни один человек не несчастен оттого, что Бог забывает о нём; что Он не Бог, перед которым надо съёживаться, а наш Отец, Которому детское сердце ликуя восклицает: «Делай со мной, что хочешь».

61 Я верую, что для меня и для любого человека нет ничего благого, кроме Бога и всё большей полноты Бога, и что лишь через познание Христа мы можем приблизиться к Нему.

62 Я верую, что никто никогда не осуждается ни за какой грех, кроме одного: за нежелание оставить свои грехи, выйти из них и стать дитятей Того, Кто есть его Отец.

63 Я верую, что справедливость и милосердие — просто одно и то же; без справедливости во всей полноте не может быть милосердия, а без милосердия во всей полноте не может быть справедливости; что милосердие Бога таково, что Он будет держать Своих детей в пожирающем огне удалённости от Него, пока они не отдадут последнюю малую монету, пока не бросят кошель себялюбия со всем находящимся в нём шлаком и не устремятся домой к Отцу, Сыну и многим братьям, — не ринутся в самую середину животворящего огня, чьи внешние круги обжигают. Я верую, что не будет недостатка ни в каком аде, который помог бы справедливому милосердию Бога искупить Его детей.

64 Я верую, что тому, кто повинуется и тем открывает двери сердца для принятия вечного дара, Бог даёт Духа Своего Сына, Духа Себя Самого, чтобы Он пребывал в нём и вёл его к пониманию всякой истины; что истинный ученик благодаря этому всегда будет знать, что должен делать сам, хотя не обязательно — что должен делать другой; что дух Отца и Сына просвещает, уча праведности. Я верую, что никакой учитель не должен стараться заставить людей думать так, как думает он, но должен вести их к живой Истине, к Самому Учителю, у Которого одного они могут чему-либо научиться, Который даст им в самих себе узнать истинное через самое

видение его. Я верую, что лишь вдохновение Всемогущего даёт понимание. Я верую, что быть учеником Христа — цель бытия, а убеждать людей стать Его учениками — цель учения.

65 «Итог всего этого — вы не верите в искупление?»

66 Я верую в Иисуса Христа. Нигде меня не просят верить *в* какую-либо вещь или *в* какое-либо утверждение, но повсюду — верить в Бога и в Иисуса Христа. Что я не верю в то, что вы зовёте *искуплением*, в то, что разумеете под этим словом, должно быть достаточно ясно из уже написанного мною. Да избавит меня Бог от такой веры, ибо это значило бы верить лжи, и лжи, повинной в том, что многие не принимают Евангелия в этой и других странах. Но в том значении, в каком лучшие английские писатели употребляли это слово во время перевода Библии, — всем сердцем, всей душой, всей силой, всем умом я верю в примирение: называйте его *a-tone-ment, искуплением*, или *at-one-ment, приведением к единству*, как вам угодно. Я верю, что Иисус Христос *есть* наше примирение; что через Него мы примирены с Богом, сделаны едиными с Ним. В Новом Завете нет ни одного слова о примирении Бога с нами: это мы должны примириться с Богом. Я не пишу и не желаю писать трактата о примирении, ибо моё дело — убеждать людей примириться с Богом; но я зайду навстречу вопрошающему достаточно далеко, чтобы сказать — без малейшего ожидания удовлетворить его и без малейшей заботы, удастся ли это, ибо его *мнение* не имеет для меня ценности, хотя его истинность бесконечно ценна и для меня, и для вселенной, — что даже в смысле возмещения зла, причинённого людьми Богу, я верю в примирение. Разве Господь не бросился в вечную пропасть зла,

зияющую между детьми и Отцом? Разве не принёс нам Отца, не дал взглянуть на нашего вечного Родителя в лице Его истинного Сына, чтобы у нас в сердцах было то единственное, что могло бы заставить нас полюбить Его, — истинное видение Его? Разве не настаивал Он на единственной истине вселенной, единственной спасающей истине: что Бог в точности таков, как Он Сам? Разве не держался этого утверждения до конца, перед лицом противоречия и смерти? Разве не положил таким образом жизнь, убеждая нас положить наши жизни у ног Отца? Разве сама Его жизнь, которой Он умер, не перешла в тех, кто принял Его, и не пересоздала их жизнь, так что теперь они живут жизнью, которая одна и есть жизнь? Разве не посрамил и не умертвил Он зло, позволив всем волнам и валам его ужасного моря разбиться о Него, пройти над Ним и умереть без отскока — истратить ярость, пасть побеждёнными и прекратиться? Поистине, Он совершил примирение! *Мы* приносим жертву Богу! Это Бог принёс в жертву нам собственного Сына: иначе нельзя было внести дар Его Самого в наши сердца. Иисус пожертвовал Собой Отцу и детям, чтобы соединить их: вся любовь — на стороне Отца и Сына, всё себялюбие — на стороне детей. Если радость, которая одна делает жизнь достойной жизни, радость оттого, что Бог таков, как Христос, истинно живёт в моём сердце, как я могу не верить в примирение Иисуса Христа? Я верю в него сердечно, как разумеет его Бог.

[67] И ещё: я верю в примирение как в силу, благодаря которой заглаживается всякая обида, причинённая человеком человеку. Кто из верящих в Иисуса не жаждет примириться с братом, загладив причинённую ему обиду? Какой кающийся ребёнок, чувствуя, что обидел отца, не желает загладить вину и примириться? Кто движет

покаянием, вызывает его, убеждает в нём, творит его и ту страсть, что возвращает вчетверо? Иисус, наше умилостивление, наше примирение. Он глава и вождь, Князь примирения. Он не мог бы совершить его без нас, но ведёт нас к коленям Отца: Он побуждает нас совершить примирение. Познавая Христа, мы не только сожалеем о том, что сделали дурного, не только отворачиваемся от этого и ненавидим его, но становимся способны служить и Богу, и человеку бесконечно высоким и истинным служением — служением души. Мы способны принести всё своё существо Богу, Которому оно принадлежит по глубочайшему праву. Причинил ли я кому-нибудь обиду? Когда Он помогает мне поступить справедливо, разве я, вновь воскресший с Ним из мёртвых, не заглажу её как должно? Не сумел ли я любить ближнего? Разве не стану теперь любить его любовью бесконечно лучшей, чем прежде было мне доступно? За то, что я хочу и могу совершить примирение, благодарение Тому, Кто есть моё примирение, делающий меня единым с Богом и ближними! Он моя жизнь, моя радость, мой Господь, мой Владыка, совершенствующий моё бытие совершенством Своего собственного. Я не смею сказать с Павлом, что я раб Христов; но высшее моё стремление и желание — быть рабом Христовым.

[68] «Но вы не верите, что страдания Христа, именно как страдания, дали верховному Правителю право сделать что-либо, чего Он не был бы вправе сделать, если бы не эти страдания?»

[69] Не верю. Я считаю это представление столь же недостойным человеческой веры, сколь бесчестящим Бога. Исток его, несомненно, в благотворном сознании греха; но сознание греха — не вдохновение, хотя и может

находиться недалеко от храмовой двери. Оно действительно открывает глаза, но на домашнюю нечистоту, а не на небесную истину; оно не открыватель тайн. В этой теории есть и другой составной элемент — неверие: неспособность принять свободу Божиего прощения; неспособность поверить, что прощать — избранная Богом природа, что Он обязан прощать по Своей собственной природе, которой Он божественно желает. Ему не нужно никакого иного примирения, кроме того, чтобы люди оставили грехи и вернулись к Его сердцу. Но люди не могут поверить в Божие прощение. Поэтому им нужен, поэтому Он дал им посредника. И всё же они не хотят Его знать. Они мыслят об Отце душ так, словно из-за их грехов Он отрёкся от Своего отцовства и принял на Себя роль судьи. Если Он снимет с Себя отцовство — чего сделать не может, ибо оно вечный факт, — то снимет с ним и всякое отношение к нам. Он не может отвергнуть сущностное и сохранить следствие. Люди не могут, не хотят или не смеют увидеть, что только Его отцовство даёт Ему какие-либо права над нами, что только оно могло дать Ему совершенное право. Они считают Отца своих духов своим правителем! Они уступают образ Ветхого днями, «радостного Творца», и ставят вместо него жалкого, пуританского Бога-солдафона, заботящегося не о праведности, а о Своих правах, не о вечной чистоте, а о благопристойной чинности. Пророки такого Бога отнимают у земной жизни весь жар, всю надежду, все краски, всю ценность и предлагают взамен то, что называют вечным блаженством, — бледный ад без слёз. Прежде всего отвернитесь от низкой, нищей веры. Но если вам тесно в собственной душе, поклоняющейся маммоне, как вы

поверите в Бога, большего, чем тот, кто может встать в этой тюремной камере?

[70] Я не желаю возбуждать споров и сам не стану спорить ни с кем, но ради тех, кого тревожат некоторые *верующие*, я высказал свою мысль. Я люблю единого Бога, видимого в лице Иисуса Христа. От всех копий портрета Бога, написанного Джонатаном Эдвардсом, как бы ни выцвели они от времени, как бы ни смягчились от применения менее резких красок, я с отвращением отворачиваюсь. Не таков Бог, о Котором было благовестие, услышанное Иоанном от Иисуса: *Он есть свет, и нет в Нём никакой тьмы*.

Свет

> [1] *И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.* — 1 Иоанна 1:5.

> [2] *Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.* — Иоанна 3:19.

[3] Историю Иисуса, рассказанную четырьмя повествователями столь различно и все же, на мой взгляд, столь согласно, мы называем *Евангелием*. Что делает этот рассказ *благой вестью*? Все ли в истории земной жизни Христа — благая весть? Благая ли весть, что с единственным вполне добрым человеком его собратья обошлись так, как обошлись с Иисусом, — изгнали из мира в муке и позоре? Благая ли весть, что Он пришел к своим и свои Его не приняли? Повторяю: что дает основание называть этот рассказ *благой вестью*? Если бы мы спросили того или иного богослова, мы — в той мере, в какой он был бы истинным человеком и отвечал из своего сердца, а не из предания старцев, — поняли бы, что он увидел в нем такого, что сделало его благой вестью для него, хотя это могло бы включать нечто, что для некоторых из нас было бы чем угодно, только не благой вестью. Избавление, которое, как кажется тому или иному человеку, он приносит, могло бы основываться на таких понятиях о Боге, в которых для немалого числа из нас так же мало благого, как и нового. Чтобы разделить избавление, которое некоторые находят в том, что они

называют Евангелием, — ведь не все прилагают это слово к самому рассказу, но к определенным выводам из посланий и собственного сознания зла, — нам пришлось бы поверить о Боге в нечто, что для нас было бы противоположностью благовестия, да, вестью из самого ада; нам пришлось бы вообразить то, сама возможность чего была бы хуже любого бедствия, избавление от которого могла бы обещать их «благая весть»: сперва мы должны поверить в несправедливого Бога, от Которого надо искать убежища. Правда, они называют Его справедливым, но говорят, что Он делает то, что лучшему во мне кажется сущностью несправедливости. Мне скажут, что я сужу по плоти; я отвечаю: неужели к плоти обращается Господь, говоря: «Да и сами по себе почему вы не судите, что справедливо?» Разве Он не свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир? Они говорят мне, что я родился во грехе, и я знаю, что это правда; также говорят, что меня судят с той же суровостью, как если бы я родился в праведности, и я знаю, что это ложь. Они выводят из чистоты и справедливости Бога, что Он будет судить нас, рожденных во зле, за рождение в котором мы не отвечали, по нашей греховности, а не по нашей виновности. Они говорят мне или, по крайней мере, дают понять, что каждый мой дурной поступок делает меня подлежащим тому же обращению, как если бы я совершил его со свободной волей того, в ком нет никакой примеси зла, — тогда как, быть может, я в ту пору вовсе не сознавал его злом или сознавал лишь самым смутным образом. Есть ли какое-нибудь благовестие в сообщении, что Бог несправедлив, но существует путь избавления от Него? Покажите мне моего Бога несправедливым — и вы пробудите во мне проклятие, от которого никакая сила не

сможет избавить, менее всего Сам Бог. Это может быть благой вестью для тех, кто доволен Богом, способным на неправедность, лишь бы Он был на их стороне!

4 Кто не обрадовался бы возможности услышать от Матфея, Марка или Луки, что в немногих словах они подразумевают под словом *Евангелие*, — или, вернее, что в истории Иисуса заставляет их называть ее *благой вестью*! Каждый, вероятно, ответил бы на этот вопрос иначе, все ответы согласовались бы и каждый был бы зерном, из которого можно вывести остальные; но в случае Иоанна у нас есть его ответ: одним предложением из двух частей он дает нам не Евангелие от Иоанна, но Евангелие от Самого Иисуса Христа. Он часто рассказывал историю Иисуса, благую весть о том, каков Он был, что делал и говорил: что во всем этом Иоанн считал сущностью благости этой вести? В своем Евангелии он сообщает нам все *о* Нем, весть *касательно* Него; теперь он говорит, что делает ее для него самого и для нас благой вестью, — говорит самую благость благой вести. Теперь это не его собственная весть об Иисусе, а душа этой вести, то, что делает ее Евангелием: весть, принесенная Иисусом об Отце и переданная ученикам как Его послание, которое они должны донести людям. На протяжении всего рассказа Иисус во всем, что Он делает, чем является и что говорит, возвещает о Своем Отце то, что был послан сообщить Иоанну и его товарищам, чтобы они передали это братьям; но здесь Иоанн прямо говорит, что сам услышал от Слова, — что в итоге почерпнул от Иисуса как весть, которую должен возвестить. Он получил ее не в систематической форме; это то, чему научила его жизнь, *сама* Жизнь, чему научил человек, *сам* Человек. Слово есть Господь; Господь есть Евангелие.

Благая весть — не вязанка хвороста, собранная человеком в субботу.

5 Каждый должен сам читать Слово. Один может читать его в одном облике, другой — в ином: все будут правы, если действительно читают Слово и читают при светильнике послушания. Кто хочет творить волю Отца, тот узнает истинность учения Иисуса. Дух «дан повинующимся Ему».

6 Но послушаем, как читает Слово Иоанн, — послушаем, какова Иоаннова версия Евангелия.

7 «И вот благовестие, — говорит он, — которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Ах, сердце мое, вот поистине благая весть для тебя! Вот Евангелие! Если Бог есть свет, чего еще, чего иного могу я искать, кроме Бога, кроме Самого Бога! Прочь ваши доктрины! Прочь ваше спасение от «справедливости» Бога, Которого страшно вообразить! Прочь ваши железные клетки ложной метафизики! Я спасен, ибо Бог есть свет! Боже мой, я прихожу к Тебе. Того, что Ты есть Ты Сам, достаточно для времени и вечности, для моей души и всей ее бесконечной нужды. Ничему, что кажется мне тьмой, я не поверю о моем Боге. Если я ошибусь и назову тьмой то, что есть свет, разве Он не откроет мне сущность дела, поставив его в свет, просвещающий каждого человека, показав, что я видел лишь шелуху, а не зерно? Разве Он не расколет для меня оболочку и не даст истине этого, Его мысли, излиться на меня? Он не допустит, чтобы мне повредило принять свет за тьму, пока я не принимаю тьмы за свет. Одно происходит от слепоты ума, другое — от слепоты сердца и воли. Я люблю свет и не поверю по слову какого-либо человека или на основании чьей-либо убежденности, что

то, что кажется мне тьмой, есть в Боге. Где была бы благая весть, если бы Иоанн сказал: «Бог есть свет, но вы не можете видеть Его света; вы не можете судить, у вас нет понятия, что такое свет; то, что Бог подразумевает под светом, не то, что подразумеваете вы; то, что Бог называет светом, может быть для вас ужасной тьмой, потому что вы иной природы, нежели Он!» Где, спрашиваю, была бы здесь благая весть? Верно, свет Бога может быть так ярок, что мы ничего не видим; но это не тьма, это бесконечная надежда света. Верно также, что для нечестивого «день Господень — тьма, а не свет»; но разве это потому, что совесть нечестивого судит о добре и зле противоположно совести доброго? Когда он говорит: «Зло, будь моим добром», — под *злом* он подразумевает то, что подразумевает под злом Бог, а под *добром* — *удовольствие*. Он не может заставить значения поменяться местами. Сказать, что то, что наша глубочайшая совесть называет тьмой, может быть светом для Бога, — богохульство; сказать, что свет в Боге и свет в человеке различны по роду, — говорить против Духа света. Бог есть свет далеко за пределами видимого нам, но то, что мы понимаем под светом, понимает под светом и Бог; и то, что есть свет для Бога, есть свет для нас, или было бы светом, если бы мы это видели, и будет светом, когда увидим. Бог хочет, чтобы мы ликовали о том, что Он есть свет; что Он именно то, что Его дети, созданные по Его образу, имеют в виду, произнося *свет*; что то в Нем, что темно для них, темно от превосходящей славы, от избытка поводов для ликования; что, каким бы темным оно ни было для их глаз, оно свет именно в том смысле, какой они подразумевают: свет, который их глаза, души и сердца примут в ту минуту, когда станут достаточно глазами, достаточно душами, достаточно сердцами, чтобы

воспринять его в самом его бытии. Живой Свет, Ты не захочешь, чтобы я верил о Тебе чему-либо темному! Ты захочешь, чтобы я был настолько уверен в Тебе, что дерзнул бы сказать: то, что я вижу темным, непохожим на Учителя, — не от Бога! Если я недостаточно честен, если око во мне недостаточно чисто, чтобы видеть Твой свет, Ты накажешь меня — благодарю Тебя! — и очистишь мои глаза от их тьмы, чтобы они впустили свет и я стал вместе с другими Твоими детьми наследником того света, который есть Твое Божество и вызывает в Твоих созданиях потребность поклоняться Тебе. «Во свете Твоем мы узрим свет».

[8] При нынешнем нашем несовершенстве не все люди будут видеть один и тот же свет; но свет тем не менее остается светом, и то, что каждый видит, есть его спасение, если он этому повинуется. По мере того как в нас отражается образ Христа, мы будем узнавать, что есть свет и что не свет. Но никогда не окажется светом ничто, что не того же рода, что мы понимаем под светом, что есть в вещи такого, что заставляет нас называть ее светом. Оставшаяся в нас тьма порой заставляет сомневаться, свет ли перед нами или тьма; но когда око чисто, все тело будет полно света.

[9] Бояться света — значит быть неправдивым, или, по крайней мере, это происходит от неправды. Ни одному существу не нужно бояться света Бога ни за себя, ни за другого. В свете не может быть ничего враждебного нашей природе, которая от Бога, или чему-либо достойному в нас. Всякий страх света, всякое опасение, не окажется ли в нем чего-то опасного, исходит от тьмы, еще пребывающей в тех из нас, кто не любит истину всем сердцем; он исчезнет, когда свет все глубже пронижет

нас. Одним словом, нет такого образа мысли или действия, который мы считаем достойным восхищения в человеке и в котором Бог не был бы всецело достоин поклонения. Нет красоты, нет ничего, что делает человека дорогим брату-человеку и чего не было бы в Боге, — только в Боге это бесконечно лучше. Он — Бог, наш Спаситель. Иисус — наш Спаситель, потому что Бог — наш Спаситель. Он Бог утешения и отрады. Он успокоит и удовлетворит Своих детей лучше, чем любая мать своего младенца. Единственное, чего Он им не даст, — разрешения оставаться во тьме. Если ребенок закричит: «Я хочу тьмы», — и станет жаловаться, что Он ее не дает, Он все равно не даст. Он дает то, что нужно Его ребенку, — часто отказывая в том, о чем тот просит. Если ребенок скажет: «Я не буду добрым; я предпочитаю умереть; дай мне умереть!» — Он обойдется с этим ребенком так, словно говорит: «Нет; Я имею право сделать тебя довольным, дав тебе не твою волю, а Мою, которая есть твое единственное благо. Ты не умрешь; ты будешь жить и благодарить Меня за то, что Я не послушал твоей молитвы. Ты знаешь, чего просишь, но не знаешь, от чего отказываешься». Есть блага, дарование которых Бог должен отложить, пока у Его ребенка не появится карман, чтобы их вместить, — пока Он не побудит ребенка сделать этот карман. Сперва Он должен сделать его способным принять и иметь. Нет ни одной части нашей природы, которая не будет удовлетворена, — и не путем ее умаления, а путем расширения, чтобы она вмещала вечно возрастающую полноту.

[10] Приди же к Богу, мой брат, моя сестра, со всеми своими желаниями и влечениями, со всеми высокими идеалами, со всей жаждой чистоты и свободы от себялюбия, со всем стремлением любить и быть

истинным, со всей тоской по самозабвению и детской жизни в дыхании Отца; приди к Нему со всеми слабостями, со всем стыдом, со всей тщетой; со всем бессилием перед собственными мыслями; со всеми неудачами, да, с мучительным чувством, что ты пропустил прилив подлинной жизни; приди к Нему со всеми сомнениями, страхами, нечестностью, низостью, мелочностью, ошибочными суждениями, усталостью, разочарованиями и опустошенностью: будь уверен, Он возьмет под Свою заботу тебя и весь твой жалкий выводок, будь то ангелы с испачканными крыльями или змеи, ищущие укрытия, — ангелов для жизни, змей для смерти, а тебя для свободы в Своем беспредельном сердце! Ибо Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Будь Он царем, правителем; будь имя, описывающее Его, *Всемогущий*, ты с полным основанием мог бы сомневаться, достаточно ли в Нем света для тебя и твоей тьмы; но Он твой Отец, и более твой Отец, чем может означать это слово в каких-либо устах, кроме уст Того, Кто сказал: «Отец Мой и Отец ваш, Бог Мой и Бог ваш»; а такой Отец есть свет, бесконечный, совершенный свет. Будь Он хоть сколько-нибудь меньше или хоть чем-нибудь иным, чем Он есть, а ты все еще мог бы расти, ты в конце концов неизбежно дошел бы до того, что стал бы Им недоволен; но Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если в Нем тебе кажется нечто, чем ты не можешь быть доволен, будь уверен: созревание твоей любви к собратьям и к Нему, источнику твоего бытия, в конце концов даст тебе узнать, что все иное, кроме того, каков Он есть, было бы для тебя бесконечной потерей. Не бойся строить на скале Христе, будто твое святое воображение может возвести здание слишком высокое и тяжелое для этой скалы и она уступит и раскрошится под тяжестью

твоей божественной идеи. Не позволяй никому убедить тебя, что в Нем есть хоть немного тьмы из-за каких-то Его слов, которые Его создание истолковывает как тьму. Такое толкование — дело врага, горсть плевел тьмы, посеянных в свете. И не позволяй своей трусливой совести принимать за свет какое-либо слово потому, что другой называет его светом, тогда как тебе оно видится темным. Скажи: либо это не то, чем кажется, либо Бог никогда этого не говорил и не делал. Но из всех зол превратно истолковать то, что делает Бог, а потом сказать, что вещь в этом истолковании должна быть правильной, поскольку ее делает Бог, — от дьявола. Не старайся верить ничему, что ощущается тобой как тьма. Даже если тем самым ты ошибешься и отвергнешь нечто истинное, таким отказом ты меньше согрешишь против Христа, чем приняв за Его то, в чем не можешь видеть ничего, кроме тьмы. Невозможно, чтобы ты видел истинную, действительную вещь — я имею в виду, видел ее как она есть, — если она выглядит для тебя тьмой. Но пусть слов твоих будет немного, чтобы ты не сказал языком того, в чем потом раскаешься сердцем. Прежде всего верь в свет, в то, что он именно то, что ты называешь светом, хотя тьма в тебе может временами давать тебе повод сомневаться, действительно ли ты видишь свет.

11 «Но есть и другая сторона: Бог действительно свет, однако тьма *существует*; тьма — смерть, и люди в ней».

12 Да; тьма есть смерть, но не смерть для того, кто из нее выходит.

13 Это может звучать парадоксально, но никто не осуждается за что-либо уже сделанное; его осуждают за то, что он продолжает делать зло. Его осуждают за то, что

он не выходит из тьмы, не приходит к свету, живому Богу, пославшему в мир свет, Своего Сына, чтобы привести его домой. Послушаем, что говорит о тьме Иоанн.

14 Ибо и здесь, думаю, перед нами слово самого апостола: с тринадцатого стиха он, полагаю, начинает говорить от своего лица. В девятнадцатом он говорит: «Суд же состоит в том», — не в том, что люди грешники, не в том, что они сделали нечто, чего стыдились даже в ту минуту, не в том, что совершили убийство, не в том, что предали мужчину или женщину, не в том, что истирали лица бедных, наживаясь на стонах собратьев, — ни за какое страшное дело они не осуждены, а за то, что не желают оставить такие дела позади и больше их не делать: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди» не захотели выйти из тьмы к свету, а «более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Избирая зло, держась зла, любя тьму потому, что она соответствует их делам, и потому отворачиваясь от вторгающегося света, как могут они не быть осуждены, если Бог истинен, если Он свет и тьма чужда Ему! Все честное, что есть в человеке, всякая способность суждения, оставшаяся в мире, должны признать: их осуждение заложено в самой природе вещей, оно должно лежать на них и пребывать.

15 Но если кому случится высказать отдельную истину, которую другой человек сделал одним из зубцов своей системы, он рискует прослыть принимающим все зубчатые колеса этой системы и их соотношения. Поэтому продолжу: из того, что свет пришел в мир, еще не следует, что он упал на того или иного человека. У человека есть своя доля света, просвещающего каждого, но откровение Бога во Христе могло еще не достичь его. Человек мог увидеть Господа и пройти мимо Него в толпе,

не будучи виновен в том, что не узнал Его, подобно иудеям Иерусалима. Такой человек, как Нафанаил, мог бы вздрогнуть и остановиться, лишь мельком увидев Его, но не все растущие люди уже так же, как он, лишены лукавства. Не всякий, кто еще не пришел к свету, непременно держит лицо отвернутым от него. Мы не смеем говорить, что тот или иной человек не пришел бы к свету, если бы увидел его; мы не знаем, не придет ли он к свету в тот самый миг, когда увидит. Бог каждому дает время. Есть свет, озаряющий мудреца и дикаря, но слава Бога в лице Иисуса могла еще не воссиять этому мудрецу или тому дикарю. Осуждение относится к тем, кто, увидев Иисуса, отказывается прийти к Нему или притворяется, что приходит, но не делает того, что Он говорит. У них наготове всевозможные отговорки; но как только человек начинает оправдываться, наступило время, когда он мог бы делать то, от чего отговаривается. Сколько людей, верящих, что где-то есть нечто, притязающее быть для них светом, все продолжают и продолжают добывать побольше из тьмы! Это сознание, которым они совершенно пренебрегают, дает широкое основание укору Господа: «Вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь!»

16 «Всякий грех и хула, — сказал Господь, — простятся человекам; но хула на Духа не простится». Бог словно говорит так: «Я прощаю вам все. Ни слова больше не будет сказано о ваших грехах — только выйдите из них; выйдите из тьмы вашего изгнания; придите к свету вашего дома, вашего наследственного права, и больше не делайте зла. Больше не лгите; не обманывайте; не угнетайте; не клевещите; не завидуйте; не будьте ни жадными, ни тщеславными; любите ближнего, как Я люблю вас; будьте Моими добрыми детьми; доверяйте

своему Отцу. Я — свет; придите ко Мне, и будете видеть вещи, как вижу их Я, и возненавидите зло. Я научу вас любить то, что вы теперь называете добрым и не любите. Я прощаю все прошлое».

17 «Благодарю Тебя, Господи, что простил меня, но я предпочитаю оставаться во тьме; прости мне и это».

18 «Нет; этого быть не может. Единственное, что не может быть прощено, — грех выбора быть злым, отказа от избавления. Невозможно простить этот грех. Это значило бы участвовать в нем. Встать на сторону неправды против правды, убийства против жизни — не может быть прощено. То, что прошло, Я пропускаю; но тот, кто продолжает делать то же, уничтожает это Мое прощение, лишает его действия. Пусть человек совершил какой угодно грех — Я прощаю его; но избрать продолжать грешить — как Я могу это простить? Это значило бы питать и лелеять зло! Это значило бы дать Моему творению погибнуть. Неужели Я буду поддерживать вашу жизнь ради поступков, ненавистных всем истинным людям? Если человек отказывается выйти из своего греха, он должен претерпеть возмездие любви, которая не была бы любовью, если бы оставила его там. Неужели Я позволю Моему созданию быть тем, что ненавидит Моя душа?»

19 Этому отказу нет оправдания. Если бы нас наказывали за каждый проступок, не было бы ни конца, ни передышки; у нас не оставалось бы покоя, в котором можно раскаяться; но Бог пропускает все, что может. Он пропускает и забывает тысячу грехов, да, десятки тысяч, прощая их все; только мы должны начать быть добрыми, начать больше не делать зла. Отказывающийся должен быть наказуем и наказуем — наказуем через все века,

наказуем до тех пор, пока не уступит, не покорится и не придет к свету, чтобы самому увидеть свои дела такими, каковы они есть, и самому обличить их, и чтобы Отец наконец снова обрел Свое дитя. Для человека, до конца сопротивляющегося в этом мире, возможно, будет целый век или эра в истории вселенной, в течение которой его грех не будет прощен; но *никогда* он не может быть прощен, пока человек не раскается. Как могут не желающие каяться быть прощены, кроме как в том смысле, что Бог делает и будет делать все возможное, чтобы привести их к покаянию? Кто знает, не потребует ли такой грех для своего исцеления непрерывного наказания на протяжении эона?

[20] Мыслимы три рода наказания: первый — простое воздаяние, которое я считаю всецело и исключительно человеческим, а потому, собственно, скорее бесчеловечным, ибо то, что не божественно, не принадлежит сущности человечности, исходит от зла и вторгается в человеческое; второй — наказание, производящее покаяние; третий — наказание, облагораживающее и очищающее, служащее святости. Но наказание, падающее на тех, кого Господь любит, потому что они покаялись, совсем иное, чем наказание, падающее на тех, кого Он любит на деле, но не может простить, потому что они крепко держатся своих грехов.

[21] Слово *простить* также может употребляться по-разному. Отец мог бы сказать сыну: «Мой мальчик, я тебя прощаю. Ты не знал, что делал. Я больше не скажу об этом ни слова». Или мог бы сказать: «Мой мальчик, я тебя прощаю; но я должен тебя наказать, потому что ты уже несколько раз делал то же и я должен заставить тебя запомнить». Или, опять же: «Я на тебя серьезно

рассержен. Я не могу тебя простить. Я должен сурово тебя наказать. Это было слишком постыдно! Я не могу этого пропустить». Или еще: «Если ты совершенно не переменишь своего поведения, я больше не буду иметь с тобой ничего общего. Можешь ко мне не приходить. Я не возьму на себя ответственности ни за что из того, что ты делаешь. Я не только не поручусь за тебя, но по честности сочту себя обязанным предупредить друзей, чтобы они тебе не доверяли. Никогда, никогда, пока я не увижу в тебе большей перемены, чем смею надеяться увидеть в этом мире, я тебя не прощу. Я больше не могу считать тебя членом семьи. Я умер бы, чтобы спасти тебя, но не могу тебя простить. Сейчас в тебе нет ничего, на чем могло бы основаться прощение. Сказать: я прощаю тебя — значило бы сказать: делай все, что хочешь; мне все равно, что ты делаешь». Так Бог может прощать и наказывать; и может наказывать и не прощать, чтобы спасти. Простить грех против Святого Духа значило бы обречь вселенную на пропасть лжи, сделать невозможным когда-либо спастись для человека, прощенного таким образом. Он не может простить человека, который не хочет прийти к свету, потому что дела его злы. Против такого человека Его отеческое сердце *движется негодованием*.

Недовольство Иисуса

[1] *Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, восскорбел духом и возмутился.* — Иоанна 11:33.

[2] Гримм в своем словаре Нового Завета, приведя как соответствия слову [Greek: embrimaomai] в языческом употреблении «я охвачен гневом», «я реву или рычу», «я фыркаю на», «я сильно гневаюсь или негодую на кого-либо», сообщает нам, что в Марка 1:43 и Матфея 9:30 оно имеет значение, отличное от языческого, а именно: «я повелеваю со строгим предостережением». Не думаю, чтобы у него было какое-либо основание так утверждать, и считаю это утверждение ошибкой. Однако переводчики и редакторы пересмотренного перевода в этих местах употребили слово сходным образом, а в одном месте — том, которое перед нами и где верный перевод еще важнее, — позволили себе другую вольность и передали его словом «восскорбел». При этом редакторы пересмотренного перевода поместили на полях то, что я не могу не считать его истинным значением: «был охвачен негодованием».

[3] Посмотрим на все места, где это слово употреблено о Господе, и так, если возможно, узнаем нечто о Нем. Единственное место в Евангелии, где оно употреблено не о Господе, — Марка 14:5. Здесь оба перевода говорят об учениках, что они «роптали на» растрату благовония одной из женщин, помазавших Господа. Об этом переводе мне достаточно заметить, что «роптали на» едва ли достаточно сильно, особенно если учесть, что из-за этого поступка они «вознегодовали между собою».

[4] Совершенно правильно и необходимо настаивать, что многие слова должны различаться нравственным весом и окраской в зависимости от того, употребляются ли они о людях разного характера или самими такими людьми. Гнев доброго человека весьма отличается от гнева злого; недовольство Иисуса должно весьма отличаться от недовольства тирана. Но оба все же — гнев, оба — недовольство. Мы не вправе изменять коренное значение и говорить, что в одном случае слово означает *он негодовал*, в другом — *он строго или сурово повелел*, а в третьем — *он восскорбел*. Уж конечно, не так мы придем к истине! Если сделано какое-либо утверждение, употреблено какое-либо слово, которое мы чувствуем недостойным Господа, отвергнем его; скажем: «Я этому не верю» или: «Тут должно быть что-то, во что я не могу проникнуть; мне надо подождать; это не может одновременно быть тем, чем кажется мне, и быть верным о Господе!» Но принимать слово как употребленное о Господе и говорить, что оно означает нечто совершенно иное, чем при употреблении тем же писателем о ком-то другом, представляется мне неправдивым.

[5] Сначала возьмем место Марка 1:43: в официальном переводе — «И Он строго повелел ему»; в пересмотренном — «И Он сурово повелел ему», с пометой «*грозно*» на полях. Буквально, как мне кажется, это читается и должно читаться так: «И, разгневавшись», или «будучи недоволен», или «досадуя» «на него, Он тотчас отослал его». Думаю, даже в самом слове, которое я перевел «отослал», подразумевается некоторое недовольство. В Иоанна 9:34, «они выгнали его вон», употреблено то же слово, лишь немного усиленное.

[6] Это кое-что добавляет к рассказу и вызывает вопрос: отчего Иисус мог разгневаться? Если мы не найдем причины для Его гнева, нам придется оставить это совершенно неясным: я не знаю, где искать иное значение слова, кроме как в отчаянии незадачливого толкователя.

[7] Иисус исцелил прокаженного — не одним Своим словом, которого было бы довольно для самого исцеления, но которого без прикосновения Его руки — Синайский текст говорит «*Его рук*» — было недостаточно, чтобы удовлетворить сердце Иисуса: прикосновения, осквернявшего Его в представлении иудеев, но как же очищавшего в ощущении прокаженного! Однако человек, по-видимому, оказался недостоин этой тонкости божественной нежности. Господь, умевший читать его сердце, увидел, что истинного отклика Он не получил, что в человеке не пробудилась вера, которую Он желал возбудить: Он не привлек к Себе его душу. Прокаженный ликовал, избавившись от боли и от нечистоты, отделявшей его от людей, освободившись от страдания и презрения; вероятно, он был окрылен гордостью, что чудо совершили ради *него*. Одним словом, он был так полон собой, что не думал по-настоящему о своем Избавителе.

[8] Господь, говорю я, увидел это или нечто подобное и не был удовлетворен. Он хотел дать человеку нечто настолько лучше чистой кожи, а пробудил в нем лишь непристойный восторг от собственной чистоты — *непристойный*, ибо тот был таков, что человек не внимал Господу, а тотчас ослушался Его прямого приказа. Именно нравственная позиция человека вызвала недовольство Господа, разгневала Его. Он увидел в нем явное и буйное своеволие и непослушание, дерзкую

самоуверенность и самодовольство. Полный не чистой радости и не детского веселья, которое вполне могло бы прорваться вперемежку со слезами при таком избавлении; полный не благодарности, а довольства, тем более острого, что он так долго был предметом отвращения своего народа; полный высокомерия из-за милости, оказанной великим пророком именно ему из всех людей, и раздувшийся от хвастовства, он покинул присутствие Целителя, чтобы противиться Его воле, и, получив приказ никому не говорить, тотчас «начал» — пустая, легковесная, болтливая душа — «провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус уже не мог явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных».

9 Теперь посмотрим на рассказ об исцелении двух слепых в девятой главе Евангелия от Матфея. В обоих переводах для передачи обсуждаемого слова употреблены те же выражения, что и в истории прокаженного в Евангелии от Марка: «строго», «сурово», «грозно повелел им». Я читаю это место так: «И Иисус был недоволен» — или, возможно, «очень недоволен» — «ими, говоря: смотрите, чтобы никто не узнал».

10 «А они, выйдя, разгласили о Нем по всей той земле». Уж конечно, здесь проливается свет на причину недовольства Иисуса слепыми! С ними было то же, что с прокаженным: они показали, что намерены идти своим путем и не заботятся о Его пути. Несомненно, всех их отчасти двигало желание распространить Его славу; быть может, это даже казалось им лучшей благодарностью, какую они могли принести Избавителю. Они и не подозревали, что великий человек может желать избежать славы, не придавая ей цены, зная ее глупостью.

Они не понимали, что человек, желающий помочь своим собратьям, может при этом избегать толпы, мешающей его цели. «Что за пророк без почестей?» — по существу спрашивают такие люди и не понимают ответа: «Человек, у которого больше шансов оказаться пророком». Эти люди хотели отплатить Целителю трубным звуком, а не послушанием. Через них Он получит должное — но так, как сочтут нужным они, а не Он! По скромности Он возражал, но они позаботятся, чтобы Он не остался без награды! Через них Он пожнет людские похвалы! «Не говорить! — восклицают они. — Нет уж, мы будем говорить!» Они были слишком благодарны, чтобы не разносить о Нем слух, но недостаточно благодарны, чтобы Ему повиноваться.

11 Впрочем, нам едва ли приходится удивляться их самонадеянности. Сколько людей, кажется, способны на все ради церкви или христианства, кроме единственного, что заботит его Господа: делать то, что Он велит! Он желает освободить их от самих себя и ввести в свободу сынов Божьих, сделать Своими братьями; они оставляют Его, чтобы похваляться своей церковью. Его заповеди не тяжки; они выдумывают за Него заповеди и возлагают их на шеи братьев тяжким, неудобоносимым бременем. Бог хочет, чтобы мы разделили Его блаженство — самую истину существования; они поклоняются издали и не хотят приблизиться. Думаю, Господа гневили не помеха Его труду, не личное неудобство, которое это Ему причиняло, но то, что они не хотели быть Его друзьями, не хотели делать того, что Он велел, не хотели быть детьми Его Отца и помогать Ему спасать их братьев. Когда затем Петр по-своему — почти так же, как они, — воспротивился воле Отца, сказав: «Да не будет этого с

Тобою, Господи!» — Он назвал его сатаной и приказал отойти от Него.

12 Унижает ли в чьих-либо глазах представление об Учителе мысль, что Он мог когда-либо гневаться? Если так, я спросил бы: неужели весь сознательный опыт гнева у этого человека таков, что ему известен лишь один род гнева? Есть добрый гнев и дурной гнев. Есть гнев Божий, и есть гнев человеческий, не творящий праведности Божьей. Гнев может быть разнообразен, как цвета радуги. Гнев Бога не может быть иным, как богоподобным, а значит, божественно прекрасным, единым с Его любовью, помогающим, исцеляющим, восстанавливающим; и все же это воистину то, что мы называем гневом. Как отличается гнев любящего от гнева ненавидящего! И все же гнев остается гневом. Есть низкий человеческий гнев и великий, благородный, вечный гнев. Наш гнев обычно унижает нас, потому что обычно он нечист.

13 Для меня особенно радостна мысль, что Господь приблизился к нам настолько, чтобы гневаться на нас. Чем больше мы думаем о гневающемся на нас Иисусе, тем сильнее чувствуем необходимость подходить к Нему все ближе — проникать внутрь круга Его гнева, выходя из греха, который Его гневит, и приближаясь к Нему туда, куда грех прийти не может. В гневе Иисуса Его любовь не угасает. Гнев Иисуса есть Его признание, что мы виноваты; если бы мы не были виноваты, Иисус никогда не мог бы на нас гневаться; мы не принадлежали бы к Его роду и потому не подлежали бы Его укору. Признать, что мы виноваты, — значит сказать, что нам следует быть лучше, что мы способны поступать правильно, если захотим. Мы способны повернуться лицом к свету и выйти из тьмы; Господь позаботится о нашем росте.

[14] Серьезна мысль, что непослушание людей, освобожденных Им от слепоты и проказы, могло мешать Его труду для Отца. Но то же делали Его лучшие друзья, любившие Его. Мысль о Его распятии ужасала их; они сделали бы Его царем и разрушили дело Его Отца. Он предпочел жестокость врагов доброте друзей. Первые со злым намерением исполняли волю Его Отца; вторые с добрым намерением воспрепятствовали бы ей. Ученики тревожили Его своими неверующими возражениями. Будем знать: бедность нашего представления об Иисусе — а насколько больше наше непослушание Ему! — препятствует Его движению к победе, задерживает пришествие Царства Небесного. Не один человек, доблестный ради Христа, но не понимающий Его и возлагающий на себя и собратьев бремена, противные природе, совершал тем самым самовольное поклонение и мнимое служение, за которое Христос мало его поблагодарит и которое, быть может, уже теперь возбуждает Его святой гнев. Там, где мы делаем то, чего не должны и могли бы не делать, гневайся на нас, о Христе! Не обращайся с нами так, словно мы не стоим Твоего недовольства; не пропускай наших проступков, будто они ничего не весят. Гневайся на нас, святой Брат, в том, в чем мы виноваты; где мы не понимаем, имей к нам терпение, открой нам глаза и дай силу повиноваться, пока наконец мы не станем детьми Отца, как Ты. Ибо, хотя Ты Господь, Учитель и Спаситель растущих, совершенным Господом Ты являешься лишь для истинных, спасенных и свободных, живущих в Твоем свете и божественно радующихся: мы удерживаем Тебя от Твоего совершенного владычества. Дай нам способность гневаться и не грешить; гневаться и не искать ни малейшей мести; гневаться и быть полными прощения.

Мы не удовлетворимся, пока сам наш гнев не станет любовью.

15 Господь не призвал проказу вернуться и вновь овладеть ослушавшимся человеком. Возможно, тот этого заслуживал, но Господь этого не сделал. Он не окутал самоуверенных прозревших тучей прежней тьмы за то, что они окутали себя тучей непослушания. Он отпустил их. Разумеется, они тем самым лишились своего благополучия; ибо сказать, что человек мог бы ослушаться и от этого не стать хуже, значило бы сказать, что *нет* может быть *да*, а свет иногда тьмой; значило бы сказать, что воля Бога не есть блаженство человека. Но Господь не наказал их непосредственно — как не наказывает непосредственно десятки тысяч неправд в мире. Многие неправды сами наказывают себя, ударяясь о выпуклости щита вооруженного закона; многие творящие зло режут себя, словно жрецы Ваала, ножами собственной несправедливости; и Его воля в том, чтобы так и было; но, наказывает ли Он прямо или косвенно, Он всегда трудится ради избавления. Думаю, иногда за Его гневом следует, да и сопровождает его, поразительный дар, только что исходящий из Его благодатного сердца. Он знает, что делать, ибо Он — любовь. Он любовь, когда дает, и любовь, когда удерживает; любовь, когда исцеляет, и любовь, когда умерщвляет. Господи, если так Ты смотришь на людей в Своем гневе, каков же должен быть полный взгляд Твоих любящих глаз!

16 Посмотрим теперь на последний случай, где это слово [Greek: embrimaomai] употреблено в истории нашего Господа — по крайней мере в том ее виде, какой дан нам здесь, внизу; ведь, несомненно, в доме Отца у них Евангелие полнее и без единого пятна ошибки:

воспользуемся же нашим так, чтобы нам наконец позволили заглянуть на страницы другого!

[17] В официальном переводе Евангелия от Иоанна, в одиннадцатой главе, тридцать третьем стихе, стоят слова: «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, восскорбел духом и возмутился»; согласно примечанию на полях пересмотренного перевода — «был охвачен негодованием в духе и возмутил Себя». Также в тридцать восьмом стихе мы читаем, согласно примечанию пересмотренного перевода: «Иисус же, снова негодуя в Себе, приходит ко гробу».

[18] Негодование — гнев у самого гроба! Перед сердцами, раздираемыми утратой брата, уже четыре дня мертвого, которого Он тоже любил! Да, поистине, друзья! Такое негодование, такой гнев, какими в такое время, в таком месте вечно праведно было взволноваться сердцу Иисуса. Едва могу сомневаться, что подобным же образом Его волнует и ныне то, что Он видит у смертных одров и могил немалого числа людей, которые не враги Ему, но перед лицом смерти кажутся ничем не лучше язычников. Что приобрели такие люди оттого, что стали христианами, как они себя называют? Они вперяют глаза в страшный призрак, именуемый ими Смертью, и ни разу не поднимают их к сияющему Христу, стоящему у постели или могилы! Для них Христос не победил Смерть:

[19] Ты — наша царица, о Смерть! К тебе мы стонем!

[20] Они содрогнулись бы при мысли сказать это словами; они говорят это горечью слез, глазами отчаяния, черными одеждами, немедленным бегством от дневного света, чтобы зарыться в лоно тьмы. «Что же, вы хотите, чтобы мы не плакали?» Плачьте свободно, друзья; но

пусть ваши слезы будут слезами ожидающих христиан, а не безнадежных язычников. Обратимся к рассказу.

21 Все это время Господь старался научить друзей о Своем Отце: какой Он блаженный и совершенный Отец, пославший Его, чтобы люди увидели самый Его образ и узнали Его большим, чем может явить какой-либо образ; и все, что они от этого приобрели, казалось, не составляло ни крупицы утешения, когда прикоснулась смерть. Он сказал Марфе и Марии сотни вещей, не записанных на немногих страницах нашего земного Евангелия; но то, что Бог любит их и что Лазарь у Бога, кажется им ничем, потому что Лазаря нет у них! Сам Господь, при всем, чем Он был для них, не может утешить их даже Своим телесным присутствием в телесном отсутствии их брата. Я не имею в виду, что Бог хотел бы даже самым близким Своим присутствием заставить нас забыть присутствие друга или перестать его желать. Боже упаси! Любовь Бога — совершенствование всякой любви. Он Бог не забвения, а вечной памяти. Для Него нет прошлого. Он так далек от той ревности, которую, как мы все слышали, Ему приписывают, что Его твердое намерение — чтобы Его сыновья и дочери любили друг друга совершенно. Он дал нас друг другу, чтобы мы вечно принадлежали друг другу. Он не дает, чтобы отнять; в Нем нет перемены или тени изменения. Но если мой сын или моя дочь ушли от меня на время, разве приход их матери не должен меня утешить? Разве ничего не значит, что Тот, Кто есть жизнь, присутствует здесь, удостоверяя благополучие исчезнувшей жизни и благополучие любви, которой ее недостает? Зачем бы Господь вообще приходил в мир, если эти Его друзья не должны были получить от Него больше блага, чем это? Имея старшего Брата, разве они не могли недолгое время обойтись без младшего?

Неужели без него они должны быть совершенно несчастны? Весь их вопль был: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой!» Вы можете сказать, что они еще недостаточно хорошо знали Христа. Это очевидно — но Христос ожидал от них большего и был разочарован. Вы можете сказать: «Как это могло быть, если Он знал, что в человеке?» Сомневаюсь, правильно ли вы думаете о том, от сколь многого Господь отказался, придя к нам. Возможно, у вас бедное представление о том, со сколь многим Сын мог расстаться — или, вернее, мог позволить Отцу отнять у Него, — без какого-либо ущерба для Его сыновства, отношения Вечного к Вечному, кроме того, что оно обнаруживалось все глубже и глубже, все теснее и теснее. Что в этом мире Он знал не все, ясно из Его собственных слов, а также из других признаков; мне претила бы мысль, будто неведение затрагивало Его Божество, будто Его Божество могло пострадать от того, что усиливает Его преданность. В моих глазах это возвышает представление о Его Божестве. Здесь, повторяю, я не могу не думать, что Он был разочарован Своими друзьями Марфой и Марией. Неужели Он сделал для них не больше этого? Разве Его Отец и их Отец не был для них утешением? Так ли Его лучшие друзья обращались с Его Отцом, делавшим для них все, что только отец может сделать для детей! Он так нежно заботился об их сердцах, что не мог вынести их плача, которым они заслоняли от себя Его Отца. Любовь Его досадовала на них за то, что они сидели в пепле, когда должны были выйти к солнцу и ветру Его Отца. И все из-за лжи! — ибо чувство в их сердцах, заставлявшее так плакать, было ложным. Помните: не их любовь, а ложное представление об утрате. Неужели они не приблизились к свету жизни больше этого? Подумать только: они верили в

смерть и могилу, а не в Него, Жизнь! Зачем смерть должна тревожить их? Зачем отказывать дружественным стихиям в праве принять тело и вернуть его туда, откуда оно пришло, если Лазарь ушел домой к Богу и больше в нем не нуждался? Полагаю, заглянув в их сердца, Он увидел, что они чувствуют и поступают так, словно Лазарь перестал существовать.

22 «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю: чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог».

23 «Воскреснет брат твой».

24 «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день».

25 «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

26 Я не стану сейчас пытаться раскрыть что-либо из глубины этого слова Господа. Для моей нынешней цели достаточно сказать: сестры, конечно, должны были знать, что Он воскресил дочь Иаира и сына вдовы из Наина; и если только что сказанные Им слова «Воскреснет брат твой» казались Марфе слишком хорошими, чтобы быть правдой в том смысле, что Он собирается воскресить его сейчас, то и она, и Мария, веря, что Он мог бы воскресить его, если бы захотел, могли по крайней мере знать: если Он этого не делает, причины должны быть столь же прекрасны, как любые причины, по которым Он мог бы это сделать. Если Он мог и не делал, разве это не должно было быть столь же хорошо — да, лучше, — чем если бы сделал?

27 Марфа ушла, по крайней мере на ту минуту, немного утешенная; и вот пришла Мария, знавшая Господа лучше своей сестры, — увы, с теми же горькими слезами, струящимися из глаз, и с теми же безнадежными словами, почти упреком, падающими с уст! Именно тогда — при виде плачущих ее и иудеев с нею — дух Господа был охвачен негодованием. Они плакали как верующие в смерть, а не в жизнь. Мария плакала, словно никогда не видела своими глазами, никогда не осязала своими руками Слова жизни! Он был возмущен их неверием и встревожен их тревогой. Что было делать с Его братьями и сестрами, которые *хотели* быть несчастными, которые не желали верить в Его Отца! Что за жизнь страдания была их жизнь! Как Ему было утешить их? Они не хотели утешиться! Что за мир, который будет продолжать так жить, который не освободится из когтей смерти даже после того, как смерть умерла, но будет плакать и плакать тысячи грядущих лет, прижатый к груди мертвой Смерти! Неужели существование, славный дар Его Отца, должно стать самым страшным из несчастий, потому что одни должны отправиться домой прежде других? Все было так печально! — и все потому, что они не желали знать Его Отца! Тогда последовал перелом после негодования, и тяжело трудившееся сердце Господа нашло облегчение в слезах.

28 Господь стоял словно на водоразделе жизни. По одну сторону от Него лежало то, что Марфа и Мария называли миром жизни, по другую — то, что Он, Его Отец и Лазарь называли жизнью с избытком. Господь видел оба мира: видел с одной стороны плачущих Марфу и Марию, с другой — Лазаря, мирно ожидающего их. Он сделает для них все возможное — для сестер, не для Лазаря! Лазарю тяжело было быть призванным обратно в саван тела, стать

жертвой их неверия, но это должно было совершиться! Лазарь должен пострадать ради сестер! Через него их принудят поверить в Отца и тем освободят от рабства! Смерть больше не будет властвовать над ними!

[29] Я сказал, что Он досадовал на них за неверие в Бога, Его и их Отца, и в то же время был встревожен их тревогой. Туча Его любящего гнева и сочувствия, встретившего разочарование, пролилась слезами; и слезы облегчили Его сердце от тяжести божественной скорби. Он обратился не к ним, не для того, чтобы наказать их за неверие, даже не для того, чтобы укорить за печаль; Он обратился к Своему Отцу, чтобы поблагодарить Его.

[30] Он благодарит Его за услышанную молитву, которую вознес — мгновение ли назад или еще прежде, чем оставил другой берег Иордана, я сказать не могу. Что это была за молитва, за услышание которой Он теперь благодарит Отца? Конечно, Он говорил о возвращении Лазаря, и Отец обнаружил единомыслие с Ним. «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». «Сказал сие» — сказал что? Он что-то сказал ради народа; что же? Благодарение, которое только что произнес. Он не имел обыкновения благодарить Отца установленными словами; и теперь естественно не стал бы высказывать благодарность вслух, ибо Он всегда говорил с Отцом, а Отец всегда Его слышал; но у Него была причина так поступить, и теперь Он собирался ее назвать. Он сделал необычное ради того, чтобы это услышали, и ради святой честности сообщает об этом факте, говоря с Отцом так, чтобы окружающие могли слышать и в действии не осталось ни тени нераскрытой двойственности — ничего скрытого, сколь бы совершенным в честности оно ни

было. Цель Его благодарения вслух должна стать явной! «Благодарю Тебя, Отче, что Ты услышал Меня; и говорю это не так, словно Я сомневался, слышишь ли Ты Меня, но чтобы люди поняли: Я делаю это не от Себя, а как Твой Посланник. Это Ты, Отче, сейчас сделаешь; Я делаю это как Твоя правая рука. — Лазарь, выйди вон».

31 Я сказал: печаль Господа была в том, что Его друзья не желали довериться Его Отцу. Он не хотел никакого принятия Себя, которое не было бы принятием Его Отца. Дела совершал Его Отец, а не Он! Из этого разочарования, как мне кажется, возник тот скорбный вздох: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

32 Произнося эту молитву, Господь думал не о собственном оправдании, а о принятии Его Отца Своими детьми. Если Господь когда-либо требует, чтобы Его приняли как истинного человека, то ради Отца и Своих братьев, чтобы в принятии Его был принят Пославший Его. Если бы сейчас Он желал обосновать Свое притязание, дело, которое Он собирался совершить, было бы для этого могущественным средством; но Он должен был дать им ясно понять, что Отец в этом един с Ним, что Они делают это вместе, что это воля Отца, что Он Его послал.

33 Лазарь должен прийти и помочь Ему с этими сестрами, которых Ему никак не удавалось привести к вере! Лазарь вкусил смерть и знал, что это такое: он должен прийти и дать свое свидетельство! «Они потеряли тебя из виду, Лазарь, и воображают, что ты ушел в небытие их неверия. Выйди; выйди из невидимого. Мы успокоим их». Повторяю, Лазарю это было тяжело; ему было лучше там, где он находился; но он должен прийти и побыть с

Господом еще немного, а потом остаться позади со своими сестрами, чтобы они и миллионы подобных им знали: Бог есть Бог живых, а не мертвых.

34 Иудеи говорили: «Смотри, как Он любил его!» Но может ли хоть один христианин верить, что Иисус плакал из любви к Лазарю? Он плакал из любви к Богу, к Марфе и Марии. Он не потерял Лазаря; но Марфа и Мария заблудились вдали от своего небесного Отца. «Приди, брат Мой; свидетельствуй!» — воззвал Он; и Лазарь вышел, обвязанный по рукам и ногам. «Развяжите его, и пусть идет», — сказал Он: живая истина, ходящая по миру; он никогда не был мертв и вот вышел; он не был потерян и вот возвращен! Через странную дверь пришел он назад к своим — дверь, которой редко пользовались и которую знал лишь Один, — но он был здесь! О, сердца Марфы и Марии! Конечно, Господь получил некоторое возмещение за Свою тревогу, созерцая их радость!

> 35 Всякую христианку, дочитавшую до этого места, я теперь прошу обдумать то,
> что собираюсь ей предложить.

36 Лазарю предстояло умереть снова, и, можно не сомневаться, он благодарил Бога за этот радостный факт. Стали ли его сестры, если предположить, что они снова остались после него в мире, оплакивать его так же, как в первый его уход? Если стали, если снова впали в ту неистовую скорбь, рыдая, стеная и отказываясь утешиться, что бы вы о них сказали? Полагаю, что-нибудь вроде: «Как недостойно было с их стороны не стать лучше после такой оказанной им милости. Это было поведение самых непослушных из неверных детей. Разве они не знали, что он не потерян? — что он с Учителем, Который Сам несколько дней казался потерянным, но пришел

вновь? Теперь он был потерян не больше, чем в прошлый свой уход! Разве они не могли довериться Тому, Кто однажды вернул его: Он позаботится, чтобы в конце концов он навеки был с ними!» Не сказали бы вы что-нибудь в этом роде? Не вспомнили бы, что Тот, Кто есть Пастырь овец, позаботится, чтобы овцы, любящие друг друга, вновь обрели своих, на каких бы разных пастбищах они ни паслись некоторое время? Разве не трудно было бы убедить вас, что сестры когда-либо так себя вели? Они должны были чувствовать, что он лишь «вышел на минуту… из этой комнаты в соседнюю»; и что, как бы им его ни недоставало, было бы стыдно проявлять нетерпение, зная, что бояться нечего. С ним все было хорошо, и скоро с ними тоже все будет хорошо!

37 «Да, — представляю я ваш ответ, — именно так они и чувствовали бы!»

38 «Тогда, — отвечаю я, — почему же *вы* так несчастны? Или почему лишь холодный мороз привычки и забывания делает вас менее несчастной, чем год назад?»

39 «Ах, — отвечаете вы, — но для меня не совершали такого чуда! Ах, если бы для меня совершили такое чудо, тогда бы вы увидели!»

40 «Вы хотите сказать: если бы вашего мужа, сына, отца, брата, возлюбленного однажды отняли у вас и снова вам возвратили, вы бы, когда настало время ему уйти еще раз, и не подумали вторично призывать его с благого неба? Вы не были бы настолько жестоки! Вы не стенали бы и не причитали! Вы не печалили бы сердце Господа своими безнадежными слезами! Ах, как мало вы себя знаете! Разве вы не видите, что, с точки зрения истины и разума, сейчас вы в точности в том положении, какое мы

предположили, — в положении этих сестер после того, как Лазарь был отнят у них во второй раз? Вы сейчас знаете все, что они знали тогда. Возвращение Лазаря дало им не больше откровения, чем вам. Ведь вы заявляете, что верите рассказу, хотя делаете это достаточно сомнительным, пренебрегая самой его душой. Неужели для вас было бы все равно, если бы Лазарь не воскрес? Какая разница между вашим нынешним положением и их положением? Лазарь был с Богом, и они знали, что он ушел, вернулся и ушел снова. Вы знаете, что он ушел, пришел и снова ушел. Ваш друг ушел так, как дважды уходил Лазарь, а вы ведете себя, будто ничего не знаете о Лазаре. Вы поднимаете жалкие стенания и огорчаете Иисуса тем, что не желаете быть разумной и довериться Его Отцу! Когда Марфа и Мария вели себя так, как ведете себя вы, Лазарь для них еще не был воскрешен; для вас Лазарь уже воскрешен, но вы продолжаете вести себя так, как они тогда!

41 «Вы даете слишком веские основания думать, что, если бы то же было сделано для вас, вы сказали бы: он всего лишь находился в каталептическом припадке и в действительности никогда не воскресал из мертвых. Или есть другое объяснение вашего поведения: вы не верите, что Бог неизменен, но думаете, будто Он однажды поступает так, а в другой раз иначе, просто по прихоти? Он мог возвратить брата сестрам, которые были Его любимицами, но рассчитывать на такой дар нельзя? Тогда, спрашиваю я, зачем вы поклоняетесь такому Богу?»

42 «Но вы же знаете, что Он этого *не* делает! То был всего лишь исключительный случай».

43 «Если так, он и впрямь ничего не стоит — столь же ничего, сколь делает его ваше поведение. Но вы медлительны сердцем, как Марфа и Мария. Разве вы не видите, что Он так же непрестанно возвращает, как отнимает; что каждая утрата есть возвращение; что, пока вы плачете с пустыми объятиями, другие, любящие не меньше вас, обнимают в восторге воссоединения?»

44 «Увы, мы об этом ничего не знаем!»

45 «Если вы не научились большему, я должен оставить вас: в вас нет почвы, на которую могли бы упасть мои слова. Вы обманули меня; вы назвали себя христианкой. Вы, должно быть, не исполняли волю Отца, иначе не были бы такой, как теперь».

46 «Ах, вы так мало знаете о моей утрате!»

47 «Она и впрямь велика! Похоже, она включает и Бога! Если бы вы знали то, что Он знает о смерти, вы захлопали бы своими вялыми руками. Но зачем мне тщетно пытаться утешить вас? Вы должны стать несчастной, чтобы пробудиться от сна и узнать, что вам нужен Бог. Если вы не найдете Его, бесконечная жизнь с живыми, которых вы оплакиваете, стала бы и осталась бы для вас невыносимой. Познание собственного сердца научит вас этому — не то знание, которое у вас есть, а то, что идет к вам через страдание. Тогда вы почувствуете, что само существование — первое из зол без *праведности, которая от Бога по вере*».

Праведность

1 — *Чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру Христа, с праведностью, которая от Бога по вере*. — Послание к Филиппийцам 3:8–9.

2 Что апостол подразумевает под праведностью, которая от Бога по вере? Он подразумевает ту же праведность, которую Христос имел через Свою веру в Бога, ту же праведность, которую имеет Сам Бог.

3 Во втором Послании к Коринфянам он говорит: «Не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведностью Божьей»; то есть: «Он отдал Его на обращение как с грешником — на то, чтобы Его убили и выбросили из собственного виноградника Его же виноградари, — чтобы мы в Нем стали праведны, как Бог». В своем нынешнем виде антитеза риторически верна. Но если первая половина означает: «Он сделал так, чтобы с Ним поступили, как если бы Он был грешником», — тогда вторая, по логической точности, должна означать: «Чтобы с нами поступили, как если бы мы были праведны».

4 «Именно это Павел и имеет в виду, — настаивают немало людей. — Он имеет в виду, что Бог обошелся с Иисусом как с грешником, вменив Ему наши грехи, для того чтобы с нами обойтись как с праведными, вменив нам Его праведность».

5 То есть посредством своего рода юридической фикции с Иисусом поступили как с тем, кем Он не был, чтобы с нами поступить как с теми, кем мы не являемся. Согласно господствующему богословию, вот лучший способ, какой

Бог истины, Бог милосердия, Чья слава в том, что Он справедлив к людям, прощая их грехи, сумел изобрести ради спасения Своих созданий!

6 Я думал, что эту презреннейшую из ложных доктрин уже почти перестали проповедовать, хотя знал, что должно пройти много времени, прежде чем прекратится ее пагубное влияние; однако недавно, к своему изумлению, я наткнулся на нее во вполне современном толковании, в которое случайно заглянул в доме друга. Говорю «к своему изумлению», потому что толкование принадлежало одному из самых широкомыслящих и прекрасных христиан, высокому сановнику Англиканской церкви, человеку, которого я знал и люблю и с которым надеюсь вскоре встретиться там, где нет церквей. В попавшемся мне на глаза комментарии он ссылается на учение о вмененной праведности как на возможное объяснение одного места — ссылается как на учение, истинность которого не подлежит сомнению.

7 Мне кажется, раз в теле Христовом так много двуличия, каждый честный член этого тела должен протестовать против всякого слова, склонного внушать мысль о существовании лжи в обитающем в нем духе. Я теперь протестую против этой так называемой *доктрины*, считая ее законной добычей самого глупого ветра в преддверии сует, куда я охотно сделал бы все от меня зависящее, чтобы ее отправить. Это низкое, тошнотворное изобретение, ложное и порождающее ложь. Скажите, что это образ, — я отвечу: не только ложный образ, но и воплощение неправды; скажите, что он выражает действительность, — я скажу: он учит худшей лжи; скажите, что в нем есть тень истины, — я отвечу: возможно, но он не касается ни одной истины, которой

нельзя было бы бесконечно лучше научить без него. Это тощий, уродливый отпрыск законничества, рожденный скудной механической фантазией, не озаренной ни проблеском божественного воображения. Ни один человек, знающий свой Новый Завет, не дерзнет сказать, что этот образ хотя бы раз в нем употреблен.

[8] С его источником я уже разбирался. Сперва говорят: Бог должен наказать грешника, ибо того требует справедливость; затем говорят: Он не наказывает грешника, но вместо него наказывает совершенно праведного человека, приписывает его праведность грешнику и таким образом остается справедливым. Бывало ли когда такое смешение, такое переворачивание правого и неправого! Справедливость *не могла бы* обращаться с праведным как с неправедным; и если бы справедливость требовала наказания за грех, она *не могла бы* оставить грешника безнаказанным. Возложить страдание на праведного во имя справедливости — попросту чудовищно. Неудивительно, что неверие разгулялось. Верьте в Молоха, если хотите, но называйте его Молохом, а не Справедливостью. Будьте уверены: то, что дает Бог, праведность, которая от Бога, — действительная вещь, а не презренное законничество. Молю Бога, чтобы никакая праведность не была мне вменена. Пусть меня считают тем грешником, какой я есть: ничто не удовлетворит моей нужды, кроме того, чтобы стать праведным человеком, тем, кто больше не станет грешить.

[9] Слово *imputed* («вменено») встречается в Новом Завете лишь однажды. Могла ли эта злая доктрина возникнуть из какого-либо недоразумения при чтении того места, где оно встречается, — я едва ли стану разбирать. Слово в том

употреблении, какое дает ему Павел, и вся мысль, из которой это употребление исходит, столь же отвечают моему чувству правды и справедливости, сколь общепринятое его употребление вызывает во мне отвращение. Апостол говорит, что Аврааму нечто было вменено в праведность, или, как сказано в пересмотренном переводе, «зачтено ему»: что же было таким образом вменено Аврааму? Праведность другого? Боже упаси! Его собственная вера. Вера Авраама зачтена ему в праведность. Вменять праведность одного другому — значит просто совершать ложь; назвать веру человека его праведностью — значит просто сказать истину. Разве не праведно было со стороны Авраама повиноваться Богу? Иудеи полагали праведность в соблюдении всех подробностей закона Моисея; Павел говорит, что вера в Бога была признана праведностью прежде, чем родился Моисей. Вы можете ответить: Авраам во многом был несправедлив и вовсе не был праведным человеком. Верно; он не был праведным человеком в сколько-нибудь полном смысле; его праведность никогда не удовлетворила бы Павла; и, будьте уверены, она не удовлетворяла и Авраама; однако его вера все же была праведностью, и, если бы она не была вменена ему в праведность, где-то оказалась бы ложь, ибо такая вера, как у Авраама, *есть праведность*. Это было не простое умственное признание существования Бога, вполне совместимое с глубочайшим атеизмом; это была вера, составляющая одно с действием: «Он пошел, не зная, куда идет». Само действие веры в Бога, когда человек верит так, что в час действия повинуется Богу, есть высочайшее действие, самая глубокая, самая высокая праведность, на какую способен человек; оно лежит в корне всякой иной праведности, и дух его будет трудиться, пока человек не

станет совершенным. Если определить праведность по здравому смыслу, то есть по-божественному, — ибо религия ничто, если она не есть глубочайший здравый смысл, — как воздаяние каждому должного, тогда, несомненно, первый долг — перед Тем, Кто делает нас способными быть должными, то есть делает нас ответственными существами. Вы можете сказать: не это первое чувство долга у человека. Верно; но первое в действительности редко воспринимается первым. Первый долг слишком высок и глубок, чтобы первым войти в сознание. Если бы кто-то родился совершенным, что я считаю вечно невозможным, тогда высший долг первым вошел бы в сознание. При том же рождении, какое дано нам, лишь исполнение или хотя бы честная попытка исполнить множество иных обязанностей в конце концов приводит человека к пониманию, что его долг перед Богом — первый, глубочайший и высочайший из всех, включающий и требующий исполнение всех прочих обязанностей. Человек мог бы прожить тысячу лет, пренебрегая долгом, и так и не увидеть, что на нем лежит обязанность довериться Богу и делать то, что Он велит, — не получить даже проблеска понимания того, что он чем-то Ему обязан. Допускаю: будь Бог таким, каким он Его считает, человек и вправду был бы мало Ему обязан; но он считает Его таким вследствие того, что не делает того, что, как он знает, должен делать. Он не вышел к свету. Он умертвил, притупил, ожесточил свою природу. Он не был человеком без лукавства, не был истинным и справедливым.

[10] Но хотя вера в Бога — первый долг и потому вполне может быть названа праведностью в человеке, в котором она действует, даже если она несовершенна, есть и более веская причина считать ее человеку праведностью. Это то

единственное духовное действие, которое приводит человека в соприкосновение с изначальной творящей силой, способной помогать ему во всяком стремлении к праведности и обеспечить его движение к совершенству. Поэтому человека, осуществляющего эту веру, тоже с полным основанием можно назвать праведным, сколь бы далек он ни был от полноты праведности. Мы можем назвать красивой женщину, не совершенную красотой; в Библии постоянно признаются праведными люди, весьма далекие от совершенной праведности. Библия никогда не занимается невозможным, никогда не требует ни от кого в данный миг праведности, на которую в этот миг он неспособен; но и не возлагает ни на кого никакого иного закона, кроме закона совершенной праведности. Она требует от него праведности; когда он являет ту праведность, на какую способен, она, пока удовлетворившись этим, продолжает требовать большего: здравый смысл Библии прекрасен.

[11] Для человека, не имеющего веры в Бога, вера в Бога не может выглядеть праведностью; он также не может знать, что она созидает всякую иную праведность по отношению к равным и низшим существам; он не может знать, что она не просто начало праведности, а зародыш жизни, деятельная сила, из которой вырастает праведность жизни. Она не похожа на единичный, отдельный праведный поступок; это действие всего человека, обращающегося от зла к добру — поворачивающегося спиной ко всему, что противно праведности, и вступающего на путь, на котором нельзя остановиться, на котором он должен идти дальше, становясь все праведнее, все более открывая, что такое праведность и что неправедно в нем самом. В одном действии веры в Бога — то есть в том, что он отдает себя исполнению Его велений,

— он отрекается от зла: и от того, что знает в себе, и от того, которого еще не знает. Человек действительно может обратиться к послушанию Богу и все еще быть способен на многие несправедливости к ближнему, в которых пока не распознал несправедливости; но, продолжая повиноваться, он будет продолжать открывать их. Он не только будет все тверже решаться быть справедливым, но и станет все чувствительнее к самой мысли о несправедливости — я имею в виду не в других, а в нем самом. Нельзя поверить, что человек обратился к Богу, если он по-прежнему способен на сознаваемую несправедливость к ближнему. Во всяком случае, человек не может быть близок к Богу так, чтобы учиться справедливому по отношению к Богу, и не быть близок к ближнему так, чтобы учиться распознавать несправедливое по отношению к нему; ибо его воля, которая и есть сам человек, держится праведности, избирает быть праведной. Если человека следует винить за то, что он не избирает праведность, не обращается к свету, не выходит из тьмы, тогда человека, который избирает, обращается и выходит, следует оправдать в его поступке и признать праведным. Он еще не вполне праведен, но возрастает в праведности и к праведности. Ему нужен творящий Бог и время для воли и усилия. Еще не вполне праведный, он еще не может поступать вполне праведно, ибо совершенно жить может лишь человек, в котором образ Бога достиг совершенства. Родившись в мир без праведности, он не может видеть, не может знать, не соприкасается с совершенной праведностью; и было бы глубочайшей несправедливостью в какой-либо миг требовать от него под угрозой наказания большего, чем он умеет дать; но высочайшая любовь — непрестанно требовать от него совершенной праведности как того,

чего он должен достигнуть. Всеми силами жизни и возможностями, какие в нем есть, он должен продолжать обращаться к праведности и отрекаться от беззакония, всегда стремясь к совершенству Бога. Такую послушную веру Бог с полнейшей справедливостью и правдой называет праведностью в человеке, ибо это все, чего Сам Бог может от человека требовать. Ее было бы недостаточно для праведности Бога, Иисуса или какого-либо достигшего совершенства святого, потому что они способны на совершенную праведность и, зная, что такое совершенная праведность, избирают быть совершенно праведными; но благодаря заключенным в ней жизни и росту ее достаточно в данный миг для ученика Совершенного. Праведность Авраама не шла в сравнение с праведностью Павла. Он не боролся с собой за праведность так, как Павел, — не потому, что был лучше Павла и потому не нуждался в борьбе, а потому, что его понятие о требуемом от него и близко не подходило к понятию Павла; однако он был праведен так же, как был праведен Павел: он начал становиться праведным, и Бог назвал его праведность праведностью, ибо вера есть праведность. Его вера была действием, признающим Бога своим законом, а это не частичное действие, но действие всеохватное и всеопределяющее. Единичный праведный поступок по отношению к ближнему едва ли можно было бы вменить человеку в праведность. Человек, не стремящийся к праведности, все же может совершать немало праведных поступков: они не будут ему забыты, но и не будут вменены ему в праведность. Поступок послушной веры Авраама был праведностью ничуть не меньше оттого, что его праведность далеко отставала от Павловой. Авраам начал в начале долгого, медленного, разочаровывающего

приготовления иудейского народа; Павел начал в его конце, имея за собой историю Иисуса. Оба верили, повинуясь Богу, и потому оба были праведны. Они были праведны, потому что отдали себя Богу, чтобы Он сделал их праведными; и не назвать таких людей праведными, не вменить им их веру в праведность было бы несправедливо. Но Бог всецело справедлив и нисколько не напоминает римского императора с юридическим складом ума или дурного папу, формулирующего учение о заместительной жертве.

12 Что же такое праведность, которая от Бога по вере? Это просто то, чем Бог хочет видеть каждого человека, осуществленное в нем через постоянное послушное соприкосновение с Самим Богом. Это не атрибут Бога или человека, а действительность характера в Боге и в человеке. Это Божья праведность, осуществленная в нас, так что, как Он праведен, так и мы праведны. Она не состоит в повиновении тому или иному закону; даже соблюдение каждого закона, при котором мы ни на волос не пошли бы против какого-либо из них, еще не было бы праведностью. Быть праведным — значит иметь такие сердце, душу, ум и волю, которые без оглядки на закон отшатнулись бы в ужасе от малейшего мыслимого нарушения любого закона. Это значит настолько любить справедливое и правое, чтобы человек не мог сделать ничего менее чем совершенно праведного. Праведным человека делает не любовь к праведности отвлеченно, а такая любовь к справедливому обращению с каждым, с кем мы соприкасаемся, при которой невозможно ничего меньшего, чем исполнение с ясной радостью нашей божественной связи с ним или с ней. Ибо праведность Бога простирается далеко за пределы одних поступков и требует от нас любви и помогающего милосердия как

нашей высшей обязанности и справедливости к собратьям — также и к тем, кто ничего для нас не сделал, и даже к тем, кто причинил нам зло. Наши отношения с другими — прежде всего с Богом, затем с ближним, в соответствующем порядке и мере — однажды должны стать, каковы они и есть по истинной своей природе, радостью нашего бытия; и тогда нам никогда не покажется благом ничто не согласное с этими блаженными отношениями. Каждая мысль будет не просто справедлива, но справедлива потому, что она нечто большее, потому, что она жива и истинна. Какому сердцу в Царстве Небесном придет в голову строить метафизическую систему того, чем мы обязаны Богу и почему обязаны? Свет нашей жизни, наша единственная, вечная и бесконечная радость — просто Бог — Бог — Бог — ничто, кроме Бога, и все Его создания в Нем. Он все и во всем, и дети Царства это знают. Он объемлет все; быть неверным чему-либо из созданного Им — значит быть неверным Ему. Бог есть истина, есть жизнь; быть в Боге — значит знать Его и не нуждаться в законе. Существование будет вечной божественностью.

[13] Вам не хотелось бы, чтобы было так? Иного нет и быть не может; но, прежде чем судить об этом, вы должны хотя бы немного узнать Бога таким, каков Он есть, а не таким, каким вы Его воображаете. Я говорю: *каким вы Его воображаете*, — потому что невозможно, чтобы какое-либо создание знало Его таким, каков Он есть, и не желало Его. По мере того как мы знаем Его, мы неизбежно должны желать Его, пока наконец не станем жить в Нем и для Него всем своим сознательным сердцем. Вот почему иудеи не любили Господа: Он так просто заботился о воле Своего Отца, а не о том, что они называли Его волей.

[14] Итак, праведность, которая от Бога через веру в источник, в первооснову этой праведности, — вещь совершенно того же рода, что и праведность Бога, отличающаяся лишь так, как сотворенное отличается от творящего. Праведность того, кто исполняет волю своего небесного Отца, есть праведность Иисуса Христа, собственная праведность Бога. Праведность, которая от Бога через веру в Бога, есть Божья праведность. Человек, имеющий эту праведность, думает о вещах так, как думает о них Бог, любит то, что любит Бог, не заботится ни о чем, о чем не заботится Бог. Даже пока эта праведность лишь рождается в нем, человек скажет себе: «Зачем мне тревожиться об этом или о том? Заботится ли об этом Бог? Нет. Так зачем же мне заботиться? Я не должен заботиться. Я не буду заботиться!» Если он не знает, заботится Бог об этом или нет, он скажет: «Если Бог желает, чтобы я получил желаемое, Он даст мне это; если Ему не нужно, чтобы я получил это, то и мне не будет нужно. А пока я буду делать свое дело». Человек с Божьей праведностью любит вещь не просто потому, что она правая, но любит в ней саму правоту. Он не только любит мысль, но любит человека, думающего эту мысль; любит мысль, живую в человеке. Он черпает радость не из себя. Он чувствует радость в себе, но она приходит к нему от других, а не от него самого: прежде всего от Бога, затем от кого-нибудь, от любого, от каждого. В полноте своего довольства он предпочел бы сам уйти из бытия, сам прекратить существование, чем чтобы это случилось с другим. Он мог бы обойтись без знания самого себя, но не мог бы знать себя и обойтись без кого-либо из братьев или сестер, данных ему Богом. Человек, который действительно знает Бога, доволен и всегда будет доволен тем, что изберет для него Бог, Который есть самое «я» его

«я»; он всецело Божий и нисколько не свой. Его сознание себя — отражение от окружающих, а не результат обращения собственного взора внутрь, на себя. Радость дает ему не созерцание того, каким Бог его сделал, а бытие тем, каким Бог его сделал, и созерцание того, каков Сам Бог и какими Он сделал его собратьев. Ему ничего не нужно, и он чувствует, что имеет все, ибо он в лоне своего Отца и мысли Отца приходят к нему. Он знает: если ему что-нибудь нужно, оно принадлежит ему прежде, чем он попросит; ибо Отец в силе и истине Своего отцовства возжелал, чтобы он был с Ним едино.

[15] Вот это или нечто подобное — ибо слова бедны для передачи лучшего — и есть праведность, которая от Бога по вере; она так далека от вещи, воздвигнутой на мусорной куче юридической фикции, называемой заместительной жертвой, или ее тени, называемой вмененной праведностью, что понять ее может лишь дитя с детским сердцем, настолько опережающее мудрых и разумных и настолько от них отличное. Мудрый и разумный толкует Бога по себе и не понимает Его; дитя толкует Бога по себе и понимает Его. Мудрый и разумный должен построить систему и расположить все по своему уму, прежде чем сможет сказать: *Я верую*. Дитя видит, верит, повинуется — и знает, что должно быть совершенно, как совершен его небесный Отец. Если бы ангел, с виду пришедший с неба, сказал ему, что Бог его освободил от этого, что не требует от него столь многого, а удовлетворится меньшим; что, конечно, Он не может позволить ему быть злым, но многое пропустит, смягчив Свои требования, потому что тому так трудно быть вполне добрым и потому что Он так нежно его любит, — дитя Бога тотчас распознало бы среди звездного сияния ангела мерцание адского пламени и сказало бы сияющему:

«Отойди от меня, сатана». И не было бы в этом ни малейшего чуда или заслуги, ибо при словах обманщика, если бы хоть на кратчайший миг представить их истинными, тень восстающего ада омрачила бы лик творения; надежда исчезла бы; вечность стала бы подобна мертвому человеческому телу; слава угасла бы на лице Бога — пока из пещер вселенной не вырвался бы стон громоподобного *нет* и истина, вспыхнув в душе Его ребенка из сердца Вечного, Бессмертного, Невидимого, не испепелила бы ложь вестника тьмы.

16 «Но как Бог может осуществить это во мне?»

17 Позволь Ему сделать это — и, возможно, узнаешь; если и не узнаешь никогда, все же это будет совершено. Помоги Ему сделать это, иначе Он не сможет. Он порождает возможность того, чтобы ты стал Его сыном, Его дочерью; Он дает тебе способность этого пожелать, но пожелать должен ты. Если Он не совершает этого в тебе — то есть если до сих пор ты не давал Ему начать, — зачем мне, даже если бы я знал, как это делается, рассказывать тебе, как Он сделал бы то, чего ты Ему сделать не позволяешь? Зачем тебе знать? Какое право у тебя знать? Да и как ты мог бы знать? Ведь это неизбежно касается вещей более глубоких и высоких, нежели те, о которых ты *можешь* что-либо знать, пока работа хотя бы не началась. Быть может, если бы ты одобрил замыслы радостного Творца, ты позволил бы Ему сделать из тебя нечто божественное! Учить твой рассудок тому, чему должно научиться все твое существо, чего нельзя понять без всего существа, чего тебе не принесло бы пользы понять, если бы ты не понял всем своим существом, — если это и составляет чье-либо дело, то не мое. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов и мертвые учат своих

мертвецов; я же постараюсь их разбудить. Тем, кто бодрствует, я взываю: «Ради вашего Отца и Первородного между многими братьями, Которому мы принадлежим, ради тех, кого Он дал нам любить нежнее всего, пусть терпение совершит свою совершенную работу. Изваяние под резцом скульптора, стой неподвижно под ударами его молотка. Глина на круге, дай пальцам божественного Гончара лепить тебя по их воле. Повинуйся самому тихому слову Отца; слушай Брата, Который знает тебя и умер за тебя; повергни свой грех и растопчи его насмерть.

18 Брат, когда сидишь дома, в своем жилище, которое есть храм Господа, открой все окна, чтобы вдохнуть воздух Его приближения; поставь стража на своей башенке, чтобы он вслушивался во тьму, ожидая звука Его прихода, а твоя рука пусть лежит на щеколде, чтобы открыть дверь при первом Его стуке. Если откроешь дверь и не увидишь Его, не говори, что Он не стучал, но пойми: Он там и хочет, чтобы ты вышел к Нему. Быть может, у Него есть для тебя дело. Ступай и сделай его, и, возможно, ты вернешься с новой молитвой и найдешь в своей душе новое окно.

19 Никогда не жди более подходящего времени или места, чтобы говорить с Ним. Ждать, пока пойдешь в церковь или в свою уединенную комнату, — значит заставлять ждать *Его*. Он выслушает, когда ты идешь по проселку или людной улице, по общему выгону или среди блистательного собрания.

20 Помни, если действительно способен это понять: служение, которого Он требует, совершается не в какой-либо церкви. Он не скажет ни одному человеку: «Ты никогда не ходил в церковь; отойди от Меня; Я тебя не знаю», — но скажет: «Поскольку ты ни разу не помог ни одному из детей Моего Отца, ты ничего не сделал для

Меня». Церковь или часовня — *не* место служения Богу. Это место молитвы, место хвалы, место насыщения благим, место познания Бога — а какое место не таково? Это место, где можно взглянуть в глаза ближнему и вместе с ним любить Бога. Но место служения Богу — мир, в котором ты движешься, место твоей жизни, любви и труда, а не церковь, куда ты ходишь в праздничный день. Служи ближнему — и ты служишь Ему.

[21] Не очень заботься, если люди насмехаются над тобой и говорят о тебе ложь или из добрых побуждений недостойно защищают тебя. Не очень заботься, даже если праведные отвернутся от тебя. Заботься лишь о том, чтобы самому не отвернуться от них. Черпай мужество в том, что *нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не стало бы известно*.

Окончательное снятие масок

[1] *Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не стало бы известно*. — Матфея 10:26; Луки 12:2.

[2] Бог — Бог не скрывающий, а открывающий. Все Его дело по отношению к сотворенным Им существам — а где еще может быть Его дело? — есть откровение: Он дает им истину, являет им Себя, чтобы они знали Его, приближались к Нему все более и более и так все более становились для Него детьми-собеседниками. Если что-либо остается для нас во тьме, то никогда не потому, что Он это скрывает, а потому, что мы еще не таковы, чтобы Он мог нам это открыть.

[3] Мы, конечно, можем без непочтительности сказать: то, на что Богу требуется время, Он не мог совершить сразу. Его воля не может в конечном счете потерпеть поражение; там же, где ей временно противятся, само это противление служит осуществлению высшей части Его воли. Он дал человеку силу противиться Его воле, чтобы посредством этой же силы человек мог в конце концов исполнить Его волю в более высоком роде и образе, чем было бы для него возможно иначе. Бог жертвует Своей волей ради человека, чтобы человек стал подобен Ему и отдал все истине; Он делает человека способным поступать дурно, чтобы тот мог избрать и полюбить праведность.

[4] Факт, что все медленно выходит на свет человеческого познания — насколько это возможно для сотворенного, — Господь, по свидетельству евангелистов, использует трояким образом. В одном случае, которым мы сейчас не

станем заниматься, — *Марка* 4:22; *Луки* 8:16 — Он прибегает к нему, чтобы подчеркнуть обязанность получивших свет дать ему сиять: они должны сделать свою часть дела, чтобы все вышло наружу. В *Луки* 12:2 записано, как Он применил его к лицемерию, показав его бесполезность; а в случае, о котором сказано в *Матфея* 10:25, Он использует этот факт, чтобы внушить бесстрашие перед ложным истолкованием наших слов и поступков.

5 Каким бы способом Господь ни намеревался это осуществить, Он дает нам понять, что в управлении вселенной существует неизменный закон: все, что неправедные хотят скрыть, и все, чья сокрытость причиняет боль праведным, выйдет на свет.

6 «Берегитесь лицемерия, — говорит Господь, — ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не стало бы известно». Что такое лицемерие? Желание казаться лучше, чем ты есть; сокрытие своих поступков, потому что ты не хочешь, чтобы о тебе так думали, потому что тебе было бы стыдно, если бы о них узнали там, где знают тебя. Совершать их — мерзость; скрывать их, чтобы казаться лучше, чем ты есть, — еще большая мерзость. Человек, который в собственном сознании не живет словно под открытым небом, — лицемер; и для большинства из нас вопрос в том, становимся ли мы такими лицемерами в меньшей или в большей степени. Стыдимся ли мы того, что не были открыты и ясны? Боремся ли мы с тем злом, которое искушает нас лицемерить? В Господе нет ни одной мысли, которой Ему пришлось бы стыдиться перед Богом и Его вселенной, и Он не успокоится, пока не приведет нас к той же свободе. Ободряя нас продолжать борьбу, Он говорит, что алчущие

и жаждущие праведности насытятся, что они станут столь праведными, сколь праведными Дух Отца и Сына в них способен побудить их желать стать.

7 Господь также говорит: «Если хозяина дома назвали веельзевулом, то не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не стало бы известно». Человеку, любящему праведность и своих собратьев, всегда должно быть больно, когда его не понимают; а непонимание особенно неизбежно там, где он действует по началам, превосходящим понимание окружающих, которые, будучи христианами лишь вполсердца, считают себя законодателями праведности и обвиняют его именно в том, уничтожение чего составляет цель его жизни. Самого Господа обвиняли в том, что Он пьяница и водится с дурными людьми, — и, возможно, в наши дни немало тех, кто именуется Его именем и учит воздержанию и добродетели, сочли бы Его таким. Он жил на более высокой духовной ступени, чем они способны понять, действовал с такой высоты тех добродетелей, которые они желали бы внушать, куда их взгляд подняться не может. С их песчаных холмиков не видны Его Гималаи. Господь терпел их злые языки и не страшился, не тревожился; но из Своего собственного опыта утешает тех, кто, будучи Его посланцами, должен разделить Его участь. «Если хозяина дома назвали веельзевулом, то не тем ли более домашних его!» — «Если они оскорбляют человека, как же не станут они еще более оскорблять его слуг!» Пока люди считают себя христианами на каком-либо ином основании, кроме того, что они рабы Иисуса Христа, дети Бога и свободны от самих себя, до тех пор они будут поносить слуг Учителя. «Не колеблитесь, — говорит Господь, — высказывать истину, которая в вас; не

заботьтесь о том, как они вас называют; возвещайте с кровель; никого не бойтесь».

[8] Он говорил это людям, на которых прежде всего рассчитывал в распространении вести о Царстве Небесном; но слова эти относятся ко всем, кто Ему повинуется. Редко кто из старавшихся исполнить свой долг не испытывал досады, разочарования, быть может, ярости из-за противодействия, непонимания и ложного изображения себя, которым он за это подвергался, — причем главным образом со стороны тех, кто получил пользу от его стараний быть ближним для всех, и их друзей. Рассказы о бессердечии и неблагодарности, с которыми приходится сталкиваться, заставляют все яснее видеть, что человечество, не прилагающее волевого усилия к праведности, достаточно низко, чтобы опуститься на любую глубину позора. Тяжело выносить и суждения мнимого превосходства. Богач, выжимающий из рабочих последнюю копейку, торжественно читает своему бедному родственнику наставление о расточительности из-за самого скромного проявления щедрости! Концом бревна, торчащего у него из глаза, он берется вынуть соринку из глаза своего брата! Если человек, стремясь жить более истинной жизнью, всего лишь живет иначе, чем его соседи, для объяснения этого изобретут странные побуждения. Честной душе утешительно верить, что однажды истина станет известна, что люди перестанут предполагать, будто он был таким и поступал так, как рассказывали о нем тупые головы и сердца. Еще большее удовлетворение принесет разоблачение там, где человека не понимают те, кому следовало бы знать его лучше: даже не понимая, в чем дело, они считают само собой разумеющимся, что он вот-вот совершит дурной поступок, тогда как он молит о

мужестве внимать не себе и не друзьям, а одному Господу. Сколько людей слышат и принимают слова: «Не сообразуйтесь с этим миром», — ни разу не заметив, что то, что они называют Обществом и чему кланяются как высшей власти, есть Мир и ничто иное; и что те, кто считается с тем, что подумают и что скажут люди, сообразуются с миром — то есть принимают его облик. Истинный человек чувствует, что Общество не имеет над ним власти судьи или законодателя: он под законом Иисуса Христа, и этот закон освобождает его от закона Мира. Пусть человек поступает правильно и не тревожится о никчемном мнении; чем меньше он слушает пересуды, тем легче ему будет любить людей. Пусть утешается мыслью, что истина должна открыться. Ему не придется идти через вечность с клеймом невежд или злобных судей. Он найдет равных себе и будет судим ими.

9 Но ты, ожидающий оправдания светом, действительно ли готов сам встретить такое обнажение, какое должно принести всеобщее раскрытие вещей? Готов ли ты принять истину, какова бы она ни была? Я вовсе не спрашиваю: настолько ли чиста твоя совесть, настолько ли чисто и непорочно сердце, что ты не боишься самого полного раскрытия всего, что в тебе, перед взором людей и ангелов? — Что до Бога, Он уже и сейчас все знает! Я хочу спросить: так ли ты любишь истину и правду, что приветствуешь или хотя бы охотно принимаешь мысль о раскрытии того в тебе, что еще неизвестно тебе самому, — раскрытии, которое может послужить славе истины, заставив тебя устыдиться и смириться? Возможно, например, ты был неправ в отношении тех, ради исправления чьей несправедливости к тебе ты сейчас с нетерпением ожидаешь великого суда Божьего: приветствуешь ли ты любое открытие, даже если оно

оправдает других, которое сделает тебя истиннее, обнаружив ложное в тебе? Готов ли ты к тому, чтобы тебя научили радоваться, что неправ был ты, когда ты считал неправыми других? Если с таким послушанием ты можешь встретить откровение сокрытого, значит, ты от истины и тебе нечего бояться; ибо, что бы ни пришло, оно лишь сделает и может сделать тебя более истинным, смиренным и чистым.

10 Имеет ли Господь в виду, что все, что человек когда-либо делал или думал, должно быть обнажено перед вселенной?

11 Думаю, настолько, насколько это необходимо для понимания человека теми, кто его знал или кому важно знать его. В будущем же и для тех, кому еще предстоит узнать его, человек отныне, если он истинный человек, будет прозрачен для всех, кто способен его читать. Тогда, как и теперь, человек, возможно, не будет понятен стоящим ниже его, но все будет действовать ради откровения, ничто — ради сокрытия или непонимания. Кто в Царстве пожелает скрытности или захочет не понимать? Сокрытие есть тьма; непонимание — туман. Человек будет держать дверь открытой для всякого желающего войти в его дом, ибо дом его — храм живого Бога: там есть на что посмотреть и нечего скрывать. Слава истинного мира в том, что в нем нет ничего нуждающегося в покрове, тогда как вечно и вечно будет что открывать. Свет каждого будет сиять ради блага и славы его ближнего.

12 «Неужели все мои слабости, все дурные привычки, вся моя мелочность, все дурные мысли, с которыми я не могу совладать, — неужели все это будет выставлено перед вселенной?»

13 Да, если они настолько властвуют в тебе, что составляют твой характер, — то есть если они и есть ты. Но если ты вышел из тьмы, если борешься с ней, если честно стараешься ходить во свете, ты можешь надеяться на Бога, твоего Отца, что о том, что Он исцелил, что исцеляет, что простил, больше не услышат, поскольку это уже не составляет части тебя. Или, если какое-то твое зло все же должно быть увидено, будет увидена правда о нем: это то, с чем ты воюешь, а не то, что бережешь и лелеешь. Бог будет справедлив к тебе — так справедлив! — справедлив справедливостью отца, любящего свое дитя, Который хочет видеть тебя чистым, Который не избавит тебя ни от какого необходимого стыда и не оставит тебя подверженным стыду ненужному. То, над чем мы поднялись, мертво и забыто; а если и вспомнится, с нами Бог, чтобы утешить нас. «Если кто согрешит, мы имеем Утешителя пред Отцом». Мы можем так же сердечно доверить Богу свое прошлое, как и будущее. Оно не причинит нам вреда, пока мы не пытаемся ничего скрывать, пока готовы склонить голову в искреннем стыде там, где нам подобает стыдиться. Ибо стыдиться — дело святое и блаженное. Стыд способен посрамить лишь тех, кто хочет казаться, а не тех, кто хочет быть. Стыд — для посрамления тех, кто хочет сдать экзамен, а не тех, кто желает проникнуть в сердце вещей. Во имя Бога будем отныне жить так, чтобы нам нечего было стыдиться, и будем готовы встретить любой стыд, идущий нам навстречу. Ибо смиренно стыдиться — значит погружаться в очищающую купель истины.

14 Об откровении путей Божьих мне говорить незачем: Он всегда, с самого начала, открывал их Своему пророку, Своему ребенку и будет открывать вечно. Но позвольте

сказать несколько слов о другом откровении — откровении злым их собственного зла.

15 Единственное страшное — или, по крайней мере, самое страшное — откровение есть откровение человека самому себе. Какой это будет ужас для подлого человека — более всего для того, чье удовольствие усиливалось страданием других, для человека, знавшего, что люди с обычными нравственными понятиями отвернулись бы от него с омерзением, но до сих пор не проникшего в понимание того, что он такое, — какой ужас будет для него, когда его глаза откроются и он увидит себя так, как видят его чистые, как видит его Бог! Представьте, что такой человек вдруг просыпается и не только видит устремленные на него с омерзением и изумлением глаза вселенной, но в ту же минуту видит самого себя таким, каким видят его эти глаза! Что за пробуждение — в полном блеске факта и сознания, истины и ее поругания!

16 Чтоб знать свое деянье, лучше бы себя не знать!

17 Или подумайте, каково должно быть человеку, считающему себя религиозным, правоверным, примерным, внезапно осознать, что в нем вовсе не было религии — лишь любовь к себе; не было любви к правде — лишь великая любовь к тому, чтобы оказываться правым! Что за открытие: он был просто лицемером — тем, кто любил *казаться* и не *был*! Если я правильно понимаю притчу о богаче и Лазаре, богатые, по-видимому, принадлежат к тем, кого впоследствии ожидают самые резкие перемены участи. Кто не знал наглости их низкого обращения с бедными, притом что они все время причисляют себя к избраннейшим! Ужасно, на что способны сделать мужчину или женщину богатство и мнимая религиозность с порождаемым ими

самодовольством. Маммона, презреннейшее из божеств, получает больше всего поклонения — и вне дома Божьего, и внутри него: для многих религиозных богачей в тот день великим осуждающим откровением станет их обращение с бедными, к которым они считали себя очень добрыми. «Он льстит себе в собственных глазах, пока беззаконие его не обнаружится во всей своей мерзости». Человек может годами испытывать отвращение к чему-то отвлеченно и в конце концов обнаружить, что все это время был виновен в том сам. Когда мы носим что-нибудь под плащом и ласкаем, от нас скрыто его тождество с тем, что стоит перед нами у позорного столба. Немало людей могли бы прочесть это и согласиться, держа в собственной груди птицу-падальщика, которую они так никогда и не узнают, потому что ее оперение кое в чем отличается от оперения птицы, которую они называют дурным именем.

[18] Из всех, кто однажды будет стоять в ужасе и сердечной муке, сознавая, что само их существование — позор, хуже всего придется тем, кто сознательно был вероломен со своими собратьями; кто, притворяясь другом, использовал ближнего для собственных целей; и особенно тем, кто, притворяясь другом, разлучал друзей. Таким Данте отвел самый нижний ад. Если есть что-либо, что Бог ненавидит, это, должно быть, предательство. Не воображайте, будто Иуда — единственный человек, о котором Господь сказал бы: «Лучше было бы тому человеку не родиться!» Говорил ли Господь из личного негодования или изрекал духовный факт, живой закон? Говорил ли Он в гневе на предательство Своего апостола по отношению к Нему или из жалости к человеку, которому лучше было бы не родиться? Возникло ли это слово из знания какого-то страшного наказания, ожидающего Иуду, или из чувства

ужаса — быть таким человеком? Достойно жалости более всего, что человек должен носить в себе сознание, что он таков, — знать, что именно он, а не другой, и есть тот вероломный! «О Боже, — думаем мы, — как ужасно было бы, если б это был я!» Ровно настолько же ужасно, что это Иуда! А разве я не делал вещей, в которых был тот же зародыш, — зародыш, который, достигнув своего злого совершенства, явился бы точащим червем предательства? Если я не люблю ближнего как самого себя, однажды я могу его предать! Будем же сострадательны и смиренны и будем надеяться за каждого человека.

19 Человек может опускаться так медленно, что, давно уже став дьяволом, продолжает оставаться добрым прихожанином государственной церкви или добрым диссентером и считать себя добрым христианином. Непрестанно повторяемый грех вопреки хотя бы самому слабому сознанию зла должен привести к страшному пробуждению. Бывают люди, которые не просыпаются, чтобы узнать, насколько они злы, пока — вот! — на них не устремится взор толпы: толпа глядит самоправедными глазами, сама делая подобное, но еще не уличенная; грешит на иной лад и потому судит суровее всех, думая осуждением избежать суда. Но нет ничего сокровенного, что не открылось бы. Что, если единственным способом пробудить вероломного, сребролюбивого вора Иуду к познанию себя было дать делу дойти до конца и его поцелую предать Учителя? Иуда не ненавидел Учителя, когда целовал Его; но, не будучи истинным человеком, он предал Его даже самой своей любовью.

20 Добрый человек, сознающий собственное зло и не желающий иного убежища, кроме очищающего света, будет радоваться прежде всего тому, что разоблачение

зла служит победе истины, Царства Бога и Его Христа. В снятии маски с лицемера, в раскрытии сокрытого, в обнаружении тайного он видит вмешательство Бога, Который ради него и всего рода человеческого встает между ними и ложью.

21 Единственное торжество, которое истина когда-либо может одержать, — признание ее сердцем лжеца. Ее победа — в человеке, который, не довольствуясь словами: «Я был слеп, а теперь вижу», восклицает: «Господи Боже, справедливый и истинный, пусть я погибну, но Ты пребудь! Дай мне жить, потому что Ты живешь, потому что Ты спасаешь меня от смерти во мне самом, от неправды, которую я питал в себе и даже называл праведностью! Да святится имя Твое, ибо Ты один истинен; Ты один любишь; Ты один свят, ибо Ты один смирен! Ты один чужд себялюбия; Ты один никогда не искал Своего, но искал блага Своих детей! Да, Отче, да будешь Ты истинен, а всякий человек лжив!»

22 Для обиженного невозможно удовлетворение местью. Самое суровое наказание, какое можно наложить на причиняющего зло, — просто дать ему узнать, что он такое; ибо природа его от Бога и глубочайшее в нем божественно. И никакое другое наказание, кроме того, чтобы заставить грешника увидеть чудовищность нанесенного им вреда, не может удовлетворить обиженного. Пока обидчик не признает неправоты, пока смеется над мыслью о возмещении или, признавая неправоту, радуется содеянному, никакое страдание не могло бы удовлетворить месть, тем более справедливость. Обе постоянно сознавали бы свое бессилие. Поэтому, если удовлетворенная справедливость есть неизбежное вечное событие, удовлетворенная месть есть вечная

невозможность. Ведь в ту минуту, когда единственное соразмерное наказание — видение самого себя — начинает по-настоящему действовать на грешника, в ту минуту грешник начинает становиться праведным человеком, и у брата по человечеству, которого он оскорбил, не остается выбора, не остается ничего, кроме как прижать обидчика к груди — тем нежнее, что брат его раскаялся, что он был мертв и ожил, был потерян и нашелся. Вот встреча божественных крайностей: предельное наказание, объятие небес! Они сходятся; «колесо совершило полный круг». Ибо, осмелюсь думать, для сотворенной души не может быть такой муки, как видеть себя мерзкой — мерзкой по собственному действию и выбору. Также осмелюсь думать, что для сотворенной души не может быть наслаждения — кроме, разумеется, единства с Отцом — столь глубокого, как видеть открывшееся небо прощения и явившуюся сияющую лестницу, ведущую в ее собственный родной дом, где вечный Отец все это время ожидал возвращения Своего ребенка.

[23] Итак, друзья, как бы мы ни негодовали, как бы сильно и как бы справедливо ни ощущали нанесенные нам обиды, во вселенной Отца для нас невозможна месть. Я могу сказать себе с самым мстительным чувством: «Вот бы дать этому человеку увидеть, какой он негодяй — что все честные люди сейчас о нем думают!» Но когда настанет эта минута, человек возненавидит себя вдесятеро сильнее, чем мог бы кто-либо другой, и в ту же минуту мое сердце погребет его грех. Собственный океан жалости хлынет из божественных глубин его происхождения от Бога, чтобы затопить этот грех. Постараемся заранее помыслить свое прощение, опередить им время. Смеет ли кто-нибудь предполагать,

что Иисус хотел бы, чтобы он ненавидел предателя, через которого Он пришел на крест? Был ли Он доволен на протяжении всех этих веков тем, как именующиеся Его именем обращались и все еще обращаются с Его народом? Мы еще не измерили глубины прощения, которое требуется и потребуется от желающих быть Его учениками!

24 Тогда наши друзья узнают нас: к радости ли своей или к горю? Упадут ли их сердца, когда они увидят наш подлинный облик? Или они обрадуются, обнаружив, что мы были не так виноваты, как им казалось, в том или ином, что доставляло им тревогу?

25 Однако будем помнить, что раскроется не одно лишь зло; что многие заблуждения, скрывавшие лицо маской, обнажат лик, сияющий красотой истины. И какие бы разочарования ни выпали, для каждого истинного сердца есть утешение в одной вполне достаточной радости: оно стоит у границы Царства, готовясь вступить во все более полное, все возрастающее обладание *наследием святых во свете*.

Наследие

[1] *Благодаря Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете*. — Послание к Колоссянам 1:12.

[2] Получить долю в любом земном наследстве — значит уменьшить долю других наследников. В наследии святых то, чем владеет каждый, увеличивает достояние остальных. Послушайте, что Данте вкладывает в уста своего проводника, когда они проходят через Чистилище:

> [3] Perche s'appuntano i vostri desiri
> Dove per compagnia parte si scema,
> Invidia muove il mantaco a' sospiri.
> Ma se l'amor della spera suprema
> Torcesse 'n suso 'l desiderio vostro,
> Non vi sarebbe al petto quella tema;
> Che per quanto si dice piu li nostro,
> Tanto possiede piu di ben ciascuno,
> E piu di caritade arde in quel chiostro.
>
> [4] Оттого, что жадный взгляд вы устремляете
> На то, где доля убывает от дележа,
> Людские мехи раздувают вздохи зависти.
> Но если высшая любовь, что там обитает,
> К небесам небес обратит ваше желанье,
> Тогда покинет сердце эта боязливая забота:
> Чем чаще там звучит у них слово *наше*,
> Тем больше блага каждому достанется,
> Тем больше в той обители любви пылает.

[5] Данте хочет понять, как может быть, чтобы разделяемое благо тем больше обогащало получающих, чем их больше; и Вергилий отвечает:

[6] Perocche tu rificchi
La mente pure alle cose terrene,
Di vera luce tenebre dispicchi.
Quello 'nfinito ed ineffabil bene,
Che lassu e, cosi corre ad amore,
Com' a lucido corpo raggio viene.
Tanto si da, quanto trova d' ardore:
Si che quantunque carita si stende,
Cresce sovr' essa l' eterno valore.
E quanta gente piu lassu s' intende,
Piu v' e da bene amare, e piu vi s' ama,
E come specchio, l' uno all' altro rende.

[7] Оттого, что мысль твоя привязана
К земному и лишь о земном помышляет,
Из истинного света ты извлекаешь только тьму.
То неизреченное, бесконечное Благо,
Что пребывает там, к Любви стремится быстро,
Как луч к сияющей поверхности — ради сродства.
Оно себя дарует по мере жара:
Так что повсюду, где Любовь свое владычество расширит,
Растущее богатство Бога находит обитель.
И чем больше людей устремляется туда,
Тем больше тех, кого любить, и тем сильнее любят,
И каждый, словно зеркало, дает и принимает.

[8] Итак, в этом наследии человек может желать своей доли и стремиться получить ее без себялюбивого ущерба для других; более того, не получить своей доли значило бы лишить других части их собственной. Посмотрим же немного пристальнее, в чем состоит наследие святых.

[9] Возможно, было бы некоторым логическим насилием над словами этого места утверждать, что «наследие

святых во свете» *должно* означать единственно и исключительно «обладание светом, которое и составляет наследие святых». Вместе с тем буквально здесь сказано: «наследие святых *в свете*»; и это, возможно, делает более вероятным мое понимание: Павел мыслил сам свет как наследие святых, считал свет самой сущностью этого наследия. А если вспомнить, что Бог есть свет; что высшая молитва Господа о Своих друзьях заключалась в том, чтобы они были едино в Нем и Его Отце; и вспомнить слова апостола, сказанные ефесянам: «В Нем мы живем и движемся и существуем», — мы, пожалуй, будем готовы согласиться, что, даже если он не намеревался включить все возможные стороны наследия святых в одно слово *свет*, как я думаю, мысль эта совершенно согласна с его учением. Ибо единственное, что делает существование благом, единственное, ради чего стоит им обладать, — это отсутствие даже тончайшей преграды между нашей жизнью и той жизнью, из которой наша исходит; чтобы мы не только *знали*, что Бог — наша жизнь, но в некоем великом сознании, превосходящем все, что способно представить воображение, ощущали присутствие творящего Бога в самом действии, которым Он непрестанно поддерживает в нас жизнь созданных Им существ. Это лишь другой способ сказать, что само наследие, на которое мы, как дважды рожденные сыновья нашего Отца, имеем право, — а единственное Его желание для нас в том, чтобы мы, так сказать, добились осуществления этого права, — есть просто свет, Сам Бог, Свет. Если вы подумаете о десяти тысячах вещей благих и достойных обладания, что делает их благими и достойными обладания, как не Бог в них? Меня не удовлетворило бы утверждение, что красота мира берет начало в творящей воле Бога; я говорю: самая красота его

есть красота Бога, ибо красота мира — Его собственная прекрасная мысль и должна быть откровением того, что пребывает и движется в Нем Самом. И это еще не все: мой интерес к красоте мира исчез бы, я почувствовал бы, что душа покинула его, если бы вы смогли убедить меня, что Бог перестал заботиться о маргаритке и теперь вместо нее заботится о чем-то другом. Лица некоторых цветов ведут меня обратно к сердцу Бога; и, будучи Его ребенком, я надеюсь, что в своей скромной мере чувствую то, что чувствовал Он, когда, взирая на них в задумчивости, сказал: «Они хороши», то есть: «Они таковы, какими Я их замыслил». [5]

10 Я веду рассуждение к следующему: если бы все виделось нам в своем происхождении от Бога, тогда наследие святых, какова бы ни была форма их обладания, предстало бы светом. Все принадлежит Богу не потому, что находится в Его власти, — это само собой, — но потому, что исходит от Него. Сама тьма становится светом вокруг Него, когда мы думаем, что поистине Он создал тьму, ибо без света не могло бы быть и тьмы. Без Бога не было бы даже ничего; не существовало бы ни представления о ничто, ни действительного ничто, если бы Он не существовал и не призвал к бытию *нечто*.

11 Небытие самым своим именем и природой обязано бытию и действительности Бога. Нет слова, чтобы выразить то, что не есть Бог, нет слова для того *где*, в котором Бога нет: ведь такого места нет и не могло бы быть. Поэтому, я думаю, мы можем сказать, что наследие святых — та доля, которую каждый имеет в Свете.

12 Но как может существовать доля там, где все открыто всем?

[13] Во всем небесном Царстве истинная доля — то, что ты можешь раздать, а не то, что должен удерживать у себя. Мое — то, чем я владею с возможностью отдавать. То, к чему я *не* могу приобщить другого, никак не мое; то, чем я не могу поделиться со всеми, не может по существу быть моим собственным. Тысяча сияний, которые, как рассказывает Данте в пятой песне «Рая», он увидел плывущими им навстречу на планете Меркурий, восклицала:

[14] Ecco chi crescera li nostri amori!

[15] Вот идет тот, кто умножит нашу любовь!

[16] Весь свет — наш. Бог весь — наш. Даже то в Боге, чего мы не можем понять, — наше. Если бы в Боге было что-либо, не принадлежащее нам, тогда Бог не был бы единым Богом. Я не говорю, что мы должны или когда-нибудь сможем познать все в Боге; и за всю вечность мы никогда не постигнем Бога, но Он — наш Отец и должен думать о нас всем Своим существом — если выразиться на нашем скудном языке; Он должен знать нас и то в Себе, чего мы знать не можем, одной и той же мыслью, ибо Он един. Мы и то, чего мы не знаем или не можем знать, встречаемся в Его мысли. И это помогает увидеть, каким образом, притязая на все, мы все же имеем доли. Ибо бесконечность Бога может лишь начинать и затем продолжать открываться через Его бесконечно различных созданий — все они способны дивиться друг другу, восхищаться и любить друг друга, и потому все связаны воедино в Нем, каждое открывая Его другим. Ибо каждое человеческое существо подобно грани, вырезанной в великом алмазе, которому я дерзну уподобить Отца Того, Кто уподобляет Свое Царство жемчужине. Каждый мужчина, женщина, ребенок — ведь

и незавершенное принадлежит Ему и самой своей незавершенностью открывает Его как Творца, продолжающего трудиться над Своим творением, — являет Бога. У меня есть моя весть о моем великом Господе, у вас — ваша. Ваша собака, ваша лошадь рассказывают вам о Том, Кто заботится обо всех Своих созданиях. Ни одно из них не вышло из Его *рук*. О драгоценных веществах земли — об угле и алмазах, железе, глине и золоте — пожалуй, можно сказать, что они вышли из Его рук; но живые существа происходят из Его сердца — почти из той же области, откуда произошли мы сами. Сколько моя лошадь может знать о Нем на свой лад — то есть тем способом, который Бог дал лошадям, — я сказать не могу, потому что она не может мне сказать. И еще мы не знаем того, что знают лошади, потому что они — лошади, а мы по отношению к ним в лучшем случае лишь всадники. Пути Бога уходят вниз, в глубины, доступные микроскопу, так же как вверх, в высоты, доступные телескопу, — и там чудес еще больше, ибо там лежат начала жизни: все необъятности звезд и миров существуют ради существ меньших, чем они. Так и с разумом: пути Бога уходят в еще не открытые нам глубины; Он знает Своих лошадей и собак так, как мы их знать не можем, потому что мы еще не стали чистыми сынами Бога. Когда через наше сыновство, как учит Павел, придет избавление этих наших младших братьев и сестер, тогда мы будем лучше понимать друг друга. А теперь Господь жизни вынужден смотреть, как люди по собственной воле мучают множество Его созданий. Соблазнам надлежит прийти, но горе тому человеку, через которого они приходят! Может казаться, что Господь не замечает, но Он видит и знает.

17 Итак, я утверждаю, что каждый из нас есть нечто, чего нет в другом, и потому знает нечто — быть может, сам не ведая, что знает, — чего не знает больше никто; и что дело каждого, как члена Царства света и наследника всего, что в нем, — отдавать свою долю остальным; ибо мы одна семья, во главе и в сердце которой — Бог, и Иисус Христос, наш старший Брат, учит нас об Отце, Которого знает лишь Он.

18 Итак, мы можем сказать: все, что служит источником радости или любви, все чистое и сильное, все, что пробуждает высокие стремления, все, что поднимает нас над себялюбием, все прекрасное или достойное восхищения — одним словом, все, что от света, — должно составлять часть наследия святых во свете, сколь бы малой в соотношении с целым она тогда ни оказалась; ибо, как сказано в Послании Иакова, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».

19 Дети боятся неба из-за мрачных представлений, которые внушают им люди, утратившие детскость: лишенные воображения, они без вопросов принимают то, что рассказывают о нем другие, столь же лишенные воображения. Я не вижу, зачем стараться нарисовать его привлекательную картину; ведь, допустим, я смог бы убедить человека, что небо есть совершенство всего, чего он мог бы пожелать вокруг себя, — что приобрели бы от этого человек или истина? Если он знает Господа, он не станет тревожиться о небе; если не знает, это не привлечет его к *Нему*. Я не стал бы убеждать слабого христианина, что небо — место, куда стоит попасть; я предпочел бы убедить его, что ни одна точка

пространства, ни один час вечности ничего не стоят для того, кто остается таким, каков он есть. Но если бы только никто не дерзал учить малых тому, о чем сам ничего не знает! Чего только не претерпели дети, изо всех сил стараясь желать того, чего не могли полюбить! Хорошо помню боль при мысли — нет, огорчение оттого, что меня не радует мысль, — что меня сделают столпом в доме Бога и я больше не выйду оттуда! Эти слова были сказаны не малым. Но даже понятые буквально, они — блаженное обещание по сравнению с представлением о непрерывном хождении в церковь! Возможно, никто этому не учит; однако дети откуда-то усваивают эту унылую выдумку: непроизвольное обучение бывает действеннее слов. Какой мальчик, как бы ни желал он быть учеником Христа и ребенком Бога, предпочел бы проповедь своему великолепному воздушному змею — самой божественной из игрушек, когда Сам Бог играет с ним в голубом ветре, бросающем змея из стороны в сторону в золотой пустоте! Он мог бы быть готов расстаться со змеем, ветром и солнцем и сойти в могилу ради братьев — но уж верно не затем, чтобы их допустили к вечному молитвенному собранию! Что до меня, я *радуюсь* мысли, что в горних странах не будет ни церкви, ни часовни; да, там не будет ничего, называемого религией, и никакого закона, кроме совершенного закона свободы. Ведь как могут существовать закон или религия там, где каждый удар сердца произносит: *Бог*! где каждое певучее горло рвется к благодарению! где такой бурный поток радостных вод вечно изливается из-под престола Бога — слезы ликования вселенной! Религия? Где же найдется ей место, когда сущностью каждой мысли непременно будет Бог? Закон? Какое место останется для закона, когда все, к чему закон мог бы приложить свое *не делай*, будет

слишком отвратительно даже для мысли? Какое место для честности там, где любовь наполняет закон до края и переливается через край, — где человек предпочтет рухнуть в бездну, лишь бы не причинить ближнему ни малейшей несправедливости?

[20] Небо будет непрерывным соприкосновением с Богом. Само ощущение бытия будет блаженством. Для ощущения истинной жизни необходимо действительное, сознательное соприкосновение с источником жизни; поэтому просто жизнь — сама по себе, в самой своей сущности благая, благая, как жизнь Бога, которая и есть наша жизнь, — должна быть таким блаженством, что, думаю, его придется смягчать высочайшими радостями общения с нашими блаженными собратьями; смягчать искусством во всех его видах и всевозможными сочетаниями искусств; смягчать бесчисленными служениями тем, кто еще не достиг полноты, и тяжким трудом ради тех, кто пока не знает ни своего ближнего, ни своего Отца. Блаженству чистого бытия, говорю я, потребуются эти смягчения, чтобы напряженность его стала выносимой для сердца и разума.

[21] Для тех, кого занимают лишь вещи, а не их души, не их истина и действительность, перспектива унаследовать свет не может быть привлекательной; и к своему утешению — какому ложному утешению! — они могут не сомневаться: им не грозит, что их потребуют сейчас вступить в наследство. Возможно, их оставят и дальше высасывать *вещи* досуха, неизменно упуская их красоту, пока они в конце концов не возненавидят прекрасную шелуху, обратившуюся в уродство в их ложном воображении. Любя лишь тело Истины, они уже здесь доходят до того, что называют ее ложью и разражаются

слезливыми стенаниями об обманах жизни. Душу Истины они потеряли, потому что никогда ее не любили. Через что только не придется им пройти, через какие очистительные огни, прежде чем они смогут хотя бы увидеть ее!

22 Представления так называемых христиан о состоянии, в которое, как они полагают, вступили их друзья и которое они называют местом блаженства, таковы, что вполне оправдывают горечь их плача об ушедших и языческое сомнение, узнают ли они их вновь. Поистине было бы чудом, если бы узнали! После одного-двух лет такой участи те вполне могли бы стать неузнаваемыми! Почти стыдно писать о подобных нелепостях. Нирвана величественна в сравнении с их небом. Первые христиане, быть может, время от времени докучали Павлу глупым вопросом, ответ на который мучает нас до сих пор; но был ли среди них хоть один, сомневавшийся, что вновь встретит своих друзей? Это всего лишь одна из форм многоликого неверия. Они верят, говорят они, что Бог есть любовь; но не могут до конца поверить, что Он не обращает любовь, в которой мы больше всего похожи на Него, либо в насмешку, либо в пытку. Для меня мало значило бы любое обещание неба, если бы я не мог надеяться сказать: «Я сожалею; прости меня; пусть то, что я сделал в гневе или холодности, обратится в ничто во имя Бога и Иисуса!» Будет сказано множество таких слов, будет немало добровольного самоуничижения. Мужчина или женщина, не готовые признаться, не готовые излить сердце, полное сожалений, — могут ли они быть наследниками света? Сказать: «Я был неправ; я сожалею» — радость истинного сердца, наследника света, ребенка того Бога, Который любит открытую душу; радость всякого человека, ненавидящего зло тем сильнее, что он

сам его совершил. О, сладостные ветры покаяния, примирения и восстановления единства, которые повеют из сада в сад Божий в нежных сумерках Его Царства! Каково бы ни было это место, одно несомненно: там будут бесконечное, беспредельное примирение, вечно возрастающая любовь. Несомненно также, что чего бы ни желало божественно-человеческое сердце, оно не будет желать напрасно. Свет, который есть Бог и который составляет наше наследие, потому что мы дети Бога, служит тому порукой. Ибо сердце, которое желает, создано именно так желать. Бог есть; да радуются земля, и небо, и небеса небес! Все, что отец может сделать ради блаженства своих детей, Бог сделает для Своих. Будем же жить в непрерывном ожидании, предвкушая благо, которое Бог даст людям, будучи их Отцом и вечным Спасителем. Если то, что я имею здесь, пришло от Него и так явно представляет собой лишь начало, разве не должен я принимать это как залог лучшего, что последует? Как еще мне на это смотреть? Ведь никогда среди благ этого прекрасного мира я не чувствовал себя в нем вполне дома. Никогда не являл он мне ничего достаточно прекрасного или величественного, чтобы удовлетворить меня. Как место для жизни он еще не все то, чего я желал бы. Возможно, неудовлетворенность моя происходит оттого, что глаза мои недостаточно открыты или недостаточно зорки, чтобы увидеть и понять данное Им; но мало значит, в мире или во мне лежит причина, поскольку и тот и другой незавершенны: Бог есть, и все хорошо. Все, что нужно, чтобы мир стал для меня достаточно хорош, — а без этого никакое эмпирейское небо не могло бы быть для меня хорошим, — чтобы я заботился о Боге, как Он заботится обо мне; чтобы моя воля и желания держали ритм и строй Его музыки; чтобы

у меня не было мысли, возникающей из меня самого отдельно от Него; чтобы моя индивидуальность имела свободу, принадлежащую ей как рожденной от Его индивидуальности, и не находилась в рабстве ни у моего тела, ни у предков, ни у предрассудков, ни у какого-либо порыва из неведомой области; чтобы я был свободен через послушание закону моего бытия, живой и животворящей воле, благодаря которой жизнь есть жизнь, а моя жизнь — я сам. То, что возникает из меня самого, а не из Бога, есть зло; это извращение чего-то Божьего. Все, что не от веры, — грех; это отрезанный поток — поток, который сам отсекает себя от истока и думает течь дальше без него. Но свет — мое наследие через Того, Чья жизнь есть свет людей, призванный пробудить в них жизнь их небесного Отца. Да будет любим Господь, породивший в Себе ту жизнь, которая есть свет людей!

23 КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ СЕРИИ.

Примечания

1. Примечание редакции Life for God. В использованной электронной транскрипции указано Лк. 11:18. Приведённое изречение соответствует Лк. 12:10. Исходная ссылка сохранена в основном тексте. ↑

2. Примечание редакции Life for God. В английской транскрипции стоит грамматически неоднозначное «neither could not». Русский перевод следует смыслу соседних предложений: внешнее явление силы не могло убедить в истине ни учеников, ни противников. Английское чтение сохранено. ↑

3. Примечание редакции Life for God. Слова о возложении всех забот на Бога находятся в 1 Пет. 5:7. В основном тексте сохранена их атрибуция Павлу. Следующие слова о прошениях сопоставимы с Флп. 4:6. ↑

4. Примечание редакции Life for God. В транскрипции указано Флп. 3:2; слова о достижении воскресения мёртвых находятся в Флп. 3:11. Исходная ссылка сохранена. ↑

5. Примечание редакции Life for God. Слова «Им мы живём, движемся и существуем» приведены в Деян. 17:28, в рассказе о речи Павла в Афинах. Упоминание ефесян сохранено по исходному тексту. ↑

LIFE FOR GOD

ХРИСТИАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Книги на русском и английском, аудиозаписи, духовные беседы и мастерская проповедника.

Веб-сайт

lifeforgod.church

Нажмите на адрес или отсканируйте QR-код камерой телефона.

Читать эту книгу онлайн